ISSN 0130–6545

8. 1983

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мужской портрет, 1503—1504.

Цветные иллюстрации номера — произведения Рафаэля Санти

(К 500-летию со дня рождения)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8 август 1983

Содержание

МАХМУД ДЕРВИШ, МУИН БСИСУ — Письмо израильскому солдату *(Стихи. Перевод с арабского Риммы Казаковой)* 3

МАРТИН ВАЛЬЗЕР — На полном скаку *(Повесть. Перевод с немецкого и послесловие А. Карельского)* 8

СЮЙ ДИШАНЬ — Прозаические миниатюры *(К 90-летию со дня рождения писателя. Перевод с китайского и вступление В. Горелова)* 55

КРИСТОФЕР ПРИСТ — Опрокинутый мир *(Фантастический роман. Перевод с английского и послесловие Олега Битова)* 67

Литературное наследие

СЕСАР ВАЛЬЕХО — Ученье, скрытое за странными стихами *(Вступление А. Гелескула. Перевод с испанского Н. Малиновской и А. Гелескула)* 158

Критика

Н. АНАСТАСЬЕВ — Посторонние и причастные *(Американская литературная критика сегодня)* 169

К. ЯЦКОВСКАЯ — Останется песня на свете... *(Заметки о монгольской поэзии 80-х годов)* 179

Наши публикации

Киплинг у Твена *(Перевод с английского и вступление М. Тугушевой)* 184

Культура и современность

Фантасты и фантастика *(Беседа с болгарским писателем Любеном Диловым. Перевод с болгарского М. Ярославской)* . . 190

Публицистика

ДЖОНАТАН ЛИНН, ЭНТОНИ ДЖЕЙ — Да, министр *(Перевод с английского И. Гуровой. Вступление О. Васильева)* 194

Антирубрика

ИОН БЭИЕШУ — Юморески *(Перевод с румынского Яна Ириньша)* 221

К нашим иллюстрациям

В. Поликаров — Наследие Рафаэля и русская культура 227

Среди книг

Издано в СССР

Вадим Климовский — Четверо под зеленой обложкой ◆ Ю. Каграманов — «Верю в таинственную власть слов» ◆ А. Солянов — «Принцип неопределенности» Зигфрида Ленца 230

Издано за рубежом

Н. Матяш — Книга, проникнутая добротой ◆ Роман Белоусов — Травениада продолжается ◆ В. Молчанов — Демонстрация монстров 237

Из месяца в месяц 244

Советская литература за рубежом 178, 183

Авторы этого номера 254

На 1-й и 4-й страницах обложки — произведения Рафаэля Санти «Афинская школа», 1509—1510 (деталь фрески), «Парнас», 1510—1511 (деталь фрески).

© «Иностранная литература», 1983.

МАХМУД ДЕРВИШ

МУИН БСИСУ

Письмо израильскому солдату

Перевод с арабского РИММЫ КАЗАКОВОЙ

■ ■ ■

Бейрут — он Бейрут,
и на том он стоит.
И птица на ветке —
как на баррикаде.
В Бейруте — Бейрут,
тот, который в осаде,—
стоит он.
Окно на обломках стоит...
Столица, аллаха любимица, ныне
ты — гнева и гордости грозное имя.

■ ■ ■

... Мы пишем тебе
до того, как найдет нас — или тебя — снаряд:
последний осажденный —
последнему осаждающему,
превратившему Бейрут в ад.
Мы пишем тебе,
чтобы посланный тобою снаряд
память твою перенес
из мрака гитлеровских концлагерей
в наши тела. в темноту наших слез...
Мы пишем тебе,
вопрошаем всем нашим горем:
доколе остров будет воевать с морем?
Доколе ты будешь терзать себя и нас:
ломать наши ребра,
гасить цветущий жасмин глаз?
Доколе ты будешь углублять могилу
и жить в ней, солдат?
Мы пишем тебе
до того, как найдет нас — или тебя — снаряд.
Мы пишем тебе из Бейрута, из нашего ада,
из этой поэмы, чье имя — блокада,
из первого ее стиха.
спрашивая снова и снова:
кто он, тот, кто держит в осаде другого?
Тот, кто живет в железе? Или тот,
кто в поэме живет?

Мы пишем тебе
до того, как найдет нас — или тебя — снаряд,
тебе, тюремщик и узник,
закованный в броню солдат.
Ты опьянен... Твой панцирь на гусеницах скользит...
Но разве тебе самому ничего не грозит?
Сейчас,
когда ты как в тюремной камере — в танке,
за самой крепкой бронею — не так ли? —
разве тебе самому ничего не грозит?!

■ ■ ■

Расскажи об Эстер:
она все́ еще купается
в море у Аскалона?
Качается на волнах, разламывает плод граната
и спокойно рожает детей,
как когда-то?

Ты разрушил то, что разрушил,
ты убил тех, кто убит.
Ты взорвал, но взорван был.
Ты разбил, но будешь разбит.
Разве тебе самому ничего не грозит?

■ ■ ■

Кто мы сейчас в Ливане
по представлению твоему:
мешки песка, изрешеченные пулями,
барашки, мечущиеся в дыму?

■ ■ ■

О, заблудившийся в суевериях пространства и времени!
О, заблудившийся в лабиринтах забвения!
Сын жертв, сын огня и ножа,
чему научилась у памяти твоя душа?
Ты, тащащий за собой мясорубку,
признайся,
чему ты научился
у пепла перемолотого в Освенциме собственного мяса?
Разве после падения Иерусалима,
после твоего Вавилонского плена
и Ветхого завета
ты что-нибудь получил?
Только это:
камни из Давидовой пращи,
которыми его же ты бьешь.
И что ж?
О, палач и жертва,
чей топор над нами висит,
разве тебе самому ничего не грозит?

■ ■ ■

У десятилетней Айши
под головой — мешки с песком,
у десятилетней Сары —
детская, а в ней окно...
Как зеркало нашей матери оно...
Лицо матери возникает вновь и вновь...
А ты за бронею танка своего,
и на руках твоих наша кровь...
Разве тебе самому не грозит ничего?

■ ■ ■

Блокада все длится...
За нами море.
Блокада все длится...
Окопы — наши тела.
Пожары — наша кровь.
Блокада все длится...
Мы выпечем камень,
замесим луну своими руками,
и встанет прекрасная наша река
у вас на пути, как граница.
Блокада все длится...
Аллах — не имя на перстне,
он — в душе человека.
Из нашей раны-светильника
мир возгорится!
Блокада все длится...

■ ■ ■

Какова сегодня жатва?
Вид крови насытил твой пыл?
Убит — и уже ничего не жалко,
или сам, не жалея, убил?
У тебя еще достаточно бомб и бензина,
чтобы жечь колосья в поле, цветы и небо синее.
О, лицо, которого даже детская кукла боится!
О, лицо без тени сомнения,
лицо убитого в убийце!
Протянулись цепи
от Вавилона к Вавилону...
С каких это пор зеркала ты бьешь?
Зачем ты людей ведешь
от Вавилона к Вавилону?
Доколе ты будешь воевать?
Доколе будешь миру лгать
и полагать, что близко твое торжество
и что тебе самому не грозит ничего?

■ ■ ■

О, шестиконечное лицо,
о, медный голос,
чье эхо на растерзанных улицах раскололось!

Ты выискиваешь для нас упрямо
пустыню,
могилу,
улицы воздушную яму,
ты, гусеничноногий, запертый в броне!
Интересно, найдешь ли ты кладбище в этой стране?
Интересно, признаешь ли
прежде, чем срок наступит,
что наш дом — там,
что наше море — там
и тебе их никто не уступит.
И цветущие апельсины на побережье Далилы —
там,
и годы детства —
там...
Накрепко сердце приросло к тем местам.
Проливается история дождем...
А мы упорно ждем,
мы все еще там,
там,
там!
Прошлое наше видит тебя.
Бойся учить детей
идти по твоим стопам,
бойся, что проснется вулкан,
остерегайся его,
не считай,
что тебе самому не грозит ничего!

■ ■ ■

О, обитатель танка!
Может ли человек всю жизнь справлять нужду в танке?
Может ли человек читать и писать в танке?
Может ли человек любить женщину в танке?
И сажать деревья в танке?
О, вылезающий из чрева танка!
О, возвращающийся в чрево танка!
Доколе ты будешь рабом его?
Разве тебе самому не грозит ничего?

■ ■ ■

Что написал ты сегодня в очередном письме
далекой Эстер?
Написал ли, что скоро окончится война,
ты вернешься и вы будете вместе?
Ничего не осталось, кроме окопов,
пушек улиц и горстки осажденных на грудах беды...
Закончится война,
и новую породит она,
и дальше все так же все те же муки,
будет крутиться сакия[1] и омывать руки...
А как ты омоешь руки?
Мыло — голова убитого тобой ребенка!
И что же после всего —
тебе самому не грозит ничего?

[1] Оросительное колесо.

■ ■ ■

Колонизатор, с шестиконечным лицом,
доколе ты будешь со временем воевать,
доколе мертвое тело-воспоминание,
словно настенные часы,
будет время отбивать?
Доколе ты будешь бояться каждой волны,
бросающей на песок
свой голубой платок?
Доколе ты будешь бояться ног газели?
Доколе ты будешь бояться грядущего землетрясенья?
Доколе нам ждать
от темноты и до света, от света и до темноты,
когда взорвемся мы
и когда взорвешься ты?
Доколе будет длиться беда
и будут смертью хлеб и вода?
Доколе ты будешь воевать?
Доколе ты будешь умирать?
Мы сейчас словно два лика одного трупа,
но между нами — бездна, потоп!
Доколе ты будешь таскать на своих плечах гроб?
Ты, хозяин гроба,
от которого смертью разит, —
разве тебе самому ничего не грозит?
Разве тебе самому ничего не грозит?!

■

МАРТИН ВАЛЬЗЕР

На полном скаку

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого и послесловие А. КАРЕЛЬСКОГО

Всем нам доводилось читать повести, в которых действующие лица высказывают противоположные жизненные воззрения. Сплошь и рядом это кончается тем, что один персонаж переубеждает другого, — то есть вместо того, чтобы воззрение говорило само за себя, читатель обогащается лишним поучительным примером того, как человек был переубежден. Я почитаю счастливым достоинством этих моих записок, что они в данном отношении ничего не проясняют.

Сёрен Кьеркегор, «Или — или».

1

Вдруг Сабина энергично протиснулась сквозь толпу гуляющих и устремилась к еще незанятому столику. У Хельмута мелькнула мысль, что стулья в этом кафе для него маловаты, но Сабина уже сидела. И он, конечно, никогда бы не выбрал столика в крайнем ряду. Ведь когда сидишь вплотную к этому людскому потоку, движущемуся в обоих направлениях, ничего не видишь. Он бы постарался отыскать место подальше от тротуара.

И Отто уже сидел. У ног Сабины. Он, правда, еще взглянул на Хельмута, будто желая сказать, что до тех пор, пока не сел Хельмут, он рассматривает свою позицию как временную. Но Сабина уже заказала кофе, закинула ногу на ногу и смотрела на вялую сутолоку променада с выражением удовольствия, предназначенным исключительно для Хельмута. Он снова перевел взгляд на людей, прогуливавшихся прямо перед его носом. Не много чего увидишь. Зато этого немногого навалом. У него как-то тоскливо засосало под ложечкой при виде всех этих светло и легко одетых смуглянок. Публика тут выглядела красивее, чем дома, в Штутгарте. Не то что он. Эти дурацкие белые штаны. Когда он без куртки, в нем, наверное, только живот и виден. Через неделю-то ему будет на это наплевать. Но не сейчас. на третий день. И эта омерзительно порозовелая кожа. Через неделю они с Сабиной тоже загорят. Пока же действие солнечных лучей на Сабину выразилось лишь в том, что размякла и набухла каждая морщинка, каждая складка на небезупречной коже. Гротескное зрелище. Особенно сейчас, когда она с видом полного блаженства смотрит на гуляющих.

Он положил ей руку на запястье. Почему они вообще должны глазеть на эту толкущуюся перед ними груду рук, ног и грудей? В доме их хозяев наверняка уже не так жарко, как на этой каменной, без единого деревца набережной. К тому же тут каждое второе проплывающее мимо явление манит обещанием таких грандиозных авантюр, что чем больше на них смотришь, тем несчастней себя чувствуешь. Они же все моложе. Насколько приятнее сейчас за прямыми решетками окон хозяйского дома. Они с Сабиной тут уже три дня, и три вечера подряд он таскается за ней в город. Все вот на эту на-

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1978.

бережную. Ей, видите ли, интересно наблюдать за людьми. Интересно-то интересно. Но невыносимо. Он намеревался прочесть тут дневники Кьеркегора. Приволок все пять томов. Если он успеет осилить только четыре, несдобровать тебе, Сабина. Он совершенно не знал, о чем писал Кьеркегор в своих дневниках. Невозможно себе представить, чтобы Кьеркегор писал о чем-нибудь интимном. Хельмут просто жаждал узнать Кьеркегора поближе. Может быть, лишь для того, чтобы иметь возможность разочароваться. Он предвкушал это ежедневное нескончаемое разочарование при чтении кьеркегоровских дневников как некое особое удовольствие. Вроде затяжного дождя во время отпуска. Если эти дневники, как он опасался (и еще больше надеялся), не создадут ощущения близости, то его желание узнать этого человека поближе лишь подогреется. Дневник, лишенный всякой интимности,— что может быть заманчивей? Надо сказать Сабине, что с завтрашнего дня он будет проводить все вечера только дома. Его чуть не трясло от возмущения! Сидеть тут, на этом кургузом стуле, таращиться на людей, в то время как дома...

Брать Кьеркегора на пляж он не хотел. Это он делал в пятнадцать лет. Он и «Заратустру» читал, лежа на животе. Как истый сноб, во французском переводе. «Ainsi parlait Zarathustra» [1].

Тем временем выражение удовольствия на лице Сабины отлилось в улыбку, которая так на нем и окаменела. Ему стало неловко от этой улыбки. Он снова коснулся руки Сабины. Наверное, надо бы о чем-то поговорить друг с другом. Стареющая чета, в молчании сидящая на стульях кафе и наблюдающая за толкотней променада, выглядит смешно. Или совсем уж удручающе. Особенно когда жена все еще изображает на лице эту давно уже безжизненную улыбку. Хельмуту было неприятно, что окружающим при виде его и Сабины могли прийти в голову мысли, соответствующие истине. Пусть думают что угодно, лишь бы невпопад. Стоило ему навести людей на ложный след, как его самочувствие сразу поднималось. Оставаться инкогнито было его идеей фикс. В Штутгарте ему пришлось убедиться, что соседи и школьные коллеги — да и не только коллеги, а ученики тоже — постепенно его распознавали. К нему прилипло прозвище Земляной Дятел. Это свидетельствовало о том, что его разгадали, оценили и каталогизировали прямо-таки с провидческой точностью. Всякий раз, когда соседи и коллеги давали ему понять, что они его раскусили, что им известны те его свойства, в которых он никогда не сознавался, его охватывало желание бежать. Просто бежать куда глаза глядят. Эти люди пользовались знанием тех черт его натуры, которых он сам никогда не выдавал. Пользовались для того, чтобы обротать его. Чтобы его приручить. Они научились его доставать. И чем больше они научались его доставать, тем сильнее он жаждал снова стать нераспознанным. Когда люди ничего о тебе не знают, все еще возможно. К сожалению, он понял это слишком поздно. Потому и не пресек эту пытливость вовремя. Теперь оставался только один выход — бежать. Хоть раз или два раза в год. Вот хотя бы в отпуск. В отпуске он примерял на себе личины и манеры, казавшиеся ему наиболее пригодными для того, чтобы оградить свое подлинное «я» от посторонних взоров. Быть недосягаемым стало его мечтой. И его сознанию теперь даже стоило труда не заклиниться на неотвязном образе высокой островерхой крепости на абсолютно отвесной со всех сторон скале. Некий новый сверх-Нойшванштайн [2] грозил навек впечататься огненными буквами в его мозг. И еще леса. Ему все время виделись леса. Виделось, как он бредет сквозь них. Оставаясь неподвижным, бредет и заходит все дальше в леса, а они, к счастью, не кончаются. Нескончаемые леса — это вообще предел совершенства.

[1] Так говорил Заратустра *(франц.)*.

[2] Королевский замок в горном массиве Альгей близ Фюссена в Баварии, расположенный на отвесной меловой скале.

Неужели он когда-то хотел стать учителем? Разве люди всегда хотят стать кем-то? Не выражается ли в этой его жажде оставаться нераспознанным желание быть моложе? Когда он впервые начал учительствовать, он поместил в школьной газете заметку, которую до сих пор помнил наизусть. Вспоминая сейчас эти строки, он криво усмехнулся, будто ему пришлось выслушать анекдот, оскорбляющий его чувство приличия.

Воодушевление учителя.

Заходит речь об определенном частном предмете, которого он, конечно, не знает досконально, но о котором рассказывает со всей увлеченностью. Из других источников ученики получают более глубокую информацию об этом предмете. Но пока они слушали убежденные речи учителя, они научились чему-то, чего сами не замечали. Пусть он им кажется забавным — но зато уж это впечатление останется на всю жизнь. Они будут вспоминать о его чудаковатости с величайшим благоговением. Чем глубже образ его будет погружаться в пучину прошлого, тем выше будет подниматься благоговение в сердцах учеников.

Его усмешка, вероятно, была вызвана угрызениями совести от того, что он не таил такие вещи даже от самого себя.

Как приятно подъезжать к дому фрау Цюрн, у которой они вот уже одиннадцать лет подряд снимают комнату на месяц: выйти из машины и почувствовать, как ты сразу же, автоматически входишь в роль, которую привык здесь играть.

Его поведение по отношению к фрау Цюрн определилось в первый же приезд одиннадцать лет назад и, можно сказать, сразу обрело окончательную форму. Она считала, что он весел и общителен, нуждается в отдыхе, любит цветы и зверей, обожает детей — душа-человек...

Свою отпускную роль, на которую всякий раз рассчитывала фрау Цюрн, он не выдумал. Он просто вел себя так, как это, он чувствовал, больше всего устраивало фрау Цюрн. Результаты имели к его подлинному «я» мало отношения, но это и было самое приятное. Не исключено, конечно, что и улыбка, надевавшаяся хозяйкой на лицо при каждом их появлении, не имела к ней самой ни малейшего отношения. Тем лучше. Муж ее за одиннадцать лет ни разу не завел с ним более или менее продолжительного разговора. Разве что с Сабиной. Они же с этим доктором Цюрном шествовали по жизни, не соприкасаясь друг с другом, как две равноправные тайны. Сабине он, правда, сказал, что этот доктор Цюрн ему симпатичнее всех других людей. Да и не походили ли они даже внешне друг на друга? Округлая спина, округлый живот. И оба отяжелевшие. В той несколько преувеличенной вежливости и предупредительности, которую чета Цюрнов выказывала в обращении с ними, он ощущал наиболее приятную для него форму дистанции. Ему вовсе не хотелось узнать, в какой науке доктор Цюрн был доктором, почему семейство Цюрнов до сих пор сдавало комнаты в своем прекрасном особняке на набережной; точно так же и Цюрнам не хотелось узнать, почему им с Сабиной за одиннадцать лет ни разу не пришло в голову провести отпуск где-нибудь в другом месте. Вся прелесть этих отпускных взаимоотношений заключалась в крепнувшей с каждым годом привычке, не переходившей в излишнюю доверительность. Дальше единственной основы — той, что и у доктора Цюрна и у них одиннадцать лет тому назад был щенок-спаниель,— дело не шло. Теперь и у доктора Цюрна и у них был старый спаниель. Тем не менее Хельмут не мог представить себе, чтобы он к кому-то относился доверительней, чем к супругам Цюрн. Правда, по отношению к их четырем дочерям он со-

блюдал такую же дистанцию, как и по отношению ко всему остальному человечеству. Ах, перенестись бы сейчас чудом домой, к Цюрнам!

Сабина сказала: «Ты, кажется, нервничаешь?» Сказала, не глядя на него. Если бы кто-нибудь наблюдал за ней издали, он мог бы по ее лицу заключить, что она сказала своему супругу: «Какое блаженство сидеть здесь с тобой!» Он сказал: «Нервничаю?! С чего ты взяла?» Она спросила: «Ты проголодался?» — «Проголодался»,— ответил он торжественно-романтическим тоном. Она: «Так что, пошли?» Он: «Домой». Она: «Нет, ужинать». Он: «Ты проголодалась?» Она: «Напрасно мы после обеда съели столько кекса». Он: «Сама испекла». Она (виновато): «Да». Он (вяло): «Хоть бы не пекла его таким вкусным».

«Спасения все равно нет»,— подумал он. Почему он так подумал, он сам не знал. «Спасай человека,— думал он,— ну спасай же». Может, Сабина и вправду способна наслаждаться лицезрением людей. Но он в это не верил. Тогда бы она должна была быть совсем другой, не такой, как он. А она такая же. Они повлияли друг на друга. Теперь они до ужаса похожи. Ты только посмотри на эту улыбку. Наверняка у тебя у самого сейчас такая же безнадежная, обвалившаяся улыбка на лице, хоть ты этого и не замечаешь. Со стороны вас, наверное, можно принять за близнецов. И в этот момент Сабина сказала: «У нас у обоих, по-моему, морды как у спаниеля». Она частенько так вот высказывалась — будто отвечала на его мысли. Сейчас это его разозлило. «Заткнись ты»,— подумал он и тут же бурно застыдился того, что мысленно так распоясался в обращении с Сабиной. «Да брось ты эту внутреннюю борьбу»,— сказала Сабина и положила свою руку на его. Он высвободил руку, погладил Отто и сказал: «Он по праву оскорбился, потому что ты сказала, что мы на него похожи; но это только ты на него похожа, а я ни капельки».— «Сепаратист»,— сказала она. «Тебе тут нравится?» — спросил он. «Да, я могу целый век сидеть вот так и смотреть на людей».— «А я не могу».— «Жаль». Тогда он взорвался и сказал зло: «Я пошел». Она попросила: «Ну еще минутку».—«Пожалуйста»,— сказал он и посмотрел на часы.

2

Вдруг перед их столиком возник щеголеватый юноша. В голубых джинсах. Голубая рубашка расстегнута до некрашеного кожаного пояса с выжженными знаками. А рядом с ним девушка, разделенная джинсовым швом на две явственные половинки. Если она, куда ни глянь, была холмисто-округлой и уютной, то он был сплошная вертикаль, подтянутость, безызбыточность. На бронзовой от загара груди золотились всего несколько волосков, но надо лбом густо и победно пламенел белокурый вихор. «Наверное, бывший ученик»,— подумал Хельмут. От этого, увы, никуда не денешься — то и дело с тобой заговаривают бывшие ученики и ученицы. И, как правило, те, кто в школе из кожи лез, чтобы отравить тебе жизнь. Те, кто чуть ли не доводил тебя до слез, потом вдруг вырастают перед тобой как из-под земли, скалят зубы, протягивают руку, представляют гренадера-жену или такую вот потрясную девчонку, а то еще и выводок восторженных горластых детей, лапающих тебя липкими пальцами; потом они обрушивают на тебя всю свою невероятную биографию и покаянно бьют себя в грудь, заверяя, что лишь с годами они поняли, какой ты был «классный» учитель... Эти сентиментальные излияния бывших своих мучителей он выслушивал нехотя, с отвращением. Все время, пока они говорили, он смотрел им на носки ботинок (или, если таковых не было, на ноги). Он и в школе так делал. Оттого и — Земляной Дятел. По всей вероятности, этой манерой держать голову и плечи он был обязан девчонкам. Их беспардонным блузкам и брюкам. Однаж-

ды дар притворства оставил его; он дал волю рукам; к счастью, пострадавшая сочла это недоразумением.

Но нет, полыхающий блондин в голубом, с белыми зубами и белками, с босыми ногами и красивыми безупречными пальцами на них был никакой не ученик, это был Клаус Бух. И Клаус Бух просто не мог поверить, что школьный приятель, друг юности и однокашник Хельмут его забыл. Хельмуту только и оставалось, что городить извинение на извинение. Память на лица и имена у него исчерпалась, это профессиональное, говорил он. Слишком много лиц и имен приходится запоминать. Клаус Бух... Он с трудом провирался вперед, ну конечно же, вот теперь уже оживает это чувство чего-то хорошо знакомого — и лицо, и имя, конечно же. А это вот Сабина, жена Хельмута. А это Элена, попросту Эль, жена Клауса. Когда он пожимал руку этой Эль, он чувствовал, что Клаус ждет комплимента. Не жена, а трофей. По меньшей мере Хельмуту следовало бы сейчас сказать своему давнему другу Клаусу, как он, Хельмут, потрясен тем, что Клаус выглядит скорее как ученик Хельмута. Сказать, что, хоть он теперь и припоминает отчетливо закадычного школьного друга по имени Клаус Бух, похожего на вот этого стоящего перед ним молодого человека, он все еще не может совместить этого стоящего перед ним Клауса Буха с тем Клаусом Бухом, который постепенно оттаивал в его памяти,— просто потому, что его Клаусу Буху тем временем тоже должно было стукнуть сорок шесть, а стоящему перед ним Клаусу Буху от силы двадцать шесть. Как и его девушке. И прежде всего из-за девушки. Ничего этого Хельмут не сказал. Никакого комплимента. Держи карман шире, подумал он. И глядел обоим на ноги. У нее на ногах пальцы тоже лежали рядком, уютно и ладно. Оба говорили наперегонки. Говоря, уселись. Усевшись, говорили. Хельмут думал о дневниках Кьеркегора. Сабина давала все справки, потребность в которых возникала по мере того, как оба говорили. Хельмут кивал. Вдруг Клаус Бух взвился с истошным воплем и затряс рукой в воздухе, будто ему ее ошпарили или прострелили. Хельмут и Сабина ничего не могли понять. К счастью, Элена Бух расхохоталась. Когда Клаус Бух обрел самообладание, он с опаской заглянул под стол. «Это ваша зверюга?»— спросил он. «Но он еще ни разу в жизни никого не укусил!» — воскликнула Сабина. А Эль сказала: «У него такое отвращение к собакам, что стоит ему до них дотронуться, как он уже в шоке». Сабина сказала: «Отто, сидеть!» Она без конца извинялась перед Клаусом и обещала строго следить за Отто.

Да, так вот, они тоже три года подряд приезжают сюда в отпуск. А останавливаются в Маурахе. «Это же меньше километра от нас!» — сказала Сабина. Они, Сабина с Хельмутом, останавливаются примерно там же вот уже одиннадцать лет. А они, Эль с Клаусом, Средиземного моря уже видеть не могут. Нет, это просто смех — три года подряд отдыхать рядом и не встретиться. Ну скажи, разве не смех, Хельмут? Черт, Хельмут, ну надо же! Да, и впрямь забавно, Хельмут согласен. Эль с Клаусом любят кататься на яхте. Сабина с Хельмутом больше валяются на пляже, а потом сидят вот так, как репы. Это прозвучало как жалоба на Хельмута. Хельмут кивал. Он знал, что Сабина не взаправду жалуется. Ей просто нравилось сейчас делать вид, что она жалуется. Может быть, это был своего рода комплимент Клаусу Буху. Она была вся возбуждена от радости при виде того радостного возбуждения, в которое пришел Клаус Бух от этой встречи. Ей явно было приятно, что он так радуется встрече с ее мужем. В ее взгляде, устремленном на Клауса, было какое-то блаженное выражение. Будто она давно его ждала и теперь с трепетом впивает каждое его слово. Этот Клаус Бух не уставал восхищаться своим другом юности Хельмутом. В четырнадцать лет уже прочел «Заратустру». Их всех далеко обскакал. Терновый венец прямо с первым пушком.

Целеустремленность фанатическая — этакий интеллектуальный инцухт. Уже тогда. Что, скажешь нет? Клаус Бух формулировал свои мысли так, что, оспаривая или одобряя, ты оспаривал и одобрял уже одну только формулировку, а не суть. Хельмут всегда был таким пророком в помочах, верно ведь? Священная лихорадка во плоти. Просто до накала, до воспаления. Босиком и в воспалении — иным он Хельмута и не помнит. Эта воспламененность даже на психику часто перекидывалась. Дня по три-четыре в месяц другим мальчишкам только и оставалось, что таращиться на окна его комнаты, в которой — причем за кошмарными ржаво-красными занавесками — исходил Хельмутов накал. Хельмут прервал Клауса. Он жаждал убраться отсюда. Люди наверняка уже прислушивались. И еще у него было такое чувство, что жена Клауса Буха скучает, слушая эти абсолютно ее не касающиеся формулировки. Нет, теперь уж им не отвертеться, заявил Клаус Бух. Он, что называется, по всей форме приглашает Хальмов на ужин и не намерен принимать никаких отговорок.

Этот тип и впрямь помнит мою фамилию. После — постой, скольких же... «Когда мы в последний раз виделись?» — вставая, спросил Хельмут как можно более небрежно. «Ты не помнишь?!» — воскликнул Клаус Бух. Не может быть! Ровно двадцать три года назад, чуть ли не день в день. Он, Клаус Бух, тогда уезжал из Тюбингена — удалось все-таки выбить место в Эдинбурге. После прощальной пирушки Хельмут еще потребовал, чтобы Клаус искупался в фонтане на площади перед ратушей. И он искупался — он ведь привык исполнять все, что приказывал Хельмут. Не мог же Хельмут этого забыть. Хельмут сделал вид, что теперь явственно припоминает все то, что Клаус Бух извлекал на свет божий великолепными жестами, как кукольник из картонки. Но он не припоминал абсолютно ничего из этого балагана. Если бы тот не упомянул про «Заратустру» и про частые воспаления миндалин, вся эта встреча вполне могла бы оказаться и недоразумением. Уже ржаво-красные занавески произвели на него впечатление декорации. Разве занавески у них дома были ржаво-красные? И что значит — кошмарные занавески? Но ведь нельзя же прямо сказать, насколько чужой ему этот Клаус Бух. Правда, в самом темном закоулке его памяти скреблось что-то такое, что могло быть и именем этого господина. А потом — эта белокурость, эта верткая, щеголеватая спортивность, эта улыбка, будто появлявшаяся исключительно в угоду зубам... все это могло однажды быть. Могла быть в его далекой юности эта вот образцовая прогнатическая челюсть с прямотаки непристойно подвижными губами. Но могла и не быть. С другой стороны, этот тип знал про третьих лиц много такого, что и Хельмут припоминал: недоразумение исключалось.

Может быть, Хельмут просто вытравил этого Клауса Буха из своего сознания. Не завидовал ли он в давние времена какому-то человеку, получившему место редактора в Эдинбурге? Кажется, завидовал. И был еще в детстве такой Клаусхен, у которого было все, чего он только не пожелает. Вот он, стало быть. И тот дом, с окнами чуть ли не выше церковных, цветными, был их дом; за темными деревьями; полный торжественности и тишины. Хельмут никогда не заходил внутрь. Боялся. Только один раз, узнав, что все они уехали на север к морю, перелез через стену и, спрятавшись в кустах, разглядывал этот сад и этот высокий дом. Не было ли там эркера, с такой островерхой крышей, будто он тщился развиться в башенку? Хельмут вспомнил, как он вдруг бросился наутек. Со страху.

«Не было ли у тебя гоночного велосипеда?» — спросил Хельмут. «Да-а!—заорал Клаус Бух. — Ну видишь, наконец-то, а я уж боялся, что ты меня начисто забыл».

Клаус заявил, что поведет их в «Золотую щуку». «Прекрасно»,— сказал Хельмут.

3

Постепенно Хельмут начал понимать, что этот Клаус Бух растерял всех свидетелей некоторых особенно дорогих ему лет своей жизни, но, по всей очевидности, не хотел, чтобы именно из этих лет хоть что-то пропало, кануло в забвение. Для воскрешения былого ему нужен был партнер, который хотя бы кивками и взглядами подтверждал, что это было так-то и так-то. Без такого партнера он просто не мог говорить о тех временах. Хельмут понял, что тут было нечто родственное комплексу фронтового товарищества. Ему самому был чужд этот воскресительский фанатизм. Всякая мысль о былом отягчала его. Он испытывал что-то вроде тошноты, когда думал о том, насколько он уже переполнен прошлым. Прихлопнуть крышкой. Только не открывать. Только не допускать туда кислород — все сразу начнет бродить. Иное дело Клаус Бух. Уцепившись за одну ниточку, он жаждал вытянуть и все остальные. Не отпускал, пока не убеждался, что перед ним развернулась вся ткань такого-то и такого-то вечера двадцатипятилетней давности. Или хоть канва. Или краски. Или, по крайней мере, идея. Причем в большинстве случаев этот Клаус Бух припоминал все так точно, что Хельмут приходил в ужас. По краям фонтана стояли ящики с геранями, и прежде чем Клаус Бух принял предписанную Хельмутом ванну, они два ящичка сняли. Та студентка с теологического — ну помнишь, с лицом Марики Рокк и в вышитой блузке — отвернулась, когда Клаус Бух начал раздеваться. Ну неужели не помнишь? С волосами до плеч, она их подвертывала вовнутрь, а сверху укладывала косу, а эта коса — слева или справа? — в них потом исчезала — или кончалась вообще?..

Хельмут испытывал жгучую зависть. Он же практически не жил. От его жизни ничего не осталось. За ним не было почитай что ничего. Когда он пытался вспомнить, он видел только застывшие картины — улицы, площади, комнаты. Никаких действий. В этих картинах его воспоминаний царила безжизненность, как после катастрофы. Будто люди еще не решались пошевелиться. Во всяком случае, они безмолвно стояли по стенам. А середина чаще всего пустовала. У него было такое чувство, что в нем жизненная авантюра раз и навсегда подошла к концу. Вообще все доступное воспоминаниям и пересказу. Иногда он еще садился и, обуреваемый паникой, устраивал перед своим мысленным взором парад всех тех людей, которых он когда-либо знал. Имена и образы, которые он вызывал, появлялись. Но для того состояния, в котором они появлялись, слово «мертвые» было, пожалуй, слишком мягким. Юность и детство его по-своему даже привлекали. Но и тут он все равно не знал, что делать с этими немыми, лишенными запахов и красок сценами. Было время, когда он с фанатическим упорством возобновлял процедуру такого воскрешения. Однажды даже начал записывать все, что еще помнил о своем отце. Отец его был официантом в кафе «Гинденбург». Хельмут проникся отвращением к самому себе за этим занятием, когда склеивал обрывки воспоминаний, раскрашивал их, дышал на них, сочинял для них тексты. Для этого балагана он уже устарел. Ведь оживить что-то давно ушедшее означало составить и собрать его заново так, чтобы прошлое предстало во всей своей лженаглядности,— и поди тогда пойми, до какой степени прошлое уже стало прошлым. То, что он записал на бумагу о своем отце, было просто надувательством, наглым отрицанием той голгофы, какую являло собой прошлое в сознании Хельмута. Его-то интересовала именно омертвелость прошлого. А вот Клаус Бух явно предпочитал рассказывать о прошлом смачно. Есть ли что-нибудь более несовместимое, чем два эти понятия — «прошлое» и «смачно»? У Клауса Буха все так и раскатывалось звуками, ароматами, шумами; прошлое бурлило и кипело, будто оно было живее настоящего. Сами же вспоминающие превращались в крохотных

человечков, которые, задрав голову, смотрят на небеса, где упоенно и звучно сражаются друг с другом титаны. Хельмут видел только лохмотья, дыры, все выцветшее, заглохшее, омертвелое. В сущности, он давно уже только и делал, что готовил себя к общению с омертвелым. Ничто так не притягивало его, как эта омертвелость. Его целью было перевести уже сегодняшний день — собственное настоящее — в такую стадию, которая была бы как можно более схожа с омертвелостью прошлого. Он бы уже сейчас охотнее всего п р о ш е л. На это он был настроен. Пусть все в нем, вокруг него, впереди него станет таким же обрывочным, как в прошлом. Человек ведь много дольше бывает мертвым, чем живым. Настоящее настолько крохотней прошлого — до смешного, до гротеска. И каждая секунда настоящего, по справедливости, должна была бы уменьшать, сокращать эту разницу, стирать ее до тех пор, пока она не станет неощутимой.

Клаус Бух с женой ели только мясо и салат, причем салат перед мясом. А пили только минеральную. Свой минеральный принцип они пропагандировали так, будто Хальмам предписывалось незамедлительно воспоследовать их примеру. А как они разбирались в минеральной! Уже в кафе на пляже Хельмут отметил про себя, что кофе они не заказывали. Тоже пили минеральную. Но там они ее еще не пропагандировали. Теперь же они дружески журили Хельмута и Сабину за их легкомыслие в вопросах еды и питья. Особенно озабочена была Эль — она-то и высказывала упреки, адресуясь преимущественно к Сабине. Хельмут с Сабиной пили тяжелое и дорогое бургонское. Хельмут выпил пять бокалов. Сабина два. Он чувствовал, как наливается приятной сумрачной тяжестью. Где-то далеко-далеко Клаус Бух жонглировал воспоминаниями и от восторга чуть не свалился со стула, когда Хельмут из чистой вежливости снизошел до замечания, что девица с уложенной косой — та самая студентка с теологического, от следа которой Клаус Бух целый семестр не мог оторвать носа,— была родом из Вормса. Дело в том, что при слове «Вормс» Клаус сразу представил себе ее выговор. Но не успел он мысленно унестись вслед этому чарующему звуку, как опять испустил вопль, который уже испускал в кафе на пляже; на этот раз, поскольку они сидели в одном из старинных подвальных залов «Золотой щуки», вопль прозвучал так жутко, что Хельмут тоже вскочил, и люди за соседними столиками и даже в соседних залах также повскакали со своих мест. Сабина сказала с наигранным изумлением: «Это в первый раз с ним такое». Так оно и было, но она явно и сама в это не верила.

Когда Клаус Бух вернулся, его праздник воспоминаний расклеился. Он и Эль некоторое время молча смотрели, как Сабина с Хельмутом опустошали тарелку с сыром, доедали булочки, пили красное вино. Когда Хельмут уже в третий раз, оторвавшись от еды, увидел расширенные от ужаса глаза Бухов, он сказал, что этот их взгляд напоминает ему один эпизод из жизни великого шведского философа Эмануэля Сведенборга. Как-то, когда ему перевалило за пятьдесят, уже будучи знаменитостью, он сидел один в номере лондонской гостиницы за ужином. Вдруг он заметил в углу комнаты человека, который ему говорил: «Не ешь так много». «И как реагировал философ?» — спросила Эль. С этого момента, ответил Хельмут, он употреблял только одну булочку, размоченную в кипяченом молоке. И очень много кофе. Причем сладкого до приторности. «Ну вот видите,— сказала Эль.— Сведенборг. Клаус, запомни, пожалуйста: Сведенборг. Он меня заинтересовал. Одну булочку в день или только в один прием?» — «Вот этого я, к сожалению, не знаю»,— сказал Хельмут. «А это существенно снижает ценность рецепта»,— сказала Эль. Вид у нее был разочарованный и даже как будто раздосадованный. «Вот вы все запомнили,— сказала она,— фамилию, имя, профессию, национальность, место действия, обстановку, компоненты, а дозировку

забыли. Клаус, ты можешь себе это представить?» — «Хельмут всегда интересовался качеством, а не количеством»,— сказал Клаус Бух. «Но без точной дозировки какое же может быть качество!» — воскликнула Эль. «Не ешь так много»,— сказал Клаус Бух.

Потом он посмотрел на часы: «Боже мой, уже скоро одиннадцать!» Хельмут с удовольствием выпил бы еще один-два бокала этого «Вальд-Ульмера». Но Клаус Бух уже был на ногах, уже расплатился за всех. Пока Хельмут продолжал протестовать против того, что ему не дали оплатить их с Сабиной кутеж, Клаус уже сообщал расписание на завтра. Утром в полседьмого пробежка, в семь теннис, до обеда на яхте, потом обед, потом сон, в три они уже выспятся и тогда снова встретятся с Сабиной и Хельмутом. Конечно, если бы Сабина с Хельмутом согласились в семь утра сыграть с ними пара на пару, это было бы здорово. Хельмут отказался с содроганием, Сабина с улыбкой.

Клаус и Эль охотно взяли бы с собой Сабину и Хельмута до Нусдорфа, но они на велосипедах. Хельмут счел себя обязанным сказать, что они с Сабиной только рады будут пройтись до Нусдорфа пешком. Как только те уехали, он предложил сесть на автобус. Но автобусы уже не ходили. Насупленный и молчаливый, Хельмут потопал рядом с бодрой Сабиной в Нусдорф. К счастью, дул порывистый западный ветер и наполнял шумом деревья и озеро. Этот согласный шум Хельмут любил. К сожалению, Сабина почти беспрерывно говорила. Разумеется, о Клаусе Бухе. Смешно, конечно, что они уже в семь утра играют в теннис, и презирают вино, и не курят, но в общем-то люди интересные. Чтобы не оставлять Сабину в полном одиночестве, он сказал, что и он до некоторой степени рад этой встрече, иначе бы ему сегодня не досталось такого хорошего вина. К тому же он никогда не получал от сигары столько удовольствия, как в тот момент, когда этот Клаус Бух отклонил предложенную ему сигару, заявив, что боится впасть в рецидив. «Это звучало так, будто курить — преступление,— сказал Хельмут,— и от сознания того, что я совершаю преступление, я лишь еще больше наслаждался этой сигарой — дым прямо-таки растекался по моим венам».

Тут он соврал. Когда он заметил, что они наблюдают за его курением с душераздирающим сочувствием, он уже курил вовсе не с таким удовольствием, как обычно.

В течение какой-то секунды Хельмут раздумывал — не предложить ли Сабине быстренько раздеться и броситься в волны, чтобы немножко охладиться. Они уже так делали. Но он побоялся, что Сабина расценит его предложение как результат влияния этого Клауса Буха. Она уже успела упрекнуть его в том, что он все время говорит: э т о т К л а у с Б у х. А как бы она предпочла, спросил он. «Но ведь он же твой друг!» — «Был»,— сказал Хельмут. Как он, Хельмут, имел честь сегодня узнать, с одиннадцати до двадцати трех лет. Для него это уже ровно ничего не значит. «И все равно это смешно — каждый раз говорить э т о т К л а у с Б у х вместо К л а у с».—«Верно,— сказал Хельмут, — даже очень смешно».—«В общем, с этого момента ты говоришь К л а у с»,—сказала она. «Да,—сказал он,—с этого момента я говорю К л а у с». Сабина в шутку пырнула его кулаком в бок. Она явно сочла, что они пришли теперь к согласию. Его это устраивало.

Так как он за ужином много ел и к тому же, наверное, перепил, спал он беспокойно. Сабина рядом тоже то и дело просыпалась. Оба были озадачены тем, что это красное вино не оглушило их сильнее. Хельмут сказал, что он, пожалуй, встанет, ему надо кое-что посмотреть. Он сел за стол и начал писать: «Дорогой Клаус Бух, я подозреваю, что разрастается недоразумение. Может быть, мы уже опоздали. Это было бы ужасно. Я должен вас обоих предупредить. Стоит кому-то проявить ко мне дружелюбие, как я чувствую, что уже не

могу быть таким дружелюбным, каким я был когда-то. Боюсь, что сейчас я кажусь более дружелюбным, чем на самом деле. Иногда я еще жалею, что я не такой дружелюбный, каким кажусь. Когда кто-то по отношению ко мне дружелюбен, я смущаюсь, как любитель скоромного среди вегетарианцев. Отчего я стал таким, я не скажу. Это значило бы искать понимания. А я люблю умалчивать. Мой идеал — спокойно наблюдать, как тебя ложно истолковывают. Соглашаться с недоразумением — вот чему я хотел бы научиться. И хотел бы научиться предпочитать так называемых врагов так называемым друзьям».

Хельмут запнулся. Он сообразил, как смешно было писать такое письмо. Если он хоть одну-единственную фразу в этом письме написал всерьез — значит, ему уже нельзя было его обнародовать. Но остановиться он не мог. Поэтому продолжал: «И знай: мне вовсе не интересно узнать что-нибудь о себе и уж тем более — рассказывать что-то о себе. Поэтому мы не должны больше видеться. Да, это бегство. Я понимаю. Кто встает у меня на пути, тот... Не хочу высказываться. Самое горячее мое желание — все утаивать. Это желание роднит меня с большинством ныне живущих людей. Мы обходимся друг с другом, как броненосцы на море. Правила не очень понятны. Смысл этих правил — в их неразумии. Чем больше кто-то будет знать обо мне, тем больше власти у него будет надо мной, потому-то...» Хельмут остановился. Он отвел душу. Письмо приобрело такой тон, который делал отправку невозможной. Лишь взвинтив тон письма до степени невыразимости, он мог спокойно остановиться. Теперь он с радостью подумал о постели. Он чувствовал, как самодовольство полного отрицания и отрешения разливается по всему его телу. Как хорошо, что человек, который ничего больше не хочет, довольствуется самим собой. Как все становится легко, когда ты один. Не только изнутри. Каждый твой шаг. Вот стакан, вот рука. И движение — не проблема. По этому вот персидскому ковру он мог бы вышагивать вечно. Стоит ему остаться одному, как спадает это напряжение в плечах. А прежде всего — в лице. Черты спокойно переливаются одна в другую. Никаких забот. А приятнее всего рту. Просто делает что хочет. Как только поймет, что мы одни, ведет себя, как пес. То замрет недвижно, то потом вдруг захочет движения, игры. Явно хочет ощущать себя. Ну и прекрасно. Ну и валяй.

4

Всяческими средствами — насвистыванием, разглядыванием крон деревьев, комментарием по поводу церквушки в Бирнау, словно парящей надо всей округой и подставляющей грудь солнцу, как молодая телка,— Хельмут пытался воспрепятствовать тому, чтобы их путь к гостинице «Приозерье» выглядел как паломничество к Клаусу Буху. Он хотел, чтобы это был просто путь сам по себе — и ничего больше. Тот факт, что Сабина проявила железную непреклонность в своем намерении оставить Отто дома, привел его в ужас. Это же был жест подчинения! Он стонал и проклинал тот миг, когда они вчера попались на глаза Клаусу Буху. «Да ну пошли уж, тебе это только на пользу»,— сказала утром Сабина. «Что на пользу?» — спросил он в ответ. «Ну, что тебя разок вытащат».— «Откуда вытащат?» — «Из твоей рутины».— «Рутины! — возопил он.— И это ты называешь рутиной! Этот сплошной град ответственнейших моментов, из которых каждый влечет за собой кучу неотложных решений! Вставать ли, и если вставать, то когда, давай позавтракаем, но чем, одеваться, но во что, пошли на пляж, но в какое место, ложимся, но куда...»

Когда Клаус Бух устремился им навстречу, Хельмут сделал по возможности более сложное выражение лица. Клаус Бух заявил, что раз Хальмы, к счастью, не привели с собой этого четвероногого дья-

вола, надо покататься на яхте. Хельмут взглянул на Сабину, будто желая сказать: «Получила?» Это прекрасная идея, сказал он, но они с Сабиной, к сожалению, не одеты для такой прогулки. «Да чего там — башмаки долой, и готово»,— сказал Клаус. Сабина согласилась без лишних слов. Хельмут дал ей понять, что он удивлен. Неужели она не понимала, как смешно они будут выглядеть на яхте?

Хельмута с Сабиной усадили на днище швертбота, заходившее под ними ходуном. Подсунули им подушки. С вытянутыми вперед ногами — пальцами в небо — они сидели, как мешки с балластом, и еле-еле успевали уклоняться от спортивных движений Бухов. Клаус Бух потребовал, чтобы Сабина сняла и чулки, а Хельмут носки. Иначе они поскользнутся и еще сломают себе что-нибудь. Хельмут протянул Сабине свои носки с выражением торжествующего отчаяния в глазах. Клаус отчалил, Эль взяла управление передним парусом, западный ветер наполнил паруса, Сабина испугалась, Бухи захохотали. У Хельмута было такое чувство, что из них с Сабиной делают дедушку с бабушкой. Клаус Бух на румпеле держался так, будто ожидал грома комплиментов. Хельмут постарался взять себя в руки. Постепенно Сабина пришла к убеждению, что она и не представляла себе, какое это удовольствие — кататься на яхте. Это бесшумное резкое скольжение — нет, фантастика! А пейзаж, Хельмут, погляди — когда смотришь с озера, эти подпирающие друг друга холмы еще красивее, чем когда гуляешь на берегу! Можно было подумать, что она в первый раз на озере.

«Как будто стадо холмов просто расположилось у озера на отдых — правда ведь?» — воскликнула она. Судя по всему, она решила вступить с Клаусом в соревнование на лучшую формулировку. Хельмут тоже ощущал уютную округлость холмов, мимо которых они проплывали. Но сказать об этом он поостерегся. Об этом Клаус Бух сказал. Уж Хельмута он, Клаус, знает. Уж ему-то, Клаусу, не надо говорить, что эти залитые солнцем, набегающие зелеными волнами холмы не оставляют Хельмута равнодушным. В школе Хельмут всегда писал самые прочувствованные сочинения. Но коронный его номер заключался в том, что он самые необузданные словоизлияния зачитывал абсолютно бесстрастным голосом.

Хельмуту понравилось, что им восторгаются в таких неточных выражениях. Пускай Сабина слушает. Он почувствовал, что ноги у него закоченели. День был жаркий. Незаметно он постарался передвинуть ноги на солнышко.

Ничего лучшего ему не пришло в голову, как спросить Клауса Буха о его карьере. Он надеялся, что, заговорив о себе, Клаус Бух обуздает свою манию формулировок. В самом деле, о себе тот говорил не так одержимо-метафорично, как о Хельмуте. Но и то, как он характеризовал себя, Хельмуту тоже было неприятно. От этого типа ничего толкового не дождешься. Совершенно легкомысленно сознался, что с самого начала обнаружил свою абсолютную непригодность— по характеру — для роли воспитателя. Стань он учителем, он не нашел бы в себе потом нужной силы воли, чтобы избежать рутины. Стал бы дремучим обывателем, без всякой своей судьбы. Кис бы, как застойный мочевой концентрат, и все. Без провокации он ничто. Если его что-то не подхлестывает, ему крышка. Вот и стал журналистом. Специалистом по вопросам охраны среды. А в рамках экологии — специалистом по вопросам питания. Выступает по телевизору. Сабина быстренько ввернула, что они практически не смотрят телевизор — читают по вечерам. Клаус позавидовал Сабине с Хельмутом. Читать по вечерам — это здорово. Его просто утешает, что есть еще такие люди. Эль сказала: «А у тебя в «Зеленом перечне» сказано, что читатели — это зеленые легкие человечества».— «Эль! — воскликнул он.— Ты меня наизусть знаешь! Похоже, ты все-таки немножко меня любишь». Из его книжек эта у него самая любимая — «Зеленый

перечень». А что Хальмы читают по вечерам? «Де Сада»,— быстро сказал Хельмут, прежде чем Сабина успела открыть рот. «И Мазоха тоже»,— огрызнулась Сабина. «Хороши голубчики!» — сказал Клаус. Хельмут подтвердил: «Хороши».— «К повороту!» — крикнул Клаус. «Готово!» — крикнула Эль. «Поворот!» — крикнул Клаус. Сабина и Хельмут пригнулись.

«Знаете, Клаус,— сказала Сабина (Хельмута злило, что она все время называла Клауса Буха Клаусом; он называл Эль только «фрау Бух», а когда супруг в приказном порядке велел ему говорить ей «Эль», он тем более стал избегать называть ее по имени),— Хельмут уже бог весть с какого времени собирается написать две книжки, но школа его попросту сжирает; теперь его программа свелась к минимуму — к одной книжке; но и ее приходится все время отодвигать».— «Знаешь что, Эль,— сказал Клаус,— придется нам преподнести Хальмам наши непритязательные книжечки».— «О да,— сказала Сабина.— Хельмут, может, тебя это вдохновит и ты все-таки раскачаешься».

Хельмут подумал, что пусть если это и своего рода извращение, все равно нет ничего слаще, как воочию убеждаться в том, что даже собственная жена не имеет о тебе ни малейшего представления. Он, разумеется, кивал в ответ на все, что говорил Клаус, что говорила Сабина, и при этом в знак уважения к этим горним регионам духа высоко поднимал брови. Элена Бух, стало быть, тоже пишет. (Надо же!) О травах. А у Клауса уже несколько публикаций. О питании вообще. (А-а.) И уже семьдесят пять тысяч людей питаются по его книгам. (О-о!) Но он себя вовсе не переоценивает. Это не его заслуга. Он сформулировал то, что давно уже назрело. Книжка Эль о травах намного ценнее и потому гораздо менее популярна. Эль запротестовала: «Во-первых, я бы никогда и не взялась за эту книгу, если бы он не заставил. А во-вторых, я вовсе ее не написала, я просто перевела пастора Кюнцле на современный язык — то есть я везде, где у него стоит «бог», поставила «природа». Вы, конечно, знаете его книжку «О травах пользительных и поганых»? Не знаете?!» Ну так вот, из-за того-то Бухи и ездят сюда третий год подряд — чтобы лучше понять пастора Кюнцле. Понять духовно, так сказать. Пастор Кюнцле вдруг стал им важнее всяких Византий и Равенн. А Клаус так влюбился в эти места, что собирается написать большую книгу о Боденском озере. Название: «Дай из тебя испить Европе».

Клаус Бух заявил, что эти муляжи вон там тоже давно пора ликвидировать. Он указал на свайные постройки в Унтерульдинге, мимо которого они проплывали. «Почему же муляжи?» — спросил Хельмут. Насколько он помнит, он читал в путеводителе, что эти постройки открыто и честно ведут свою родословную от года 1929-го или 1930-го. «Муляжи,— заявил Клаус.— Там вообще никогда не было свайных построек, а эти подделки стоят так, будто они всегда там стояли». Хельмут спросил, так ли уж Клаус уверен, что здесь или в соседних местах, скажем в Гольдбахе и Зюсенмюле, никогда не было свайных построек. «Никогда и нигде,— заявил Клаус.— Ни на озере, ни в озере здесь никогда не было свайных построек».— «Дорогой Клаус Бух,— спросил Хельмут со всей сердечностью,— значит, в каменном веке здесь не было свайных построек? И древние кельты не жили преимущественно в свайных постройках? И дикие аллеманы не снесли их все подчистую?» Вообще-то Хельмут не имел обо всем этом ни малейшего представления. Его просто раздражал тон Клауса Буха. «О да, да-а! — саркастически воскликнул Клаус Бух.— Точь-в-точь по тому авантюристу, который все это выдумал, уже сорок лет как заработал на этом профессора и посмеивается себе в кулак, потому что наверняка давно стал миллионером благодаря своим идиотским и потому столь успешным выдумкам. Конечно, во мне говорит чистая зависть, не скрою. Чего бы мне хотелось — это такой авантю-

ры, которая бы прочно коренилась в земле, вела бы, так сказать, к реальной жизни». — «Ты этого и добился! — засмеявшись, сказала Эль.— Семьдесят пять тысяч человек, питающихся по твоим книжкам,— разве это не реальность?» Какую-то долю секунды он смотрел на Эль с ужасом — язык его обрабатывал изнутри верхнюю губу и толкался в нее, будто она его не пускала,— а потом засмеялся еще громче, чем Эль. Вот что значит, заявил он, жениться на такой черствой желторотой девчонке. Его первая жена никогда бы не проявила такой бесчувственности — принять всерьез ироническое замечание, отпущенное им в свой адрес, да еще против него же и повернуть. Герта допускала много промахов, но такого никогда. Она, к сожалению, духовно абсолютно не развивалась и за ним, разумеется, этого права тоже не хотела признавать; пришлось с ней разойтись, если он не хотел зачахнуть, как фикус в тесном горшке. Все эти разъяснения Клаус Бух адресовал Сабине. А потом вдруг спросил у Эль каким-то жутко серьезным, прямо-таки безнадежным тоном: «Ты меня разлюбила?» Она засмеялась и потянулась к нему, чтобы поцеловать. Он быстро повернул голову так, чтобы поцелуй пришелся на губы. После этого он их старательно облизал, чтобы уж совсем ничего не пропало от поцелуя. А Хельмут охотнее всего смотрел бы на одну Эль. Ему приходилось то и дело осторожно переводить взгляд, потому что иначе остальные заметили бы, что он просто наглядеться не может на девчонку. Переводить взгляд — на это он был мастак.

Ноги у него, хоть и лежали на солнышке, все еще были холодные. Собственно говоря, не целиком ноги. Только пятки. Но уж они были такие холодные, будто лежали в снегу. Надо бы подвигаться. Они с Сабиной сидели как чета кондитеров, в честь золотой свадьбы соблазнившаяся на слишком спортивную водную прогулку. Выглядели они, конечно, ужасно смешно — на днище яхты с подушками под задом, с вытянутыми босыми ногами. Корявые ногти. Дико покрасневшая кожа.

Расставание с детьми поначалу ему просто печенки сдавило; сообщив это, Клаус Бух подставил лицо ветру и сощурил глаза, так что золотые ресницы смежились, будто в предвкушении отчаянной авантюры. Его жена, фанатичная мещанка, так настроила против него детей, что они воспротивились каким бы то ни было контактам с ним. К счастью, тут они с Эль абсолютно единодушны: заводить детей — ни в коем случае. Спать с женщиной только для того, чтобы производить детей,— это уж квинтэссенция мещанства; скажешь, не так? Он уверен, что Хельмут, который с детства был мастером на всякие фортели, развил в этом деле особую культуру, угрюмо-эстетическую, с богатым ритуалом. К счастью, нынче такие времена, что каждый может управляться по своему фасону. А вот его первая жена все артачилась. Человек, конечно, ошибка природы, но обыватель — это ошибка, возведенная в программу. Они с Эль только и ждут того дня, когда смогут окончательно распрощаться с этой страной мещан. Еще одна типовая жилая казарма — и они срываются в открытое море. Курс — Багамы. Немцев уже не исправишь. Пример? Его первая жена, поклонница Пия XII. С четырнадцати лет. После паломничества с отцом в Ватикан в святой год [1]. Удостоилась лицезрения папы. С тех пор так и не очухалась, бедняжка. Самая любимая книга — письма Рихарда Вагнера к Матильде Везендонк [2]. После нее — «Гимн Бер-

[1] Святой год — объявляемый католической церковью каждые 25 лет год паломничества в Рим. В понтификат папы Пия XII (с 1939 по 1958 г.), известного своим ярым антикоммунизмом, святой год приходился на 1950 г.

[2] Трагическая любовь Вагнера к жене своего друга и мецената Матильде Везендонк послужила одним из стимулов к созданию оперы «Тристан и Изольда» (1857—1859).

надетте» Верфеля[1]. «А сама уже в понедельник утром знала, какую блузку наденет в пятницу». Эль посмотрела на Клауса с сочувствием. Сабина сказала как можно ироничней: «Позавидовать можно».— «К повороту!» — крикнул Клаус. «Готово!» — крикнула Эль. «Поворот!» — крикнул Клаус. Сабина и Хельмут пригнулись.

Вдруг Эль сняла майку, сложила ее, сказала, что при таком ветре Клаус один управится, и легла на баке. Используя свой профессиональный взгляд, Хельмут косился на ее груди. Они выглядели так, будто их тоже распирало любопытство. К счастью, Клаус Бух продолжал рассуждать как ни в чем не бывало. Есть ли у Хальмов дети? Хельмут спросил: «Сабина, есть у нас дети?» Сабина сказала, что, если спросить обоих их детей, есть ли у них родители, они, вполне возможно, ответят: «Родители?! Боже упаси, сроду не было!» А Клаус Бух, оказывается, когда увидел их собаку, подумал, что они бездетная пара. «А что же вы тогда не заведете собаку?» — спросила Сабина. Они, заявил Клаус Бух, избегают всего, что могло бы ограничить их независимость. Они живут так, чтобы, если им, к примеру, утром взбредет в голову полететь на Тенерифе, они могли в обед выйти из своего домика в Штарнберге, а вечером приземлиться на аэродроме Лос Родеос. Иначе он просто будет чувствовать себя запечным тараканом. А это чувство не из приятных. В школе он часто чувствовал себя таким тараканом. Хельмут тогда здорово его помучил. Из-за того, что у его родителей был красивый дом на склоне холма и сад со сливовыми деревьями и с зарослями ежевики, Хельмут наотрез отказывался бывать у них и даже подговаривал других одноклассников — причем иной раз небезуспешно — не ходить вместе с Клаусом Бухом из школы. «Он был классовым борцом»,— сказал Клаус Бух. «С тех пор образумился»,— сухо сказала Сабина. «Жаль»,— заявил Клаус Бух. В ту пору он, Клаус Бух, естественно, не мог понять затаенной ненависти Хельмута к буховским владениям. Он думал, эта ненависть направлена лично на него. Если бы в известном мальчишечьем соревновании ему не удалось доказать, что он по этой части может потягаться с любым другим, он бы в самом деле мог отчаяться. О господи, что бы с ним стало, если бы не эти состязания! Это был для него практически единственный шанс реабилитироваться. Так как ростом он был ниже большинства из них, они, конечно, считали, что они его по всем габаритам обошли. Но он их здорово загнал в угол. Помнит ли еще Хельмут ту историю на стройке сберкассы, на верхнем этаже? Задание: кто сумеет нацелиться прямо в окно под крышей? И кто тогда первый сумел? Коротышка Клаус Бух! Вот так! Всем этим верзилам или давления не хватало, или они угол наводки не выдерживали. Такую параболу с одной математикой не выведешь. «Но вот уж над кем мы тогда похохотали, так это над Хельмутом!» — в полном упоении воскликнул Клаус Бух. Хельмут содрогнулся, услышав этот тон. «Наш Ха-Ха,— продолжал Клаус Бух,— выстрелил не в том направлении! Из дьявольского тщеславия он нацелился круче крутого и весь заряд выпалил себе в лицо!»

Клаус Бух хохотал до упаду. Сабина только вскрикнула в кульминационный момент. Элена Бух смеялась своим звонким всепроникающим смехом. Хельмут заставил себя смеяться громче всех и дольше всех. Удалось.

Эль, посмеявшись, сказала: «Ой, какая прелесть». Сабина сказала: «Вы были та еще банда». Хельмут опять изобразил оперно-звучное «ха-ха-ха-а-а!». Клаус продолжал повторять наиболее драматические детали. Сабина просто не могла не удивляться, что Клаус так хорошо все помнит. «Правда, Хельмут?»

[1] В романе австрийского писателя Франца Верфеля «Гимн Бернадетте» (1941) в основу сюжета положена легенда о явлении богоматери французской крестьянской девушке Бернадетте у источника неподалеку от города Лурда. Католическая церковь объявила в 1858 г. этот источник чудодейственным, а Лурд стал местом паломничества для жаждущих исцеления.

— Поздравляю, Клаус,— сказал Хельмут,— как видишь, Сабина уже верит в то, что все на самом деле так и было.

— А разве не было? — спросил Клаус.

— Что-то не припоминаю,— ответил Хельмут и сам разозлился на себя за свой бесцветный тон.

— О, ну это очень жаль, Хельмут,— сказал Клаус Бух,— отрекаться от таких трогательных моментов детства...

— Видишь ли, я просто ничего этого не помню,— сказал Хельмут.— Не могу сказать, так это было или не так. Ты можешь рассказывать все, что хочешь,— я могу только слушать и удивляться. Конечно, тебе тогда с нами нелегко приходилось. Ты, видимо, чувствовал себя слишком одиноким. С того момента, как у тебя появился гоночный велосипед. Все это подстегнуло твою фантазию. В общем-то абсолютно естественный процесс. Каждый ищет компенсаций.

Сабина критически зевнула.

— Ну нет, насчет этого пункта я еще с тобой поспорю,— сказал Клаус Бух.— Не сейчас, конечно. Но то, что ты самые священные моменты нашего детства пытаешься представить каким-то бредом,— этот номер у тебя не пройдет. Такие искорки детского душевного пламени нельзя просто так вот растаптывать.

Эль заявила как бы с неких более трансцендентных высот: «Скользить по воде и воскрешать воспоминания — это жутко здорово. Я даже не представляла себе, как это здорово сочетается — вода и воспоминания. Нет, в самом деле, Хельмут,— сказала она, шутливо ткнув его кулаком в плечо,— эти прелестные миниатюры всплыли сегодня в сознании Клауса, потому что вы здесь. Я до сих пор ничего не знала об этом мужском рукоделии. Да и он сам тоже не знал. Иначе бы он мне рассказал. Он мне все рассказывает. То, что он рассказал сегодня,— это все по вашей подсказке. Вы были для него вроде суфлера. А теперь вы хотите снова у него все отнять? Вы что, тоже садист?» Молниеносное скрещение взглядов — она и Клаус. А потом: «Извини, милый, я не то хотела сказать. Я нечаянно».— «Да уж ладно,— сказал Хельмут,— пусть тешится своим кукольным театром». За это Эль поцеловала его в висок. Сабина сказала: «Don't spoil him» [1].— «Нет, ребята,— воскликнул Клаус Бух,— это просто прекрасно! Господи, кто бы мог подумать, что жизнь может быть такой прекрасной! А самое прекрасное в ней, я считаю,— то, что она могла ведь быть и другой. Надо было что-то сделать, чтобы она стала такой прекрасной, как в эту минуту. Эта минута, друзья мои,— верх и предел! И если кто-нибудь на этой яхте еще раз скажет другому «вы», он полетит за борт. Согласно корабельному уставу, приказам капитана следует подчиняться беспрекословно. К повороту!» — «Готово!» — «Поворот!»

Из-за перемены курса ноги Хельмута опять оказались в тени. Он передвинул их на солнышко. Пятки так и остались ледяными.

Когда они причалили, Сабина заявила, что она просто не представляла себе, насколько приятна такая вот прогулка на яхте. Когда смотришь на яхту с берега, то кажется, что на ней вообще ничего не происходит. Она, Сабина, сейчас как пьяная. Но ощущение самое приятное. И легкость и тяжесть одновременно. И как она ощущает свою кожу! Так она ее вообще никогда не ощущала. У нее такое чувство, будто ей сделали массаж на Олимпе и теперь она, становясь все тяжелее и тяжелее, возвращается на землю. «Привет от массажиста Аполлона»,— сказал Хельмут. Но он согласился с женой в том, что действие такой водной прогулки на новичка совершенно необыкновенное. У него такое чувство, будто его основательно обработали. Непонятно только, кто или что. Аполлон наверняка не прикладывал к нему рук. Но какое-нибудь другое божество вполне могло. Во вся-

[1] Вы мне его испортите *(англ.)*.

ком случае, он от всей души благодарен Эль и Клаусу Буху за то, что они так мужественно терпели его и Сабину на своей яхте, и он хотел бы пожелать обоим приятно провести остаток отпуска. Но этот номер с Клаусом Бухом не прошел. Прощаться?! Что?! Что Хельмут сказал?! А-а, понятно, шутка в стиле нашего Ха-Ха. Так ведь?

— Он же садист, ты слышал,— сказала Эль.

— Иногда он перебарщивает,— сказала Сабина.

— Я вижу, мы все единодушны,— сказал Клаус.— Нет, братва, я даже перепугался. «Мы хотели бы пожелать обоим приятно провести...» Я сейчас пущу в ход руки! — И он полушутя-полусерьезно стал наскакивать на Хельмута с кулаками.

— Ну, хорошо,— сказал он потом,— раз Хельмут совершенно справедливо считает, что, когда я наблюдаю за его едой, мне хочется беспрерывно говорить ему: «Не ешь так много», мы будем встречаться только после ужина...

— Ой, Клаус, постой,— вскрикнула Элена,— как это звали того, с булочками?

— Сведенборг,— сказала Сабина.

— Сейчас я сама все запишу,— сказала Эль.— У Клауса не память, а сплошная дыра.

— Я бы попросил! Все-таки она как решето! Большие комки задерживаются,— сказал Клаус.

— Тогда не беспокойся — Сведенборг задержится,— сказал Хельмут.

— Значит, в полдевятого,— сказала Эль.

Хельмут поволок Сабину за собой.

— Мы за вами зайдем! — крикнул Клаус Бух. Это прозвучало как угроза.

— Да-а! — крикнула Сабина. Это прозвучало как обещание.

Хельмут с Сабиной потопали домой. «Вот распрощались с этими Бухами — и сразу начались будни, сумерки, камин потух».— «Не пори ерунду».— «А что, скажи честно, разве не так?» Вместо ответа Хельмут разразился проклятиями. Напустился на Сабину — почему она не помогла ему отразить натиск этого чемпиона яхт и диет? Сабина разыграла крайнее удивление. Разве не сам Хельмут только что восхищался проведенным днем? Он же ведь не стал бы этого делать, если бы Бухи были ему неприятны? «Почему же не стал бы?» — возразил Хельмут. «Впрочем, да,— сказала она.— Это на тебя похоже».

5

Хельмут так задергал Сабину, что они вышли из дому вовремя. В двадцать пять минут девятого они уже стояли у садовой калитки. Рядом с мусорными ведрами. Стало быть, вечером в понедельник. За одиннадцать лет Хельмуту ни разу не удалось вынести мусорные ведра. Всякий раз, как он выходил, они уже стояли тут — фрау Цюрн вынесла. Он бы с удовольствием хоть разок вынес цюрновские ведра и свое. Ему было бы приятно проявить услужливость.

«И куда спешил,— сказала Сабина.— Теперь стоим тут, как сиротки». Он не мог объяснить ей, что ни в коем случае не хотел впускать Клауса Буха и Элену в дом Цюрнов. Если бы они переступили порог этого дома, он бы никогда больше не смог проводить здесь отпуск. Почему — он сам не знал. Оттого и с Сабиной не мог об этом говорить. Чтобы извиниться за свою, как выходило, бессмысленную спешку, он, будто заигрывая, поскреб ей большим пальцем ложбинку на затылке. Плечи у нее приподнялись, голова запрокинулась, брови уползли вверх, все тело стало похоже на блаженно изогнувшееся S.

Бухи подкатили, выскочили из машины, приветствовали их так, будто не виделись годы. В доме лаял и скулил Отто. «Бедняжка»,— сказала Эль. «Да уж точно»,— заметил Хельмут.

— Клаус, если бы ты был поосмотрительней со своими руками, мы могли бы взять его с собой,— сказала Эль.

— Пожалуйста,— сказал Клаус,— я могу надеть перчатки.

— Из-за тебя бедный пес должен целый вечер...

— Пожалуйста,— прервал он ее,— пожалуйста, выпустите его.

— Нет-нет! — воскликнула Сабина.

— Слово не воробей! — закричал Хельмут, помчался к дому и вернулся вместе с прыгавшим от радости Отто.

— Отто! — крикнула Сабина.— Фи, Отто, фи!

Хельмут поздравил Клауса с таким актом мужества.

Весьма быстро Хельмуту удалось направить всю компанию в погребок. Он сознался, что ни о чем другом и не помышлял. Перспектива провести вечер без вина его просто парализует, сказал он.

— Значит, нас тебе недостаточно,— сказала Элена.

Хельмут помедлил, слишком долго задержал на ней взгляд и сказал, спокойно покачав головой: «Недостаточно».

— Ну, выпили! — примирительным тоном сказала Сабина.

Хальмы пили вино, Бухи минеральную. Для Хельмута было загадкой, как могли Бухи в последующем разговоре быть такими оживленными. Он всегда выпивал первый бокал довольно быстро, потому что знал: если он чего-нибудь не выпьет, у него не будет ни малейшего желания раскрывать рот.

Вдруг Клаус Бух заорал: «Нет!» Сабина сказала: «Ну вот, видишь?» Хельмут прикрикнул: «Отто, down!»[1] Клаус Бух стоял, сжимая одну руку другой так, будто был тяжело ранен. Эль сказала: «Ах, Клаус, пожалуйста!»

Клаус, все так же сжимая руку, возразил: «Да, но у него такой холодный мокрый язык — ты себе не представляешь. И всегда одного меня. Почему всегда одного меня? Вы это можете понять?»

— Нет,— сказал Хельмут.

— Теперь всегда будет оставаться дома. Все,— сказала Сабина. И — под стол, Отто: — Злюка.

— Бедный Отто,— сказала Эль.— Его просто жаль.

— Кого? — вскричал Клаус.

— И тебя тоже, милый,— сказала Эль.

— Всего на свете жаль,— бодро провозгласил Хельмут.

— Хорошо,— сказал Клаус,— я положу руки на стол, и, пожалуйста, если кто заметит, что я невзначай опустил руку, пусть сразу мне скажет.

Хельмут заметил, что у Клауса Буха при его почти хрупкой фигуре суставы были на редкость массивные. Эти предплечья. Намного мощнее, чем у него. Ладони шире. Пальцы сильнее. Не могло быть ни тени сомнения, что и все прочее у него было крупнее и действенней. Тем не менее Хельмуту показалось, что Эль не прочь была и немножко поиронизировать над его культом физического здоровья.

И каждый раз, когда она смотрела на мужа лишь самую чуточку менее призывно, он тут же говорил упавшим голосом: «Ты меня разлюбила?» Она мгновенно складывала губы для поцелуя и протягивала их ему. Хельмут не мог отделаться от впечатления, что она просто протягивает губы, неважно куда — на кого попадет. Но стоило посмотреть на загорелые руки их обоих и на руки Хельмута и Сабины, лежавшие на столе, как сразу было ясно, кто тут с кем.

Хельмут почувствовал, что сегодня сигары и вино доставляют ему гораздо меньше удовольствия, чем вчера. Он испытывал опасение, что не сумеет отстоять свои привычки против этой пары. Они его непрерывно атаковали. Оба. Они его доставали. Стоило посидеть с ними за одним столом — и ты чувствовал себя опровергнутым. Тем временем Эль взяла руки Клауса Буха в свои. Она его, можно сказать, целиком взяла. Он сник где-то у нее под мышкой, поло-

[1] Здесь: лежать! *(англ.).*

жив голову ей на грудь. Хельмут и Сабина одновременно заметили, что Клаус вот-вот заснет.

— Тише,— сказала Сабина,— он спит.

Эль объяснила, что Клаус последние несколько дней регулярно бегал на спортивной площадке около пристани — по пять кругов каждое утро; она засекла время: высший результат — 5 минут 11 секунд; на этом основании Клаус должен был бы считать себя просто гениальным бегуном; 2000 метров за 5 минут 11 секунд — у русских это, например, лучший результат года; но сегодня утром один ужасный такой старый физкультурник сказал ему, что в дорожке не 400 метров, как полагается, а только 300, и, значит, Клаус пробегал каждый раз не 2000 метров, а только 1500. Она этого старого циника убить была готова. Не мог эту чушь про себя подержать.

Клаус пробормотал: «Хельмут, подскажи, пожалуйста, как этот долдон-физик всегда орал про нижний этаж?» Хельмут этого не помнил.

— Черт, Хельмут,— простонал Клаус, и лицо его исказилось от боли,— ну этот долдон-физик, который всегда орал: «Нижний этаж принадлежит мне!» Что-то вроде этого. «Нижний этаж — это моя сфера!» Или так. Мне нужна точная фраза. Если нет аб-со-лют-но точной фразы, то и ничего нет. Одно слово не так — и фраза глуха, мертва. А как только это слово вспомнишь — «Сезам, отворись!» — и долдон стоит перед тобой как живой, орет, и ты тоже стоишь как живой — все сразу ясно. Ну помоги мне, Хельмут, пожалуйста!

— Ну помоги же ему, пожалуйста,— сказала Эль,— неужели ты не видишь, как он страдает, он уже совсем посинел от недостатка кислорода в памяти. Хельмут!

— Весь нижний этаж принадлежит физике,— автоматически сказал Хельмут.

— Да-а, черт, да-а! — завопил Клаус Бух, вскочил, бросился Хельмуту на шею и продолжал скулить: «Да-а, да-а!» И блаженно повторял: «Весь нижний этаж принадлежит физике». Хельмут посмотрел через плечо Клауса Буха на Эль. Он хотел дать ей понять, что лишь она могла вызвать из тридцатилетней глубины фразу давно покойного учителя физики. Клаус отвалился на свой стул и удовлетворенно промурлыкал: «Позови официанта». Хельмут, охваченный форменной паникой, проревел: «Официант! Посчитайте все вместе!»

Клаус прикрыл оба глаза согнутой в локте рукой. Он изобразил человека, не желающего быть свидетелем катастрофы. Эль сказала — и преувеличенно нежно, прямо-таки по-матерински погладила своего Клауса, — что этим Хальмы жестоко, жестоко обидели ее Клауса. При этом она совершенно неожиданно впала в самый кондовый швабский диалект. Клаус вздрогнул и заткнул уши. А Эль еще усилила гротескный тон швабского выговора, сообщив, что для ее Клауса просто мука слышать, когда она передразнивает его родной диалект. Клаус Бух вскочил со стула. Тогда Эль, перейдя вдруг на столь же гротескный баварский диалект, сказала, что Клаус «малахольный псих» и чтобы он сейчас же прекратил, и если бы у нее тут было под рукой фортепьяно, она бы его живо успокоила. Клаус стоял теперь прямо перед ней с таким видом, будто хотел ее загипнотизировать. Она сказала: «А ну не смотри так, малыш!» — и провела ему рукой по глазам. Он спросил: «Ты меня разлюбила?» Она поцеловала его. Можно было идти.

Бухи попытались соблазнить Хельмута и Сабину на теннис. Эта атака была успешно отбита. Хорошо, тогда устроим совместную прогулку по окрестностям. В восемь («В девять!» — взвизгнул Хельмут) Бухи будут у Хальмов. На машине. Поскольку Хальмы ездят сюда уже одиннадцать лет, они должны хорошо знать окрестности, так что пусть Хельмут придумает за ночь что-нибудь подходящее.

Когда Хельмут очутился наконец в постели, в их комнате на нижнем этаже за удивительно прямыми и стройными решетками, у него опять стало радостно на душе. К счастью, Сабина сразу схватилась за своего Вагнера, «Моя жизнь». К счастью, она не попыталась погладить его. Он лелеял надежду, что она лежит рядом с ним так же, как он рядом с ней. Это был бы подвиг. Со стороны их обоих. Будь он уверен, что Сабина сейчас так же тверда, как он, он бы сказал ей, как приятно лежать вот так в совершенно изолированной комнате. С удовольствием сказал бы, какой это был бы ужас — лежать сейчас под одной крышей с Бухами. Но тогда Сабина спросила бы почему. И тогда, чего доброго, обнаружилось бы, что Сабина вовсе не так тверда, как он.

Хельмуту вспомнилась одна ночь. Это было двенадцать лет назад, во время их последнего отпуска в Италии. В гостинице в Градо. Они только было потянулись друг к другу, как из соседней комнаты послышался такой грохот, будто по кровати начали бить гигантским молотом. Хельмута бросило в жар, в пот. И было до ужаса стыдно. Он сдавался, пасовал. Вот так, наверное, чувствовали себя люди у позорного столба. Тот, кто не удовлетворял соответствующим заповедям этого века и этого общества, практически пожизненно находился у позорного столба. Об этом заботилась пресса. Словом и снимком. Бежать, бежать. Но куда? Он не мог отделаться от ощущения, что стоит у позорного столба. Вот уже несколько месяцев он не чувствовал себя расположенным соответствовать своим возможностям. То, что люди вокруг него публично предписывали друг другу, как часто надо доказывать свою дееспособность, вызывало у него лишь омерзение и тошноту. Стоило ему ощутить соответствующую потребность, как мысль об этой кошмарной пропаганде в прессе сразу его охлаждала. Ничто ему не казалось тогда таким невыносимо смешным, как все действия, определяемые влечением или направленные на его удовлетворение. И он подозревал, что это прямо связано с повсеместной практикой публичной рекламы этих действий. Может быть, это так навсегда и останется для него своего рода открытой раной. В школе он громогласно повторял публичную заповедь стимуляции наслаждения. Разве он не считался человеком современных взглядов? Это была сфера, в которой он еще сохранял свое инкогнито. Он считался человеком очень современных взглядов. Наедине с собой, однако, он ссылался на свободу совести. Не обязан же он был ту видимость, которую создавал в школе, осуществлять на практике в своей домашней, интимной жизни! Разве заповедь стимуляции наслаждения в свободное от работы время не предполагала, что достижения каждого в этой области — его личное дело? Как в школе: оценки каждого — это его оценки. Он считал, что имеет право искоренять бесчувственность, как того хотело общество, а дома стараться искоренять чувственность, как того хотел он. Да не будут подвергнуты сомнению «Франкфуртер альгемайне», «Бильд», парламент и школа! Как же иначе люди смогли бы выносить жизнь — без миражей! Однако он убедился, насколько опасно отдаляться от царства миражей хотя бы на один миллиметр, хотя бы в порядке пробы. В ту же секунду ты уже у позорного столба. Стало быть, скорей назад, на любовный, развлекательный фронт, фронт миражестроительных работ. Но снова и снова этот соблазн отдалиться. Кроме Сабины, никто не должен был этого заметить. А ей-то пришлось бы даже быть соучастницей — иначе как же он вообще убежит. В школе он продолжал бы и дальше участвовать в создании требуемых миражей. А дома позволял бы себе расслабляться. Состояние, которого он в результате достиг бы, он уже окрестил «кровавой апатией». Это было его излюбленное настроение. Находясь в нем, он ощущал всю свою тяжесть — с удовольствием. Эту несколько потную тяжесть.

С удовольствием. Тяжелый, потный и бледный. Цвет он тоже ощущал с удовольствием. Трупный цвет. С удовольствием. Чувствовать себя тяжелым потеющим трупом — его излюбленное настроение, кровавая апатия. Но как привлечь на свою сторону Сабину? Она, наверное, все еще жила под неослабным давлением миражей. Ей надо было бы дать почувствовать иную, противоположную возможность. Но она, конечно, скажет — это роскошь. Она же фанатик социальных обязанностей — вернее, обязанности создавать социальные миражи. А он уже давно заметил за собой, что в его жизни направляющей силой было отвращение. Ему-то хорошо. У него есть отвращение. Позиция позади позиции. Есть особое наслаждение в том, что тебя не понимают. Обман — разве это не суть всего ныне заповедуемого? Не цель всей индустрии миражей? Разве он, с его изощренной способностью к обману и любовью к обману, не был живым воплощением того, чего желали нынче все и вся? Тоже мне — одиночество, роскошь, изоляция! Да он — выразитель! Он вообще — наитипичнейшее типичное явление! Он прототип! И прекрасно. Вжился ли он в это состояние, упивался ли он ею сейчас, своей кровавой апатией? Почти. Да, почти.

К сожалению, это божественное состояние было очень чувствительно к температуре. Надо, чтобы было тепло. Непременно должно быть тепло. Малейшее холодное дуновение — и все летит к черту. Его раздражало, что ноги все еще не отогрелись. Надо, чтобы ничто неприятное тебя не отвлекало,— и тогда ты у цели. Он не мог понять, почему ноги никак не отогревались. Прямо ныли от холода. Он надел носки. Сабина, все еще читавшая про вагнеровскую жизнь, спросила, в чем дело. «Ноги стынут»,— безжалостно ответил он. Но носки скорее охладили его ноги, чем согрели. «Черт бы побрал эту синтетику»,— сказал он, сорвал носки и достал шерстяной пуловер. Закутал в него ноги. Когда он касался одной ноги другой, он чувствовал, что обе они теплые. Но в каждой ноге отдельно он все-таки ощущал холод, это было мучительно.

Сабина отложила книжку и протянула к нему руку. Он слабо ее пожал и попробовал вернуть Сабине. Но она тут же ее опять протянула. «Ну пусти ее к себе!» — сказала она тоном, который, по его понятиям, ей уже не подобал. Но ничего не поделаешь — рука осталась лежать на его плече. Свою руку он убрал. Сейчас бы незаметно перевернуться, чтобы избавиться от ее руки, которая ему мешала. Но Сабина догадалась о его намерении. Она явно вся сосредоточилась на этой своей руке, лежавшей у него на плече. Это был ее поплавок, сигнализировавший, клюнул он или еще нет. Но он не клюнет. И вообще — что это ей вдруг взбрело в голову снова все начинать. Он все-таки надеялся, что счастливо достигнутое пробное состояние было достигнуто не совсем без ее согласия. Если она и дальше будет продолжать эту ручную агитацию, придется спросить, что это за рецидив с ее стороны.

И в самом деле, ничего другого не оставалось. Она не унималась. Если он ничего не скажет, она настроится на дальнейшие успехи. А если она вскормит в себе надежды, ему придется их оплачивать. Наверное, надо начинать назревший разговор. «Ну что это ты вздумала, Сабина»,— сказал он спокойно. В ответ он услышал воркующие звуки, которых предпочел бы не слышать. За окном сверкнула молния и ударил гром. Ночная гроза. Только этого не хватало. Она, наверное, сочла эту грозу добрым предвестием. Или, чего доброго,— если она уже слишком завелась — вызовом. Но Сабина же не была вагнерианкой. «Ну, тогда мне придется спросить Клауса, не хочет ли он переспать со мной», — сказала она. О господи, дура, подумал он, уж молчала бы. Совсем медленно и как можно мягче он сказал: «Тсс!» И погладил ее по голове. Только по волосам. Недвусмысленно успокаивающе. Отвлекающе. Вдруг за окном хлынул

дождь. Ну вот и решение вопроса, счел он. Совсем медленно отвел руку. Подтянул колени, уткнул в них подбородок, сжался насколько возможно. У него было такое чувство, что последние годы он прожил один. Сабина, думал он, ты слышишь меня? Он обидел ее, только что. Он уже не мог пошевелиться. Окаменел. От ужаса. Все-таки они были настолько близки друг другу, что каждую обиду, причиненную ей, он ощущал так, будто она была причинена ему. Лишь много позже, когда он наверняка убедился, что Сабина заснула, окаменелость прошла. Теперь и он надеялся уснуть.

Ему снилось, что он ворочается в гробу и не может отделаться от ощущения, что, несмотря на совершенный мрак, одной стенки гроба не хватает. Ощущение было так сильно, что рука его начала двигаться, искать на ощупь то место, где не хватало стенки. В самом деле, стенки не было. Тотчас же он уже более судорожно начал нащупывать рукой верх. Крышка тут. Тогда рука его снова стала шарить в том направлении, где не было стенки. И нащупала ступень. Он с усилием приподнялся на локтях и вывалился из гроба на ступеньку. Но не оставаться же так. Он перекатился, сам того не желая, по ступеньке и свалился вниз. Тут ему стало ясно, что он лежит в зале. из которого можно выйти. Этого он и хотел. Он знал, что выйдет на дневной свет, к людям. И знал, что лишь при одном условии: если хоть один человек его узнает — все кончено, навек. Он проснулся от страха и подумал: «Новая жизнь».

6

Без пяти девять Хельмут и Сабина стояли под навесом крыши и наблюдали за толстыми шмелями, протискивавшимися в нежные чашечки цветов. Хельмут потешался над пчелиными корзиночками. Ему хотелось вызвать улыбку на лице Сабины до прибытия Бухов, но не удалось. Она улыбнулась, лишь когда из-за поворота выкатил красивый, серебристый, подержанный двухдверный «мерседес-230». Дамам пришлось устроиться на тесноватом заднем сиденье. Хельмут сказал, что ему приятно сознавать, что дамы плотно упакованы. «Опять де Сада ночью начитался,— сказал Клаус Бух.— Потому и своего четвероногого палача не оставил дома». Если он, предупредил Клаус, тяпнет его за руку в тот момент, когда она будет переключать скорость, катастрофа обеспечена. «Наконец-то катастрофа»,— сказал Хельмут. «Мы его оставим»,— сказала Сабина. «Ну хватит тебе занудничать, поехали»,— сказала Эль.

— Ты меня разлюбила,— сказал Клаус замогильным тоном.— Куда прикажете вообще-то?

— К Великану,— сказал Хельмут и начал объяснять дорогу к горе.

Но оказалось, что Клаус не может браться за переключатель, так как боится, что Отто этим воспользуется и лизнет его руку. «Мы его оставим»,— крикнула, почти взвизгнула Сабина. Эль — еще истошней: «Я сяду за руль». Клаусу Буху пришлось перебраться назад. Теперь выяснилось, что у Эль нет очков. Сабина предложила свои. Эль примерила. Ко всеобщей радости, они подошли. «Как мило они тебя уродуют»,— сказал Клаус. Эль погладила Отто. Хельмуту это было приятно. В предгорьях, сказал он, настоящий рай.

Он обещал прогулку по чудесным, напоенным тишиной высокоствольным лесам. Потом — панораму от Форарльберга до Берна. Тут он почувствовал, как его голос взвинчивается до самых высоких нот. В таком лесу ты идешь, как в соборе. Только свет живее и воздух лучше. А что самое главное — эти леса еще воскрешают в человеке забытое чувство бесконечного.

В Лимпахе он велел остановиться. Выскочил из машины. Он сам себя не узнавал — такой его охватил ажиотаж. Он не мог точно при-

помнить, с этого ли места они с Сабиной в свое время начинали поход, но сделал вид, что абсолютно уверен. Велел всем выходить из машины. Да-да, с этого места дальше пешком. В лес. В лесу он свернул с асфальтированной дороги. Через пять минут они оказались в такой чаще, что не продраться. Отто рванулся назад из лесу. Все последовали за ним. Тем временем полил дождь. Поскольку продвигаться вперед вдоль опушки было тоже затруднительно, все бросились бегом, под водительством Хельмута, через поляну к купе деревьев с могильным крестом. Хельмут надеялся переждать там дождь и потом пойти дальше по полевой дороге. Под купой деревьев стояла скамейка, на которую они все повалились. Хельмут уже не знал, где они находятся. Клаус Бух напомнил, что еще когда они только отошли от машины, он спросил, что они будут делать, если пойдет дождь. Хельмут тогда трубил, что они пойдут по чудесному благоухающему лесу, по этому величественному сияющему собору, уводящему в бесконечность. Где же теперь этот чудесный огромный лес, где сияние и благоухание, где бесконечность? Хельмут заявил, — вернее, завопил,— что дальше такой лес еще будет. Он уже был в крайнем возбуждении. Клаус Бух поинтересовался, где это — дальше. О господи, разозлился Хельмут, ну, может, метрах в трехстах, неужели они сейчас будут торговаться за каждый метр, когда все равно дождь уже перестает. «Да? — сказал Клаус Бух.— А откуда ветер, позволь спросить?» Все посмотрели на Хельмута. «С запада»,— сказал Хельмут тоном, выражающим снисходительное терпение.

«Вовсе нет!» — сказал Клаус Бух тоном, каким говорят: «А вот и влип!» Хельмут уверяет, продолжал Клаус Бух, что дождь сейчас кончится, просто потому, что смотрит на запад, где и вправду светло. Но ведь в таких случаях надо только послюнявить палец и поднять его вверх — тогда сразу будет ясно, что сегодня ветер с востока. «Надо драпать, пока не поздно, скажу я вам. Через десять минут польет так, что спасу не будет». Дамы спросили, куда же драпать. Причем спросили Клауса Буха. Оказалось, что он еще раньше заприметил вдалеке за деревьями крышу крестьянского двора. И сам уже помчался туда. Дамы вслед за ним. Отто помчался за Сабиной. Хельмуту ничего не оставалось, как тоже потрусить вслед за всеми.

Мокрые от дождя и пота, они остановились, переводя дух, под навесом амбара. Клаус Бух, намного опередивший дам и Хельмута, встретил их широкой улыбкой. Он ни капельки не задыхался. «Нет, побывать в лесу под таким дождем — это и в самом деле не так уж плохо! — воскликнул он.— А дождь-то все расходится! Вон, смотрите, какая стена идет — у-у!» Ничего другого не остается, решил Клаус Бух, как снять верхние шмотки и бежать так к лесу, тогда хоть будет что сухое надеть. Не успев это сказать, он уже разделся. И Эль тоже. «Хоть бы никто из здешних не вышел»,— подумал Хельмут. Эль не носила лифчика и потому, стащив куртку и блузку, оказалась безо всего. Ее груди таращились еще любознательней, чем на яхте. Хельмут опять смотрел на них своим переводным взглядом. Они с Сабиной уверяли, что всегда ходят под дождем одетыми. Привычка такая. Что может быть приятнее, чем теплый летний дождь?

Клаус помчался вперед. Они добежали до шоссе. По нему форсированным маршем зашагали вверх к видневшемуся вдали ресторанчику с террасой. Когда Хельмут, Сабина и Отто дотащились туда, Клаус Бух стоял в дверях, причесанный и сияющий. Хельмут насквозь промок от дождя и пота. Он еле переводил дух. На Сабину тоже жалко было смотреть. Клаус Бух расхохотался и сказал: «Хорошо еще, что маршрут прогулки Хельмут спланировал сам». Хельмут сказал как можно более веселым тоном: «Ах, и в самом деле, это все я».—«Ты ведь сюда и хотел — или нет?» — сказал Клаус Бух. Хельмут с улыбкой посмотрел на его ухмыляющееся лицо и подумал:

«Ощути ты сейчас хоть сотую часть моей ненависти — тебя бы отсюда как ветром сдуло». При этом он дружески похлопал Клауса Буха по плечу и сказал: «Конечно, это все я. Погода, ориентировка, вообще все, что происходит во вне,— для меня просто катастрофа. Если бы израильским племенам путь указывал я, они бы и по сей день прозябали в Египте».

Слава богу, он снова держал себя в руках. Пока они мчались под дождем, он с отвращением вспоминал о тех нескольких секундах, когда распустился и не смог скрыть свою злость. Что вообще может быть омерзительней, чем так вот распахнуться перед другим человеком? Если ему и доводилось испытывать что-то вроде радости жизни, то лишь в тех случаях, когда он ухитрялся создать полное несоответствие между внутренними своими ощущениями и выражением своего лица. Чем больше была разница, тем большее удовольствие это ему доставляло. Только когда он казался иным и был иным, он и жил. Только когда он жил двойной жизнью, он и жил. Все непосредственное — в себе ли, в других ли — он считал чем-то негигиеничным. Стоило ему довести себя до взрыва — злости или радости, все равно,— как его охватывало прямо-таки паническое уныние. Ему казалось тогда, что он пропал. Что теперь каждый может делать с ним что хочет. Иногда здесь, на отдыхе, им приходилось слышать, как хозяин орет на весь дом. Впечатление было такое, будто доктор Цюрн сейчас кончится от натуги. Хельмут в таких случаях каждый раз думал, как бы заклиная сам себя: «Только не это! Только не это!» Он вырабатывал в себе крайние меры на случай подобных срывов. Выработал, например, тон непринужденного веселья, пока еще, правда, несколько угловатого. Его он и пустил в ход сейчас, в дверях ресторана.

Клаус Бух повел Хельмута и Сабину к туалетам. Вдруг раздались звуки фортепьяно. Весьма мощные. Клаус Бух застыл на месте и Хельмуту с Сабиной тоже запретил двигаться. Лицо его напряженно работало. Особенно рот. Язык в нем ходил ходуном, явно отыскивая возможность где-нибудь — предпочтительно у верхней губы — вырваться на волю.

— Фантазия «Скиталец» [1],— сказала Сабина.

Клаус Бух пулей вылетел на улицу. Хельмут вошел в ресторан. Эль сидела за фортепьяно и играла. Через некоторое время появилась Сабина, подошла к ней и что-то сказала. Та перестала играть. Когда она проходила мимо него, Хельмут сказал: «Это было прекрасно» — и вместе с Сабиной вышел за ней следом. Клаус Бух прямо-таки в бешеном темпе уносился прочь. Наискосок через луга. Вдруг он остановился, переменил направление, помчался дальше, подбежал к стоявшему вдалеке дереву, прислонился к стволу, засунул руки в карманы и откинул голову. Эль сказала: «Вы заходите, мы сейчас придем». И пошла каким-то слишком даже твердым шагом к Клаусу, не сводя с него взгляда.

Когда Хельмут и Сабина вернулись из туалетов, Эль и Клауса еще не было. Но они пришли, когда Хальмы начали есть суп. Оба улыбались, шли в обнимку — счастливая пара. Даже промокшие насквозь, они выглядели героически. Когда суп был съеден, Клаус Бух спросил, как далеко еще до Великана. Хельмут ответил, что они уже на Великане. Тут с Клаусом Бухом случился такой приступ хохота, что он вынужден был встать из-за стола. «Великан! Великан! — повторял он без конца.— Эль, что ты на это скажешь? Мы на Великане! Нет, эту гору я бы окрестил Великаном-из-Великанов!»

Хельмуту этот цирк был неприятен, кругом были люди — официанты и другие посетители, явно тоже отпускники. И из-за самого Клауса было неприятно. По наблюдению Хельмута, Клаусу тот факт,

[1] Фортепьянная пьеса Шуберта.

что гора называлась Великаном, представлялся вовсе не таким смешным, как он хотел показать. Эль тоже заразилась от Клауса смехом, который звучал хоть и звонко, но еще искусственнее, чем у Клауса.

Потом она стала извиняться. Пусть Хальмы, ради бога, не истолковывают их смех превратно. Для нее и Клауса лесная прогулка — это то, что длится не менее шести часов. А когда ты уже через час у цели — это для них просто безумно смешно. Хельмут сказал, что при хорошей погоде вид отсюда на долину все-таки достаточно впечатляющий. Когда Клаус Бух собрался было снова расхохотаться, Эль прикрикнула на него: «Клаус, пожалуйста! Хельмут ужасно огорчается, когда ты так смеешься!»

Он попытался состроить как можно более непонятное выражение лица. Ему хотелось выглядеть загадочным. И твердым. И непроницаемым. Но он чувствовал, что это ему не удается, ибо он смотрел теперь почему-то только на ее нос. Прелесть, а не нос! Такой носик! Но с ума ты не сойдешь, сказал он себе. Еще когда ему было лет двадцать, у него постепенно выработалось особое ощущение, которое можно было бы выразить так: ты никогда-никогда не позволишь себе сойти с ума. Он заметил, что Сабина заметила эту погруженность в созерцание носа. Он кивнул ей из глубины и спросил: «Вкусно?»

Клаус Бух честил еду почем зря. Во-первых, такой толстенный слой панировки, во-вторых, свинина, в-третьих, не салат, а какая-то размазня. Официантка выслушивала все это, как свой смертный приговор. Она стояла с серым, будто цементным лицом под мавзолеем искусственных волос и всем своим видом выражала глубокое несчастье. Когда наконец, раздавленная грузом укоров, она молча повернулась и тяжело зашагала прочь, Эль тихо сказала, что на эту допотопную мини-юбку стоит посмотреть. «Стало быть, вид отсюда на долину впечатляющий»,— сказал Клаус и прыснул; тут и Эль опять не смогла сдержаться. Оба от смеха даже вилки с ножами на тарелки уронили. Хельмуту и Сабине вообще было не смешно. Правда, Сабина попыталась сделать лукавое лицо, а Хельмут попробовал сказать совсем уж шутливым тоном: «А ну не шалить за столом!» Эль посмотрела на него разнеженным взглядом и сказала: «Хорошо, папочка». Хельмут попытался продолжить в том же духе: «Взбучки захотели?» При этом он посмотрел на нее взглядом более долгим, чем требовала эта короткая фраза.

Сабина сказала: «Погода проясняется».

Прежде чем Клаус Бух прыснул снова — а он явно уже пришел в такое состояние, когда прыскают по любому поводу,— Эль сказала: «Тсс!»

Хельмут позвал официантку и сказал, что хочет расплатиться. Сказал, что обед был превосходный. Официантка насчитала пятьдесят четыре двадцать, он сказал: «Шестьдесят» — и все попытки соучастия со стороны Клауса Буха оборвал совершенно безжалостно.

Хельмут хотел по крайней мере на обратном пути продемонстрировать свои леса. Когда они вышли из ресторана и спустились вниз, он сразу свернул с шоссе. Они вошли в высокий гулкий лес. Хельмуту очень хотелось, чтобы хоть кто-нибудь высказался о гигантских стволах, или о зеленом свете, или о лесном аромате.

Когда вдруг исчез Отто и все призывы Хельмута и Сабины остались без ответа, Элена Бух засунула четыре пальца в рот и свистнула так, что лес отозвался звонким эхом и Отто явился в тот же миг. У Хельмута было такое ощущение, что Элена Бух поняла лес. Хоть бы она еще раз заставила его вот так зазвенеть! Но уже с того самого момента, как они, прежде чем войти в лес, прошли мимо поля золотистой ржи, Клаус Бух поносил крестьян, которые в этом году в одном Баден-Вюртемберге загребут 650 миллионов марок государственных кредитов по случаю засухи,— а вы только посмотрите на эти поля: колоски все налитые и стоят один к одному! Заметил ли

кто-нибудь по всей дороге от озера хоть малейшие следы засухи? Он не заметил. Но эти мошенники гребут и гребут. Конечно, он говорит так из зависти. 650 миллионов марок мошенникам, а ему из этого не достанется ни гроша,— как тут не прийти в отчаяние? Он просто не может видеть надувательства, без того чтобы не терзаться желанием урвать хоть малую долю себе. А что вы хотите — на то он и сын адвоката по вопросам патентного права. «Да уж, немецкий крестьянин умеет поживиться за государственный счет»,— сказала Эль Бух тоном, скорее выдававшим, чем скрывавшим свою искусственность. Они с мужем не раз бывали на Востоке и постоянно убеждались, что сельское хозяйство вполне может годами обходиться без воды,— просто потому, что крестьянство ориентируется на засухоустойчивые культуры. Турецкому крестьянину никогда не придет в голову жульническим путем выманивать кредиты.

Хельмут спросил, не многовато ли будет требовать от немецкого крестьянина, чтобы он перестроил свое хозяйство с ориентацией на засухоустойчивые культуры, когда засуха случается тут раз в десять или двадцать лет. Он надеялся, что эта фраза, от которой он, к сожалению, не смог воздержаться, хотя бы по тону вышла у него дружелюбной. Он попросту злился из-за того, что никто не восхищается лесом. Лес-то ведь был в самом деле необыкновенный. И вот в этом сияющем от влаги лесу какой-то Клаус Бух брызжет слюной по поводу кредитов, о которых он, по его собственному признанию, впервые прочел сегодня утром в газете. А она забывает про лес и сразу бросается на помощь супругу, чьи позиции явно слабы. А он сам, он, Хельмут, настолько наивен, что спорит с ними, вместо того чтобы вдохновенно поддакивать белиберде, которую они несут. Только в поддакивании твое спасение. Теоретически тебе это ясно. О господи, как бы все сейчас могло быть хорошо, будь они вдвоем с Сабиной! Они мало разговаривали во время подобных прогулок. В лучшем случае Сабина иной раз говорила что-нибудь такое, что и без того было ясно. Говорила: «Скамейка», когда они вдруг набредали на скамейку. А если он как раз спрашивал себя, не собирается ли погода перемениться, она говорила: «По-моему, дождя не предвидится». И уже было абсолютно все равно, менялась ли погода на дождь или нет, потому что столь же безразлично было, кто что сказал или собирался сказать. Обычно он говорил тогда в несколько приподнятом тоне: «Ах, хороший ты у меня человек. Одна такая».

Они добрели до Унтерхомберга. Стадо свиного молодняка устремилось к ним по вытоптанному загону. Отто забился в истерике. Они принялись кормить поросят травой, срывая ее у проволочной ограды. Начал с этой кормежкой Хельмут. Поскольку травы они рвали немного и бросали ее через ограду не так далеко, поросята в сутолоке оттесняли друг друга к проволоке, через которую был пропущен ток. При этом самых крайних то и дело ударяло током в розовые пятачки. Эти маленькие розовые подушечки напоминали Хельмуту соски Элениных грудей.

Они как раз вышли из поселка, когда за спиной у них послышались голоса, крики, гулкая дробь копыт. Они поспешно отбежали в сторону. По поселку мчалась лошадь. Обезумело, стремглав. Дома будто сникли и стали меньше по сравнению с ней. Наверное, потому, что она неслась таким исполинским галопом. Судорожно изогнув шею и упрямо кося в сторону, гремела она по мостовой меж домов. Передние ноги вскидывались и опускались так слаженно, будто были спаяны друг с другом. Один крестьянин попытался было забежать поперек, но так как лошадь нисколько не умерила галопа, ему пришлось в последнюю секунду отскочить. Вдруг лошадь остановилась. Примерно посредине между ними и селением. Двое крестьян нагнали ее. Один из них — вероятно, хозяин — сперва забежал несколько вперед, начал ее уговаривать, потом подошел к ней и уже взял было ее за

недоуздок. Но как только его рука приблизилась к морде лошади, та взвилась на дыбы и снова понеслась. Вихрем промчалась она мимо экскурсантов, громыхая залпами газов. Хельмут еле удержал Отто. От его захлебывающегося лая лошадь, похоже, обезумела еще больше. Это был великолепный жеребец рыжей масти с белой отметиной на лбу, и даже на открытой местности он все еще казался гигантом. Клаус гаркнул на Отто: «Да заткнись ты, ублюдок!» Потом швырнул Эль свою куртку и помчался за лошадью. Эль сдавленно крикнула: «Клаус, перестань... Клаус!»

Когда лошадь далеко впереди опять остановилась и принялась щипать траву на опушке, Клаус сбавил темп. Чем ближе он подходил, тем медленней становился его шаг. Под конец он сделал большой крюк и с точным расчетом зашел к лошади сбоку. Совсем под конец они увидели, как он ухватил ее за гриву и в следующую секунду уже был у нее на спине. Лошадь снова понеслась. Но Клаус сидел. Съежившись, плотно прижавшись к ее крупу. Будто слившись с ней. Так как дорога заворачивала за деревья и вела дальше под косогор, лошадь и всадник быстро исчезли из виду. Тем временем местные подошли к Хельмуту и женщинам. Один сказал, что мальчонка это сделал зря. Уж теперь-то жеребец тем более не уступит. Будет гнать, пока не выдохнется. Остановить его мальчонка не сможет. Жеребец его попросту где-нибудь скинет.

Крестьянин явно принял Клауса, которого видел только издалека, за сына Хельмута и Сабины.

Когда Клаус вскочил на лошадь, Эль отвернулась. Так она все еще и стояла. Сабина подошла к ней. В это время вдали на опушке леса показался Клаус на рыжем жеребце. И когда он подскакал поближе, жеребец стал как вкопанный! С обоих ручьями лил пот. Эль помчалась к ним. Все помчались. Кроме Хельмута. Отто снова зашелся лаем, поэтому он должен был держать его по возможности в отдалении. Клаус передал лошадь крестьянину. Тот сказал: «Могло худо кончиться». Клаус засмеялся и сказал: «Да нет. Он же умница. Он, наверно, просто из-за какого-нибудь слепня сорвался». Крестьянин покачал головой, как будто все еще не одобрял вмешательства Клауса. Потом все обменялись приветствиями и разошлись. Когда они остались одни и все начали выражать Клаусу свое восхищение, он сказал, обнявши при этом Эль за плечи: «Видишь ли, если бы я не обротал тогда того, в Меране, я бы и перед этим наверняка спасовал». Хельмуту и Сабине он пояснил, что тот, в Меране, был всего лишь упряжной кобылой гафлингеновской породы[1]. «А Эль хотела тогда меня удержать,— продолжал Клаус.— Нет, вот уж кого я чувствую — так это сорвавшуюся лошадь. Крестьянин сегодня сделал ошибку: он зашел к лошади спереди и начал ее уговаривать. А сорвавшейся лошади нельзя становиться поперек дороги. Она все время должна чувствовать, что путь перед ней свободен. И еще: лошадь на скаку не поддается ни на какие уговоры».

Клаус сопровождал свою речь свободными, красивыми жестами, говорил звучно и твердо. Эль казалась теперь совсем маленькой рядом с ним. Хельмут бурно поддержал Клауса: «Да, вот это верно! — воскликнул он.— Что верно, то верно!» — «А ты-то откуда знаешь?» — удивилась Сабина. «Да ты что, совсем забыла, что я старый наездник?» — спросил он.

Тем временем опять пошел дождь. Поскольку Хельмут уже не мог теперь обещать им лесное укрытие, Клаус Бух, опять раздевшись до пояса, помчался по дождю за машиной.

Хельмут шел между Эль и Сабиной. Эль и Хельмут — созвучие имен вдруг поразило его, ему представились две сколоченные, плотно пригнанные друг к другу детали. Нет, если уж ему придется обра-

[1] Порода невысоких горных лошадей, названная по имени селения Гафлинген в Южном Тироле близ Мерана.

щаться к ней, он будет звать ее Эленой. Они прошли мимо группы рабочих, которые, несмотря на дождь, продолжали асфальтировать шоссе. На секунду у него промелькнула надежда, что накладываемый таким образом асфальт вскоре снова раскиснет, превратившись в песок и щебенку. Ему хотелось, чтобы и рабочие создавали миражи.

Когда они укрылись от дождя в машине, Сабина сказала: «Клаус, ты нас спас». Клаус сказал Эль — на этот раз весело, задорно, пародийно: «Ты меня разлюбила?» Она его поцеловала и тоже сказала, что он всех, всех спас. Хельмут поддакивал и хвалил Клауса громче женщин. И Клаус теперь уже не боялся морды Отто. Это Хельмут понял.

Слушать разговоры в машине Хельмуту было невмоготу. Он чувствовал, что у него уходит почва из-под ног. Опять он оказался перед досадной необходимостью рассматривать свое положение в весьма неприятном свете. «То, что мы видим, практически не отражает ничего из того, что есть на самом деле»,— мысленно утешал он себя. А представлялось ему, что он лежит на скале, заливаемой сверху мощным водяным потоком. Ему уже почти не за что уцепиться. А водяная лавина не прекращается. Совершенно ясно, чем все это кончится. Тем не менее он все цепляется и цепляется. И в результате — поскольку развязка очевидна — лишь продлевает свои мучения. Он ясно видел, как он ловит воздух ртом и обращает взор к небу, как в девятнадцатом веке. Лишь только это представление истощилось, пришло другое: он обливается пóтом и мерзнет. Ему было непонятно, как это получается, но он мерз и в то же время обливался потом. Он не сумел бы сказать, на самом ли деле он обливался потом и мерз или просто настолько явственно — до мурашек на коже — себе это представлял.

Когда Сабина с Хельмутом вышли из машины, Клаус протянул им две книжечки карманного издания. Одна его, другая — Элены. Хельмут заявил, что теперь пускай хоть золотой дождь с неба льется — он в ближайшие дни носа на улицу не покажет, настолько ему интересно, что в этих книжках. «Нет, так от нас ты не отделаешься»,— заявил Клаус Бух. Еще чего, сначала люди двадцать три года не видятся, а потом нá тебе — Хельмут снова хочет смыться. «До чего мы дошли»,— сказал Клаус Бух. И сообщил, что Хальмы должны быть готовы сегодня к полдевятого вечера. За ними заедут. И сегодня вечером командование берет в свои руки Клаус. Возражения не принимаются.

Они уехали. Хельмут вбежал в дом, брякнулся навзничь на тахту и уставился в потолок. Ему хотелось выть. Сабина сделала вид, что ничего не понимает. Но он не обращал на нее ни малейшего внимания. Ему было приятно, что Отто ластится к нему и требует, чтобы с ним возились.

Сабина собралась что-то сказать, он это увидел, вскочил с тахты и заявил: «Теперь я на целый час залезу под душ».

Когда он вышел из душа, Сабина протянула ему книжку Клауса и сказала:

— Оказывается, он пишет себя не «Klaus», а «Claus» — как «цезарь»[1].

— Обалдеть,— сказал он.

7

Около половины девятого Хельмут и Сабина стояли под навесом и рассматривали прихотливо-беспорядочный цветник фрау Цюрн с таким глубоким интересом, что фрау Цюрн, появись она сейчас перед ними, была бы вполне удовлетворена. Фрау Цюрн как-то сказала Хельмуту, что ее смущают решетки на окнах дома и потому она насадила перед ними флоксы, наперстянку, коровяк и прежде всего

[1] По-немецки «цезарь» пишется «Cäsar».

высокие мальвы. Хельмут ответил ей тогда, что, когда к решеткам привыкнешь, их уже не замечаешь, а вот роскошному цветнику удивляешься каждый день заново, как чуду.

О том, что он каждый день втайне наслаждался видом этих безыскусно прямых решеток, он умолчал. Каждый год, возвращаясь в свой домишко в Зилленбухе, он чувствовал, что ему недостает решеток. Окна без решеток казались ему тогда голыми и пустыми.

Как только вдали появился автомобиль со штарнберговским номером, Хельмут с Сабиной поспешно вышли за садовую калитку. Хельмут ни за что не хотел допустить, чтобы нога Клауса ступила на землю Цюрнов.

Все, что на том в прошлые разы было голубым, сейчас было блекло-розовым. Похоже, только пояс и сандалеты остались прежними.

Элена была безо всего — только накинула поверх всего этого что-то черненькое. Они с Клаусом заказали столик в ресторане своего отеля. Столик стоял прямо у воды. Но за стеклом. За другими столиками сидели такие же маленькие компании. Сновали официантки. «Какая приятная пустота»,— подумал Хельмут. Теперь напиться и погрузиться. Но Клаус Бух в конце концов захотел узнать, обосновано ли его подозрение, что за двадцать три года романтически-своенравный Ха-Ха превратился в фанатичного работягу. Хельмут кивнул. «Ну уж нет,— сказал Клаус Бух,— я тебе не верю. Сабина, что ты скажешь?» Сабина сказала, что Хельмут работает не разгибаясь. Правда, со стороны это не всякому понятно. Кажется, просто читает человек запоем — и все. Вроде как учится. Но, но ее мнению, чтение и есть для него жизнь. Потому что внешних-то результатов — никаких. Да это, наверное, и не входит в его намерения. Но он изменяется в результате своего чтения, это да. После каждой прочитанной страницы он становится иным, чем был, когда ее раскрывал. Хельмут тихонько присвистнул. В знак удовлетворения. Во всяком случае, продолжала Сабина, он постоянно растет, она это ощущает. Она, во всяком случае, давно уже от него отстала. При таком темпе, который он постепенно развил, ей за ним не угнаться. Да-да, он может свистеть сколько угодно. Хельмут перебил ее, сказав, что он с удовольствием сопроводил бы ее арию шестьюдесятью четырьмя скрипками, но у него в распоряжении всего лишь пара настолько пересохших губ, что даже Клаус не отказался бы предоставить ему кредит. «Его темп,— непоколебимо продолжала Сабина,— иногда кажется мне просто безжалостным. Такое впечатление, что ему абсолютно все равно, поспеваю я за ним или нет». Хельмут сказал — с таким выражением, будто совсем не то имел в виду: «Как самозабвенно врет! Хотя и знает, что врет».

— Она мечтает,— сказал Клаус Бух.— Эль, помечтай тоже так обо мне.

— У тебя это лучше получается,— сказала Элена.

Клаус Бух сначала сказал, что она его разлюбила, а потом сказал, что он просто счастлив видеть, что Хельмут не превратился в обывателя.

Хельмут подумал: «Да уж если я кто-то и есть, так обыватель». Он решил, что в качестве обывателя ему сейчас лучше всего улыбнуться и чокнуться с Клаусом Бухом, но ни в коем случае не пускаться с ним в дискуссию по поводу этого термина. Он просто наслаждался, слушая, как Сабина так абсолютно невпопад рассуждала о его чтении и о его жизни. Если представить себе, что все то, что она сейчас наговорила, она говорит ему с глазу на глаз, можно только расхохотаться. Это же все потуги на престижность. В них выражается потребность, а не реальность. Сабина хотела сказать о своем муже что-нибудь впечатляющее. Может быть, она и ему этим хотела что-то сказать.

Выяснилось, что Клаус Бух спрашивал об отношении Хельмута к работе только потому, что сам жаждал рассказать об отношении к работе своем и Эль. Они, заявил он, стараются работать как можно меньше. «Верно ведь?» — спросил он. «Да, слава богу, нам для хорошего самочувствия работа вовсе не нужна»,— ответила Эль. Это прозвучало как заученная фраза. Жизнь, продолжал Клаус Бух, слишком коротка, чтобы тратить ее на работу. А Эль сказала, теперь уже явно и чуть ли даже не с иронией — или это просто так хотелось услышать Хельмуту? — цитируя Клауса: «Только эротически неполноценным людям нужна работа». Тут Клаус окончательно разошелся: работа, заявил он, — всего лишь эрзац эротики. И она уничтожает эротику. А эротика, если говорить всерьез, в свою очередь уничтожает желание работать. Тот, кто хочет жить, не должен разменяться на такие мелочи, как работа. Работа делает неспособным к любви. Верно ведь? Или ты меня разлюбила?

Она поцеловала его и сказала:

— Он слишком уж любит об этом рассуждать. Но это его единственный недостаток.

— Значит, в остальном я вполне на высоте? — ненасытно продолжал он.

Она засмеялась и сказала: — Да ничего.

— Ты это признаешь? — настаивал он.

— Да, я это признаю,— сказала она, засмеялась и опять его поцеловала.

— Ты на шестнадцать лет моложе меня. Тебе когда-нибудь хотелось на меня пожаловаться? — неумолимо допрашивал он.

Она попыталась было зажать ему рот рукой.

— Я это вполне серьезно,— сказал он.

— Я тоже,— сказала она.

— Ты меня разлюбила,— сказал он.

— Вот так и тянет его об этом говорить,— сказала она, не поцеловав на этот раз мужа.— Вам это понятно? Мне такая его одержимость формулировками вовсе не по душе. Но это наверняка просто из зависти, потому что сама так не могу.

— Ты меня разлюбила,— повторил он.

Теперь она его поцеловала. Потом оба выпили минеральной. Похоже, на этот раз они впервые по-настоящему страдали от сигар Хельмута и сигарет Сабины. И как в прошлый вечер, Хельмут опять не получал удовольствия от сигар и вина. Он пил один бокал за другим. Хотел как можно скорее напиться. Не должен ли он сознаться себе самому, что влюбился в эту Эль? А какой толк? Да и так ли это на самом деле? Не плевать ли ему на нее?

Клаус Бух вдруг начал рассказывать о девяностолетнем юбилее своего отца, который они недавно отпраздновали. Забрали старика на машине из его фешенебельного дома для престарелых в Дегерлохе. Он был на удивление бодр и на удивление слаб. Но абсолютно живой! Всем интересовался. Фамилию канцлера, президента, даже председателя бундестага — все знал... Хельмут терпеть не мог рассказов о старцах. В штаны, правда, делает, но таблицу умножения шпарит назубок! Может быть, Клаус Бух просто хотел продемонстрировать, что у него впереди еще целых сорок пять лет нормальной жизни. Элена сказала: «Моей матери семьдесят один, а она еще наслаждается жизнью в полной мере». («В полной мере»,— повторил про себя Хельмут и слегка содрогнулся.) Эль продолжала: «Каждый год ездит туристкой в Африку, в Персию. Недавно написала, что нигде не чувствовала себя так прекрасно, как в Бали»[1]. («Разве не на Бали?» — подумал Хельмут.) «А где ваши родители?» — спросила Эль.

Хельмут направил большой палец вертикально вниз.

— А ты покажи карточки,— сказал Клаус Элене.

[1] Один из островов Малайского архипелага.

— Ну покажи! Что может быть интереснее, чем фотографии старых людей?

Хельмут сказал, что не хотел бы жить дольше семидесяти.

Фразу эту он считал столь же лживой, сколь и правдивой. Стало быть, бессмысленной. Но разве не было бессмыслицей все, что он мог тут сказать? Только то, что говорили Эль и Клаус, имело реальный смысл. Они хотели дожить до старости. У них были шансы дожить до старости. Они радовались тому, что доживут до старости. Они все делали для того, чтобы дожить до старости. У них были на это силы. Они считали, что без ущерба для здоровья перенесут долгую жизнь. А кто думает иначе, тот несет чепуху, бессмыслицу. Единственное, что вообще имеет смысл,— жить как можно дольше. Кто живет дольше другого, тот и удачливей его. Чем дольше ты живешь по сравнению с другим человеком, тем большую ты одерживаешь над ним победу. Хельмут не был уверен, что Бухи именно это хотели сказать, но так он истолковал для себя те картины семидесятилетних и девяностолетних юбилеев, в живописании которых они старались перещеголять друг друга. И на экскурсии-то они стариков возили. И колбасу-то с ними в Альпах ели — кровяную и ливерную. И в кино-то их водили. Те хохотали — до упаду! Вот, посмотри. Совали свои трухлявые носы в цветы. Вот, посмотри. Впивали с их ароматом блаженство. Вот. Удовольствие за удовольствием. Что может быть прекраснее? А самое прекрасное — то, что это до самой смерти так и останется прекрасным.

Хельмут сказал, что он благодарен Бухам за этот вечер больше, чем за все остальное. Насколько он помнит, так его еще никто не вдохновлял. Его будто выпрямили. Будто одарили.

Он почувствовал, что у него на глазах выступили слезы. Он постарался сделать вид, что смущен этим. И быстро вышел на улицу. У него и в самом деле было так муторно на душе, что хоть волком вой.

Он таки напился.

Поскольку завтра утром Эль отправлялась в деревню на очередной «обход», Хальмы могли бы покататься на яхте с Клаусом. Эль с таким удовольствием взяла бы Сабину с собой, но она убедилась на опыте, что, когда бабуси видят двоих посетителей, они разговариваются вдвое туже, чем при одном. Как, неужели они еще ничего не рассказали Хальмам про новую книгу Эль? Клаус поясняет: называться она будет «Устами бабушек». Эль ездит в альпийские деревушки, узнает от бургомистра имена пяти самых древних старух, из них просит назвать трех самых разговорчивых, отправляется к ним и записывает на магнитофон все мудрые советы, какие у них еще есть на памяти. У нее уже накручено тридцать семь пленок, сплошь бабуси.

Эль выразила надежду, что эта книжка — идея-то, конечно, принадлежит Клаусу — будет расходиться лучше, чем «Травяной букварь». «Ну уж не знаю, лапа, чего ты хочешь! — воскликнул Клаус.— Твой «Букварь» — бестселлер на века, он нас на Багамах лет до девяноста будет кормить. В общем, отходим завтра в четырнадцать тридцать». Сабина извинилась. Она должна быть завтра утром у парикмахера в Мерсбурге. Она бывает у него каждый год в строго определенный день. Это уж поистине железная договоренность. Ну что ж, стало быть, один Хельмут. Клаус Бух радуется. Вот это будет кайф. Оргия воспоминаний двух зрелых мужчин. Чао.

Хельмут и Сабина, отяжелевшие от вина, потопали домой. «Ты-то отбрыкалась»,— сказал Хельмут. «Но сколько в них энергии, да?» — сказала Сабина. «К счастью, кроме этого отпуска они нам ничего больше не смогут испортить, — сказал Хельмут. — Штарнберг достаточно далеко». Сабина взяла Хельмута под руку и сказала: «Не будь таким нигилистом».— «Но мне это доставляет удовольствие»,— ответил Хельмут. «Будет ли сегодня опять гроза, господин Нигилист?» — спро-

сила Сабина со значением. «Спроси Клауса Буха, госпожа Оптимистка»,— ответил он. «Злюка,— сказала она,— я спрашиваю тебя, я вообще спрашиваю только тебя, говорю только с тобой, я постепенно забываю все языки мира, кроме твоего, вот!» — «А я на это и надеялся,— вздохнул он.— Но выходит, что я ушел все-таки дальше тебя, потому что я давно уже просто не понимаю никого, кроме тебя». Он обнял ее за плечи и крепко сжал, так что она легонько пискнула. И тут ему вдруг вспомнилась Элена Бух. С этим он в данный момент ничего не мог поделать. «Я пьян»,— сказал он. «Мы,— сказала она,— мы пьяны».— «Я»,— повторил он. «Мы»,— повторила она. «Ну, все равно»,— сказал он, вырвался и помчался вперед. Но она быстро его догнала и до самого дома уже держала мертвой хваткой.

Он снова посетовал на то, что она на завтрашний день увильнула от яхты. Он ее просто не понимает. Она говорит об этом Клаусе Бухе прямо как цветок о росе, а потом увиливает. Ведь завтра никакого парикмахера у нее нет. «А может быть, я в Клауса, которого ты опять, нарушив свое слово, назвал «этот», боюсь влюбиться»,— сказала она и противно хихикнула. У Хельмута мелькнула мысль — не изнасиловать ли ее и не столкнуть ли потом в воду, чтобы барахталась там, пока не утонет. «Я прощаю тебе эту глупость и следующую,— сказал он,— на третью разозлюсь, а уж следующая за ней будет просто иметь смертельный исход».— «Мне становится холодно, когда ты так говоришь»,— сказала она. «Вот и прекрасно,— сказал он,— мне становится тепло, когда тебе становится холодно от моих слов».—«Значит, все-таки будет гроза»,— сказала она. «О, натуралистка! — сказал он.— Мы движемся на грани катастрофы, а ты разглагольствуешь, как синоптик». Потом добавил: «На нас сейчас нашло искушение, надо быть начеку. Мы же все-таки мудрее их».— «Ты — может быть»,— сказала она. «Бина,— сказал он,— я знаю, ты не мудрее. Да и я тоже. Бина, дружище, семейство Бухов нас искушает — а ты сопротивляйся! Даже если они делают то, что надо. Давай останемся при том, что не надо». Она спросила почему. Он ответил, что не знает. «Но,— добавил он,— никогда еще для нас не было так жизненно необходимо оставаться при том, что не надо. Это и есть то, что надо. На сегодняшний вечер, Бина. На сегодняшнюю ночь. Если мы сегодня будем вместе, ты наверняка будешь думать о Клаусе, а я об Элене». Это обстоятельство, добавил он, его прямо-таки разоружает. «Идиот»,— сказала она. «Да»,— согласился он. «Все ты должен испортить».— «Да».— «Болван».—«Да».—«Кретин».— «Только без провокаций,— сказал он, наклонился и осторожно поцеловал ее.— Ах, хороший ты у меня человек. Одна такая».

Лишь когда она заснула, он перевел дух. Это, конечно, было не то, о чем он давно хотел поговорить с Сабиной, но все-таки они затронули в этой беседе некоторые моменты, каких прежде никогда не затрагивали.

«Как удобны перелицованные платья»,— подумал он.

8

Клаус Бух распахнул ему дверцу, Хельмут сел в машину, Клаус в знак приветствия задержал руку несколько дольше на его плече. Хельмут сожалел, что он воспринимает все иначе, чем этот Клаус Бух. Разве не прекрасно было бы иметь рядом такого человека, чью руку ты с удовольствием ощущаешь на своем плече? Ему следовало бы извиниться за свою неспособность к ответному чувству. Клаус Бух был сегодня во всем белом. Синева его глаз никогда еще не отливала такой синевой. Подвижные губы ходили ходуном, даже когда он говорил. Он был возбужден. Женщины — это прекрасно, но то, что случай подарил им целый день наедине, это просто здорово, скажешь, нет? «Хельмут, старина, совсем одни, обалдеть можно!» Он дал

газ, вскоре затормозил снова — прибыли. Клаус Бух сбегал в отель за сумкой. На этот раз он и для Хельмута принес парусиновые туфли. Хельмут усомнился, что они подойдут. Но Клаус заявил, что у них всегда был одинаковый размер обуви. Хельмуту пришлось помогать ему ставить паруса. Клаус Бух самым радостным тоном без конца повторял все указания по два — по три раза. Это звучало так, будто Хельмут был круглым идиотом. И все равно Клаусу Буху то и дело приходилось подскакивать к нему и буквально водить Хельмутовой рукой.

Поначалу они захватывали кое-где полосы умеренного ветра. Потом все озеро стало гладким, как жидкий свинец. Всюду, куда хватал глаз, царил один этот свет. Они вышли из Юберлингского озера и находились уже, по расчетам Хельмута, где-то между Хагнау и Кесвилем. Клаус Бух ругал Боденское озеро на чем свет стоит. «Тоже мне водный простор! Импотент чертов! Нет, ты только посмотри: пейзаж из пыльных тряпок, вон, смотри, те дома, и холмы, и небо, смотри, все висит, висит, висит,— я тебе скажу, мой милый, к вечеру будет как в преисподней. Не озеро, а нужник. Нет, если бы не эти изыскания для Элениной книжки, он бы ни за что сюда не приехал. Разве это катанье на яхте? Это же только забава для стариков — так, чтобы не пылила дорога и не дрожали листы. Ну вот ты оглянись кругом — все будто заснуло, причем навек. Клянусь. Тут ждать абсолютно нечего. Царство мертвых. Бесцветное в бесцветном. Лéта, Хельмут. Ужасно жалко. Я-то думал — рванем сегодня на полную катушку. Куда там! Только и остается, что сидеть и чесать языки. Ну, давай потреплемся, раз такое дело».

Он сказал это наигранно-свирепо, делая своими вертлявыми губами и расходившимся языком непристойные, имитирующие разговор движения. Хельмут поневоле расхохотался. Это совсем воодушевило Клауса Буха.

Боже мой, как хорошо они ходили в Эгейском море! Всякий раз привязывались к яхте — иначе бы смыло за борт. Двенадцать часов подряд ни на секунду не оставляли руля. Однажды подула такая бора, что они три дня не могли выйти из гавани. В другой раз неслись от Тасоса до Родоса[1] больше сквозь волны, чем по волнам. Нет, самое лучшее для него все-таки — это Багамы с их постоянными пассатами. А что, если Хельмуту тоже туда с ними рвануть? Он, Клаус Бух, вовсе не хотел бы вмешиваться в Хельмутовы личные дела, но у него такое чувство, что Хельмуту очень полезно было бы просто плюнуть тут на все, сжечь корабли и отправиться в новый мир. «Жизнь нуждается в острых ощущениях,— сказал Клаус Бух,— иначе она угасает. Еще при жизни. Понимаешь, тут все иначе, чем в сфере этики или морали, тут духовное начало, оно просто существует — и все, оно, может быть, само из себя порождает напряжение, не знаю, как это поточнее выразить, в этих вопросах ты у нас эксперт. А я просто знаю, что все живое нуждается в толчке. Вообще в чем-нибудь совсем новом. Для живого ничто не может быть достаточно ново. Чем новей, тем живей. Абсолютно непредвиденная реакция, понимаешь,— вот это и есть жизнь! Вот послушай, Хельмут,— как часто ты спишь с женой?»

Хельмут, видимо, посмотрел на него так, что Клаус Бух не настаивал на ответе.

— Или, если спросить по-другому,— продолжал он,— ты абсолютно уверен, что все еще любишь свою жену? Пожалуйста, пойми меня правильно. Сабина фантастическая женщина, я тебе завидую, но даже самая фантастическая женщина может в нашем возрасте стать опасностью для мужчины. Если она тянет тебя назад. Эль тоже могла бы стать опасностью для меня. Если бы она за мной не поспевала. Но она еще поспевает. И как! Эль для меня — стимул, вызов. Она слиш-

[1] Острова соответственно в северной и южной частях Эгейского моря, отстоящие друг от друга почти на 600 км.

ком активна для меня. Я не могу ее обротать. Я за нее борюсь. Денно и нощно. Ну и приходится оставаться в форме, ясное дело.

Если ты месяц пролежал в постели, ты и километра не пройдешь — настолько сдали все твои мускулы. И так во всем, Хельмут, во всем! Я просто влюблен в жизнь, Хельмут, можешь мне поверить. Когда у меня о кожу разбивается дождевая капля, я готов выть от восторга. Когда я гляжу на дерево, я готов орать на весь мир о своей любви к хлорофиллу. Но я боюсь поглупеть, Хельмут. А такая опасность для меня существует, я знаю. Я хотел бы оставаться блестящим, понимаешь? Блестящим, великолепным. И тонким. До прозрачности тонким. Вот как нервущийся шелк. Натуральный шелк, конечно. Я боготворю сам себя. Эль в известном смысле тоже меня боготворит. Потому что она считает меня интеллигентней, чем я есть, понимаешь? Я морочу ей голову. Я считаю ее наивней, чем она есть. Я провоцирую ее на занятия, до которых она не доросла. На тот случай, когда я уже не смогу с ней справляться, понимаешь? Что мне нужно, Хельмут,— это такой человек, как ты. Честно. Когда я увидел тебя там на набережной — для меня это было прямо как знак свыше. Ессо![1] Мой старина Ха-Ха, великий проблематик, читал «Заратустру» в плавках,— Хельмут, если ты поедешь со мной на Багамы, мы оба спасены! Там все можно делать в одних плавках! Ну что тебе тут придется бросать? В какой ты, собственно, школе работаешь?

— В гимназии Эберхарда Людвига[2],— ответил Хельмут как можно менее гордо.

— О-о! — сказал Клаус Бух.— Поздравляю. Ну конечно, ты ведь всегда был звездой, это ясно. И тем не менее я отваживаюсь — представь себе, я, жалкий таракан, был ничем и остался ничем,— я отваживаюсь тебе, господину доктору оберштудиенрату из прославленной гимназии Эберхарда Людвига, делать такие далеко идущие предложения. Я утверждаю, что это необходимо. Тебя надо спасать. Я нужен тебе, Хельмут, я это чувствую. Так что пожалуйста. Со мной ты можешь быть откровенным. Если хочешь, конечно. Я просто считаю, что, пока нам не стукнуло пятьдесят, надо еще раз спуститься со стапелей. А без тебя я рискую поглупеть. Ты для меня — стимул, вызов. Ты и Эль — тогда все будет о'кей. Все ясно.

Хельмут кивал головой как можно чаще. Пускай у Клауса Буха создастся впечатление, что он всерьез обдумывает его предложение. Это подстегивало Клауса Буха и вдохновляло на все новые проекты. Раз Хельмут так упорно отмалчивается, ему, Клаусу Буху, ничего не остается, как саморазоблачаться дальше; может, ему таким образом все-таки удастся спровоцировать Хельмута — чтобы тот отбросил свою сдержанность, губительную для него самого, и они наконец-то занялись бы обоюдным спасением. Хельмут сам прекрасно осознает — он, Клаус Бух, это ясно чувствует — грозящую ему опасность застоя. Может, Хельмут уже даже отчаялся. Но он, Клаус Бух, в это не верит. Он склонен скорее полагать, что Хельмут сейчас просто убеждает себя в том, что отчаялся, а как только он увидит, что дело действительно серьезно, он в ужасе сам ринется спасаться от отчаяния. Но тогда уже будет поздно. Или это будет всего лишь какое-нибудь аффективное действие без всякого результата. Сейчас же еще не поздно спланировать общими усилиями второй спуск со стапелей. Причем с гарантированным успехом. Без травм. Это самое главное. Вот он, Клаус Бух, может сказать, что расставание с первой женой у него — да и у нее тоже — прошло гладко, без серьезных травм. А все потому, что он не дожидался, когда станет совсем страшно. В общем, он предлагает разрубить все одним ударом. У него есть подозрение, что Хельмут, возможно, уже страдает от первых повреждений, нанесенных ему серой рутиной окончательности. Он говорит —

[1] Вот так! *(итал.)*

[2] Привилегированная классическая гимназия в Штутгарте.

возможно! И его предложение — вовсе не акт сострадания, ничего подобного — чистый эгоизм! Чем решительней Хельмут воспользуется им, Клаусом Бухом, тем скорее и он решится воспользоваться Хельмутом. А они, в конце концов, такие старые друзья, что спокойно могут без всякой оглядки помочь друг другу. Между ними не должно быть никакого ложного стыда, который мешал бы чему-либо. Хельмут может прийти к Клаусу Буху за советом, как ему приличнее всего развязаться с Сабиной,— конечно, если Хельмут этого вообще хочет, он это только к примеру сказал, потому что каждый живой мужчина хочет развязаться со своей женой, верность хранят одни мертвецы. Если двое мужчин один-единственный раз по-настоящему помогут друг другу, они одержат неслыханную победу. Если же каждый останется наедине с собой, то он и будет изворачиваться и пробиваться с грехом пополам — хватать добычу, прятать добычу, пожирать добычу и так далее. Черт побери, Хельмут, давай играть по большой! Не пасовать. Оставаться сильными. Становиться все сильнее. Сильнее всех. Мы вдвоем сильнее всех, клянусь тебе. Жизнь нас ждет. Я тебя вытащу из этого штиля, старина. Я тебя выпрямлю. Вот увидишь — через год ты себя не узнаешь. Ты же вот-вот обмякнешь. Я этого не допущу. Я тебя подстегну, черт побери. Я нагоню на тебя такой аппетит, что ты взовьешься, как ракета,— спорим? Первым делом ты приедешь к нам в Штарнберг. Всего на несколько дней. Потом все пойдет само собой. В Штарнберге, Хельмут,— понимаешь, в Штарнберге я часто по утрам сижу с четырех до семи на террасе в чем мать родила и слушаю птиц. С этой акустикой ничто не может сравниться. У меня в саду есть несколько огромных таких деревьев — вот в них-то, еще солнце не взошло, птицы и начинают петь. Но не то чтобы сначала одна, потом другая и так далее. Как в оркестре — каждая группа вступает одновременно. Те нежно, а те бурно. И потом вдруг все поют сразу, невообразимое число голосов! Но ни одного певца ты не видишь. Поют сами деревья — понимаешь? И ты уже не думаешь о том, что этот хор состоит из отдельных голосов. Это как гигантский орган. Или сто, двести, триста органов, играющих на самых высоких регистрах. И звучание такое, будто это не на вольном воздухе, а в огромном гулком храме. Своды и стены вибрируют, но все это перекрывают своей вибрацией птичьи голоса. Будто весь мир превратился в сплошной церковный неф. И самое поразительное, что этот храм, этот неф, представляешь, не стоит на месте — он поднимается, ты это слышишь, он поднимается в воздух! Но ни капельки не удаляется! Вот это уж совсем фантастика. Он парит. Клянусь тебе. Парит. В воздухе. Храм раздвигается, ширится. Гул растет. Гигантский храм из одних птичьих голосов. Соловьиный храм, возведенный из одного-единственного вибрирующего многоголосого тона. И тут, мой милый Хельмут, я не выдерживаю — я должен к ней, но тихо-тихо, на цыпочках, незаметно, как первый солнечный луч, и хотя на душе у меня все совсем по-другому, хотя мне впору вопить, топать, буйствовать,— я тихонько прокрадываюсь к ней, ласкаю ее, чтоб проснулась, но еще до того, как она проснется, я уже приступаю к искушению, так что когда поднимаются ресницы и раскрываются губы, она меня уже ждет. Capito? [1]

Сильный шквал пронесся над яхтой и с резким хлопком перебросил парус на другой борт.

«О, привет, к нам гости!» — крикнул Клаус Бух и схватился за шкоты и румпель.

Хельмут старался не смотреть на рот Клауса Буха — на то, как ошалелый язык распирает его и то и дело вырывается наружу. Он прекрасно понимал, почему Клаус Бух говорит так лихорадочно быстро, взахлеб. Пока тот говорил — и говорил так, будто на карту была поставлена его жизнь,— Хельмут совершенно невозмутимо смотрел

[1] Понимаешь? *(итал.)*

на озерную гладь, на полог неба, на все отчетливее проступающие берега. Незаметно краски ожили снова. В небе чернила разных оттенков синевы постепенно слились друг с другом. С наступлением вечера все обрело определенность. Кое-где чернильные потоки даже опоясались четкой серебристой каймой. Только на западе небо оставалось пугающе бездонным, полным чистейшего розового сияния. Вода вобрала в себя все эти краски и перемешала их. Все тона синевы были в ней, весь пурпур, все серебро; а в совокупности получалась густо отливающая сталью синева, по которой растекалось фиолетовое золото. И во все это налетающие шквалы врезали черные шрамы.

«Штормовое предупреждение!» — крикнул Клаус Бух и, вывалив язык, восторженно ткнул пальцем сначала в сторону Швейцарии, потом назад, в направлении немецкого берега. Там и сям засверкали сигнальные огни. Этого цвета до сих пор кругом не было. Шквалы налетали со всех сторон. Клаус Бух чертыхался и орал: «Он что, совсем спятил?» Имелся в виду ветер. Задиристо озираясь кругом, Клаус Бух старался держаться начеку, чтобы грудью встретить каждый очередной шквал. «Нам бы только набрать ход, тогда нам никакие шквалы не страшны!» — крикнул он. Надо же, шквалы после долгого безветрия — такого еще никто не видал. Пускай Хельмут возьмется за грота-шкот. Когда Клаус Бух будет кричать: «Трави!» — он должен отпускать, но не резко; когда Клаус Бух будет кричать: «Набрать!» — он должен натягивать. Не успел он договорить, как налетел новый шквал, и Клаус Бух одним прыжком перемахнул на сторону Хельмута. «Ух ты, вот это приласкал!» — воскликнул он и начал объяснять Хельмуту, что тот должен делать при повороте. Хельмут спросил, куда они сейчас направляются — к немецкому берегу или к швейцарскому. Клаус Бух сказал, что сначала они немножко потанцуют с этими осатаневшими шквалами. Если после них, как это обычно бывает, задует постоянный ветер, они еще наверстают упущенное и покатаются по-настоящему. Хельмут указал на предупредительные сигналы. Ему было страшно. Эти то и дело вспыхивавшие резкие огни выглядели жутковато среди сгустившихся красок воды и неба. Клаус Бух указал на самую темную часть неба: оттуда идет буря, она доставит им все, что надо. Хельмут сказал, что предпочел бы как можно скорее выбраться на берег. Ему кажется, что до Швейцарии ближе. Добрались бы до Утвиля или Кессвиля, позвонили оттуда Эль, может, она встретит их на машине. «А мы будем стоять на шоссе с парусом под мышкой, да?» Клаус Бух захохотал. Хельмут сказал, что можно выждать на берегу, пока пройдет гроза. Может быть, легче все-таки добраться до немецкого берега — ветер-то юго-западный.

Клаус Бух заявил, что вот наконец настал момент, когда Хельмут должен прекратить уклоняться от жизни. Налетел шквал, Клаус Бух крикнул: «Трави!» Хельмут замешкался. Однако Клаус Бух успел вовремя отпустить шкот и выровнять яхту рулем, так что все обошлось благополучно. Но тут же налетел второй шквал. Хельмут крикнул: «Клаус, давай к берегу!»

Теперь озеро превратилось в светло-зеленую, фыркающую белой пеной массу. Клаус Бух орал от восторга. Хельмут подумал — а может, он и впрямь сумасшедший? Клаус крикнул Хельмуту, чтобы тот сел на борт яхты. Хельмут сел. Теперь они стремительно неслись по направлению к Швейцарии. Кроме них, на озере не осталось ни одной яхты. Вблизи берега виднелись яхты со спущенными парусами — видимо, они направлялись в гавани под двигателями.

Чем дальше, тем все больше Клаус Бух вел себя как всадник на родео. Он препирался с ветром. Каждый приближавшийся шквал нарекал новым женским именем. Вон Сузи, она хочет расплющить нас промеж ног — хоп! Трави! Пронесло! Всякий раз, когда им после очередного шквала удавалось справиться с креном, Клаус озарял Хельмута счастливой улыбкой, гладил корпус яхты и кричал: «Браво,

перелетная птица!» Хельмут видел, что выдерживать порывы ветра с помощью маневрирования и перемещения веса становится все труднее. От летучих хлопьев пены они давно уже промокли насквозь. Он удерживал свой грота-шкот лишь за самый конец. «Набрать!» — заорал Клаус Бух. Хельмут крикнул: «Ты рехнулся!» Он был уверен, что, если натянуть еще и грота-шкот, яхта опрокинется. Ветер трепал растравленный грот с резким, трескучим звуком, напоминавшим пулеметную очередь. «Сигнал урагана!» — торжествующе завопил Клаус Бух. В самом деле, огни замелькали с удвоенной частотой. «Теперь к берегу!» — рявкнул Хельмут. «Трус!» — рявкнул в ответ Клаус Бух.

Хельмут не мог больше выносить предельного крена. Волны уже перехлестывали через борт. Итак, этот Клаус Бух в самом деле сумасшедший. Теперь они, вывесившись за борт и отпустив шкоты насколько возможно, из последних сил удерживали яхту, чтобы она не опрокинулась. А шторм нарастал. Яхту кренило все сильнее. Хельмут просто отпустил свой шкот. Хлопанье и треск стали невыносимыми. Будто кто-то непрерывно колотил по их головам. Клаус Бух крикнул: «Чтобы ты не нервничал — берем рифы!» — и поставил яхту носом против ветра. Та мгновенно выпрямилась. Слава богу. Хельмут перевел дух. «А ну давай к румпелю! — крикнул Клаус Бух.— Держи его между ног! Направляй яхту прямо против ветра! Да не деликатничай ты! Смелей, смелей! Лезь, как к себе лезешь!» Он расхохотался и грациозно перепорхнул к мачте. Хельмут не представлял себе, что он может сделать с этой смехотворной деревяшкой в таком реве треске и грохоте. У него было такое чувство, будто настала глубокая ночь. Вдруг он ощутил давление на румпель. Яхта уже не держалась точно против ветра. Он двинул румпель. Но не в ту сторону. Грот отбросило ветром. Клаус что-то крикнул, потом подскочил к Хельмуту, вырвал у него румпель, нагнулся к шкотам. Хельмут был уверен, что сейчас они опрокинутся. А если не сейчас, то уж в следующий момент наверняка. Клаус Бух наберет грот, и яхту снова жутко накренит. Когда Клаус выпрямился и, орудуя румпелем и шкотами, попытался снова совладать с яхтой, а она начала валиться на бок, Хельмут закричал: «Не надо!» Клаус Бух крикнул: «Сейчас оторвемся!» И, безудержно захохотав, откинулся до ужаса далеко за борт. Он фактически лежал на спине. Яхта накренилась до предела. Было ясно, что в следующую секунду она опрокинется. «Давай сюда, старина,— заорал Клаус Бух,— мне нужен твой вес!» Хельмут примостился на борту, но старался, чтобы основная тяжесть его тела сосредоточилась внутри кокпита. А Клаус Бух еще и голову откинул назад и горланил, глядя в небо: «Lucy in the sky»[1]. Когда Хельмут увидел, что перехлестывающие через борт волны вот-вот достанут до кокпита, он ногой выбил у Клауса Буха румпель из рук. И тогда все произошло одновременно. Яхта рванулась к ветру. Клаус Бух опрокинулся навзничь в воду. Яхта выпрямилась. Ветер ударил с другого борта. Хельмут еле успел пригнуться под перекинувшимся гротом. Потом он, съежившись у мачты, начал высматривать Клауса Буха. Прежде чем тот исчез под водой, он успел поймать его взгляд.

Грот растравился. Вместе со стакселем он полоскал по ветру. Теперь ветер дул с кормы. Несмотря на треск парусов, вдруг стало намного спокойней. Хельмут осторожно поднялся, вглядываясь в белые гребни волн и темные провалы меж ними. Он кричал: «Клаус!» Кричал все громче: «Клаус! Клаус!» Когда он почувствовал, что кричит уже только для собственного удовольствия, он перестал. Сиди тихо, подумал он. Только ничего сейчас не предпринимай Клаус сумеет спастись. Такой спортсмен. Если они перевернутся, поучал его Клаус, надо отдаться на волю волн. Ни в коем случае не пытаться плыть к ближайшему берегу против волн. *Вместе* с волнами проплыть пять километров — вообще не проблема, а вот *против* них не проплы-

[1] «Люси в облаках» *(англ.).*

вешь и пятисот метров. Вообще не проблема. Ну и пожалуйста. Идиот. Точка. Ты этого не хотел. Ты же этого не хотел! Ну и пожалуйста. Так чего же ты тогда защищаешься? Ты этого не хотел. Точка. Клаус сумеет спастись. А ты нет. Вот так.

В случае чего он будет цепляться за яхту. Если она пойдет ко дну, то и он тоже. Но, может, она и не пойдет ко дну. Клаус Бух что-то говорил насчет плавучести. Он начал прикидывать, за какие места он сможет уцепиться. Выглядывать за борт он больше не хотел. Но, судя по треску и хлопанью, яхта все еще шла вперед. Стало уже довольно темно. Клаус... Ах, Сабина, если б ты знала. Когда еще он чувствовал себя таким разбитым? Он завыл. В последние месяцы в своих отношениях с Сабиной он иногда испытывал точно такое же чувство — чувство полной уничтоженности. Каждый раз было так, как будто он совершал роковую, непоправимую ошибку. И каждый раз вот так выл. Протяжным, забирающимся на все более высокие тона воем. Ему казалось, что он сможет вынести эту жизнь, лишь не переставая испускать эти пронзительные, бесконечные, полузадушенные вопли. Но нельзя было. Сабина каждый раз так пугалась, что ему приходилось сейчас же прекращать. Он говорил тогда, что это он просто в шутку. Пожалуйста, пусть проверит, глаза у него абсолютно сухи. Ему просто нравится испускать эти скулящие звуки. Но Сабина сказала, что она тогда просто не сможет жить. Эти звуки ужасны.

Теперь он мог испускать свои вопли на таких протяжных и высоких тонах, на каких хотел. Он снова совершил непоправимую ошибку.

Лишь когда киль вдруг зарылся в прибрежную гальку, он прекратил выть. Выпрыгнув в воду, он выбрался на берег и побрел по направлению к огням.

Люди испугались. Вызвали «скорую помощь». Заставили его выпить чаю со шнапсом. Сказали, что он в Имменштаде. Позвонили в береговую спасательную службу, чтобы та немедленно приняла меры для спасения его друга. Позвонили Сабине. Позвонили Элене Бух. Хельмут подумал, что для него сейчас самое лучшее — оставаться в состоянии апатии. Клаус Бух в Унтерхомберге сказал, что лошадь на скаку не поддается ни на какие уговоры. И он с ним согласился.

9

Хельмут стоял у окна и смотрел в бинокль, как среди цветков наперстянки муравьи набрасывались на тлей, раз в десять меньших по размерам, и доили их. «Извращенец»,— сказала Сабина. «По-моему, тебе надо позвонить Элене Бух»,— сказал Хельмут. «Если она до сих пор ничего не узнала, то уж и не узнает»,— ответила Сабина. «А ты видела — розовая лилия за сегодняшнюю ночь расцвела»,— сказал Хельмут. «Она же позвонила бы нам, если бы что-нибудь узнала»,— сказала Сабина.

Хельмут шагал взад и вперед по керманскому[1] ковру. «Позвони ей все-таки,— сказал он,— для верности».

Сабина неохотно встала и пошла к Цюрнам. Она иногда от них звонила. Он же за одиннадцать лет ни разу не воспользовался цюрновским телефоном.

Когда он в один из прошлых приездов вышагивал по этому светлому ковру с темно-синими узорами, к нему привязалось представление, от которого он не мог отделаться: будто он ведет за руку человека ростом с семилетнего ребенка, а человек этот — Фридрих Ницше, но только в сорокалетнем возрасте, хотя и уменьшенный до размеров семилетнего. Этот человечек испытывал панический страх

[1] Керман — название города и провинции в Иране, где выделывают ковры особой расцветки.

перед Отто. Поэтому он судорожно цеплялся за правую руку Хельмута.

Вот и Клаус Бух испытывал перед Отто точно такой же страх, какой уже был знаком Хельмуту по его малышу Ницше.

Хельмут имел обыкновение, вышагивая по ковру, непроизвольно бормотать себе под нос. «Тихо,— говорил он в таких случаях,— тихо, тихо». И после некоторой паузы: «Мертвый за первую парту».

Это были уже давние привычки — «Тихо» и «Мертвый за первую парту». Как только Сабина вышла, он и сейчас начал: «Тихо, тихо» — и после паузы: «Мертвый за первую парту, мертвый за первую парту». Но у него было ощущение, что сегодня он начал разговаривать не автоматически, а намеренно.

Сабина сообщила, что у Эль никаких новостей нет. «А мы сегодня вообще, что ли, не пойдем на пляж?» — спросил он. Она ответила, что сегодня не может видеть озеро. Фрау Цюрн сказала ей, что во время вчерашнего шторма утонули три человека. Один утонул, хотя к опрокинувшейся яхте, за которую он цеплялся, подошли две моторки и с них ему бросали канаты. Волны оторвали его от яхты, канаты он так и не смог схватить и исчез прямо на глазах у спасателей. Хельмут кивнул, как будто все это ему знакомо. Сабина обняла его и прижалась к нему. Хельмут постарался хоть как-то отреагировать. Потом сказал, что он все-таки пойдет к озеру. Может, и она потом подойдет. Спросил, какое впечатление произвела на нее Эль по телефону. Сабина ответила, что она говорила жутко тихим голосом. Почти ничего не сказала. Только «да» и «нет». Хельмут взял первый том Кьеркегора, быстро вышел и зашагал к озеру. Отто, ликуя, бежал рядом. У калитки их приветствовал цюрновский Флориан, всегда проявлявший к Отто повышенный интерес. Но Отто — он был сукой — с негодованием отвергал все искательства ровесника кобеля Флориана.

Сегодня озеро прикинулось безбрежным. И ласковым. И невинным. Хельмуту это понравилось. Невозможно было узнать в этой отливающей нежной синью безбрежности вчерашнего ощерившегося дикаря. Невидимая сама по себе дымка делала все видимое голубым, обманчивым, мягким, нематериальным, парящим. Никаких границ. Никаких контрастов. Одни переходы. В такой день можно по праву воспользоваться словом «бесконечность». Можно было бы, если бы... Он ощутил холод в пятках. Они коченели. Будто находились в снегу. Всю ночь он, лежа в кровати, без конца брал пятки в руки и поражался всякий раз, что на ощупь они были совсем нормальные. Но как только он их отпускал, они начинали болеть, и эту боль он ощущал как ледяной холод. А ведь впервые это ощущение он испытал во время их первой поездки на яхте... Ну, ну, смелей. Когда он вчера вечером наконец-то вернулся домой и хотел только одного — как можно скорее забраться под одеяло,— он обнаружил на коврике перед кроватью со своей стороны гигантское насекомое. Красивую зеленую саранчу. Он хотел поднять ее, но она — видимо, в предсмертной агонии — вцепилась в ткань коврика.

Ему пришлось приложить усилие, чтобы отодрать ее. Одна из длинных антенн повисла. В остальном у этой красивой зеленой прыгуньи ничто не было повреждено. Глаза-полушария у них явно вообще не закрываются. Хельмут подумал тогда: «Смелей». И еще подумал, что крылья у нее как фрак. Зеленый щиток на затылке как воротник. Или как золотистый, топорщащийся над воротником загривок Клауса Буха. Вдруг насекомое подтянуло длинную нижнюю половинку одной из задних ног и затем опять ее распрямило. Потом вся задняя нога начала дергаться. Туда-сюда. И вторая задняя нога тоже слегка задергалась. Затрепетало все тело. Ему было невмоготу на это смотреть. Он положил зеленую саранчу на подоконник, заполз под одеяло и стал с надеждой ждать дрожи. Вскоре он и в самом деле

начал дрожать. Так длилось некоторое время. Потом он еще наорал на Сабину. От ее воя только тошнее становится, крикнул он. На это Сабина разразилась бурными рыданиями. Но потом успокоилась. Сегодня утром саранчи на подоконнике уже не было.

Он раскрыл черный том Кьеркегора и начал читать: «За время своего пребывания здесь, в Гиллелейе, я посетил Эсрум, Фреденсборг, Фредериксверк и Тидсвиле. Последнее селение примечательно главным образом источником святой Элены, к которому в Иванов день стекаются паломники со всей округи». Хельмут захлопнул книгу. Он не представлял себе, как ему настроиться на чтение.

Вдруг он отчетливо осознал, что, начиная с этого момента, следует ожидать непрерывных посягательств со всех сторон. Больше не будет ни одной безмятежной минуты.

Все вдруг стало непредсказуемым. Нельзя было просто так вот полежать. Во всяком случае, чтение исключалось. Он должен был двигаться. Должен был бы. Если бы мог. О господи, только не скисай в первый же день, и не с такими делами люди справляются, защищайся, боже мой, защищайся. Ты этого не хотел. Если бы этот сумасшедший продолжал свое родео, мы бы перевернулись. И тогда обоим была бы крышка. Пишут же в газетах, стоп-стоп-стоп, нельзя так думать, смирись, сознайся, пусти спокойно совесть на выпас, только что это такое — пустить совесть на выпас, смахивает на все то же соревнование в словоблудии, стоп, сознайся, что тебе этого не одолеть, память усердствует, как никогда, на Голгофу ничего похожего, грубо говоря, ты просто жил в ту секунду, ты вышел из себя, Ха-Ха, на секунду не смог поддерживать мираж, и к этой секунде ты теперь приклеен, будешь навек приклеен, если не сомкнется трещина, созданная этой секундой.

Он вскочил, помчался домой и предложил Сабине устроить пробежку по лесу. Сабина испугалась. Легкую пробежку. Не спортивное самоистязание. Легкое подобие бега на длинную дистанцию. «Длинная дистанция, Сабина,— тебе знакомо такое понятие? Оно мне очень нравится. Длинная дистанция. Трусишь не спеша. Нужны мягкие туфли. У нас нет таких. Послушай, подожди тут, я сбегаю в город и куплю нам обоим туфли, тренировочные костюмы, трусы, майки. Только не смейся и не плачь, прошу тебя, это не имеет смысла, надо двигаться. Если ты не хочешь купаться, ну что ж — давай пробежимся. Ухватимся хоть разок за представившуюся возможность, черт побери. Массовый спорт, Сабина. Не хочешь ли со мной в город? Можем одолжить велосипеды. У Цюрнов. Ты попросишь? Ну пожалуйста! Пожалуйста, Сабина, будь добра, спроси, нельзя ли нам взять их велосипеды, или нет, мы купим свои, да, наконец-то теперь все будет о'кей, — он спохватился слишком поздно, Клаусово слово уже выскочило, и Сабина его сразу распознала, — мы купим себе велосипеды, прямо здесь, знаешь, напротив «Льва», выберем два самых блестящих, какие только есть, потом поедем в город, экипируемся, а потом на велосипедах рванем в лес, поставим велосипеды и устроим пробежку. Давай, давай!»

Сабина безвольно повиновалась, пытаясь кивать в знак согласия. Она наверняка думала о Клаусе Бухе, но имени его не произносила. Они пошли в поселок, купили себе самые лучшие велосипеды. В городе купили тренировочные костюмы. Потом вдоль берега поехали на велосипедах домой. Езда сразу подняла их настроение. Оказалось, они вовсе не так неуклюжи, как опасались. Хельмут сказал: «Черт побери, Сабина, как здорово, что нам пришло в голову покататься на велосипедах. Главное — положить начало. Просто здорово. Настоящее ощущение удачи, ты не находишь?» — «Да»,— крикнула Сабина. «Вот подожди,— крикнул он в ответ,— когда переоденемся, будет еще лучше». У него было такое чувство, что его уже ничто не остановит.

Переодевание прошло в такой же спешке. Сабина тоже заразилась его торопливостью. Оба двигались легко и быстро. Нашли, что в тренировочных костюмах они выглядят забавно, но не смешно. Хельмут сказал, что она выглядит даже очень интересной. Как спортсменка откуда-нибудь из Зауралья. «А ты,— сказала Сабина,— выглядишь как американский генеральный директор в субботний день». Он, правда, опасался, что купил туфли на номер меньше. «Наконец-то я узнаю тебя прежнего»,— сказала она. Но он не допустил никакой паузы.

Когда они взялись за свои велосипеды, к дому подъехал старый серебристый «мерседес». Это была Элена Бух. Она ничуть не удивилась , увидев Хальмов с велосипедами, в тренировочных костюмах. Она и сама была одета необычно — такою Хальмы ее еще не видели.

Латаные-перелатанные джинсы и синяя двубортная куртка в полоску. Под ней майка, в прошлом черная. И туго стянутые волосы. Теперь было видно, какая у нее тонкая, гибкая шея. Видно было, что эта красивая, длинная, с нежным изгибом шея создана для того, чтобы легче было высоко и горделиво задирать этот до невозможности нежный, изящный носик.

Она не могла больше выдержать одна в гостиничном номере.

Хальмы отставили велосипеды и вошли с Эленой в дом. Сабина принялась варить кофе и спросила Эль, что сделать для нее. Эль сказала, что с удовольствием выпьет чашечку кофе. Тогда Сабина вопросительным тоном сказала, что еще у нее есть торт с вишней, сама пекла. «Да, с удовольствием»,— сказала Эль. Каждый съел по два кусочка. Эль сказала, что за четыре года это первый торт, который она ест. И лучше его она вообще в жизни ничего не ела. «Да, кофе с тортом — это здорово»,— сказал Хельмут. Без кофе и торта ему и жить бы не хотелось. Он надеялся, Эль и Сабина заметят, что он несет эту чушь только для того, чтобы молчание не разрасталось еще больше. Как только наступала пауза, поглощение торта превращалось в отвратительно торжественное действо.

После этого Сабина осторожно спросила, не помешает ли Элене, если она закурит сигарету.

«Нет, нет»,— сказала Элена и улыбнулась слабой улыбкой, как выздоравливающая. У нее такое чувство, продолжала она, что она и сама могла бы сегодня выкурить сигаретку. Сабина угостила ее.

Теперь самым поразительным было зрелище курящей Элены. Она делала долгие, глубокие, спокойные затяжки. Как человек, желающий в чем-то серьезно убедиться.

Во время одной из пауз она сказала: «Я вам мешаю. Было бы так хорошо, если бы вы не обращали на меня внимания. Если бы, например, вы сейчас читали, я бы знала, что я вам не мешаю. Мне просто не хочется быть одной, сейчас».

Сабина спросила, не сварить ли еще кофе. Элена кивнула с трогательным энтузиазмом. «Мы еще могли бы предложить тебе кальвадос двенадцатилетней выдержки»,— сказала Сабина. Хельмут сделал критическое лицо и резко сказал: «Сабина!» Но Эль попросила, чтобы они делали все как обычно, иначе она не сможет дольше ни секунды у них оставаться. Пускай Сабина поставит и для нее рюмочку, тогда ее меньше будет мучить чувство, что она мешает. Сабина налила всем кальвадоса. Хельмут сказал: «Я не буду». Элена спросила его, почему он не курит. Он сделал отрицательный жест. «А мне нравится, когда ты куришь сигару,— продолжала она.— Мой отец тоже курил сигары».

Когда они так вот посидели — Сабина с Эленой курили и пили кофе с кальвадосом,— Хельмут сказал: «Не знаю, Сабина, рассказать ли мне, как все было, или лучше не говорить сейчас об этом. Я просто не знаю. Эль, скажи ты... что тебе... что ты считаешь возможным,— как скажешь, так я и сделаю». Элена взглянула на него. Он

в самом деле сказал «Эль». Может быть, в первый раз. Вместо ответа она судорожно разрыдалась. Это был громкий, протяжный вой. Хельмут сразу вскочил. И начал быстро, чуть ли не рассерженно шагать взад и вперед по комнате. Элена тоже встала и остановила его. А потом снова заплакала. На этот раз она уткнулась головой ему в плечо. Он почувствовал, как ее всю трясет, и отвел ее назад в кресло. Сабина тоже заплакала. И сам Хельмут ничего не мог с собой поделать — у него к глазам подступили слезы. Вдруг он вспомнил: ведь Сабина сказала тогда, что она не поедет на яхте, потому что договорилась с парикмахером. Эль наверняка уже давно заметила, что ни у какого парикмахера Сабина не была.

Элена выпила кальвадос из рюмки Хельмута. Сабина налила всем снова. Элена первой схватилась за полную рюмку.

«Ну закури же свою сигару,— сказала она.— Я ведь знаю, что сейчас ты закурил бы, если бы меня не было».

Сабина тоже ободряюще ему кивнула. Хельмут сказал: «Нет, не хочется. Сейчас в самом деле не хочется. Может быть, попозже». Элена пододвинула полную рюмку прямо Хельмуту под нос, потом подняла свою. Он отрицательно покачал головой. Женщины выпили. Элена сказала: «Господи, какой прекрасный кальвадос. Шесть лет назад я один семестр училась в Монпелье и там часто пила кальвадос. За могучими крепостными стенами». Хельмут непроизвольно подумал о тонких стенках гостиницы в Градо. Посмотрел на Сабину и понял, что она подумала о том же. Это его разозлило. «Монпелье — это был лучший год в моей жизни»,— сказала Элена. Фраза прозвучала странно.

Она выпила. Сабина снова ей налила.

— Я уже совсем одна пью,— сказала Элена.

— За твое здоровье,— сказала Сабина и тоже выпила.

— Завтра утром я уезжаю,— сказала Элена.

— В Штарнберг,— сказала Сабина.

Элена кивнула.

У Хельмута было такое чувство, что он уже никогда не сможет сдвинуться с места. И что он когда-нибудь заговорит, тоже представлялось ему маловероятным.

— Клаус, наверное, сказал бы, что жизнь продолжается,— ни на кого не глядя, как бы про себя, сказала Элена.

Видно было, что она вот-вот снова расплачется. И видно было, как она на этот раз борется с собой. Закусила губу.

— Только не знаю как,— сказала она.

Она продолжала бороться с подступавшими к горлу рыданиями. Выпила рюмку до дна. Сабина налила ей снова.

— Клаус однажды сказал: люби меня только до тех пор, пока я жив. А сейчас у меня такое чувство, что я никогда не смогу поверить в его смерть. Просто это не укладывается у меня в голове. И никогда не уложится. Для меня он живой.

Она выпила до дна и снова протянула рюмку Сабине. Та налила, она сказала: «Будь здорова». Сабина тоже выпила.

— Он не много хорошего видел в жизни,— сказала Элена.— Это была сплошная каторга. Каждый день по десять—двенадцать часов за машинкой. Даже когда уже не мог писать, все сидел, сгорбившись, за машинкой. Говорил: я должен быть на посту. Все, что он делал, давалось ему с жутким трудом. Поэтому он и внушал всем направо и налево, что он вообще не работает, а уж если и делает что-нибудь, то только из удовольствия, легко. Да, легко,— он хотел казаться легким. А потом это постоянное чувство, что вся его работа — шарлатанство. Что в один прекрасный день его раскусят. Он часто вскрикивал по ночам, во сне. И все чаще обливался холодным потом посреди ночи. Потому и твердил: «Надо срываться на Багамы». Если мы были одни, он добавлял: «К другим преступникам». Он был глубоко

убежден в том, что он преступник. У нас, конечно, не было абсолютно никаких шансов попасть на Багамы. Мы и здешний-то отпуск едва могли себе позволить. Он даже в гостинице каждый день работал. А я должна была собирать старушечьи афоризмы. Но теперь с этим покончено. Что-что, а уж это я знаю наверняка. В жизни больше не дотронусь до магнитофона. И до пишущей машинки тоже. Я не могла ему сказать, как все это не по мне — врываться в тихие деревушки, выспрашивать бургомистра, приставать к этим милым бабушкам, объяснять им, что к чему и зачем этот микрофон. Но он был в таком восторге от своей идеи. Он был ребенком. Или хотел им быть. Человек все может. Это тоже один из его афоризмов. Ему бы стать учителем физкультуры. Или путешественником-первооткрывателем. Но не сейчас. Лет сто назад. Капитаном парусника. Искателем приключений. Человеком, которому любые трудности нипочем. Если их создает природа. Наедине с природой он всегда был смелым, находчивым, непобедимым. Только люди...

Она резко разрубила воздух рукой — сверху вниз.

— Он был ужасно практичный. Домишко в Штарнберге был настоящим курятником, когда мы его купили. Какой-то беженец собирался наладить птицеферму, да так и не наладил. Клаус все сделал сам. И еще как! Терраса — другой такой поискать. Из красного песчаника. Эта красная терраса — памятник ему. Она-то останется, я знаю. Но, в сущности, он был уже конченым человеком. Честно. Он сел не на тот корабль. Это кошмар. Из-за какой-то идиотской случайности он попал в эту журналистику, будь она проклята. А потом и в экологию. Да еще и поверил, что надо к ним относиться серьезно,— мол, в этом вся наша жизнь. Он был такой истеричный. Под конец пересобачился со всеми вдрызг. Абсолютно со всеми. Редакторов и издателей, от которых он зависел, он люто ненавидел — потому что зависел от них. Если у редакторов проскальзывал хоть намек на критическое отношение, он рвал рукопись в клочья перед их носом. Ужас. Но и смешно, конечно. У него же была копия. Каждый это понимал. Он-то ждал, что они бросятся останавливать его, будут хватать за руку. А они ухмылялись.

Она выпила, протянула рюмку, получила новую порцию, сказала: «Будем здоровы» — и выпила. Сабина выпила тоже.

— Он ужасно оскорблял людей, от которых зависел. И только потому, что зависел от них. Что он вытворял со своим издателем! Одно время регулярно ездил в Мюнхен, прокрадывался к его автомобилю и... не могу даже сказать. Конченый человек. Вконец конченый. Потому он так и обрадовался, когда мы вас встретили. После первого же вечера сказал: «Теперь — укладываемся!» Фантазер был. Сразу начал опять про свои Багамы. С Хельмутом на Багамы. Это была его новая идея. Нелегко было с ним, скажу я вам. Из-за его болезненной чувствительности. Ведь они же дали ему понять, что вовсе в нем не нуждаются. Когда они дали ему это понять, все полетело к черту. Вот тогда он и начал по сто раз в день — клянусь, по сто раз в день! — спрашивать, не разлюбила ли я его. Ему все больше стало казаться, что он последнее дерьмо. И я должна была без конца доказывать, что он не последнее дерьмо, а супер-супер-супер. Да так, чтобы он поверил. Еще бы.

Она вскочила. Заходила взад и вперед по комнате. С рюмкой в руке. Попросила налить еще. Выпила.

— С ним практически уже невозможно стало говорить. Постепенно я начала понимать, что долго не продержусь. Такое чувство было, словно я пытаюсь удержать утопающего на поверхности. Когда я выбьюсь из сил, он и меня утащит с собой. Я почувствовала, что силы мои на исходе. Поэтому я тоже обрадовалась, когда мы вас встретили. Мы же были абсолютно одиноки. Абсолютно. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Вы знаете, что я ничего не хочу

сказать плохого о Клаусе. Я хочу... я должна только сказать... вам я должна... должна же я однажды хоть кому-нибудь сказать, как это... Я сама... я сама практически... можно же хоть раз в жизни это сказать... мне не дозволялось жить — он не давал. Я должна была интересоваться всем, что он делал, намного больше, чем он сам. Будто я дочерью его была: чего не достиг он, должна была достигнуть я. Я была его гордостью. С другой стороны, он сразу начинал дуться, если кто-то хвалил то, что делала я. Он был сумасшедший. Когда он заметил, что в нем не нуждаются, его эгоизм дошел до такой степени, что иначе как психическим заболеванием это и не назовешь. Я училась музыке, когда мы познакомились. Пришлось срочно бросить. Не прошло и трех месяцев, как мне было сказано, что на настоящего музыканта я все равно не тяну, надо бросить, я только сама себя сделаю из-за этого несчастной. Баста. Вот так. А потом начал натаскивать меня на то, чем сам интересовался. Мне было двадцать два. И я была идиоткой. Такой идиоткой — дальше некуда. Верх идиотизма. Маттерхорн[1] по сравнению с этим ничто — вот какой я была идиоткой. Я, конечно, понимаю, что он тут не виноват... но почему я... почему именно я должна за все расплачиваться? Рояль продали. О да! Он фантастически возненавидел музыку. Либо он, либо музыка! Еще год — и со мной бы тоже все было кончено. Тогда бы я уж так и терпела до конца. Ваше здоровье. Потрясающе — чего только не выдерживает человек! Этим я обязана ему. Это уж точно. Я много чего могу выдержать. Я... спорим, что я могу выдержать больше, чем вы оба вместе? Ну что, спорим? Ну чего же вы — поспорьте со мной! Я очень хочу выиграть. Я так давно ничего не выигрывала. Мне сейчас... ах, да, рояля в вашей роскошной летней вилле нет. Хоть бы скрипку. Что за дыра. Вилла без рояля. И скрипки нет. И так одиннадцать лет. Одиннадцать лет без рояля и скрипки! Вы тоже кое-что можете выдержать. Здорово же вы задубели. А ну, дай пощупаю, Хельмут. Ты задубел? Твоя душа? Дай пощупаю. Мочку уха. Ты что, не знал? Какая мочка уха, такая и душа. Вот видишь — мне сдается, мочка уха у тебя, как вымя без молока. А у тебя, малышка? У женщины мочки ушей полнее, чем у мужчин, в этом приходится убеждаться снова и снова. Вообще женщины — м-м! Я вам скажу — есть женщины... вот у них полнота души! Любого мужчину забудешь. Что такое мужчина, Сабина? Гонору как у сопли на рукаве — ну ладно. А еще что? Пшик. Тьфу. Клаус всегда... ах, да. Клаус... Я, знаете, будто плыву в какой-то жидкости. Плыву в ней и ее же пью и пью. Это уже почти какое-то неземное блаженство. Только бы оно не прекращалось. Хельмут, проследи, пожалуйста, чтобы вдруг не зазвонил телефон и господин доктор Штальхаген из Мюнхена не сказал в трубку, что он о нас больше... Нет, чем я вам обязана — вы даже и представить себе не можете, честно! Вы вообще — золотые люди. И вот мы вас встречаем, когда практически уже всему каюк! Такая жалость. Хельмут, ты не представляешь себе, как Клаус был счастлив, что он тебя встретил. Говорит — я будто клад нашел. Рядом с ним, говорит, с таким спокойным, надежным, я бы смог выздороветь, я это чувствую. Ему этого не хватало — твоей рассудительности, сдержанности, внутреннего спокойствия. Ах, милые вы мои, вы сейчас можете меня искупать, если хотите. Я у вас останусь. А вы меня искупаете. Вымоете большой-большой губкой. Ванна у вас есть? Ах, тоже просто душ. Жидковато, да? Ну и ладно. Неплохо было бы, если б вы меня искупали. Но так вот и бывает. Я существо избалованное, я хотела бы ванну. А ванны нет. Точь-в-точь как в пустыне Сахаре. Не исключено, что я сейчас опять захандрю, но вы не принимайте этого близко к сердцу. Теплая ванна — лучшее средство, когда захандришь. Но чтобы очень теплая. Когда я лежу в теплой ванне, я всегда начинаю петь. Хотя вообще-то я в последнее время

[1] Гора в Швейцарии.

совсем не пою. С этим было покончено как-то особенно быстро — с пением. Сейчас практически на нуле. Иногда бывает — сяду скорчившись и чувствую, как от меня исходит молчание. И в нем я сижу. Как под стеклянным колпаком. И вот тут, дамы и господа, оно меня и охватывает. *Она* охватывает. Тоска — холерическая, душераздирающая. Потому что — ну что я из себя представляю? Так, что-то такое, что шлепают об стенку, шмякается оно и лежит, и уже и понять невозможно, чем это было и как оно было задумано. Вообще самое во всем важное — чтобы уж если уничтожать, то до конца. Если нас всех прикончат только наполовину, останется волна сочувствия, мы в ней наверняка захлебнемся — и это уж будет вообще конец света. Но когда мы расплющены вконец — мы живем себе, ничего не ощущая, дальше. Благодарю вас.

Теперь мы сразу же начнем. Мы и так потратили даром массу времени. Уважаемые дамы, уважаемые господа, я не столь хорошо подготовлена, как хотелось бы музыканту быть подготовленным в наши дни. Но в каком-то ином смысле я в то же время слишком подготовлена. Я могу себе позволить просить вашего внимания. Я сыграю вам фантазию «Скиталец» Франца Шуберта.

Она ударяла по воображаемым клавишам, пела, изображала пальцами ритм и ноты. Она декламировала фортепьянную пьесу как текст, не выпуская ни единого слога. И подробно поясняла все, что изображала.

Снаружи постучали. Хельмут рванулся к двери. Фрау Цюрн. Пришел какой-то господин за своей женой.

Мимо нее, мимо Хельмута в комнату прошел Клаус Бух.

Хельмут успел кивнуть фрау Цюрн, потом закрыл дверь, потом подозвал к себе Отто и стал придерживать его.

— Клаус! — вскрикнула Сабина.

Элена, оборвав свою музыку и как-то сникая, угасая, сказала: «Мой Клаус, мой милый, милый Клаус. Ну вот, что я говорила? Он жив, говорила я, и что же? Он жив. И так поздно приходит. Это на него похоже. Он просто хотел узнать, что мы делаем, когда мы без него. Не так ли? Подонок. Разве не говорила я вам, что он подонок. Пожалуйста, Клаус, выбери себе местечко поудобнее, я должна доиграть фантазию «Скиталец».

Она вспомнила место, на котором остановилась, и продолжала. Но недолго. Она взглянула на Клауса, налила себе, глядя на него, рюмку кальвадоса, сказала: «Будем здоровы», выпила до дна и снова взглянула на Клауса.

Клаус сказал: «Теперь пошли».

Она сказала: «Тебе не понравилось? Извини. Ты тут стоишь свежеспасенный, а я играю на рояле, я не удивлюсь, если ты сочтешь меня эгоисткой. Ты, избегший волн. Он победит любую стихию. Я об этом уже предупреждала. Ведь правда?»

Клаус сказал: «Теперь пошли».

Элена сказала: «Но, Клаус, побудем же еще немного с нашими друзьями. В нашей комнате все равно нет ванны. У них тоже нет ванны. Так что мы с таким же успехом можем остаться и здесь. Нашей участи — жить без ванны — мы во всяком случае останемся верны».

— Я ухожу,— сказал Клаус.

— Тебя кто-то обидел? — спросила она.— Я вижу, ты дуешься. Клаус, а ну-ка, быстро, скажи своей Эль, кто тебя обидел? И кто-то ведь очень жестоко тебя обидел. Я же вижу. У-у-у! Жестоко, насмерть обидели нашего Клауса. Но я восстановлю твои силы, дорогой, живо восстановлю. Клянусь тебе.

Она закурила еще одну сигарету, сняла соломенную шляпу Хельмута с крюка и нахлобучила ее себе на голову. «Ты ведь одолжишь мне ее? — спросила она. И потом сказала: — Пошли, мой гений, бодро пошагали вперед».

Помахав рукой Сабине и Хельмуту, она вышла, и было такое впечатление, что она и Клауса как-то походя прихватила. Пока он стоял в комнате, взгляды его и Хельмута ни разу не встретились. Только сейчас Хельмут это понял. Итак, ему завещалось сохранить в своей памяти другой взгляд — взгляд человека, опрокидывающегося навзничь в волны. Может быть, в тот момент Клаус так глубоко проник в его душу, как никто прежде. И человек, так глубоко проникший в его душу, остался жить.

Они пошевелились, лишь когда услышали шум отъезжающего автомобиля.

Сабина сказала: «Минутку, минутку».

Хельмут сел, зажег сигару, налил себе кальвадоса, сказал: «Твое здоровье». И выпил. Сабина не стала пить. «Ты что-нибудь понял? Что с ним произошло?»— спросила она. Хельмут не прореагировал на ее вопрос. «Хельмут, что с ним? — спросила она снова.— С ним что-то произошло. Вместо того чтобы устроить шумное торжество, он является... как страшный суд во плоти. Ты что-нибудь понимаешь?»

Хельмут взял черный том Кьеркегора и сказал: «Если ты ищешь своего Вагнера, он в той комнате, принести тебе?» Потом раскрыл своего Кьеркегора и начал читать: «За время своего пребывания здесь, в Гиллелейе, я посетил Эсрум, Фреденсборг, Фредериксверк и Тидсвиле. Последнее селение примечательно главным образом источником святой Элены, к которому в Иванов день стекаются паломники со всей округи».

Он снова захлопнул книгу. Сабина все еще сидела в прежней позе. «Теперь пошли,— сказала она спустя некоторое время.— Мы же хотели проехаться на велосипедах. В лес. И сделать там пробежку. Пошли». Хельмут встал и сказал: «Не могу я в этом ехать». Он переоделся. Во время переодевания он сказал Сабине, что велосипеды можно будет оставить Цюрнам в подарок. Просто оставить их тут, а потом можно будет ими пользоваться, если вдруг приедут еще раз сюда.

Потом он сказал: «Пожалуйста, Сабина, переодевайся. Пожалуйста». Он говорил опять таким же твердым и настоятельным тоном, каким незадолго до этого добивался покупки спортивных костюмов.

Когда они переоделись, он сказал: «А что, если нам начать укладываться? Или вот как: я начну укладываться, а ты пойдешь к фрау Цюрн, заплатишь за весь месяц — полностью, никаких скидок, ни в коем случае,— скажешь, мол, особые обстоятельства, если мы в следующем году сможем приехать, то мы заблаговременно, ну и все такое. Пожалуйста, я очень прошу, Сабина. В поезде я все тебе расскажу. Пожалуйста».

Сабина села и сказала, что это для нее слишком уж поспешно. Он ответил не терпящим возражений, элементарно угрожающим, безапелляционным тоном: «Тогда мне придется поехать одному».

— Вот как,— сказала Сабина.— Но я ведь тоже хотела бы произнести речь. Когда же я смогу произнести свою речь, скажи, пожалуйста? Неужели ты думаешь, черт побери, что мне нечего сказать?

— Ах, хороший ты у меня человек. Одна такая,— сказал он.

— Прекрати,— сказала она.

— Верно,— сказал он.— В поезде, Сабина, в поезде.

Он начал укладывать чемоданы. Постепенно она тоже включилась. Когда она пошла к Цюрнам, он крикнул ей вслед: «Такси, через пятнадцать минут». Хрупкая фрау Цюрн и двое из ее взрослых дочерей стояли у калитки и махали им вслед, когда Хельмут, Сабина и Отто отъехали. Доктор Цюрн, к счастью, был в Альгее. У билетной кассы Хельмут сказал: «Два полных и один половинный до Мерана».

— До Мерана,— сказала Сабина и покачала головой.— Почему до Мерана?

— Минутку, подождите,— сказал Хельмут кассиру,— жена не согласна. Куда же тогда? — спросил он Сабину.

— Ну хотя бы... в Монпелье,— сказала она в изнеможении.

— Два полных и один половинный до Монпелье, первый класс,— сказал он кассиру. И, повернувшись к Сабине: — Надеюсь, там для тебя не будет слишком жарко.

— Но ведь стены там такие могучие,— сказала Сабина и слабо усмехнулась.

Хельмут осторожно поцеловал Сабину в лоб. Отто издал страдальческий звук. Сабина так взглянула на Хельмута, что он вынужден был сказать: «Ты смотришь сквозь меня, как сквозь пустую банку из-под мармелада. Подожди немножко. В поезде». Сабина ответила: «Сегодня ночью, во сне, мне пришлось решать задачку — какое число не делится ни на какое другое. Я не знала, а все остальные знали. Ты тоже. Но ты мне не помог». Он несколько извиняющимся жестом потрепал ее по волосам. Подошел поезд. Хельмут сказал, обращаясь к ярко раскрашенному локомотиву, показавшемуся ему похожим на монаха какого-то ордена: «Qui tollis peccata mundi» [1].

Когда они отыскали себе свободное купе, он сказал: «Сабина, теперь мы можем спокойно сидеть до самого Базеля».

— Я все-таки побаиваюсь жары,— сказала Сабина.— Вдруг там слишком жарко. Что мы тогда будем делать?

— Ах,— небрежно сказал Хельмут,— будем сшивать тени.

Некоторое время они молча сидели друг против друга, как незнакомые. Она лицом по направлению движения, он — спиной к нему.

— Так что же все-таки было вчера? — спросила она.

В окне промелькнул встречный скорый поезд.

— Это довольно длинная история,— сказал он и посмотрел в окно на Рейн.

— Рейн,— сказала она. И слегка потянулась.

Она сидела прямо в лучах вечернего солнца. Он в тени. Он сказал высоким, как никогда, голосом: «Ах, хороший ты у меня человек. Одна такая». Он видел, что ей приятно это слышать. Это вдохновило его на дальнейшее, ему самому показавшееся прямо-таки скачкообразным возвышение тона: «О ты, осиянная! — сказал он.— В тебе такая сила, хоть ты об этом и не знаешь. Выглядывать из вороха лет, как из охапки роз,— с тебя это станется».

— Красиво,— сказала она.— Ну, а теперь?

— Теперь,— сказал он,— что ж, я начну. Мне очень жаль, но может так случиться, что я тебе выложу все об этом Хельмуте, об этой Сабине.

— Давай, давай,— сказала она,— не думаю, что я всему поверю.

— Это был бы выход,— сказал он.— Итак, пожалуйста. Все было так: вдруг Сабина энергично протиснулась сквозь толпу гуляющих и устремилась к еще незанятому столику...

«На полном скаку» Мартина Вальзера по принятым у нас жанровым обозначениям — повесть, но сам писатель назвал свое произведение новеллой, и в этом есть глубокий смысл. Для большинства эпических произведений Вальзера характерны хаотичность композиции, чрезмерная растянутость повествования, усложненный язык, склонность к изощренным стилизациям. Здесь же в основном все как в традиционной новелле: строгое единство действия, минимальный круг действующих лиц, почти классицистическая симметрия характеров и ситуаций, эффектные повороты сюжета, внешне неожиданные, но внутренне тщательно подготовленные.

При этом Вальзер сохраняет верность своей предпочтительной теме: изображению сознания современного человека буржуазного мира, точнее говоря — современного буржуазного интеллигента. Его давно беспокоит вопрос о том разрушительном действии, которое оказывает «общество потребления» с его жестокой конкурентной борьбой на человеческую душу. Эта борьба «на выживание» порождает в людях ущербную психологию приспособленчества и тяжелого, завистливого себялюбия, подчиняет личность вещам и деньгам, подавляет в ней все естественное. Романы Вальзера («Межвременье», «Единорог», «Падение» и др.) чаще всего предстают как истории карьер, причем это преимущественно не истории головокружительных взлетов или сокрушительных падений, а истории медленной и необратимой адаптации сознания,

[1] Ты, что искупаешь грехи мира *(лат.)* — фраза из «Реквиема».

его измельчания и изматывания. Отсюда преобладающий структурный принцип вальзеровской прозы: воссоздание хаотического, суетного течения повседневности и — параллельно этому — прилаживающегося к нему потока столь же мелочного, аморфного, оппортунистического сознания. Отсюда и переходящий из романа в роман образ главного героя Вальзера — человека опустошенного, раздражительного, терзаемого комплексом социальной и индивидуальной неполноценности.

Герои повести «На полном скаку», как легко почувствует читатель, в конечном счете тоже таковы. Но, обратившись к лаконичному жанру новеллы, Вальзер на этот раз счастливо избежал того тягостного ощущения беспросветной скуки повседневности, которое оставляли его романы. Он, конечно, создавал это ощущение намеренно, но читателю от этого, что называется, было не легче. Теперь тот драматизм, который в романах был разлит как бы «атмосферно», сконцентрировался в рамках напряженного сюжета, развертывающегося к концу все стремительней, как сжатая пружина.

Напряженность эта проявляется на двух уровнях. В первой половине повести на наших глазах возникает и нагнетается чисто внутреннее, психологическое напряжение — действия как такового здесь очень мало. Случай свел на узком пространстве маленького курортного городка двух противоположных по характеру людей: усталого, замкнутого, разочарованного школьного учителя Хельмута Хальма и энергичного, общительного Клауса Буха — преуспевающего журналиста, заядлого спортсмена. Хельмута раздражает в Клаусе его шумная энергия, его постоянная болтовня, и поскольку все события в этой части повести подаются в восприятии Хельмута, читателю целенаправленно внушается та же самая антипатия: Клаус производит впечатление человека поверхностного, самоуверенного и назойливого, начиненного журналистскими штампами, прописными истинами современного образованного филистерства.

Но во второй части повести напряжение переносится в сферу действия, и тут характеры и их судьбы поворачиваются к нам неожиданными своими сторонами. Начало этому повороту положено эпизодом с мчащейся лошадью — эпизодом отчетливо символическим. Клаус бесстрашно обуздывает ее. Хельмут перед этим злился на Клауса за то, что он своей суетливой болтовней мешает ему «слиться с природой». Но истинно чувствует природу именно Клаус — у Хельмута и этот прилив лиризма всего лишь дань интеллигентскому шаблону.

Здесь впервые обнажается механизм искусной игры, которую Вальзер вел с самого начала,— игры с видимостью и сущностью человеческого характера, с маской и истинным лицом. Клаус, например, выглядит много моложе своего ровесника Хельмута — вроде бы признак здоровой, полнокровной жизни. Ему все удается — он, как та лошадь на скаку, будто все время «чувствует, что путь перед ним свободен». Но вот Клаус, «сорвавшись» во время прогулки на яхте и упиваясь единоборством со штормом, исчезает в разбушевавшихся волнах — по вине и, так сказать, инициативе насмерть перепуганного Хельмута. Раскрылась потаенная сторона характера Хельмута — его животная трусость и эгоизм. Но вслед за этим раскрывается и эфемерность Клаусовой бравады, его привольного «галопа» по жизни. В великолепной кульминационной сцене «поминок» жена Клауса Эль, выпив с горя и опьянев с непривычки, выдает ошеломленной чете Хальмов ч е г о с т о и л а Клаусу и ей эта бравада. Оказывается, что это тоже была всего лишь маска; что этот бодрый, удачливый журналист на самом деле чувствовал себя затравленным и вынужден был работать дни и ночи как вол, боясь конкуренции, боясь увольнения; что в этот изнурительный круговорот он вовлек и свою жену, подчинив всю ее жизнь собственному распорядку и собственным вечным страхам.

Вот тут-то и происходит в повести Вальзера захватывающее дух расширение горизонта. То, что поначалу могло показаться лишь филигранным, но в общем-то чисто камерным психологическим этюдом, освещается беспощадным светом социального анализа. Буржуазный мир с его фетишем успеха и престижа подавляет и искажает человеческую сущность, даря вместо нее сомнительную, шаткую видимость, которую психологи называют «компенсацией»; ущербная, закомплексованная психология пытается укрыться за маской иронического скепсиса, как у Хельмута, или наигранного бодрячества, как у Клауса; но от морального краха не спасают ни та ни другая. Эти люди обречены на вечный галоп, как белки в колесе. Неспроста повесть и чисто формально оканчивается образом круга, «возвращением на круги своя». Все завершается благополучно, но благополучие это страшно: ничто не изменилось, кулисы приоткрылись и закрылись, все и дальше пойдет так, как шло; катастрофа обнажила души, но ни разрешения, ни даже катарсиса не принесла.

Обращение к классическому жанру оказалось для Вальзера-прозаика в высшей степени благотворным. Сохранив все достоинства своей художественной манеры — изощренный психологизм, ироничность и проницательность анализа, умение найти точное слово и адекватный ситуации тон,— он дополнил их строгой дисциплиной и обязательностью формы и был вознагражден за это несомненной творческой победой. Перед нами здесь не просто некий собирательный образ «человека буржуазного мира» вообще: перед нами еще и четыре живых, поистине «пластических» характера, «поток сознания» стал не целью, а средством изображения индивидуальной человеческой души. Эти люди все разные, но у них общая горькая судьба: трагическое одиночество в мире ожесточенной борьбы за существование — одиночество, обрекающее их на взаимную подозрительность, мучительство, злобу и бессилие. К буржуазному миру Вальзер всегда был беспощаден, но в этой маленькой повести он убедительнее всего, и думается, что наши читатели по достоинству оценят нравственную и художественную зрелость писателя.

■

СЮЙ ДИШАНЬ

Прозаические миниатюры

К 90-летию со дня рождения писателя

Перевод с китайского и вступление В. ГОРЕЛОВА

Сюй Дишань (1893—1941) — известный китайский писатель, родился на острове Тайвань. Когда после окончания японо-китайской войны 1894—1895 гг. Тайвань отошел к Японии, родители Сюй Дишаня, будучи патриотически настроенными людьми, вместе со всей семьей переселились в континентальный Китай.

Сюй Дишань получил разностороннее образование, он окончил филологический и теологический факультеты Пекинского университета. В 1922 г. уехал в США, изучал в Колумбийском университете историю религий, потом продолжил свое образование в Оксфорде. Здесь кроме истории религий изучал индийскую философию и санскрит.

Многие годы Сюй Дишань посвятил педагогической деятельности. Преподавал в педагогическом училище в провинции Фуцзянь, в Рангуне. С 1927 г. читал в течение нескольких лет лекции в университетах Пекина. В последний период своей жизни преподавал в Гонконге. Многие годы, вплоть до последних дней жизни, Сюй Дишань активно занимался общественной деятельностью.

Сюй Дишань стал писать, когда ему было двадцать шесть лет. За двадцать с лишним лет литературной деятельности он опубликовал несколько сборников своих произведений, в которые вошли прозаические миниатюры и рассказы, стихи и пьесы. Его творчество оставило определенный след в китайской литературе первой половины XX в. Сюй Дишань был одним из организаторов «Общества изучения литературы» (1920 г.), объединявшего в своих рядах прогрессивных писателей того времени.

Знаменитый китайский писатель Мао Дунь, анализируя творчество Сюй Дишаня, усматривал в его мировоззрении проявление, с одной стороны, активного, пробуждающегося сознания, характерного для китайских писателей начала 20-х годов, а с другой стороны — сознания пассивного, инфантильного, свойственного интеллигенции Китая того времени. Для мировоззрения писателя, особенно в ранний период его творчества, характерно также непредубежденное восприятие жизни в ее многогранных проявлениях, широкий и спокойный взгляд на жизнь, позволяющий человеку полагаться на естественный ход событий. Весьма типична для мироощущения Сюй Дишаня, для его манеры изображения действительности миниатюра «Цветы груши». Она заканчивается словами: «Добрые ласточки, держа в клюве растоптанные, помятые лепестки цветов и мягкую глину, без устали трудятся, летая туда, где между стропилами крыши строят свои ароматные гнезда». Так в нескончаемом круговороте жизни, в бесчисленных превращениях живой материи затоптанные в грязь лепестки цветов становятся частицей «ароматного гнезда» ласточки.

Впервые в русском переводе произведения Сюй Дишаня были опубликованы в 1961 г. в сборнике «Чудесный светильник». Несколько рассказов вошло в сборник «Дождь», вышедший в 1974 г. Публикуемые ниже прозаические миниатюры знакомят советского читателя с творчеством раннего Сюй Дишаня. Миниатюры написаны в 1919—1921 гг. и изданы отдельным сборником, который писатель назвал «Благодатный дождь в пустынных горах».

Многие исследователи считают, что новаторское начало в его творчестве, типичные черты писательского почерка проявились именно в коротких прозаических произведениях, для которых характерны свежесть темы, изящество слога, сила художественной убедительности. Творческая манера Сюй Дишаня может служить образцом литературного слога, который нередко называют в китайских поэтиках «пинши». Это свободный и непринужденный слог. Ему свойственно предельно простое и правдивое изложение фактов, описание предметов и явлений, раскрытие внутренней логики событий.

Стилевое своеобразие произведений, написанных слогом «пинши», прежде всего проявляется в точном, конкретном и очень экономном использовании языко-

вых средств, в постоянном стремлении к лапидарности, лапидарности совершенной, о которой можно было бы сказать словами древнекитайского поэта Сун Юя: «Добавишь что-либо, станет слишком длинным; убавишь что-либо, станет слишком коротким; наложишь белила, станет слишком белым; употребишь киноварь, станет слишком красным».

Миниатюры Сюй Дишаня в своих лучших образцах отличаются художественной завершенностью, глубиной подтекста, лаконичностью и простотой языка.

Долг

Он уже давно жил в семье жены, так как других родственников у него не было. В семье жены его любили за ум, сочувствовали его одиночеству. Он пользовался здесь уважением.

Жена его давно умерла, детей у них не было. Он жил тем, что изучал книги, писал сочинения, иногда играл на цитре. Он не был начетчиком и обычно старался усвоить содержание прочитанного. Этим он отличался от тех людей, для которых важно было только количество прочитанных книг.

В доме жены он мог пользоваться для прогулок огромным садом, в его распоряжении было много слуг, готовых выполнить его приказания. Но он никогда не бродил от нечего делать по саду и не прибегал к услугам челяди.

В один из тех пасмурных дней, когда людям обычно бывает не по себе, теща пригласила его побеседовать и ни с того ни с сего вдруг стала читать наставления. Она сказала:

— Мне кажется, с тех пор как умерла Лиэр, ты стал еще скромнее и стеснительнее. Мой совет тебе — не будь таким скромным. Ведь посторонние, не разобравшись, станут осуждать меня. Посмотри, как ты одеваешься. Хуже наших слуг. Вдруг придет к нам в дом какой-нибудь незнакомый человек — мне будет неловко за тебя. Но если паче чаяния тебя здесь обидят или станут судачить о тебе, скажи мне. Я обидчику не спущу, вот увидишь.

— Да я нисколько не стесняюсь! Только мне кажется, что я и так перед вами в долгу. Просить о чем-либо еще неудобно.

— Передо мной в долгу? А разве кто-нибудь требует, чтобы ты оплатил долг? Ты напрасно считаешь себя здесь чужим. Я отношусь к тебе, как к своему племяннику. Нужно тебе чего-нибудь, без стеснения обращайся к эконому. Если же кто посмеет болтать лишнее, я на него найду управу.

— Я перед всеми в долгу. Когда вижу бедных, несчастных, а их так много, то чувствую себя и их должником. У меня хорошая одежда, вкусная еда, а мне хочется отдать все это им. Пока в мире есть хоть один голодный, разутый, бездомный человек, я не могу на глазах у всех пользоваться благами обеспеченной жизни.

— Что-то ты туманно говоришь.

Теща долго молчала, а потом, покачав головой, продолжила:

— Хорошо. Это ведь мораль ученых людей — «прежде всего думать о горе народном». Когда же ты собираешься погасить свой долг? У тебя уже есть конкретный план?

У него не было никакого плана, и поэтому он ничего не мог ей ответить.

— Дорогое дитя, никто никогда еще не мог оплатить этот долг. Зачем ты мучаешь себя? Я думаю, ты не такой уж большой должник. Что же касается обеспеченной жизни, то ведь и она не бесконечна. Кто знает, не обернется ли наша сегодняшняя обеспеченность завтра нуждой? Побольше читай и узнаешь, что жизнь — это поле, на котором растут невзгоды, это рассадник нужды. Если захочешь покончить с нуждой, избавиться от невзгод, то иного пути,

как уйти из жизни, нет. Но можем ли мы решиться на это? Ведь смерти боятся все. Не предавайся нелепым фантазиям. Живи просто, положись на волю судьбы.

«Долг... план... живи просто» — эти слова тещи оглушили его, словно удар молота. Он долго, напряженно думал, даже мысли его стали путаться. Несколько дней не выходил он из своей комнаты и все же никак не мог найти ответ на ее вопросы.

Однажды утром служанка принесла ему завтрак и очень удивилась, не найдя его в комнате. Было раннее утро, он никуда не мог уйти. К морю он не очень-то любил ходить, в сад тем более не выходил по утрам, так как в это время девушки-служанки спешили нарвать цветов для своих барышень. Ему было тяжело смотреть, как одни люди портят то, во что другие вложили свой труд.

Служанка огляделась по сторонам и заметила письмо, приколотое к двери. Она быстро отколола его, показала другим служанкам. Письмо было адресовано старой госпоже. Распечатав конверт, она передала письмо госпоже. В нем говорилось: «Дорогая теща! Я в самом деле не могу найти должный ответ на вопросы, которые Вы задали мне. К тому же именно Ваши вопросы заставили меня еще глубже осознать всю тяжесть моего долга. Я полагаю — если человек не в состоянии заплатить долг, ему следует скрыться, незачем ждать, когда явится кредитор и начнутся всякие неприятности. Что касается уплаты долга, то тут нельзя полагаться только на свои силы и способности. Я должен найти людей, которые бы помогли мне. Если не смогу их найти, придумаю еще что-нибудь. А сейчас я ухожу. Премного благодарен Вам за то, что столько лет Вы покровительствовали мне. Надеюсь, что Вы станете думать о моем будущем и забудете мое прошлое. Я буду постоянно желать Вам благополучия. Ваш зять Жунжун».

Письмо очень огорчило старую госпожу. С тех пор прошло немало времени. Но всякий раз, когда она вспоминала зятя, ее охватывало грустное настроение. И все же грустное настроение — это только грустное настроение. Зятя своего она никогда больше не видела.

Темная дорога

— Друг мой, подожди. Я зажгу для тебя фонарь, тогда и пойдешь.

Увэй рассмеялся.

— Братец Цзюнь, ты что, меня за женщину принимаешь? Только женщины ходят ночью с фонарем; а мужчине-то он зачем? Не хлопочи, а то мне еще придется приносить фонарь обратно.

Деревня Увэя была по другую сторону горного хребта. И ночью идти по горной дороге не так-то просто. Поэтому Цзюнь ни за что не соглашался отпустить Увэя без фонаря.

— Взял бы ты фонарь. И погода плохая, да и луны нет. Ведь в горах небезопасно,— сказал Цзюнь.

— Если все время думать об опасности, вообще до дому не дойдешь,— заметил Увэй.

— Так переночуй у меня. Может, все-таки останешься?

— Нет, я обязательно должен вернуться домой, отец и жена ждут меня.

— Ну и упрямый же ты человек. Как же ты пойдешь без фонаря? — Цзюнь хотел во что бы то ни стало вручить Увэю зажженный фонарь, но тот по-прежнему упорно отказывался.

— С фонарем я вообще не осмелюсь идти,— сказал Увэй.

— Почему же?

— В горах темно. И если я пойду с фонарем, дорога будет освещена передо мной всего лишь на два-три шага. Я только вспугну оби-

тателей гор. А если вдруг змея выползет на тропу, что тогда прикажешь делать? При слабом свете фонаря темень вокруг покажется еще опаснее. А если фонарь погаснет на полпути, станет совсем плохо. Лучше уж пойду так, без него. Первое время будет трудновато, но немного погодя глаза привыкнут к темноте.

И он отправился в путь. Цзюнь еще долго стоял с фонарем в руках, глядя, как Увэй взбирается по тропинке, ведущей в лесную чащу, а потом, покачав головой, сказал:

— Бывают же чудаки на свете!

Увэй шел в темноте по горной тропе, слышал, как звенят насекомые, рычат звери, но совершенно не испытывал страха. Из травы часто вылетали светлячки, их неяркого света было достаточно, чтобы не сбиться с дороги.

— Братец Цзюнь и не подумал, что дорогу мне могут осветить светлячки,— сказал он самому себе.

В тот вечер, идя по горной дороге, Увэй не упал, не споткнулся в темноте, не встретил ядовитых змей или диких зверей. Он благополучно вернулся к себе домой.

Мать всего сущего

В покинутой, заброшенной деревне — пустующие дома, сломанные изгороди. Днем поднимается к небу лишь несколько тонких струек дыма. Это говорит о том, что в деревне мало жителей.

В какую бы деревню вы ни пришли, самое приятное увидеть, как деревенские ребятишки прыгают и резвятся на меже или в саду, как они бегут впереди вас или, подражая вашей походке, следуют за вами. Если в деревне нет детей, то это уже и не деревня. А в этом покинутом, заброшенном селении к тому же еще живет вдова, которая попросит вас вернуть ей ребенка.

Вдове нет и тридцати лет. И кого бы она ни увидела, она тут же обращается к нему:

— Прошу тебя, добрый человек, скажи начальнику, чтобы он вернул мне сына. Мой сын в полосатом костюмчике, в тигровой шапочке.

Прошло много лет, как мародеры убили ее сына. Но она до сих пор не может забыть, как беспощадный начальник выхватил саблю, а несчастный ребенок в полосатом костюмчике, протянув к ней ручонки, звал ее. Она хотела броситься к нему, но сознание ее вдруг оцепенело и померкло, словно вечерняя заря. Разве есть что-нибудь более жестокое, чем отнять у вдовы единственного сына и на ее глазах убить его? Если бы она смогла сохранить в драгоценном вместилище своей памяти все случившееся, не утратив рассудка... Но это было так же невозможно, как невозможно вместить Сумеру[1] в горчичное семя.

В ее доме много мелких вещиц, и среди них куколка, которой играл сын. В сумерки, прижимая к груди то одну, то другую вещицу, она говорит:

— Сыночек мой, разве мать не спасла, не защитила тебя? Видишь, я прижимаю тебя к своей груди, не плачь, а то придут люди и опять отнимут тебя.

Но как только темнота сменяет сумерки, она тут же приходит в себя, понимает, что держит на руках вовсе не сына.

Однажды она вышла из дому, чтобы «найти свою жизнь». Яркий свет луны ввел ее в заблуждение. Вдова, сама того не замечая, шла все дальше и дальше в горы, что за деревней. И среди белого дня люди редко решались ходить в горы, а тем более ночью, да еще в разгар лета, когда даже тропа дровосека густо зарастает травами.

[1] У буддистов — высочайшая гора земного шара. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Но она нисколько не боялась, пробиралась среди лиан, медленно поднималась в гору.

Потом села отдохнуть на большой камень. И тут услышала детский плач, но не могла понять, кто это плачет.

— Дитя мое, ты здесь прячешься? Ведь я пришла, не надо плакать.

Она поднялась с камня и пошла в том направлении, откуда слышался плач, оказалась в какой-то пещере. Но там никого не было. Она очень устала, идти дальше у нее не было сил, она так и заснула в пещере.

И на следующее утро в ее ушах все еще звучал детский плач. Она села на камень. Душа ее разрывалась от горя, и утреннее солнце, пробившись сквозь легкую дымку тумана, не смогло высушить слезы на ее лице. Она огляделась вокруг и вдруг увидела, что на скале по ту сторону ущелья сидит ребенок в полосатом костюмчике. Но она ошиблась. Там сидел тигренок. Он рычал, и это очень походило на детский плач. Она сразу же вскочила на ноги и, хотя от той скалы ее отделяло глубокое ущелье, цепляясь за кусты, медленно, стала спускаться вниз. На ее беду утренняя роса еще не высохла, земля была мокрой и скользкой. Один неосторожный шаг — и она покатилась на дно ущелья.

Очнулась она не скоро. Конечно, были ушибы и царапины, но все же передвигаться она могла. Когда пробиралась ползком, вдруг наткнулась на маленький череп.

— Сыночек мой, не ты ли только что плакал, сидя на скале? Твоя мать немного опоздала, а ты уже вот каким стал!

Обхватив руками череп, она запричитала:

— Ох! Несчастная моя доля! Как же мне оживить тебя?

Горе всегда остается горем. И все же сейчас она впервые, с тех пор как лишилась ребенка, почувствовала облегчение. Она сидела здесь до самых сумерек. Не испытывала ни голода, ни жажды. На небе появились редкие звезды. Первый день прошел для нее спокойно.

Потом она вспомнила сказку, которую ей рассказали в детстве. Она поднялась с земли, заговорила:

— Дитя мое, я отнесу тебя на вершину горы, достану с неба две звезды, вставлю в твои глазницы, и ты будешь видеть, а потом наполню твое тело плотью слона[1]. Ты только не плачь, а то не ровен час услышат люди и опять заберут тебя.

— Тетушка Цзин, тетушка Цзин,— кричали люди, искавшие ее повсюду в горах.

Они долго ее искали, но так и не нашли.

— Может, ее тигр съел.

— Да нет! Того тигра, что накануне вечером забрался в хлев братца Юня за теленком, убили. Если бы эта тварь съела тетушку Цзин, то, конечно, не стала бы спускаться с гор, чтобы найти здесь свою смерть. Пойдемте дальше в горы, поищем еще.

Зря тратят они свое время! Может, они и найдут ее, но если вдова еще не достала с неба звезды, вряд ли она обретет успокоение, вряд ли согласится вместе с ними вернуться домой.

Безрассудные речи в деревенской глуши

Всякий раз, когда я подолгу живу в городе, меня начинает мучить тоска по деревне. Хочется поехать в деревню не только чтобы насладиться природой, но также и потому, что я люблю затевать беседы с деревенскими жителями. Мне куда приятнее слушать в де-

[1] У буддистов слон — символ силы и энергии.

ревне грубовато-невежественную речь хлебопашцев, нежели в городе внимать высокомерным рассуждениям интеллектуалов.

В тот день мы опять отправились в деревню навестить крестьянина Луна. Он был старшим в своей деревушке, сам обрабатывал свои несколько му земли, да еще имел огород. Тем не менее его жизни можно было позавидовать.

Лун скоро понял, что нам не очень-то уютно в его приземистой, невзрачной хижине, и предложил посидеть под навесом, на бахче.

Из горной лощины выплыла и протянулась поперек неба радуга, ее спектральная тень отразилась на водной поверхности чистого пруда. Мы целиком ушли в созерцание радуги, и вдруг слышим, Лун говорит кому-то:

— Пройди с той стороны. Здесь люди.

— Я тоже человек. Почему я не могу здесь пройти?

Мы оглянулись. Незнакомец, увидев нас, поклонился, давая этим понять, что правила приличия он знает. Мы спросили, как его зовут, предложили сесть. Лун, видя, какой оборот принимает дело, замолчал.

Вновь пришедший показался нам странным, хотя мы не могли бы объяснить, что именно было в нем странного.

— С тех пор как я возвратился сюда,— сказал он нам,— жители деревни бог весть за кого меня принимают. А я ведь ничего дурного не замышляю, не дерусь, никому не причиняю вреда, не стараюсь поживиться за чужой счет. Почему же они обижают меня, даже не позволяют пройти по дороге?

Мой приятель спросил Луна:

— Чем он занимается?

Лун не успел и рта открыть, как этот человек сказал:

— У меня есть занятие, есть профессия,— и вынул из кармана маленькую книжку.— Я торговец, торговлей занимаюсь давно, только вот забыл, то ли люди должны мне, то ли я им должен по счетам, которые я сюда переписал. Запамятовал. Посмотрите, пожалуйста.

Он передал книжку моему приятелю. Мы вместе посмотрели. Это были старые счета времени правления императора Тунчжи [1]. Мы громко рассмеялись. Лун тоже засмеялся и поспешил выпроводить пришельца. Мы поинтересовались его прошлым. Смолоду он занимался торговлей в Тяньцзине, поведал нам Лун, и долгое время никто о нем ничего не слышал. Здесь он объявился всего несколько дней назад. Теперь-то мы поняли, что это умалишенный, который возвратился в свою деревню.

— Почему это совершенно здоровый человек, пожив в городе, возвращается оттуда сумасшедшим? Я слышал, что в городе есть какой-то дом, в котором людей делают такими вот сумасшедшими. Вы живете в городе и, вероятно, знаете, так это или нет? — спросил Лун.

Я ответил ему:

— Ерунда! Человека отправляют в дом для умалишенных только в том случае, если он сойдет с ума, а чтобы здорового человека поместили в сумасшедший дом, довели до того, что он лишился рассудка, а потом выпустили на свободу — такого не бывает.

— Почему же он тогда не в сумасшедшем доме, а возвратился сюда и всем нам мешает?

— Вот этого я не знаю,— ответил я, а мой приятель сказал Луну:

— Мы тоже сумасшедшие, только пока еще не в сумасшедшем доме.

— Как... вы — сумасшедшие? — удивленно спросил Лун. Мой приятель, повернувшись ко мне, сказал:

— Ты согласен со мной? Ведь, по правде говоря, это мы сумасшедшие, а не тот человек. Это мы не смеем сказать то, что думаем,

[1] Годы правления императора Тунчжи — 1862—1874.

не решаемся действовать и способны лишь важный вид на себя напускать. Гораздо естественнее — говорить то, что хочешь, и делать то, что хочешь. Но такая искренность и непосредственность не для нас. Если сравнить наши поступки — а мы так стеснены всякими условностями — с его поступками, искренними и свободными, то нетрудно увидеть, что помешались-то мы с тобой. Это мы сошли с ума, а он вовсе не сумасшедший.

Лун, не стерпев, сказал:

— Сегодня мы все посходили с ума, оставим это. Давайте побеседуем о чем-нибудь другом.

Так мы, болтая под навесом на бахче, незаметно для себя спугнули радугу, отраженную гладкой поверхностью пруда. Сын Луна пригнал к пруду пару белых гусей, и мое внимание сосредоточилось на сияющих белизной птицах. Гуси, увидев воду, тоже посходили с ума. Они загоготали и, хлопая крыльями, вошли в воду, разбив тихую и светлую зеркальную поверхность пруда.

Старуха, латающая одежду

Она сидела у стены под карнизом дома. Моросящий дождь капал ей прямо на морщинистое лицо. Но она, не обращая на это внимания, наводила порядок в своей корзине и была всецело поглощена этим занятием.

В ее корзине лежали красивые шелковые и атласные лоскутки, а также холщовые и хлопчатобумажные обрезки. Она не замечала, что дождевые капли текут по лицу, а лишь беспокоилась, как бы дождь не замочил красивые кусочки материи.

Подошли два мальчика. Они были братьями и, видимо, возвращались домой из школы. «Доктор, который лечит одежду», — так обычно обращался к старушке младший брат, и сейчас, увидев, что она снова сидит у стены дома, он поздоровался с ней.

Старуха подняла голову, посмотрела на детей, улыбнулась. Морщины обозначились еще резче, но следы житейских невзгод исчезли с лица, стало ясно, что человек она жизнерадостный. Младший брат сказал:

— Доктор, вашими лоскутками вы чините только чужую одежду, а почему вы не заботитесь о своей? Посмотрите, заплата у вас на плече еле держится, вот-вот упадет.

Старушка дотронулась до плеча, и к ее ладони прилип небольшой квадратик материи. Она улыбнулась и сказала мальчугану:

— У тебя, я вижу, зоркие глаза! Эту заплату я не пришила нитками, а приклеила клейстером, так как утром очень торопилась. Думала, вернусь домой вечером и пришью как следует. Никак не предполагала, что дождь ее размочит!.. Да и как сильно размочил. Если я, по-твоему, доктор, который лечит одежду, то мне можно не бояться, что моя одежда расхворается.

Она продолжала аккуратно складывать лоскутки, лежащие в корзине, не обращая внимания на дождь. Старший брат сказал:

— В записную книжку отца вложено много отдельных листочков. Он, как и вы, то и дело перекладывает их. Он...

— Он тоже доктор,— вмешался в разговор младший брат.

Старушка, посмотрев на детей, сказала:

— Ребятишки, вы верно говорите. Ваш отец любит листки бумаги так же, как я люблю лоскутки материи. Он собирает умные мысли, а когда соединяет их вместе, многое предстает для него уже в ином свете. Разница между нами в том, что он работает головой, а я пальцами. Вы тоже можете назвать его...

И тут из дому вышел отец и, узнав, о чем идет речь, сказал:

— Бабушка, вы уловили самую суть дела. Мы действительно занимаемся тем же, что и вы. Собираем повсюду лоскутки шелка, обрезки простой материи для того, чтобы, соединив их вместе, латать старую одежду.

Отец спустился с крыльца и под моросящим дождем пошел в виноградник посмотреть, не появились ли побеги на виноградных лозах. А дети продолжали говорить со старушкой о том, можно ли их отца назвать хирургом или каким-либо другим доктором.

Земляной орех

За нашим домом — половина му свободной земли. Мать сказала:

— Ужасно жалко оставлять землю необработанной. Раз вы любите так земляные орехи, давайте перекопаем этот участок и сделаем там огород.

Все мы, дети и девочки-служанки, очень обрадовались; одни купили семена, другие вскопали землю, третьи полили ее. Прошло несколько месяцев, и мы уже собрали урожай.

— Сегодня мы можем устроить семейное торжество и пригласить вашего отца попробовать выращенные нами земляные орехи. Как, согласны? — спросила мать.

— Согласны!

Мать приготовила из земляных орехов много разных блюд и распорядилась устроить торжество в садовой беседке.

В тот вечер погода была не очень хорошая, но отец все же пришел. Поистине редкий случай!

— Вы любите земляные орехи? — спросил отец.

— Любим! — хором ответили мы.

— А кто может сказать, какую пользу приносит земляной орех?

— У земляного ореха прекрасный запах,— сказала старшая сестра.

— Из земляного ореха можно делать масло,— сказал старший брат.

— Любой может купить его: он дешевый, и все его любят. Именно в этом его польза,— сказал я.

— Слов нет, земляной орех действительно имеет много хороших свойств,— заметил отец.— Но одно из них особенно ценно. Это крохотное растеньице не похоже на красивые яблони, персиковые, гранатовые деревья, плоды которых висят на ветках, привлекая завистливые взоры людей своей ярко-красной, нежно-зеленой окраской. Свои плоды оно прячет под землей и позволяет людям выкопать их, лишь когда они созреют. По внешнему виду маленького, съежившегося растеньица вы не определите, есть у него плод или нет. Вы узнаете это, только когда дотронетесь до плода рукой, под землей.

— Да, это так,— сказали мы. Мать тоже кивнула головой в знак согласия, а отец продолжал:

— Вы должны быть как земляной орех, который приносит пользу, хотя и невелик и некрасив.

Я спросил:

— Значит, важно быть полезным, а не великим и красивым?

— Да, это мое напутствие вам,— закончил отец.

Мы проговорили до поздней ночи. На столе не осталось кушаний из земляного ореха, а слова, сказанные отцом, еще и сейчас живут в моей душе.

Жизнь

Моя жизнь словно агава. Листья ее росли медленно, один за другим. На каком-то листе, было время, роились красивые букашки, на каком-то — пели, отдыхая, маленькие птички. Ныне листья опали!

Лишь резкие рубцы остались на стебле, люди забыли, как выглядели прежде эти листья; и только агава сохранила в своей памяти события, когда-то пережитые ими, но поведать об этом людям она не могла.

Моя жизнь словно бамбуковая флейта, которую я держу в руках. Когда она росла в бамбуковой роще, добрые птицы пели ей песни, злые звери завывали возле нее. Даже ветер, дождь и гром иной раз учили ее издавать звуки.

Она выросла. Все, чему учили наставники, запечатлелось в ее памяти, но тело ее было неживым, ему чего-то недоставало.

Мастер, делающий музыкальные инструменты, срезал ее, сделал несколько отверстий, приложил к губам, подул, и тогда, зазвучав, она рассказала все, чему ее прежде учили.

Цветы груши

Они все еще играли в саду, не обращая внимания на моросящий дождь, до нитки промочивший их легкие платья. На берегу пруда цветы груши, омытые дождем, стали еще белее и чище, но теперь они уныло свисали вниз.

— Смотри, цветы утомились и захотели спать! — сказала старшая сестра.

— Подожди, я разбужу их.

Старшая и слова не успела сказать, как младшая ухватилась за ветку дерева и несколько раз с силой тряхнула ее. Лепестки цветов и капли дождя посыпались вниз, устилая землю жемчугом.

— Как забавно! Стоило цветам оторваться от ветки, и они ожили, полетели,— сказала младшая сестра.

— Как это ожили, полетели? Это слезы цветов упали на меня! — Старшая сердито толкнула младшую.— Я больше не буду с тобой играть. Оставайся здесь одна.

Старшая ушла, а младшая, задумавшись, продолжала стоять под деревом. Она стояла долго, пока не пришла служанка и не увела ее за собой, ворча по дороге:

— Ты ведь вся промокла! Сколько раз на дню приходится менять тебе платье! Где же взять столько солнца, чтобы просушить твою одежду?

Опавшие лепестки цветов. Одни затоптаны ногами в грязь, другие прилипли к платью младшей сестры, и она унесет их с собой, третьи упали в пруд, и рыбки утащат их под воду. Добрые ласточки, держа в клюве растоптанные, помятые лепестки цветов и мягкую глину, без устали трудятся, летая туда, где между стропилами крыши строят свои ароматные гнезда.

Чайная роза

Я часто получаю от мужчин подарки, но никогда не отношусь к ним как к чему-то драгоценному. А вот моя подруга Шисун смотрит на это по-иному и поступила по-иному, так как она никогда прежде не получала подношений от мужчин.

Когда куранты пробили четыре раза, в храме, что на холме, закончилось богослужение. Мужчины и женщины, как овцы, которых выпустили из хлева, обгоняя друг друга, ринулись вниз с холма.

За нами шел студент. Его фамилию я забыла, помню только, что звали его Цзунчжи. Он шел, держа в руке чайную розу, и время от времени нюхал ее. Вообще-то чайная роза не такой уж ароматный

цветок, и он подносил ее к лицу, по-видимому, просто так, от нечего делать.

— Барышня Сун, дарю вам эту розу,— громко сказал он, нагоняя нас. Сун оглянулась. Студент широко улыбался, глаза его сияли. Сун протянула руку, взяла цветок.

— Большое спасибо, большое спасибо,— торопливо повторяла она. Цзунчжи, все так же улыбаясь, кивнул ей на прощанье и по горной тропинке, ведущей на запад, пошел домой.

— Он подарил мне розу. Что он хотел этим сказать?

— Он хотел сказать то, что ты хотела услышать,— так ответила я ей. Мы прошли вместе еще немного и потом — по разным дорогам — отправились по домам.

Она держала розу в руках до вечера. Цветок словно обладал магической силой. Всякий раз, когда она собиралась положить его, он как будто говорил ей:

— Почему ты расстаешься со мной? Разве не Цзунчжи дал меня тебе, чтобы ты ухаживала за мной?

В чашечке цветка, на его стебле появлялись и мелькали глаза, нос, рот Цзунчжи, его движения. «Красавец, почему ты подарил мне этот цветок?» — спрашивала она. Потом ей вспомнилась проповедь во время богослужения, и она сама себе ответила: «Он проявил заботу о своей ничтожной служанке, и теперь отныне и во веки веков я буду счастлива».

То ли Шисун влюбилась в чайную розу, то ли Цзунчжи был влюблен в Шисун? Сейчас мне трудно сказать. Помню только, сидели мы однажды с Цзунчжи под фикусом, беседовали, и вдруг прибегает слуга из его дома.

— Барышня Сун съела какой-то цветок. Говорит, что вы ей дали. Она заболела. Ее родные послали за вами. Не знаете ли вы, что с ней?

Цзунчжи испугался, он никак не мог понять, что произошло.

— Я дал ей что-то съесть?!

— Попытайся припомнить,— говорю я. Но он ничего не мог вспомнить. Тогда я сказала ему:

— Месяц назад, когда мы возвращались с богослужения, разве не ты дал ей чайную розу?

— Да, я подарил ей розу. Но с чего вы взяли, что я велел ей съесть эту розу?

— А почему ты дал розу ей, а не кому-нибудь другому?

Он ответил:

— Я просто сорвал цветок и подарил его. Я часто делаю людям подарки, и ничего плохого от этого не происходит. Почему же эта маленькая роза так околдовала ее?

Он замолчал, глубоко задумавшись. Мне хотелось, чтобы он наконец на что-то решился, и я сказала:

— Как ты можешь спокойно сидеть здесь? Неважно, с умыслом ты дал ей розу или без умысла. Может, она превратно поняла тебя, но ты дал ей розу и теперь должен пойти навестить ее.

— С чего ты взяла, что у меня был какой-то умысел?

— Все-таки пойди навести ее. Разве может жемчужница сама родить жемчужину? Только тогда, когда песчинка попадает в ее раковину, она начинает усердно трудиться, выделяет слизь и обволакивает ею песчинку. Хотя у тебя не было особого умысла, но ведь цветок подарил ты, и можешь ли ты поручиться, что она не полюбила тебя из-за этого цветка? Можешь ли ты поручиться, что из-за него она не приняла тебя в свое сердце с безграничной любовью? Возможно, она и не хотела этого, но раз ты случайно заронил в раковину ее любви крупицу прекрасного чувства, она не могла поступить иначе. Тут нечего раздумывать, пойди навести ее.

Цзунчжи встал, нахмурившись, вышел из-под тенистых деревьев и с холодным, отчужденным видом последовал за человеком, который пришел за ним.

Сновидение туманным утром, овеянное ароматом цветов

Жилище в горах, крытое тростником и обмазанное глиной. Туман, напоенный ароматом цветов, свободно проникнув сквозь легкую занавеску, окутал тела двух спящих людей. Жена, толкнув мужа, сказала:

— Вставай скорее! Постель совсем отсырела. Мне очень холодно, солнце окутано таким густым туманом, словно его заключили в темницу.

Спящий мужчина согрет своим внутренним теплом, ему совсем неинтересно, холодно снаружи или нет. Не открывая глаз, он говорит:

— Какой чудесный запах! У тебя на столе, наверно, стоит жасмин, омытый росой.

— Ну что ты никак не проснешься! Открой глаза и сам все увидишь.

Муж наконец протер глаза, сел в постели.

— Я видел во сне женщин, танцующих под моросящим дождем, потому и не мог проснуться. Если бы ты меня не разбудила, я бы и сейчас видел этот сон.

Жена тоже села, накрывшись пуховым одеялом, и сказала:

— И я видела сон.

— Какой? Расскажи!

— Мне снилось, что я потеряла тебя. Я повсюду искала тебя в горах, но никак не могла найти. А когда спустилась с гор, увидела прелестную девушку, которая держала в руках корзину с жемчугом и осыпала им цветы и листья деревьев. Я подошла к ней и спросила: «Где он?» Она улыбнулась и спросила меня: «Кто он? Зачем он нужен тебе?» Я сказала, что ты мой муж...

— Оказывается, ты и во сне помнила обо мне! — сказал он, и глаза его засветились лукавством.

Жене это не понравилось. Она отвернулась от мужа.

— Вечно ты меня перебиваешь. Не стану дальше рассказывать.

Она откинула одеяло и, позвав девочку-служанку, велела ей приготовить воду для умывания.

Муж постарался удержать ее:

— Я больше не буду, милая, рассказывай, что было дальше. А если у меня и сорвется что с языка, готов понести наказание.

— Да, ты и понесешь наказание.— Сказав это, жена как бы подписала мирное соглашение.

— Девушка сказала мне, что ты прячешься в тиковой роще, у подножия горы. И тогда я словно забыла о тебе...

— Вот оно что. Ты, значит... нет, нет, я ведь обещал не перебивать, а то ты меня накажешь. Так нашла ты меня, наконец?

— Я не пошла в рощу. Я стояла в стороне и смотрела, как девушка разбрасывает жемчуг. И вот что интересно: жемчужинки, попадая на цветы и листья, превращались в разноцветные росинки. Они покрыли собой и все мое тело. Я не удержалась и спросила девушку, почему это так получается. Она ответила: «Вещь все та же, она не изменилась. Но сначала ты думала об одном, а потом о дру-

гом, вот тебе и показалось, что вещь изменилась. Сначала ты считала, что это жемчуг, так как думала, что в моей корзине не может быть росы. Потом ты решила, что это росинки, так как подумала, что на цветах и листьях жемчужинки удержаться не могут. То, как мы воспринимаем вещи, зависит не от самой вещи, а от того, кто и когда соприкасается с ней. То, что мы любим, не зависит от существа предмета, а зависит от чувства, которое оно порождает. Почему мы любим луну? Неужели можно любить висящий в небе, давно потухший темный шар? Почему мы любим снег? Разве можно любить холод, пронизывающий человека до мозга костей?». Когда она заговорила о снеге, я задрожала от холода и проснулась.

— Меня так и не нашла? — спросил муж.

Жена шутливо потянула его за волосы и сказала:

— А сам ты как думаешь — нашла или не нашла?.. Понравился тебе мой сон?

— Ты всегда видишь хорошие сны. Да и та девушка тоже неплохо сказала. Но только самое чудесное — это когда мы поцелуемся с тобой и потом пристально посмотрим друг другу в глаза.

Он сказал это и глуповато улыбнулся. Жена натянула одеяло мужу на голову.

— Черт этакий! Сегодня я все-таки не позволю тебе второй раз пристально посмотреть мне в глаза.

■

КРИСТОФЕР ПРИСТ

Опрокинутый мир

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Перевод с английского и послесловие ***ОЛЕГА БИТОВА***

Посвящаю матери и отцу

Как оглянешься окрест,
В мире много странных мест,
А присмотришься сурово —
В мире странном все не ново:
Труд с восхода дотемна
Да ошибок пелена.

Сэмюэл Джонсон

Часть первая

1

Наконец-то мне исполнилось шестьсот пятьдесят миль. За дверью собрались гильдиеры: там должна произойти церемония, на которой меня примут в ученики гильдии. Захватывающий, знаменательный миг, как бы подводящий итог всей моей жизни до этой минуты.

Мой отец был гильдиер, и сколько я себя помнил, я всегда смотрел на него с определенной дистанции. Я уважал его: жизнь гильдиера казалась мне увлекательной, освященной бременем ответственности и чувством цели. Отец ничего не говорил мне о своей работе, но его форма, его таинственные манеры и частые отлучки из Города лучше всяких слов говорили о том, что он по горло занят делами первостепенной важности.

Еще немного — и передо мной откроется дорога в этот заманчивый мир. Мне выпала высокая честь, на меня возложат какие-то конкретные обязанности — мальчишке, выросшему в тесных стенах яслей, трудно совладать с трепетом перед этим великим шагом.

Как и всех остальных детей, меня отдали в ясли сразу после рождения, и я не знал другой жизни. О матери у меня не сохранилось даже воспоминаний: она покинула Город, как только я родился.

В приемную, где я стоял, вышел администратор.

— Ну что ж, Гельвард, пора.

Мы обменялись рукопожатиями, он открыл дверь и вошел в зал. Я успел заметить, что в зале полно гильдиеров, а под потолком горят яркие светильники.

Администратор остановился сразу же за дверью и произнес:

— Ваша светлость лорд-навигатор, прошу вашего внимания.

— Представьтесь.

Голос доносился издали — с места, где я стоял, говорившего было не разглядеть.

— Брух, администратор внутренней службы. По приказу главного администратора я привел юношу по имени Гельвард Манн, который желает стать учеником одной из верховных гильдий.

— Ваши полномочия ясны, Брух. Введите соискателя.

Брух обернулся и взглянул на меня, и я, в соответствии с его наставлениями, шагнул в зал.

© Christopher Priest, 1974, 1979.

Передо мной на помосте в сиянии прожекторов стояло кресло с высокой спинкой, а в кресле сидел пожилой человек. На нем был черный плащ с вышитым на груди ярким белым кругом. Справа от кресла стояли трое мужчин, слева — тоже трое, все шестеро в плащах, с перевязями разных цветов через плечо.

В тишине, наступившей вслед за моим появлением, я таращился на человека, сидевшего в центре помоста. Ни разу за все детские и юношеские мили я в глаза не видел живого навигатора. В совсем еще недавнем прошлом, в яслях, мы говорили о таких людях с глубочайшим почтением, иногда — самые дерзкие — с известной иронией, но неизменно с оттенком благоговения, как о личностях почти легендарных.

Брух повернулся ко мне лицом.

— Ваше имя Гельвард Манн, сэр?

— Совершенно верно.

— Каков ваш возраст, сэр?

— Шестьсот пятьдесят миль.

— Вы осведомлены о значении этого возраста?

— В этом возрасте человек получает права и обязанности взрослого.

— Как вы намерены распорядиться полученными правами?

— Я хотел бы стать учеником одной из гильдий по своему выбору.

— Вы уже сделали этот выбор, сэр?

— Да, сделал.

Брух отвернулся от меня и обратился к помосту. Он повторил содержание моих ответов слово в слово, хотя, казалось бы, люди на помосте должны были слышать их.

— Есть у присутствующих вопросы к соискателю? — осведомился навигатор у стоявших рядом. Никто не откликнулся.— Хорошо. Поскольку это дело входит исключительно в компетенцию наших гильдий, да удалятся все посторонние.

Брух стоял чуть позади меня и немного сбоку: краешком глаза я заметил, как он слегка поклонился в сторону помоста и удалился. Он оказался не единственным: почти половина присутствовавших последовала его примеру.

— Видим ли мы чужаков, затесавшихся в наши ряды? — спросил один из тех, кто стоял рядом с навигатором. Ответом ему было молчание.— Соискатель Гельвард Манн, вы находитесь среди гильдиеров верховных гильдий. Мы все здесь сегодня собрались ради вас. Когда вы закончите ученичество, эти люди станут вашими старшими товарищами и вы будете связаны с ними общностью наших правил. Вам все понятно?

— Понятно, сэр

— Вы заявили, что выбрали гильдию, куда хотите вступить. Назовите ее вслух для общего сведения.

— Я хотел бы стать разведчиком будущего,— ответил я.

— Ну что ж, приятно слышать. Я разведчик будущего Клаузевиц, и мне доверено возглавлять нашу гильдию. Вокруг вас сейчас стоят другие разведчики будущего, а равно представители остальных верховных гильдий. Рядом со мной на возвышении — главы этих гильдий. В центре — почтивший нас своим присутствием лорд-навигатор Олссон...

Как учил меня Брух, я отвесил навигатору глубокий поклон.

— Гельвард Манн, вашему вниманию предлагается клятва верховных гильдий. Вы имеете право, даже на этой стадии церемонии, отказаться принять ее. Но если вы решите принести клятву, то будете связаны ею до конца жизни. Наказание за клятвопреступление — немедленная казнь...

Я был ошеломлен. Никто — ни Брух, ни даже отец — не говорил мне об этом ни слова. Ну, допустим, Брух был не в курсе дела, но отец — отец-то мог хотя бы предупредить меня?..

— Я должен ответить сию же минуту, сэр?

— Да.

Ясно было, что я и в глаза не увижу клятвы, пока не отвечу.

— Я согласен принести клятву, сэр.

Клаузевиц сошел с помоста, приблизился и вручил мне кусок белого картона.

— Прочтите клятву вслух, громко и внятно,— объявил он.

— «Я, Гельвард Манн, достигнув возраста зрелости и вступая в права гражданина Города Земли, торжественно клянусь:

не жалея сил выполнять любые обязанности, возложенные на меня славной гильдией разведчиков будущего;

ставить интересы безопасности Города превыше всех личных забот;

ни при каких обстоятельствах не обсуждать дела своей гильдии и других верховных гильдий ни с кем, кроме самих гильдиеров и утвержденных в звании, принесших клятву учеников;

расценивать все испытанное и увиденное за пределами Города как тайну, не подлежащую разглашению вне гильдии;

заслужив звание полноправного гильдиера, ознакомиться с документом, известным как Директива Дистейна, и следовать его букве и духу, а в дальнейшем передать полученные знания следующим поколениям гильдиеров;

и, наконец, хранить в строгом секрете как самый факт принесения настоящей клятвы, так и ее содержание.

Принося эту клятву, я отдаю себе полный отчет в том, что нарушение любого из ее пунктов влечет за собой немедленную смерть от руки моих коллег-гильдиеров...»

Окончив чтение, я взглянул на Клаузевица. Уже сами эти высокие слова наполнили мою душу почти невыносимым восторгом.

«За пределами Города...» Значит, мне предстоит выйти за его пределы, значит, мне, как ученику гильдии, станут доступны места, доселе для меня запретные, а для большинства жителей города запретные навсегда. Ясли полнились слухами о том, что же находится за пределами Города, и мне самому доводилось строить на этот счет самые невероятные домыслы. Рассудок подсказывал мне, что явь неизбежно окажется беднее наших фантазий, и все равно передо мной раскрывались перспективы ослепительные и страшные.

— Поднимитесь на сцену, ученик Манн!..

Я двинулся вперед и по четырем ступенькам поднялся на помост. Клаузевиц поздоровался со мной за руку, а заодно отобрал у меня картонку с клятвой. Я был представлен прежде всего навигатору, который сказал мне несколько ласковых слов, а затем и главам других верховных гильдий. Клаузевиц называл мне не только их имена, но и титулы — иные из этих титулов звучали для меня незнакомо.

Верховных гильдий насчитывалось шесть. В придачу к гильдии разведчиков, возглавляемой Клаузевицем, была еще гильдия, ответственная за передвижение Города, еще одна, занятая прокладкой путей, и еще одна — возведением мостов. Мне разъяснили, что именно эти гильдии в первую очередь отвечают за сохранение условий, обеспечивающих Городу дальнейшее существование. Разведчикам, движенцам, путейцам и мостостроителям помогали еще две гильдии — стражников и торговцев-меновщиков. Все это было для меня внове, хоть я и припоминал теперь, что отец порой, говоря о разных людях, называл их гильдии вместо имен. Мне доводилось, например, слышать о мостостроителях, но почему, спрашивается, эти самые мосты столь необходимы для выживания Города? Зачем нужны стражники?

И, собственно, что такое разведка будущего?

Клаузевиц подвел меня к другим гильдиерам-разведчикам, в том числе, конечно же, и к отцу. Впрочем, разведчиков в зале оказалось только трое: остальные, как мне объяснили, находятся сейчас далеко от Города и не смогли приехать.

Во время этих разговоров меня поразила неожиданная мысль. Не то чтобы она не посещала меня и раньше, но в сознании как-то не запечатлевалась. Мой отец и его коллеги-разведчики выглядели значительно старше остальных гильдиеров. Клаузевиц отличался крепким сложением и в своем плаще выглядел очень внушительно, но поредевшие волосы и морщины выдавали преклонный возраст — по самой скромной оценке ему было не меньше двух с половиной тысяч миль. Да и отец сегодня показался мне совершенным стариком. Человеком того же поколения, что и Клаузевиц, хотя логика вроде бы исключала это. Ведь в таком случае, когда я родился, ему было примерно тысяча восемьсот пятьдесят миль, а я уже знал, что, по обычаям Города, детей надлежит заводить не откладывая, сразу по достижении возраста зрелости.

Представители других гильдий выглядели много моложе. Некоторые были, по-видимому, лишь на десять—пятнадцать миль старше меня, и это меня немного приобод-

рило. Ведь если продолжительность ученичества твердо не установлена и если, по словам Бруха, положение человека в Городе зависит от его дарований, то стоит проявить рвение — и я стану полноправным гильдиером в относительно короткий срок.

— Предлагаю вернуть администраторов,— объявил Клаузевиц.— Возражений нет? А если так,— продолжал он,— то разрешите напомнить вновь принятому ученику, что это первый из множества будущих случаев, когда он связан условиями принесенной клятвы...

Клаузевиц спустился с помоста, и администраторы начали не спеша возвращаться в зал. Атмосфера существенно потеплела. Люди собирались группами и дружески беседовали, и шум все густел, по мере того как поодаль на длинном столе появлялись большие тарелки с едой и множество разнообразных напитков. Я не ел с тех самых пор, как Брух вывел меня из яслей, и вид пищи убеждал меня в том, что я чертовски голоден. Но не тут-то было: отец водил меня от одной группы к другой, и я перезнакомился с такой массой народу, что окончательно потерял способность воспринимать новые титулы и имена.

С церемонией приобщения к гильдии вроде бы было покончено, но ведь отец еще поутру сообщил мне, что условился о моей женитьбе. Я принял эту новость спокойно, поскольку усвоил, что гильдиерам положены ранние браки, и к тому же был хотя бы знаком с избранницей. Ее звали Виктория Леру, мы вместе воспитывались в яслях. Пожалуй, я был теперь не прочь повидать ее: все вокруг превосходили меня возрастом, превосходили опытом, а она знала тех же людей, что и я, прожила на свете столько же, сколько и я. И в этом зале, полном гильдиеров, она стала бы для меня приятным напоминанием о том, что навсегда позади.

Наконец отец оставил меня с группой администраторов службы синтеза (эта служба, как выяснилось, отвечает за производство всевозможной синтетической пищи и органических материалов, необходимых Городу) и направился туда, где находился отец Виктории, мостостроитель Леру. Они перебросились двумя-тремя фразами, и Леру кивнул. Навигатор вновь уселся в кресло на помосте.

— Гильдиеры и администраторы! — возвестил Клаузевиц, перекрывая гул голосов.— У нас сегодня есть еще один повод для торжества. Предстоит помолвка нового ученика с дочерью мостостроителя Леру...

Открылась дверь, и в зале появилась Виктория в сопровождении матери. Я подошел к отцу, и он пожал мне руку. Леру поцеловал Викторию. Отец в свою очередь чмокнул ее в щеку и подарил ей колечко. Наконец меня официально представили невесте. Но поговорить у нас не было ни малейшей возможности.

Празднество шло своим чередом.

2

Разбудил меня затемно один из гильдиеров, встреченных накануне. Звали его разведчик Дентон. Он подождал, пока я облачусь в новенькую форму ученика гильдии, и вывел меня из яслей. Но пошли мы не тем путем, что накануне с Брухом, а стали карабкаться по лестницам все выше и выше. В Городе было тихо. Я бросил взгляд на стенные часы и убедился, что еще чудовищно рано — чуть больше половины четвертого утра. Коридоры казались вымершими, плафоны на потолке были притушены.

Наконец мы добрались до последней винтовой лестницы, которая упиралась в массивную стальную дверь. Разведчик Дентон вытащил из кармана фонарь и включил его. Дверь была заперта на два замка; отомкнув их, он знаком приказал мне идти вперед.

Меня охватили холод и мрак, холод такой пронзительный, а мрак такой густой, что я ощутил их как мучительный удар. Дентон закрыл дверь за собой и снова запер ее. Потом посветил фонарем вокруг, и я увидел, что стою на небольшом уступе, окруженном перильцами фута в три высотой. Шаг-другой — и мы подошли к перильцам вплотную. Дентон выключил фонарь, и нас окутала кромешная тьма.

— Где мы? — прошептал я.

— Молчите. Просто ждите... и смотрите в оба.

Но я при всем желании не видел ровным счетом ничего. Глаза, привыкшие к относительно яркому свету коридоров, играли со мной злые шутки, то и дело выискивая

во тьме какие-то движущиеся цветные призраки, но это скоро прошло. Раздражал меня не столько мрак, сколько стылый воздух, обвевавший тело, так что меня пронимала дрожь. Никогда еще я не был так отъединен от всего, что знал прежде, никогда еще не сталкивался с такой полной неизвестностью.

Я знал одно: это мой первый выход за пределы Города — а что же еще? — и это решительно не походит на догадки, какие я когда-либо строил.

Мало-помалу окружающий мрак стал словно бы таять, пока небо над головой не приобрело темно-серый оттенок. Вдалеке я различил линию горизонта и почти сразу же заметил на небе облачко, бледно-розовую его кромку. И словно подстегнутое светом, это облачко, а вслед за ним и все остальные медленно двинулись над нами, — казалось, ветер уносил их от подступавшей зари. По небу разливался румянец, на мгновение догонял уплывающие облака, а позади них открывалась широкая полоса прозрачности, которая и сама постепенно окрашивалась в сочный оранжевый цвет.

У горизонта небо налилось такой бледной, ослепительной голубизной, что казалось белым. И, как бы вырастая из-за горизонта, в середине голубизны поднялось блистающее световое копье, чуть склоненное набок, будто шпиль заброшенной церкви. Копье вытягивалось, утолщалось, полнилось светом и спустя считанные секунды раскалилось так, что на него стало больно смотреть.

Разведчик Дентон вдруг схватил меня за руку.

— Глядите! — произнес он, указывая куда-то левее светового пятна.

Слева направо поле моего зрения пересекли, медленно взмахивая крыльями, птицы, развернувшись изящным клином. Мгновение — и птицы долетели до вздымающейся в небо колонны света и на несколько секунд пропали из виду.

— Что это? — спросил я охрипшим от волнения голосом.

— Просто гуси...

Вот они снова стали видны, неторопливые вольные птицы, и голубое небо за ними. А через минуту или около того строй исчез за поднимающимися поодаль холмами.

Я вновь взглянул на восходящее солнце. За тот короткий срок, что я провожал птиц глазами, оно преобразилось. Из-за горизонта появилась главная его часть и повисла над миром, длинная, плоская, с торчащими вверх и вниз, раскаленными добела перпендикулярными остриями. Я почувствовал, как в лицо мне пахнуло теплом. Да и ветер утих.

Я стоял с Дентоном на узком уступе, глядя вниз на землю. Я видел Город, вернее, ту его часть, которая примыкала к уступу, и видел последние облака, удиравшие от солнца за горизонт. Теперь солнце светило на нас с чистого неба, и Дентон снял плащ.

Потом он кивнул мне и объявил, что нам предстоит спуститься с уступа по начинавшейся прямо у наших ног цепочке металлических лесенок. Гильдиер показывал путь, я двигался следом. Когда я одолел всю цепочку и впервые ступил на настоящую почву, птицы, свившие себе гнезда в расщелинах под крышами Города, завели свою утреннюю песнь.

3

Дентон вместе со мной обошел Город по окружности, а затем повел меня к кучке временных хижин, возведенных ярдах в пятистах от городских стен. Здесь он представил меня гильдиеру-путейцу по фамилии Малчускин, а сам поспешил обратно.

Путеец был заспанный, коренастый и весь заросший волосами. Впрочем, он, кажется, не рассердился на нас за вторжение и обошелся со мной довольно учтиво.

— Ученик гильдии разведчиков, как я погляжу?

Я кивнул.

— Впервые попал наружу?

— Так точно.

— Завтракал?

— Нет... Тот разведчик поднял меня с постели, и мы почти сразу пошли сюда.

— Заходи... Я хоть кофе сварю.

Внутри хижина-времянка оказалась неопрятной и захламленной — полная противоположность тому, что я привык видеть в Городе. Там чистоте и порядку придавали первостепенное значение, а в хижине Малчускина объедки, грязная одежда, немытые кастрюльки и сковородки валялись где и как попало.

Во всей комнате нашелся всего один стул. Малчускин снял со стола какие-то увесистые стальные штуковины и переложил их на койку. Усевшись на стол, он знаком показал, чтобы я забирал стул себе.

— Не больно-то много учеников принимал я за последнее время.

— Почему же? — осведомился я.

— Кто его разберет. Не присылают. Тебя как зовут?

— Гельвард Манн. Мой отец...

— Угу, я его знаю. Толковый человек. Мы с ним вместе воспитывались в яслях.

Я невольно нахмурился. Выходит, он ровесник отца, но такого, конечно же, быть не может. Малчускин заметил мое недоумение.

— Пусть это тебя пока не волнует,— произнес он.— Со временем поймешь. Странная у вас, разведчиков, жизнь. Она не по мне, но ты, по-моему, выдюжишь...

— А почему вы не захотели стать разведчиком?

— Кто тебе сказал, что не захотел? Просто мне выпала другая доля. Мой отец был путейцем, вот я и пошел по его стопам. Руками-то хоть работать умеешь?

— Не-ет,— протянул я.

Он расхохотался.

— Не встречал еще ученика, который умел бы. Ничего, привыкнешь.— Он поднялся на ноги.— Пора начинать. Рановато, конечно, но раз уж ты вытащил меня из постели, что толку тянуть резину?

С этими словами он вышел из хижины и зашагал в сторону двух построек барачного типа. Я догнал его.

Выходя из хижины, он прихватил с собой тяжелый гаечный ключ и теперь принялся что есть мочи колотить ключом по дверям бараков, крича тем, кто был внутри, чтоб пошевеливались.

В бараках послышалась возня.

— Не вздумай слишком якшаться с этими,— предупредил он меня.— Они не из Города. Бригадиром у них я назначил малого по имени Рафаэль. Он слегка соображает по-английски и может быть переводчиком. Если тебе что-то от них понадобится, скажи ему. А лучше обратись ко мне. Вообще-то непохоже, чтобы они затеяли беспорядки, но если вдруг — тогда тоже зови меня.

— Какие беспорядки?

— Ну, например, вдруг они не захотят делать то, что им велели я или ты. Им платят, чтоб они беспрекословно делали все, что нам надо. Бывает, что они отказываются,— это и есть беспорядки. Но с теми, кого наняли сейчас, беда одна — они ленивы до одури. Потому-то мы и поднимаемся так рано. Позже, когда станет припекать, от них и вовсе ничего не добьешься.

Уже и сейчас становилось тепло. За те полчаса, что я провел с Малчускиным, солнце взобралось высоко в небо, и глаза у меня начали слезиться. Они не привыкли к такому яркому свету.

— Ну-ка, забирай...— Малчускин передал мне целую охапку стальных ключей, я пошатнулся под их тяжестью и даже выронил два или три. Он молча следил за мной, видимо пораженный моей неумелостью.

— Куда нести? — спросил я.

— К Городу, разумеется. Вас там что, совсем ничему не учат?

Я поплелся в направлении Города. Малчускин наблюдал за мной с порога хижины.

— На южную сторону! — крикнул он вдогонку. Я остановился, беспомощно оглядываясь. Пришлось ему подойти ко мне.— Вон туда,— показал он.— На юг от Города тоже лежат пути. Дошло наконец?

— Дошло.

Я побрел, куда приказали, выронив по дороге еще один ключ.

Через час-полтора я начал понемногу понимать, что́ имел в виду Малчускин, когда говорил о наших помощниках. Они прекращали работу под любым предлогом, и только окрик Малчускина или сердитые понукания Рафаэля способны были стронуть их с места.

До какой-то степени я им даже сочувствовал. Работать на открытой местности, где нет и пятнышка тени, оказалось мучительно трудно. Я то и дело приказывал себе не раскисать, но такого физического напряжения на мою долю еще не выпадало.

К югу от Города пути тянулись примерно на полмили и обрывались, не приводя никуда. Всего путей было четыре, каждый состоял из двух рельсов, положенных на деревянные шпалы, которые, в свою очередь, опирались на утопленные в грунт бетонные основания. Два пути стараниями Малчускина и его бригады уже существенно укоротились, и теперь мы трудились на самом длинном из оставшихся — так называемом правом внешнем пути.

Работа не требовала раздумий. Она была монотонна и тяжела. Сначала вытащить костыли, крепящие рельс к шпалам, и сложить их в сторонку. Затем таким же образом освободить другой рельс. Потом мы принимались за шпалы — они крепились к бетонным основаниям скобами, каждую из которых надо было расшатать и вынуть вручную. Каждую шпалу, отделенную от основания, надлежало уложить на тележку, поджидавшую на следующем отрезке рельсов. Затем наступал черед самих оснований — их выкапывали из земли и также складывали на тележку. И, наконец, два стальных рельса аккуратно укладывались на кронштейны, приделанные к тележке сбоку.

Потом Малчускин или я перегоняли тележку на соседний участок рельсов, и все повторялось сначала. Нагрузив тележку доверху, вся бригада вскарабкалась на нее и переехала под стены Города, где тележку поставили на тормоза и перезарядили батареи, подсоединив кабель к розетке на городской стене.

На то, чтобы загрузить тележку и подогнать ее к Городу, у нас ушло почти целое утро. Руки у меня саднило так, словно их выдернули из плеч, спина отчаянно ныла. С головы до ног я был покрыт липкой грязью и потом. Малчускин, который и сам работал не меньше других — нет, наверняка усерднее наемных помощников,— глянул на меня и усмехнулся:

— Ну вот, сейчас разгрузимся и начнем сначала.

— Ладно,— откликнулся я.

— Да нет, я пошутил. Уж не думаешь ли ты, что эта банда способна еще на что-нибудь, пока не набьет себе животы?

— Нет, не думаю.

— И правильно. Тогда — обед.

Он сказал что-то Рафаэлю и зашагал назад к своей хижине. Я поплелся за ним, и мы вместе пообедали подогретой синтетической пищей — ничего другого он предложить не мог.

Малчускин предложил мне на выбор — вернуться в Город к себе в каюту или переночевать у него в хижине. По тону предложения я догадался, что выбора у меня, в сущности, нет. Было очевидно, что путеец придерживается невысокого мнения о тех, кто живет под защитой городских стен, и сам он, по собственным словам, старался бывать в Городе как можно реже.

— Там слишком уютно,— заявил он.— Половина народу в Городе и знать не знает, что творится снаружи, и не думаю, чтобы им очень-то хотелось узнать.

— А зачем им знать? В конце концов, если у нас все идет гладко, это просто не их забота.

— Верно, верно. Но если бы городские людишки почаще высовывались наружу, мне бы, может, не приходилось возиться с этими наемными бестиями.

В расположенных неподалеку спальных бараках наемные рабочие шумно судачили о чем-то, некоторые принимались петь.

— Вы не хотите иметь с ними ничего общего?

— Я использую их — и только. Если рабочие слишком плохи, я их увольняю и требую, чтобы наняли новых. Это не сложно. Работы в здешних краях днем с огнем не сыщешь.

— Что значит — в здешних краях?

— А про это ты уж спрашивай не меня, а своего отца и его гильдию. Мое дело — выкапывать старые шпалы.

Я чувствовал, что в действительности Малчускин не так уж далек от жизни Города, как хочет показать. Да, несомненно, его относительно независимое существование внушало ему известное презрение к тем, кто заперт в четырех стенах,— и в то же время, насколько я мог судить, его никто не обязывал торчать здесь, в хижине, дни и ночи напролет.

— Это ведь твой первый день снаружи? — внезапно спросил он.

— Так точно.

— Хочешь посмотреть на закат?

— Не-ет... а зачем?

— Обычно все ученики смотрят.

— Ладно.

Нехотя, словно для того, чтобы угодить старшему, я выбрался из хижины и бросил взгляд на северо-восток.

Солнце клонилось к горизонту, и я уже ощутил спиной прохладный ветерок. Облака, застилавшие небо на рассвете, не возвращались, небо было чистым и синим. Я следил за солнцем не отрываясь — теперь, когда его лучи рассеивались в толще атмосферы, на него опять можно было смотреть без рези в глазах. Оно походило на сплющенный, как бы наклоненный к нам оранжевый диск. Сверху и снизу из него вырастали мощные колонны света. На наших глазах оно медленно утонуло за горизонтом — последним исчезло верхнее острие светового копья.

— Ночуя в Городе, этого не увидишь,— заметил Малчускин.

— Очень красиво,— согласился я.

— Ты видел утром восход?

— Угу.

— Они всегда так,— кивнул Малчускин.— Едва посвятят ребенка в гильдию — и сразу швырнут его в воду, на самую глубину. И никаких объяснений, так? Выведут наружу, в темень, и ждут, пока не взойдет солнце. Считается, что это лучший способ заставить ученика понять, что солнце на самом деле вовсе не такое, как учат в яслях.

— При чем тут солнце?

— Какое оно по учебнику?

— Круглое.

— Значит, так учат и по сей день. Ну, а теперь ты убедился, что оно другое. Понял, что это значит?

— Нет.

— Ну, так думай. Пойдем поужинаем.

Мы вернулись в хижину, и Малчускин велел мне подогреть еду, а сам принялся навинчивать раму для второй койки над той, которую занимал сам.

— Будешь спать здесь,— он показал на верхнюю койку.— Ворочаешься по ночам?

— Кажется, нет.

— Попробуем сегодня так. Если выяснится, что ты юла, поменяемся местами. Я не люблю, когда меня беспокоят во сне.

По-моему, шансов на то, что я побеспокою его, практически не было. Я так устал, что мог бы уснуть сегодня на голых камнях.

4

Проснулся я утром от того, что Малчускин бродил по хижине, гремя оставшейся после ужина посудой. Едва очнувшись, я попытался спрыгнуть с постели — и тут же рухнул обратно, парализованный острой болью в спине. Малчускин поднял глаза и спросил с усмешкой:

— Что, несладко?

Я перекатился на бок и попытался подтянуть колени. Ноги тоже одеревенели и ныли, однако я все же, хоть и с немалым трудом, ухитрился сесть. Я еще надеялся, что это просто судорога и что боль скоро пройдет.

— Всегда-то с вами, городскими детками, одно и то же,— заметил Малчускин беззлобно.— Являетесь сюда и набрасываетесь на работу, чтобы выслужиться передо мной. А на следующий день вас корежит так, что вы ни рукой, ни ногой. Ты хоть какие-нибудь физические упражнения в Городе делал?

— Делал... В гимнастическом зале.

— Ну, ладно. Спускайся вниз и позавтракай. А после завтрака топай-ка лучше в Город. Прими горячую ванну и постарайся найти кого-нибудь, чтобы тебе сделали массаж. Потом возвращайся ко мне.

Преисполненный благодарности, я кивнул и с грехом пополам сполз с койки на пол. Это оказалось очень нелегко и очень болезненно: руки, шея и плечи у меня совершенно одеревенели.

Полчаса спустя — Малчускин только-только принялся орать на рабочих, подгоняя их,—я вышел из хижины и, прихрамывая, поплелся в сторону Города.

В сущности, с той самой минуты, как меня вывели из Города, я впервые оказался предоставленным самому себе. И, как водится, когда остаешься один, сразу замечаешь куда больше, чем в компании. Хижина Малчускина отстояла от Города ярдов на пятьсот, и с такого расстояния можно было составить себе представление о его облике и размерах. Тем не менее за весь предыдущий день я лишь время от времени успевал бросить в сторону Города мимолетный взгляд. Он оставался для меня бесформенной серой громадой, господствующей над окружающей местностью,— и только.

Теперь, ковыляя в одиночестве к этой громаде, я мог наконец-то разглядеть ее более подробно. Размеры города оказались, пожалуй, скромнее моих ожиданий. В самой верхней точке, на северной своей оконечности, он достигал приблизительно двухсот футов высоты, остальная часть его представляла собой хаотичное нагромождение прямоугольников и кубов, то поднимающихся, то опускающихся без всякого видимого порядка. Все эти прямоугольники и кубы, тускло-коричневые и серые, были сделаны, насколько я мог судить, из разных сортов древесины. О ширине Города я судить не мог — хижина Малчускина находилась точно к западу от него, и я шел по прямой,— а в длину он протянулся, по моей оценке, примерно на полторы тысячи футов. Издали Город был удивительно безобразен и выглядел удивительно старым.

Когда я подошел к Городу вплотную, меня вдруг обожгла мысль: а как я, собственно, туда попаду? Да, разведчик Дентон вчера утром провел меня вокруг Города, но я был настолько захвачен новыми впечатлениями, что пропустил почти все его пояснения мимо ушей.

Единственное, что я четко помнил,— это дверь на площадке, где мы наблюдали восход. Я решил найти ее; впрочем, и это оказалось отнюдь не легко. Несколько раз я сбивался с дороги, мучительно ползал по подвесным мосткам и взбирался по узким ступенькам, пока не достиг цели. Но дверь была по-прежнему заперта.

Хочешь не хочешь пришлось обращаться за помощью. Я сполз по ступенькам вниз и снова отправился на юг, туда, где Малчускин со своей бригадой опять, как накануне, разбирали старые пути.

Терпеливо, хоть и удрученно выслушав меня, Малчускин передал бразды правления Рафаэлю и направился по узкой дорожке между внутренних путей прямо под городскую стену. Под Городом было прохладно и темно.

Мы остановились у стального трапа.

— Наверху лифт,— сказал путеец.— Знаешь, что это такое?

— Знаю.

— Ключ гильдиера у тебя есть?

Я порылся в кармане и вытащил кусочек металла неправильной формы, который дал мне Клаузевиц. Ключ отпирал двери, связывающие ясли с внешним миром.

— Вот этот?

— Этот. На дверях лифта тот же замок. Поднимись на четвертый уровень, найди администратора и попроси разрешения принять ванну.

Лифт я отыскал без труда, повернул ключ в замке, однако двери и не подумали открываться. Я подождал. Внезапно двери сами собой открылись, и из лифта вышли два гильдиера. Не обратив на меня никакого внимания, они спустились по трапу на землю.

Тут двери снова пришли в движение — теперь они начали закрываться, и я бросился в кабину. Прежде чем мне удалось хотя бы сообразить, как управлять лифтом, он пошел вверх На стенке возле дверей кабины я увидел ряд кнопок с прорезями под ключ, на кнопках были выбиты цифры от одного до семи. Я воткнул ключ в кнопку под номером четыре, уповая, что не ошибся и что мне нужна именно она. Кабина шла вверх, казалось, целую вечность, затем резко остановилась. Двери раскрылись, я сделал шаг вперед и очутился на площадке, а мимо меня в кабину вошли сразу три гильдиера.

В этот момент мне на глаза попалась надпись на стене: «УРОВЕНЬ 7». Я забрался слишком высоко. Двери уже снова стали закрываться, но я успел юркнуть в кабину.

— Тебе куда надо, ученик? — спросил один из гильдиеров.

— На четвертый.

— Ладно, не суетись.

Он коснулся кнопки номер четыре своим собственным ключом, и на сей раз

кабина остановилась на нужном уровне. Я пробормотал слова благодарности и наконец вышел из кабины.

В этой части Города все, казалось, были заняты важными делами: люди сновали по коридорам, слышались обрывки разговоров... Припомнив наставления Малчускина, я толкнул наудачу какую-то дверь и попал в комнату, где сидели две женщины. Когда я рассказал, что привело меня к ним, они посмеялись, но выразили готовность помочь.

Через десять минут я опустил свое измученное тело в ванну, полную горячей воды, и закрыл глаза.

5

Работа наша на путях к югу от Города была почти завершена. Бригада должна была снять все пути, а затем воздвигнуть на равном расстоянии от городских стен четыре буфера-амортизатора. Рельсы и шпалы, которые мы снимали, перевозились на север от Города и там укладывались опять.

Как-то вечером Малчускин спросил меня:

— Сколько времени ты уже здесь пробыл?

— Точно не знаю.

— А если в днях?

— Ну, тогда семь дней.

— Я-то пытался вычислить время в милях.

— Через три дня тебе положен небольшой отпуск. Проведешь два дня в Городе, а потом вернешься ко мне на новую милю.

Я поинтересовался, как это он ухитряется измерять ход времени сразу и в днях и в милях.

— Чтобы пройти одну милю, Городу требуется приблизительно десять дней,— ответил он.— За год мы проходим примерно тридцать шесть с половиной миль.

— Но Город же стоит на месте.

— Это он сейчас стоит. А скоро тронется. При этом учти: мы ведем счет не тому расстоянию, какое Город фактически прошел, а тому, какое он должен был пройти. Это расстояние зависит от положения оптимума.

— А это что за штука?

— Оптимум — это идеальное место для Города в каждый данный момент. Чтобы не удаляться от оптимума, Город должен перемещаться примерно на одну десятую мили в день. Что, конечно, исключено, поэтому мы вынуждены пододвигать Город к оптимуму как только можем и на сколько можем.

— И что, Город никогда не достигал оптимума?

— На моей памяти никогда.

— А где этот оптимум сейчас?

— Милях в трех впереди нас. Это не много и не мало. До меня на путях работал мой отец, и он мне рассказывал, что однажды Город отстал от оптимума на десять миль.

— А что будет, если мы когда-нибудь достигнем оптимума?

Малчускин усмехнулся.

— Мы будем по-прежнему выкапывать старые шпалы.

— Почему?

— Потому что оптимум все время движется. Впрочем, мы вряд ли достигнем оптимума, да это и не так уж важно. Удержаться бы в пределах нескольких миль от оптимума, и ладно. Учти еще вот что. Сейчас мы находимся довольно высоко над уровнем моря. Если местность начнет понижаться, мы будем катиться под уклон.

— А может такое случиться?

— Спроси об этом у своих коллег-разведчиков. Это их кусок хлеба, а не мой.

Нам оставалось установить последний амортизатор, и наша задача тогда была бы выполнена.

— А дальше что? — поинтересовался я.

Малчускин взглянул вверх, на солнце.

— Надо менять базу. Передвинуть хижину и бараки за тот гребень.— К северу от Города пути плавно взбегали на гребень холма.— Хотя уже поздновато. Не уверен, что мы управимся до прихода ночи.

— Можно отложить на завтра.

— Я тоже так думаю. Дам-ка я этим лентяям несколько свободных часов. Им это будет по вкусу.

Он сказал что-то Рафаэлю, тот посовещался со своими товарищами. Можно было не сомневаться, к какому решению они придут. Рафаэль еще не успел договорить до конца, а иные рабочие уже повернули к баракам.

— Куда это они?

— Назад к себе в деревню, надо полагать,— ответил Малчускин. — Так или иначе они вернутся. Работать им, понятное дело, не хочется, но в деревне на них поднажмут — ведь мы взамен даем им то, в чем они нуждаются.

— Что же именно?

— Блага цивилизации,— ответил он, цинично усмехнувшись. — Ту самую синтетическую пищу, которая вызывает у тебя такое отвращение.

— Им нравится эта бурда?

— Не больше, чем тебе. Но она все же лучше, чем пустой желудок, а до нашего появления здесь они в большинстве своем просто-напросто голодали.

— Все равно я не стал бы вкалывать с утра до ночи за такую баланду. Она же безвкусная, она жидкая, да и...

— Сколько раз в день ты ел в Городе?

— Три раза.

— А синтетическую пищу сколько раз из трех?

— Только два,— признался я.

— Ну так вот, есть люди — и эти болваны в том числе,— которые душу прозакладывают, лишь бы поесть хоть раз в сутки. Насколько я знаю, работа, которую они выполняют для меня,— это еще пустяки, они согласны и на кое-что похуже...

— Например?

— Со временем сам узнаешь.

Утром Рафаэль вернулся, приведя с собой большинство из тех, кто работал с нами накануне. Тех, кто не явился, заменили новички, так что число рабочих в бригаде не изменилось.

Разборка бараков оказалась не столь уж сложной: строения так и были сконструированы, чтобы быстро собирать их и разбирать. К полудню все было кончено. Минут за тридцать до того Малчускин куда-то отлучился и вскоре пригнал грузовичок-электромобиль. Мы сделали короткий перерыв и поели, затем покидали в грузовичок панели и доски — сколько он мог вместить, и Малчускин повел его в направлении холмов. Рафаэль и еще несколько человек поехали с нами, прицепившись к бортам.

В гребне холма была прорезана неглубокая выемка шириной как раз на четыре пары рельсов. Тут скопилось много народу: одни расширяли выемку с обеих сторон кирками — по-видимому, для того чтобы громада Города могла пройти без помех,— другие возились с ручными бурами, высверливая лунки под опоры пяти стальных рам с большими колесами посередине. Пока что удалось установить лишь одну из рам, и она торчала меж двух внутренних путей — призрачная геометрическая конструкция неясного назначения.

К моему удивлению, почти сразу за гребнем пути обрывались. Вернее, левый внешний путь тянулся вдаль примерно на милю, зато остальные три пути не достигали в длину и сотни ярдов. Правда, две бригады рабочих уже вели рельсы дальше, но с первого взгляда было ясно, что дело пока движется медленно.

Малчускин все осматривался по сторонам. К западу от путей виднелось несколько хижин — по-видимому, жилища путейцев, что прибыли сюда до нас. Грузовичок свернул к хижинам, проехал немного дальше и, наконец, притормозил.

— Так, пожалуй, ничего,— сказал Малчускин.— К закату бараки должны быть собраны.

— А почему бы не поставить их рядом с другими? — поинтересовался я.

— Предпочитаю избегать тесного соседства. Если разные бригады начнут общаться друг с другом, рабочие станут пить больше, а работать хуже. Они, конечно, все равно будут бегать друг к другу в свободное время, но какой же прок облегчать им это, поселив их всех вместе?

— Разве они не имеют права делать то, что им хочется?

— Их наняли для работы. Для работы, понял?..

Грузовичок быстро разгрузили, и, оставив меня присматривать за сборкой, Малчускин повел его назад за гребень, чтобы привезти остальных людей и материалы.

К закату сборка была практически завершена. Последнее, что мне поручили сделать за смену, — отогнать грузовичок в Город и подсоединить его аккумуляторы к сети для перезарядки.

Когда я въехал на гребень, работы уже были окончены, и подле странных колес на рамах остались только два стражника с арбалетами, перекинутыми через плечо. Они не удостоили меня вниманием, и, миновав их, я направил грузовичок вниз по склону, к Городу. Признаться, я удивлялся тому, что вокруг так мало огней и что с приближением ночи вся разнообразная дневная деятельность мгновенно прекратилась.

Розетки для перезарядки аккумуляторов я нашел в точности там, где говорил Малчускин, но к каждой было уже подключено какое-нибудь транспортное устройство — свободных мест не оставалось. Должно быть, мой грузовичок вернулся в этот вечер последним, и розетку придется теперь поискать. В конце концов, я кое-как нашел ее на дальней, южной стороне Города.

Уже совсем стемнело, и, кончив возиться с грузовичком, я вдруг понял, что мне предстоит долгая пешая прогулка назад, притом в одиночестве. Один на равнине ночью — ощущение оказалось не из приятных. Похолодало, с востока задул сильный ветер, пронизывавший мою тоненькую форму насквозь. Впереди на тусклом фоне облачного неба я различал темный кант холмов. В выемке, вычерченной на горизонте, виднелись контуры рам с колесами, а подле них дозорной тропой по-прежнему вышагивали два стражника.

— Стой, ни с места! — окликнули они меня, когда я подошел поближе. И сами замерли, и хотя я не мог ничего разглядеть наверняка, инстинкт подсказывал мне, что арбалеты нацелены в мою сторону — Кто таков?

— Ученик гильдиера Гельварда Манн.

— Что ты делаешь за чертой Города?

— Работаю с путейцем Малчускиным. Совсем недавно я проезжал мимо вас на грузовике.

— Верно. Подойди сюда.

Я подошел.

— Что-то я не знаю тебя,— сказал один из стражников. — Ты что, только приступил?

— Да, примерно милю назад.

— В какую гильдию тебя приняли?

— В разведчики будущего.

Говоривший рассмеялся.

— Тебе не позавидуешь.

— Почему?

— Лучше жить подольше.

— Он достаточно молод,— заметил второй.

— О чем это вы? — подивился я.

— В будущем ты был уже?

— Нет.

— А в прошлом?

— Тоже нет. Я же начал всего несколько дней назад.

Тут меня осенило. Хоть я и не видел их лиц в темноте, но, судя по голосам, они не могли быть намного старше меня Им, наверное, миль по семьсот или чуть больше. Но если так, я же должен знать их, они же учились почти вместе со мной!

— Как тебя зовут? — обратился я к одному из них.

— Корнуэлл Стэрнер. Для тебя — арбалетчик Стэрнер.

— Ты учился в яслях?

— Учился. Но тебя не помню. Да ведь ты тогда был совсем малыш.

— Я только что из яслей. Тебя у нас там не было.

Они оба снова рассмеялись, и я почувствовал, как во мне нарастает гнев.

— Мы побывали в прошлом, сынок.

— Ну и что?

— А то, что мы теперь мужчины.

— Тебе пора в кроватку, сынок. Здесь по ночам опасно.

— Да никого же нет вокруг,— возразил я.

— Сейчас нет. Но пока слабаки из Города изволят баиньки, мы бережем их от мартышек.

— От кого, от кого?

— От мартышек. Аборигенов. Короче, от местных подонков, которые прыгают из кустиков на юных ученичков.

Я двинулся было дальше. Однако любопытство возобладало, и я спросил:

— Нет, правда, что ты имеешь в виду?

— Тут живут мартышки, которым Город очень не по нутру. Не уследи мы за ними, они повредят пути. Вон видишь шкивы? Они бы их опрокинули, если бы не мы.

— Но они же помогали их ставить!

— Это те, которые на нас работают. А есть много других, которые не работают.

— Иди-ка ты спать, сынок. Предоставь мартышек нам.

— И вы вдвоем с ними справитесь?

— Да, мы вдвоем и еще дюжина других, что стоят по всему гребню. Торопись к себе в постельку, сынок, да будь осторожен — смотри, как бы не заполучить стрелу между глаз.

Когда я решил, что оставил их достаточно далеко позади, я бросился бежать и почти сразу споткнулся о шпалу. Я отошел от полотна и снова побежал. Малчускин поджидал меня в хижине, и мы разделили очередную трапезу из все той же синтетической пищи.

6

Еще два дня работы с Малчускиным — и настал мой первый отпуск. В течение этих двух дней путеец изрядно пришпоривал свою бригаду, и мы добились неплохих результатов. Вообще говоря, прокладывать новые пути тяжелее, чем выкапывать старые шпалы, однако есть тут и тонкое отличие — мы видели конкретные плоды своего труда, рельсы день ото дня вытягивались все дальше. Прежде чем уложить шпалы, а на них рельсы, приходилось еще и копать ямы под бетонные основания. Но к северу от Города работали сразу три путевые бригады, протяженность трех путей была примерно одинакова, и волей-неволей возникало соревнование: кто сделает больше. Не без удивления следил я за тем, как эти, казалось бы, подневольные люди рвались посоперничать друг с другом и, напрягаясь до седьмого пота, еще и подтрунивали над теми, кто отставал.

— Два дня,— сказал Малчускин перед тем, как отпустить меня в Город,— и ни секунды больше. Скоро начнется перемещение, и нам понадобится каждая пара рук.

— Через два дня я должен вернуться к вам?

— Это решит твоя гильдия... Впрочем, да, еще две мили ты проведешь со мной.

Наутро я отправился вдоль путей назад, в Город.

Разыскать Викторию оказалось делом несложным. Правда, пришлось унизиться до расспросов и сперва я попадал все не туда, но, наконец, меня направили в одну из комнат четвертого уровня, где Виктория и еще трое-четверо молодых людей корпели над чем-то под началом женщины-администратора. Заметив меня в дверях, Виктория шепнула ей несколько слов и подбежала ко мне.

— Привет, Гельвард,— сказала она.

— Привет... Но, послушай, если ты занята, я могу зайти и попозже.

— Да нет, все в порядке. Ты же в отпуске, так?

— Так.

— Тогда и я в отпуске. Давай за мной.

Она повела меня по коридору, свернула в боковой проход, потом спустилась по лесенке на пол-этажа. Теперь мы очутились в узком коридорчике с двумя рядами дверей. Одну из таких дверей она и открыла, поманив меня за собой.

Комната, куда мы попали, оказалась самой большой жилой комнатой, какую я до сих пор видел в Городе. В глаза прежде всего бросилась широкая кровать, но была

здесь и другая мебель, добротная и удобная, и еще оставалось на удивление много свободного места. У одной из стен примостились раковина и маленькая плита, а кроме того, в комнате стояли стол с двумя стульями, платяной шкаф и еще два кресла. Больше всего поразило меня то, что в комнате было окно.

Я тут же подошел к нему и выглянул наружу. Окно выходило на дворик — и на противоположную стену со множеством других окон. Дворик был неширок, окно невелико; что́ лежит справа и слева, я увидеть не мог.

— Нравится? — спросила Виктория.

— Какая большая комната! Она что, твоя?

— Отчасти моя. Наша, как только мы поженимся.

— Ах да, кто-то уже говорил мне, что мне положено отдельное жилье.

— Наверное, это и имелось в виду,— сказала Виктория.— Сейчас ты где живешь?

— Все еще в яслях. Но, честно говоря, я там не ночевал с самой церемонии.

— Ты уже работаешь вне Города?

— Я... меня...

Я запнулся, не находя ответа. Вне Города? В самом деле, что́ сказать ей — ведь я связан клятвой...

— Я знаю, что ты выходишь за стены Города. Это не такой уж секрет.

— А что еще ты знаешь?

— Кое-что знаю. Но послушай, мы с тобой еще почти и не разговаривали! Хочешь чаю?

Напряжение понемногу спадало. Первые полтора, а то и два часа разговор шел практически ни о чем, не выходя за рамки взаимного вежливого любопытства, но мало-помалу становился все более естественным — в конце концов, мы с Викторией не были совсем уж чужими друг другу.

Память, разумеется, вернула нас к нашей жизни в яслях, и тут тотчас всплыл новый повод для тревоги. Пока меня не вывели из Города, я и не представлял себе, что́ я там увижу. Уроки в яслях казались мне — да и большинству других — сухими, абстрактными, оторванными от действительности. В нашем распоряжении было несколько печатных книг, по большей части беллетристика, описывающая жизнь на Планете Земля, но главным образом учителя опирались на тексты собственного сочинения. Мы знали — или думали, что знали,— многое о повседневной жизни на Планете Земля, но нам сразу же разъяснили, что здесь, на нашей планете, мы ничего подобного не встретим. И в наших знаниях образовался зияющий разрыв: с одной стороны, мы изучали по книгам жизнь в каком-то ином мире, отличном от нашего, с другой — напрягая воображение, строили догадки о жизни и обычаях Города.

Это противоречие рождало недовольство, подкрепленное избытком физической энергии. Но где, скажите на милость, было искать отдушину? Лишь коридоры да гимнастический зал давали возможность двигаться, и то со строгими ограничениями. Оставалось бунтовать кто как мог: младшие то ударялись в рев, то отказывались повиноваться, старшие дрались, увлекались до фанатизма теми немногими видами спорта, что были возможны в крохотном зале, а на последних милях перед возрастом зрелости открывали для себя мир чувственных наслаждений.

Персонал яслей пытался пресечь непослушание, надеть на нас узду, но скорее всего учителя знали нашим выходкам настоящую цену. Так или иначе я рос в яслях и принимал во всем этом не меньшее участие, чем остальные. Последние пятнадцать — двадцать ясельных миль я не отказывал себе в удовольствии провести минутку наедине с девочкой — с которой из них, не имело для меня большого значения. Виктории среди моих приятельниц не было, но теперь, когда мы с ней собирались пожениться, оказалось, что прежние интрижки имеют значение, да еще какое!

Странно, но чем дольше мы с ней говорили, тем отчетливее мне хотелось похоронить призраки прошлого. Я уже подумывал, не стоит ли исповедаться, рассказать ей о былых приключениях, как-то объяснить свое прежнее поведение. Однако она перехватила инициативу и ловко повела разговор так, чтобы он не царапал ни ее, ни меня. Возможно, у нее тоже были свои призраки. Она принялась рассказывать мне о повседневной жизни Города, и я, разумеется, слушал с искренним интересом.

От нее я узнал, что для женщины занять сколько-нибудь ответственную должность — дело редкое, и не обручись она со мной, ей бы не видать даже нынешней своей работы. Выйди она за негильдиера, участь ее была бы простой: производить на

свет возможно больше детей и целыми днями возиться в кухне, шить и заниматься прочими домашними делами. Теперь же она приобрела известную власть над собственным будущим и со временем могла рассчитывать даже на пост старшего администратора. Сейчас она проходила обучение, в принципе сходное с моим. Разница лишь в том, что ее наставники упирают в первую очередь не на практику, а на теоретические занятия.

Мой интерес к рассказу Виктории был тем более неподдельным, что я-то говорить о своей работе вне Города просто не имел права.

По словам Виктории, Город испытывал постоянную нехватку двоякого рода: во-первых, ему вечно недоставало воды, а во-вторых — людей.

— Уж народу тут, кажется, пруд пруди,— заметил я.

— Да, но живых детей всегда рождалось мало, а теперь рождений что ни год меньше и меньше. Хуже того, преобладающее большинство новорожденных — мальчики, девочек почти нет. И никто не понимает почему.

— Это все синтетическая пища,— съязвил я.

— Может быть. — Она не уловила иронии. — До выхода из яслей у меня было самое смутное представление о Городе в целом, но я всегда считала, что все, кто живет в Городе, здесь и родились.

— А разве это не так?

— Нет, не так. В Городе полным-полно женщин, которых привели сюда с целью повысить рождаемость. Или, точнее, в надежде, что они произведут на свет девочек.

Я подумал-подумал и сказал:

— А ведь моя мать тоже была не из Города.

— Правда? — Впервые с момента нашей помолвки Виктория вроде бы встревожилась. — Я и не знала... Лучше расскажи о себе. На что похожа твоя гильдия?

— Гильдия как гильдия,— отрезал я.

Мало того, что клятва запрещала мне беседовать на подобные темы, я не чувствовал и охоты говорить. Виктория оборвала свой рассказ так неожиданно, что у меня создалось вполне определенное впечатление: рассказ далеко не окончен, но какое-то опасение помешало ей продолжить его. На протяжении всей жизни — или, по крайней мере, сколько я себя помнил — отсутствие матери воспринималось мною как нечто само собою разумеющееся. Мой отец обычно упоминал о ней между прочим, и мне казалось, что тут нет никакой загадки. Действительно, многие мои однокашники были в таком же положении, как и я, а уж что касается девочек, то своих матерей не знали большинство из них.

— Ты у нас исключение,— сказал я, надеясь подобраться к той же теме, только с другой стороны. — Твоя мама жила и живет в Городе.

— Угу,— отозвалась она. Ощущение отчужденности, возникшее между нами, не проходило. Разговор угас.

— А что там? — спросил я, указывая на окно. — Можно туда выйти?

— Если хочешь. Пойдем, я покажу.

Открытое пространство за окном оказалось всего-навсего узким проулком, разделяющим два жилых квартала. Зато в конце проулка была деревянная лестница; поднявшись по ступенькам, мы очутились на площадке, где стояло несколько скамеек и еще оставалось немного свободного места. С двух сторон площадку ограждали высокие стены, с третьей — там, откуда мы поднялись,— взгляд упирался в проулок, обрамленный крышами жилых домов. Но с четвертой стороны, где не было никаких построек, открывался вид на окружающую местность. Это было для меня откровением: ведь по условиям клятвы вроде бы даже право выглянуть за пределы Города предоставлялось лишь гильдиерам.

— Ну, и что ты об этом думаешь? — спросила Виктория, опускаясь на скамейку лицом к лесам и холмам.

Я сел с нею рядом.

— Мне нравится.

— Ты был там?

— Был.

Ответ дался мне трудно: в самом деле, как ответить, не нарушая клятвы? Как рассказать Виктории о своей работе, не преступая пункт за пунктом взятых на себя обязательств?

— Нам не часто разрешают подниматься сюда,— сказала она. — Мало того, что двери на замке по ночам, их открывают только в определенное время суток. Иногда вообще не открывают по нескольку дней подряд.

— И тебе неизвестно почему?

— А тебе?

— Ну, быть может, это имеет какое-то отношение к работам, которые ведутся снаружи.

— И о которых ты не хочешь ничего рассказать.

— Не хочу,— признался я.

— Почему не хочешь?

— Не могу.

Она смерила меня взглядом.

— Ты сильно загорел. Ты работаешь на солнце?

— Бывает и так.

— Когда солнце поднимается над головой, площадку закрывают. Я видела только, как его лучи касаются верхушек зданий.

— Да на него не очень-то и посмотришь,— сказал я. — Солнце такое яркое, что глядеть на него просто нельзя.

— Я хотела бы убедиться в этом своими глазами.

Я сменил тему:

— А чем ты занимаешься сейчас? Я имею в виду — у себя на работе?..

— Составлением рационов.

— Это еще что такое?

— Мы разрабатываем сбалансированную диету. Необходимо убедиться, что синтетическая пища содержит достаточно белков и что люди получают все нужные им витамины.— Она запнулась, тон ее выдавал отсутствие интереса к теме.— Хочешь, вернемся в комнату и выпьем еще чаю?

Мы остались на площадке. Предложение Виктории вернуться в комнату было ироническим, и я сумел это уловить. На деле мы оба, я чувствовал, предпочитали площадку комнате, хоть и по разным причинам: я — потому что работа с Малчускиным привила мне вкус к свежему воздуху, Виктория — вероятно, потому, что площадка была для нее как бы единственно возможным способом выйти из Города. И все равно — холмистый пейзаж невольно напоминал нам обоим о той дистанции, которой мы прежде не осознавали и которая вдруг разъединила нас.

— Ты могла бы попросить о переводе в гильдию,— предложил я под влиянием минуты. — Уверен, что...

— Я ношу юбку,— резко перебила она. — Ты что, до сих пор не заметил, что гильдиеры — сплошь мужчины?

— Нет...

— Не нужно долго напрягаться, чтобы взять в толк простую истину,— продолжала она с жаром, в котором отчетливо проступала горечь. — Я сталкивалась с этим всю мою жизнь, просто не задумывалась: отец вечно в отъезде, мать занята по горло городскими делами — питанием, отоплением, ликвидацией отходов, короче, всем, чего мы привыкли не замечать. Только теперь до меня, наконец, дошло, что к чему. Женщины для Города — слишком большая ценность, чтобы рисковать ими, выпуская наружу. Они нужны здесь, в этих стенах, потому что они рожают детей и их можно заставить рожать снова и снова. И я — лишь потому, что я женщина, — обречена сидеть в этих проклятых стенах, изучать увлекательные секреты изготовления синтетической пищи и, как только сумею, рожать и опять рожать...

— Ты что, не хочешь выходить за меня?

— У меня нет выбора.

— Большое спасибо.

Она встала и с сердитым видом шагнула назад, к лестнице. Я следом за ней спустился вниз и прошел по коридору, но в комнату заходить не стал. С порога я видел, как она подошла к окну и, повернувшись ко мне спиной, смотрела на узкий проулок между строениями.

— Хочешь, чтобы я ушел?

— Да нет... Войди и закрой дверь.

Я послушался — она не шевельнулась. Наконец предложила:

— Хочешь еще чаю?

— Спасибо.

Вода в кастрюльке еще не успела остыть и через минуту вновь закипела.

— Нас никто не заставляет жениться,— произнес я.

— Какая разница — не ты, так кто-то другой. — Она обернулась и села подле меня, держа в руках чашку с синтетическим пойлом. — Понимаешь, Гельвард, я ничего не имею против тебя лично. Нравится нам это или нет, и моей и твоей жизнью распоряжается система. Система гильдий. Тут уж ничего не попишешь.

— Почему? Систему можно изменить.

— Но не эту. Она слишком крепко укоренилась. Гильдиеры закрыли Город на замок — по каким причинам, я, наверное, никогда не узнаю. Только сами гильдиеры могли бы изменить систему, а они этого никогда не сделают.

— Ты говоришь очень убежденно,— заметил я.

— А я и впрямь убеждена в том, что говорю. Убеждена по очень простой причине. Ведь системой, которая управляет моей жизнью, в свою очередь, управляет жизнь за стенами Города. И точно так же, как я никогда не выйду за эти стены, я никогда не смогу предпринять ничего, чтобы распорядиться собой.

— И все-таки ты могла бы добиться чего-то... через меня.

— Ты же не хочешь говорить о себе.

— Не могу.

— Почему?

— И об этом я тоже не вправе сказать.

— Тайны! Кругом тайны!

— Если угодно,— согласился я.

— И, даже сидя здесь со мной, ты связан этими тайнами по рукам и ногам.

— А что мне делать? — без долгих размышлений ответил я. — Я же дал клятву...

И осекся, вспомнив, что само существование клятвы оговорено в ней как секрет. Выходит, я уже нарушил ее, и нарушил так легко и естественно, что это наверняка случалось не раз и раньше.

Как ни удивительно, Виктория приняла мои слова совершенно спокойно.

— Стало быть, система гильдий сама себя охраняет. Ну что ж, в этом есть свой резон.

Я допил чай.

— Наверное, мне лучше уйти.

— Ты сердишься на меня? — спросила она.

— Да нет. Просто...

— Извини, что я не сдержалась... ты тут ни при чем. Ты сказал, что с твоей помощью я смогу изменить свою жизнь. Что ты имел в виду?

— Да в общем-то сам не знаю. Быть может, у тебя как у жены гильдиера — а я рано или поздно стану гильдиером — появится больше шансов...

— На что?

— Ну, как бы это выразить... на то, чтобы с моей помощью лучше понять всю систему.

— Но ты же дал клятву ничего не говорить мне.

— Ах да...

— Значит, гильдиеры все предусмотрели заранее. Система требует сохранения тайны, иначе ей не выстоять...

Я вышел из комнаты и направился в сторону яслей. Виктория сидела не шевелясь.

Едва я расстался с невестой, как ее заботы и противоречивые чувства, одолевавшие меня в ее присутствии, сразу же отошли на задний план, зато — и с каждой минутой все сильнее — меня стала терзать тревога о собственном моем положении. Если принимать клятву всерьез, то оброни Виктория одно слово любому встречному гильдиеру — и меня казнят. Мыслимо ли, чтобы мое невольное клятвопреступление оказалось столь ужасным?

Но расскажет ли Виктория кому-либо то, о чем я ей говорил? Как только я задал себе этот вопрос, первым моим побуждением было броситься к ней обратно и

умолять о молчании, но это значило бы лишь придать и ее негодованию, и моему клятвопреступлению еще больший вес.

Остаток дня я провел, лежа у себя в каюте и мучительно размышляя о создавшейся ситуации. Вечером поужинал в одной из городских столовых и был благодарен судьбе за то, что она уберегла меня от новой встречи с Викторией.

А среди ночи Виктория пришла ко мне в каюту. Сквозь сон я услышал, как хлопнула дверь, а раскрыв глаза, увидел возле самой постели темный силуэт.

— Кто тут?

— Тсс... Это я.

— Чего тебе?

Я протянул руку, нащупывая выключатель, но она перехватила мое запястье.

— Не надо света. — Она опустилась на край постели, и я, приподнявшись, очутился с нею рядом. — Извини меня, Гельвард. Вот и все, что я хотела сказать.

— Да ладно, чего уж там...

Она рассмеялась.

— Ты что, еще не проснулся?

— Не знаю. Может, и не совсем.

Она склонилась ко мне, погладила по груди и вдруг сомкнула руки у меня на шее и поцеловала меня.

— Молчи,— шепнула она. — Просто мне очень жаль, что мы поссорились.

Мы снова поцеловались, и теперь она обняла меня по-настоящему крепко.

— Я чуть было сам к тебе не пришел,— признался я. — Я сделал ужасную, непростительную ошибку. Я боюсь.

— Чего?

— Я сболтнул лишнего... сказал тебе, что меня заставили принести клятву. Ты была права: гильдиеры опутывают посвященных сетями секретности. Когда меня принимали в ученики, то заставили поклясться во многих вещах и, в частности, в том, что я никому не скажу о существовании самой клятвы. А я сказал тебе — и, значит, нарушил ее...

— Не все ли равно?

— За нарушение клятвы — смертная казнь.

— Но сначала они должны еще узнать об этом.

— А вдруг...

— А вдруг я проболтаюсь? Но с какой стати?

— Ну, откуда я знаю. Ты такое днем говорила, ты обижена, что не можешь строить свою жизнь как хочешь. Я думал, ты используешь мою неосторожность против меня.

— До этой минуты я ни о чем таком и не думала. Да и теперь промолчу. В конце концов, зачем жене предавать собственного мужа?

— Ты все еще намерена выйти за меня?

— Да.

— Хотя наш брак и решен против нашей воли?

— Это хорошее решение,— сказала она.

Потом мы перешли в комнату Виктории, и она спросила:

— Ты расскажешь мне, что делается за стенами Города?

— Да не могу я!

— Из-за клятвы?

— Вот именно.

— Но ведь ты уже нарушил ее. Какая теперь разница?

— Да и рассказывать, в сущности, нечего,— заметил я.— Десять дней надрывался на черной работе, а к чему, зачем — сам не знаю.

— А что это была за работа?

— Виктория, не надо... не выспрашивай меня.

— Ну ладно, расскажи мне про солнце. Почему тем, кто заперт в Городе, не разрешают смотреть на него?

— Понятия не имею.

— С ним что-нибудь не в порядке?

— Не думаю...

Виктория задавала мне вопросы, которые я должен был бы задать себе сам, но не задал. В сумбуре новых впечатлений у меня едва хватало времени на то, чтобы запомнить, что я видел, не говоря уже о том, чтобы осмыслить увиденное. Но как только эти вопросы были передо мной поставлены, они потребовали ответа,— а был ли у меня ответ? Может, с солнцем действительно что-то неладно, и это что-то угрожает безопасности Города? А если так, то угрозу не следует разглашать? Но я же видел солнце своими глазами и...

— Да нет, с солнцем все в порядке,— ответил я. — Только выглядит оно не так, как я думал...

— Солнце — шар.

— Ничего подобного. Или, по крайней мере, оно не похоже на шар.

— А на что же?

— Мне наверняка не следовало бы говорить об этом.

— Раз уж начал, продолжай.

— Да это, наверное, и неважно.

— Важно.

— Ну, ладно. — Я уже и так сказал слишком много, но что мне оставалось делать? — Днем его как следует не разглядишь, оно чересчур яркое. Но на восходе и на закате на него можно смотреть, хоть и недолго. По-моему, оно имеет форму диска. Но это не просто диск, и я не могу подобрать слова, чтобы описать его. Понимаешь, из центра диска, вверх и вниз, торчит какое-то острие.

— И острие — тоже часть солнца?

— В том-то и штука. Что-то вроде волчка. Только его трудно разглядеть толком — солнце такое яркое даже в эти минуты.

— Ты не шутишь?

— Я видел это своими глазами.

— Но нас учат совсем по-другому.

— Знаю, что по-другому,— ответил я. — Но что я видел, то видел.

Больше я ничего не сказал. Виктория так и сыпала вопросами, но я ушел от них, утверждая, что не знаю ответов. Тогда она предприняла еще одну попытку выяснить характер моей работы, но я, сам не знаю как, ухитрился промолчать. Потом я, в свою очередь, стал расспрашивать о ее жизни, и мало-помалу мы ушли от опасной для меня темы. Конечно, ушли не навсегда, но, по крайней мере, я выиграл время, чтобы подумать.

Утром Виктория приготовила завтрак, а после завтрака забрала мою форму и унесла в стирку, оставив меня в комнате одного. Воспользовавшись ее отсутствием, я помылся и побрился, а затем завалился голышом на кровать и лежал, пока она не вернулась.

Я снова надел форму; она холодила и хрустела на сгибах, ничуть не напоминая жесткую и вонючую вторую кожу, в какую превратилась за десять дней работы вне Города.

Мы провели вместе весь день, и Виктория вызвалась познакомить меня с Городом изнутри. Он оказался обширнее и запутаннее, чем мне представлялось. В сущности, до сих пор я видел лишь жилые и административные помещения, а было еще и множество других. Я поймал себя на мысли, что здесь не хитро и заблудиться, однако Виктория обратила мое внимание на планы, вывешенные в определенных местах на каждом этаже.

Было заметно, что планы переделывались по многу раз, и один из них особенно заинтересовал меня. Мы находились на каком-то из нижних уровней — и тут возле новенького плана был вывешен старый, уцелевший под листком прозрачной пластмассы. Заинтересовало меня прежде всего то, что надписи на плане были сделаны на нескольких языках. Бросались в глаза и огромные изменения в планировке Города.

— А зачем так много языков?

— Мы происходим от людей разных национальностей. По-видимому, английский стал в Городе общепринятым языком тысячи миль назад — и все же так было не всегда. Моя семья, например, французского происхождения.

— Да, действительно,— вспомнил я.

Позже Виктория вновь принялась жаловаться на жизнь. Но я был уже подготовлен к этому и сумел ее утешить. «Посмотри на свою маму,— говорил я,— она занята с утра до вечера, и кто посмеет утверждать, что ее жизнь лишена смысла...». Пришлось пообещать, уступая нажиму Виктории, что я буду шире посвящать ее в свои дела и, став полноправным гильдиером, приложу старания к тому, чтобы сделать систему в целом более открытой. Все это вместе взятое, видимо, успокоило Викторию, и вечер, а затем и ночь прошли в мире и согласии.

7

Мы с Викторией решили, что поженимся при первой же возможности. Она взялась в течение ближайшей мили выяснить, какие надо выполнить формальности; если удастся, хотелось бы покончить с ними в дни моего следующего отпуска или, на худой конец, еще через десять дней.

Едва выбравшись из-под городских стен, я заметил перемены, происшедшие в мое отсутствие. Вблизи Города все следы работы путевых бригад были ликвидированы. Куда ни бросишь взгляд — ни одной хижины-времянки, ни одного электромобиля под перезарядкой; очевидно, все они укатили за гребень. Но самой большой неожиданностью были для меня пять канатов, лежавших на земле подле путей,— они тянулись от северной стены Города и исчезали за тем же гребнем.

Подозревая, что у Малчускина сейчас дел невпроворот, я ускорил шаг. Едва я добрался до вершины, мои подозрения подтвердились: в отдалении, там, где рельсы обрывались, суетилось множество людей, особенно вокруг правого внутреннего пути. Еще дальше две, если не три, бригады рабочих возились у каких-то железных конструкций, но чем именно они заняты, с такого расстояния было не разглядеть.

Солнце уже поднялось высоко, и пока я разыскал Малчускина с его бригадой, я порядком взмок. Сам Малчускин почти не обратил на меня внимания — я просто скинул форменную куртку, взял кирку со стоявшего рядом грузовичка и приступил к работе. И вскоре сложные проблемы, с которыми я столкнулся в Городе, отошли куда-то далеко-далеко.

В минуту отдыха я узнал от Малчускина, что, кроме нашего участка пути, все практически готово к операции перемещения: опоры установлены, канаты протянуты. Подведя меня к одной из опор, он показал стальные балки, вкопанные глубоко в почву, как якоря; к балкам крепились толстые канаты. Гильдиеры, суетившиеся вокруг, явно нервничали, и я не мог не поинтересоваться у своего наставника, с чего бы это.

— Время не ждет,— ответил он. — С предыдущего перемещения прошло уже двадцать три дня. Если не произойдет ничего непредвиденного, мы проведем новое перемещение завтра. Значит, двадцать четыре дня, так? Город передвинется менее чем на две мили, но оптимум-то переместился за это время на две с половиной! Выходит, по завершении операции мы окажемся от оптимума на полмили дальше, чем в прошлый раз.

— И этого нельзя наверстать?

— Наверное, можно, но не сразу. Одно хорошо,— продолжал Малчускин, — завтра мы распростимся с этой бандой мартышек. Разведчики обнаружили на севере крупное поселение, и тамошние жители отчаянно нуждаются в работе. Вот таких я люблю. Чем они голоднее, тем старательнее — в первую неделю, по крайней мере.

Утром мой наставник поднялся ни свет ни заря, наказав мне вывести Рафаэля и всю бригаду на работу как можно раньше. Прибыв на место, мы увидели Малчускина и трех других путейцев, которые ожесточенно спорили с гильдиером, ответственным за канаты. Как мне и было велено, я поставил Рафаэля с его подчиненными работать на путях, хотя спор возбудил во мне любопытство. Но Малчускин, вернувшись, не обмолвился на этот счет ни словом, а, покрикивая на бригадира, тотчас взялся за дело.

Дождавшись перерыва, я спросил его, о чем это они так спорили.

— Да все эти движенцы, черт бы их побрал! — зло сказал он. — Им не терпится начать перемещение прямо сейчас, хотя пути еще не уложены.

— Как же так?

— А вот так. Мол, пройдет не меньше часа, пока Город вползет на гребень, а за это время можно докончить последний участок. Мы воспротивились их затее.

— Почему? Вроде бы все вполне логично.

— Логично-то логично, только нам пришлось бы работать под канатами. А канаты натянуты как струны, особенно когда Город тащат вверх по склону. Тебе еще не случалось видеть, как лопается канат? — Вопрос был явно риторический: до сих пор я ведь понятия не имел, что Город тащат на канатах. — Похоже на выстрел, и не успеешь ты его услышать, как тебя перережет пополам,— мрачно закончил Малчускин.

— Так что же вы решили?

— Нам дали час на то, чтоб закруглиться, а потом они начнут перемещение несмотря ни на что.

Оставалось уложить три плети рельсов. Мы разрешили людям еще немного отдохнуть, а затем возобновили работу. Теперь на небольшом участке трудились четыре бригады во главе с гильдиерами, так что дело двигалось быстро, и все равно прошел почти час, прежде чем мы закрепили последний стык.

— Что теперь? — поинтересовался я.

— Теперь будем ждать. Я пойду в Город передохнуть. А завтра начнем все сначала.

— А мне что делать?

— На твоем месте я бы остался здесь посмотреть. Тебе будет любопытно. Кроме того, надо заплатить рабочим. Попозже я пришлю сюда кого-нибудь из меновщиков. Пригляди за ними, пока он не явится. Утром я вернусь.

И он поплелся прочь. Вид у него был очень усталый. Наемные рабочие разбрелись по баракам, и вскоре я оказался предоставленным самому себе. Оброненная Малчускиным фраза о лопающихся канатах встревожила меня, и я уселся на землю не возле путей, а на расстоянии, какое посчитал безопасным.

Вокруг опор не осталось почти никого. Канаты, закрепленные на всех пяти опорах, вяло свисая, тянулись по земле параллельно рельсам. Затем к опорам подошли два движенца, видимо для того, чтобы провести последний осмотр.

Из-за гребня холма появился отряд строем по двое, направляющийся в нашу сторону. С такого расстояния не разобрать было, кто идет, но примерно через каждые сто ярдов то один, то другой отделялся от строя и замирал подле путей. Через некоторое время я увидел, что это стражники при арбалетах. Когда они добрались до опор, от строя осталось лишь восемь человек. Еще несколько минут — и один из них направился ко мне.

— Ты кто такой? — рявкнул он.

— Ученик Гельвард Манн.

— Что ты тут делаешь?

— Мне велели понаблюдать за перемещением.

— Ладно, наблюдай, только не подходи близко. Много здесь мартышек?

— Точно не знаю. Десятков шесть, наверное.

— Это те, что работали на путях?

— Те самые.

Он усмехнулся.

— Ну, эти слишком выдохлись, чтобы вредить. Но если они все-таки затеют какую-нибудь пакость, дай мне знать.

Какую пакость могли затеять наемные рабочие, мне было неясно, но самое большое недоумение рождало отношение к ним стражников. Оставалось только предположить, что когда-то в прошлом кто-то из мартышек повредил пути или канаты, но чтобы люди, с которыми мы работали бок о бок, могли пойти против нас? Этому я не верил.

Тем временем два движенца, закончив осмотр, укрылись за железными щитами позади опор. Один держал в руках большой флаг, другой поднял к глазам бинокль и неотрывно глядел на гребень. Там, у конструкций с колесами-шкивами, появился еще один человек. По примеру движенцев я тоже уставился на него. Насколько я мог судить на расстоянии, он стоял к нам спиной — и вдруг повернулся и взмахнул флагом. Флаг описал широкий полукруг над землей. И тот из двоих, что тоже был с флагом, вышел из-за щита и повторил сигнал.

Еще секунд десять — и я заметил, как канаты медленно-медленно поползли по земле в сторону Города. Шкивы на гребне начали вращаться, выбирая слабину. Потом канаты один за другим напряглись и замерли, хотя почти не приподнялись над почвой.

— Даю добро! — закричал человек у опор, и тотчас же его коллега взмахнул флагом над головой.

Человек на гребне повторил сигнал, затем стремительно бросился куда-то вбок и пропал из виду.

Я ждал, гадая, что будет дальше... но, как я ни пялил глаза, не происходило ровным счетом ничего. Потом я вдруг увидел, что канаты натянулись еще сильнее и поднялись над землей почти на всем своем протяжении. Я бросил взгляд на юг — и вовремя: из-за гребня показался Город. С того места, где я сидел, виден был лишь уголок одной из передних башен. Но еще минута — и из-за осыпей и раскиданных по гребню валунов выползла вся башня целиком, а за ней и вторая.

Держась подальше от канатов, я перебежал на другое место и стал за опорами, глядя на Город вдоль путей. С мучительной неспешностью он поднимался по скрытому от меня склону, пока расстояние между ним и пятью шкивами, перебрасывающими канаты через гребень, не сократилось до считанных футов. Тогда Город остановился, и движенцы обменялись сигналами еще раз.

Последовала долгая, кропотливая операция по демонтажу шкивов — конструкции разбирали поочередно, предварительно ослабив тот или иной канат. Я следил за демонтажем первого шкива, потом мне это наскучило, к тому же я проголодался и решил, что не пропущу ничего интересного, если отлучусь. Я вернулся в хижину и подогрел себе еды, затем вспомнил опасения стражников и направился к баракам. Почти все рабочие сидели прямо на земле и лениво глазели на суету у шкивов. Несколько человек разговаривали между собой, потом громко заспорили о чем-то, размахивая руками, однако, по-моему, стражники усмотрели угрозу там, где ее не было и в помине.

Я вернулся на свой наблюдательный пункт. По высоте солнца я определил, что уже недалеко до заката. Наконец, с разборкой было покончено, все пять канатов вновь натянулись. Еще мгновение — и по сигналу гильдиера у опор Город медленно двинулся через гребень и вниз в мою сторону. Я, собственно, ожидал, что он просто покатится, но нет, зрение убеждало меня, что канаты по-прежнему натянуты, что Город по-прежнему вынужден тащить себя.

Оставалось всего ярдов десять свободного пути, когда сигнальщик поднял флаг над головой. Во всю ширину передней башни шло огромное окно, и один из тех, кто стоял за окном, тоже поднял флаг. И через четыре-пять секунд Город остановился.

Представление окончилось. Признаться, меня охватило искушение самому отправиться в Город, такой заманчиво близкий, но я сомневался, имею ли на это право. К кому в самом деле я мог пойти в Городе? Только к Виктории, а она наверняка занята...

Я побрел к хижине, и тут ко мне обратился человек, по-видимому только что вышедший из Города:

— Ученик Манн?

— Я самый.

— Джейм Коллингс из гильдии меновщиков, — представился он. — Путеец Малчускин сообщил мне, что тут есть наемные рабочие, с которыми надо расплатиться.

— Совершенно верно.

— Сколько их?

— В нашей бригаде пятнадцать. Но она не одна.

— Жалобы есть?

— Какие жалобы? — не понял я.

— Ну, например, на непослушание, отлынивание от работы.

— Вообще-то они с ленцой, и Малчускин нередко орал на них.

— Но выходить на работу они не отказывались?

— Нет.

— И на том спасибо. Ты знаешь, кто у них бригадир?

— Малый по имени Рафаэль. Он кумекает по-английски.

— Ну что ж, веди меня к Рафаэлю.

Мы вместе подошли к баракам. Завидев Коллингса, рабочие разом смолкли.

Я указал на бригадира. Коллингс заговорил с ним на его родном языке, но разговор почти сразу же прервал бешеным выкриком один из рабочих. Рафаэль, не обращая внимания на крикуна, продолжал беседовать с Коллингсом, но даже мне стало ясно, что обстановка накаляется. Снова раздался чей-то выкрик, его подхватили. Вокруг Коллингса и Рафаэля собралась толпа, люди стали дергать меновщика за одежду.

— Вам не нужна помощь? — обратился я к Коллингсу, но он не расслышал. Подойдя поближе, я повторил вопрос.

— Приведи четверых стражников,— ответил меновщик по-английски.— Только предупреди, чтоб подождали драться.

Я еще раз взглянул на группу спорящих и поспешил прочь. У канатных опор по-прежнему расхаживало несколько стражников, и я направился к ним. Да они и сами, очевидно, заслышали шум и повернулись к баракам. А когда они заметили, что я бегу к ним, то шестеро сами устремились мне навстречу.

— Он просил четверых,— прохрипел я, задыхаясь.

— Четверых будет мало. Предоставь это нам, сынок.

Тот, что произнес эту фразу, вероятно старший по рангу, громким свистом подозвал подмогу. Еще четверо стражников, покинув свои посты под стенами Города, бросились к нам. К месту столкновения они подбежали вдесятером — я плелся в хвосте.

Без промедления, ни о чем не спрашивая Коллингса, который был все так же в центре толпы, стражники накинулись на рабочих, размахивая арбалетами как дубинками. Меновщик обернулся, попытался остановить расправу, но кто-то схватил его сзади, повалил наземь, и толпа принялась его пинать.

Стражникам, по-видимому, было не привыкать к таким потасовкам — они действовали быстро и умело, орудуя импровизированными дубинками с завидной ловкостью и точностью. Понаблюдав за ними, я и сам бросился в гущу схватки в надежде добраться до Коллингса. Предо мной возникла чья-то узкая спина в белой рубахе. Не долго думая, я обхватил человека рукой за шею, оттянул ему голову назад и с силой ударил в ухо. Он упал. За ним открылась новая спина, и я вознамерился повторить прием, но не успел нанести удар, как мне дали подножку, и я упал сам.

Сквозь чащу ног я увидел Коллингса, распростертого на земле. Его все еще били. Я попытался подползти к нему — тогда принялись бить и меня. По примеру Коллингса я прикрыл голову руками и все-таки продолжал ползти.

Вокруг меня был лес ног, клубки барахтающихся тел, голоса слились в бессмысленный гул. Приподняв на секунду голову, я вдруг увидел Коллингса буквально рядом с собой и, изловчившись, подобрался к нему вплотную. К великому моему изумлению, я понял, что он в сознании: когда я повалился на меновщика, он обхватил меня за плечи.

— По моей команде,— прохрипел он мне прямо в ухо,— вставай! — Прошло еще несколько секунд, и его рука сильнее сжала мне плечо.— Ну!..

Совместным усилием мы кое-как поднялись на ноги. Мало-помалу потасовка стала затихать, а затем и вовсе прекратилась. Нападавшие отступили, и я повис на руках у Коллингса.

Сознание вернулось ко мне минуту спустя. Я лежал на земле, и надо мной склонился один из стражников.

— Очухался,— произнес он и отошел.

Я попробовал встать. Со второй попытки мне это удалось.

— Ну как, жив? — спросил Коллингс.

— Ничего,— ответил я.

— Ты весь в крови. Хочешь, отправим тебя в Город подлечиться?

— Не надо. Но что тут, черт возьми, произошло?

— Стражники перестарались. Я ведь, кажется, велел тебе привести четверых.

— Они не послушались.

— Понятно. Это на них похоже.

— Но что же все-таки случилось? Я работал с этими людьми не день и не два, и они никогда нас не трогали.

— И все равно в душе они таили злобу. Особенно потому, что у троих из них жены в Городе. Они не хотели уходить отсюда без жен.

— Как же так? — Я не мог поверить своим ушам.— Жены в Городе? Что они там делают?

— Мы их купили.

8

Оставшись один в хижине, я разделся и тщательно осмотрел свои увечья. Грудь с одной стороны была вся в кровоподтеках, а кроме того, я обнаружил несколько глубоких и болезненных ссадин. Оказалось также, что в потасовке я сорвал себе ноготь, да и челюсть побаливала, едва я пытался ею пошевелить.

Заснуть мне толком так и не удалось — я лишь задремывал на пять—десять минут и опять просыпался. Утром я встал пораньше. Я не испытывал никакого желания встречаться с Малчускиным, пока не почищусь и не приведу себя в порядок.

Наставник мой вернулся в дурном настроении.

— Я уже в курсе дела,— заявил он с порога.— Не старайся ничего объяснять.

— Я сам до сих пор не понимаю, что случилось.

— Ты способствовал тому, чтобы началась драка.

— Драку начали стражники.

— Да, конечно, но тебе следовало бы уже понять, что стражников к рабочим и близко подпускать нельзя. Миль десять назад наши вояки потеряли несколько человек и теперь рады случаю свести счеты.

— Что же нам теперь делать? — спросил я. — Мы остались без рабочих.

— Сегодня доставят новых.

— Но почему они нас так не любят? Мы же платим им за труд.

— Да, платим — когда и сколько хотим. Это нищие края. Земли здесь бедные, еды всегда не хватает. Город проходит мимо, предлагает им то, в чем они нуждаются, и они вынуждены брать. Но долговременной-то выгоды они не получают, да мы, пожалуй, и даем им меньше, чем берем.

— Мы могли бы давать больше.

— Наверное, могли бы.— Малчускин вдруг потерял интерес к разговору.— Не наша это забота. Наше дело — укладывать рельсы.

Новых рабочих пришлось ждать несколько часов, и Малчускин начал проявлять признаки беспокойства. Я подумал, что его, как обычно, заботит необходимость наверстывать упущенное время, но дело оказалось не только в этом.

— Оптимум мы начнем догонять уже на следующем перемещении,— пояснил он.— Нас задержала та гряда. Теперь она пройдена, а дальше на много миль земля почти ровная. Но вот состояние путей позади Города...

— Их же охраняют стражники,— сказал я.

— Никакие стражники не в силах предохранить рельсы от вспучивания. Это главная опасность, и она возрастает с каждой минутой.

— Почему?

Малчускин бросил на меня острый взгляд.

— Потому что мы порядочно отстали от оптимума. Понимаешь, что это значит?

— Нет, не понимаю.

— Ты еще не бывал в прошлом?

— Как это — в прошлом?

— Далеко на юг от Города.

— Нет, не бывал.

— Когда побываешь, сам увидишь, что там творится. А сейчас поверь мне на слово. Рельсы к югу от Города нельзя оставлять надолго, иначе они придут в негодность.

Солнце стояло почти прямо над головой, и было даже жарче обычного. На северо-западе, у горизонта, я приметил полоску черных туч, воздух давил безветрием и влажной духотой. Но тут вдалеке показалась большая группа людей во главе с пятью гильдиерами-меновщиками при плащах и регалиях.

— Ну, вот и прекрасно,— провозгласил мой наставник.— Судя по их виду, они здорово голодны. Ничто в целом свете не может заставить их работать так, как надежда пожрать.

Выглядели новички настоящей ротой оборванцев. Разномастная одежонка, почти все босиком, волосы и бороды не стрижены месяцами. Глубоко запавшие глаза, раз-

дутые от скверной пищи животы. Двое из новичков прихрамывали, а у одного была изувечена рука.

— Хороши работнички, — тихо сказал я.

— Да,— согласился Малчускин,— не из лучших. Но несколько дней поучим, подкормим, и все придет в норму.

Меня состояние наших помощников повергло в ужас, и я понял, что Малчускин, описывая условия жизни туземцев, ничуть не преувеличивал. Но если так, то вполне понятно, почему они с течением времени неизбежно должны возненавидеть нас, горожан. В уплату за наемный труд Город предлагал им такое, о чем здесь раньше и представления не имели, и они начинали понимать, что возможна иная, более сытая, более устроенная жизнь. А потом? Город следовал дальше, взяв у этих людей лучшее, что они могли дать, а они вынуждены были возвращаться к прежнему примитивному существованию.

Наконец, все было готово. Рабочих разбили на четыре бригады, каждая во главе с гильдиером. Затем их отвели под стены Города, выбрали для них четыре тележки, и все мы с шиком покатили по рельсам на юг.

Первая задача была разобрать амортизатор, затем перевезти его на новое место и заново смонтировать под стенами Города. Но только мы с Малчускиным принялись обучать вновь прибывших, как солнце скрылось за тучами и повеяло холодком. Малчускин взглянул на небо и объявил:

— Будет гроза.

Больше он не удостаивал погоду вниманием, и мы продолжали работать как ни в чем не бывало. Через две-три минуты до нас долетели отдаленные раскаты грома, а вскоре на землю упали первые капли дождя. Наемные рабочие принялись с тревогой озираться, но Малчускин продолжал их подгонять. Еще несколько минут — и гроза обрушилась на нас, блистали молнии, гром так грохотал, что я поневоле испытывал страх. Мы промокли до нитки, но работа не прекращалась.

Когда мы водрузили разобранный амортизатор на тележку и погнали ее обратно к Городу, гроза прекратилась так же внезапно, как и началась. Снова выглянуло солнце, кто-то запел, остальные подхватили песню. Дневной урок завершился тем, что мы воздвигли новый амортизатор в непосредственной близости к Городу; другие бригады также поставили точку, как только справились с аналогичной задачей.

На следующий день мы начали спозаранку. Малчускин заявил, что хотел бы максимально ускорить ход работ. И едва мы принялись снимать рельсы с самого южного участка, как я убедился, что для такой спешки были серьезные причины. Костыли, крепящие рельсы к шпалам, погнулись, шпалы пошли трещинами, потрескались и многие бетонные основания. К счастью, сами рельсы оставались годными к употреблению. После краткого совещания с другими путейцами было решено, повременив с загрузкой тележек, бросить все силы на разборку путей, пока они не пришли в полную негодность. К концу дня нам удалось добраться до точки, где прогибание костылей было уже едва заметным. Малчускин и его коллеги объявили, что удовлетворены итогами смены, и мы, загрузив тележки рельсами и шпалами, отправились на отдых.

Так и пошло изо дня в день. К тому времени, когда я собрался в очередной отпуск, разборка путей продвинулась сверх всяких ожиданий, бригады новичков работали дружно и слаженно, и к северу от Города засверкали нити свежеуложенных рельсов. Расставаясь с Малчускиным, я не чувствовал угрызений совести: он был доволен и два дня мог спокойно обойтись без меня.

9

Я вышел из хижины утром, в тот приятный ранний час, когда солнце еще не начало припекать. До Города было рукой подать, и первое, что я сделал — предложил Виктории подняться на площадку.

— Боюсь, что в это время дверь на запоре. Впрочем, погляжу...

Она отсутствовала секунд десять и, вернувшись, сообщила, что так оно и есть.

— Наверное, откроют после полудня,— предположил я, прикинув, что к тому моменту солнце успеет скрыться за окружающими площадку постройками.

— Сними-ка свою форму,— сказала Виктория.— Ее опять придется стирать.

Я начал раздеваться, но тут она стремительно подошла и обвила меня руками. Мы поцеловались, вдруг осознав, что очень рады видеть друг друга.

Когда мы, наконец, позавтракали, выяснилось, что выход на площадку открыт.

Мы уселись рядышком на скамейке и уставились на простирающийся перед нами ландшафт. С той точки, где мы находились, просматривались только дали, а под стены Города было не заглянуть; я прекрасно знал, что путевые бригады перевозят сейчас рельсы мимо нас, с юга на север, но видеть их мы не могли.

— Гельвард, скажи... почему Город движется?

— Мне это неизвестно. По крайней мере, не известно точно.

— Вас, гильдиеров, совсем не интересует, что́ мы об этом думаем, — заметила она.— Вы молчите, а ведь довольно подняться сюда, чтобы убедиться, что Город на новом месте. Но если посмеешь обратиться к кому-нибудь с вопросом, то услышишь, что администраторов это не касается. Мы что, не вправе даже задавать вопросы?

— Вам совсем-совсем ничего не говорят?

— Ни словечка. Дня два назад я поднялась сюда и вдруг вижу — Город переместился. Правда, до того площадка была заперта два дня подряд и поступило распоряжение убрать или закрепить все мелкие предметы. Отчего, почему — нам не объяснили.

— Слушай,— отозвался я,— ты сказала любопытную вещь. Выходит, когда город движется, вы этого и не замечаете?

— Нет... вроде бы нет. Учти, я поняла, что Город переместился, уже потом. Я пыталась припомнить, не ощущала ли я чего-нибудь накануне, но так и не вспомнила ничего необычного. Я ведь никогда не выходила из Города и, наверное, пока росла, привыкла к тому, что он время от времени куда-то едет. А как он едет — по дороге?

— По рельсам.

— А зачем?

— Ей-ей, я не вправе отвечать.

— Но ты же обещал! Да и какой вред от того, что ты сказал, как он движется,— ведь и ребенку ясно, что он не стоит на месте...

Снова все та же дилемма, однако на сей раз возражения Виктории показались мне разумными, хоть она и толкала меня на клятвопреступление. Да, по правде говоря, я сам стал сомневаться в целесообразности соблюдения клятвы — я ведь поминутно наталкивался на то, что она невыполнима.

— Город движется к какой-то точке под названием оптимум, расположенной на севере. В настоящий момент нас отделяют от оптимума три с половиной мили.

— Значит, мы скоро остановимся?

— Нет, не остановимся... это-то мне и непонятно. Город не сможет остановиться, даже достигнув оптимума, потому что оптимум сам уходит все дальше вперед.

— Тогда какой же смысл стремиться к нему?

Ответить на ее вопрос я не мог хотя бы потому, что не знал ответа.

А Виктория продолжала сыпать вопросами, и я не выдержал — рассказал ей о работе на путях. Я старался свести подробности к минимуму и все-таки не мог отделаться от мысли, что беспрерывно нарушаю клятву, по форме, если не по существу. И вообще я поймал себя на том, что не в состоянии забыть эту чертову клятву, о чем бы мы ни говорили. Кончилось тем, что Виктория сама предложила:

— Знаешь, давай оставим эту тему. Ты же явно не хочешь продолжать.

— Я просто совсем запутался, — сказал я. — Мне запрещено говорить, а благодаря тебе я понял, что не вправе скрывать от тебя свою жизнь, свои наблюдения.

Виктория помолчала минуту-другую.

— Не знаю, как ты,— произнесла она наконец,— а я за последние дни возненавидела систему гильдий всерьез.

— Есть одно занятное обстоятельство, — сказал я. — Когда я задаю Малчускину— гильдиеру, под началом которого работаю, — такие же вопросы, как ты мне, он отвечает, что со временем я сам все пойму. Звучит это так, словно система гильдий основана на каких-то разумных посылках, и они, в свою очередь, связаны с причинами, по которым Город должен постоянно перемещаться. До сих пор мне известно лишь, что Город должен перемещаться — и точка.

— Если ты когда-нибудь выяснишь, в чем дело, поделишься со мной?

Я задумался.

— Обещать заранее не могу.

Виктория резко встала и отошла к дальнему краю площадки. Минуту-две спустя она вернулась и села рядом со мной.

— Я узнала, как нам пожениться.

— Что, еще одна церемония?

— Да нет, все гораздо проще. Мы подпишем заявление в двух экземплярах, а потом каждый передаст экземпляр старшему из своих наставников. Бланки заявлений у меня внизу, разобраться в них легче легкого.

— Стало быть, можно подписать их, не откладывая?

— Можно.— Она пристально посмотрела на меня.— А ты не раздумал?

— Разумеется, нет. А ты?

— Я тоже нет.

Проснувшись утром, мы без долгих размышлений заполнили заявления и передали их руководителям. Правда, Клаузевица не оказалось в Городе, но я нашел гильдиера-разведчика, который принял заявления вместо главы гильдии. Все, казалось, были довольны нашим решением, а мать Виктории в тот день долго сидела у нас, рассказывая, какими новыми правами и преимуществами мы обладаем теперь, став мужем и женой.

Прежде чем уйти из Города к Малчускину, я забрал из яслей последние свои пожитки и окончательно перебрался к Виктории.

Мне было шестьсот пятьдесят две мили от роду, и я стал женатым человеком.

10

Следующие несколько миль все складывалось по большей части вполне благоприятно. Когда я попадал в Город, моя жизнь с Викторией была полна комфорта, счастья и любви. Она подробно рассказывала мне о своей работе, и благодаря ей я узнал, как организована повседневная жизнь в Городе. Иногда она принималась расспрашивать меня о том, что и как я делаю за стенами Города, но то ли ее любопытство поутихло, то ли она научилась сдерживать себя, только прежних обид она уже не выказывала.

А ученичество мое шло своим чередом. Когда я завершил работу с Малчускиным, меня по приказу Клаузевица перевели к стражникам. Это был неприятный сюрприз: я почему-то предполагал, что после стажировки у путейцев сразу же приступлю к работе в собственной гильдии разведчиков будущего. Оказалось, однако, что мне предстоит провести по три мили в каждой из верховных гильдий.

Казармы стражников располагались в самом низу Города, по соседству с конюшней. Казармами именовались две огромные комнаты, где мы жили, ели и спали в тесноте и в грязи. В дневные часы мы без конца тренировались, совершая марш-броски по пересеченной местности; нас учили обороняться без оружия, переплывать реки, взбираться на деревья, питаться травами и корешками и множеству других бесполезных вещей. К концу трех миль я наловчился стрелять из арбалета, а также защищаться голыми руками. Еще я нажил себе немало личных врагов и понял, что разумнее будет в дальнейшем не попадаться им на пути. Впрочем, я твердил себе, что время покажет.

После этого меня перевели к движенцам и мне сразу стало легче. По правде сказать, с этого дня и до конца ученичества жизнь моя протекала с пользой и даже приятно.

Я узнал, что в центре Города, на самом нижнем уровне, находится ядерный реактор. Именно он дает Городу всю энергию, и кроме того, дежурные у реактора управляют системами связи, водоснабжения и очистки. В частности, аппараты, готовящие синтетическую пищу, как я не без ужаса обнаружил, работают на базе очистных устройств, и хотя управляют ими и программируют их администраторы, количество (а в известной мере и качество) пищи зависит от насосных станций, которыми ведают движенцы. Разумеется, реактор питает током и лебедки, наматывающие канаты при передвижении Города, но эта его функция по сравнению со всеми прочими казалась почти второстепенной.

Лебедок было шесть, они располагались в ряд на массивной стальной раме под основанием Города. Правда, одновременно работали только пять лебедок, а шестая,

вращаясь вхолостую, тем временем подвергалась тщательному осмотру. Серьезную тревогу внушало состояние подшипников, которые за многие тысячи миль, пройденные Городом, были, естественно, сильно изношены. В дни, когда я стажировался у движенцев, среди них развернулась целая дискуссия: не стоит ли перемещать Город на четырех лебедках, расширяя фронт работ ремонтных бригад, или, напротив, на шести, уменьшая износ? Сошлись, по-видимому, на том, чтобы оставить все как есть; во всяком случае никаких нововведений не последовало.

Приятной особенностью этой стадии моего ученичества было и то, что все ночи я проводил дома, с Викторией. Правда, я возвращался с работы поздно, потный и грязный, однако, пусть недолго, мог наслаждаться и благами семейной жизни, и сознанием, что занимаюсь стоящим делом.

Практика у движенцев пролетела, как мне почудилось, даже слишком быстро, и на следующие три мили меня передали меновщикам. Я выслушал приказ без особой радости: я ведь уже разок столкнулся с меновщиками и не забыл, что́ из этого вышло. К своему удивлению, я узнал, что мне предстоит работать под началом Коллингса, и уж вовсе был поражен, когда выяснилось, что он сам настоял на этом.

— Услышал, что тебя направили к нам на три мили,— сказал он мне при встрече,— вот и подумал: надо бы доказать парню, что миссия меновщика не только в том, чтобы усмирять взбунтовавшихся мартышек. Сколькими языками ты владеешь?

Я ответил, что в яслях языки мне всегда давались плохо и что я могу, пожалуй, объясниться по-французски, да и то с трудом.

— Ладно, в конце концов, ты в нашей гильдии временно. Способность к языкам — главное оружие меновщика.

От Коллингса я узнал, что местные жители говорят по-испански; поскольку лиц испанского происхождения в Городе не оказалось, ему и его коллегам пришлось выучить язык по книжке, отыскавшейся в городской библиотеке. Еще он рассказал мне, что из шести верховных гильдий лишь путейцы постоянно прибегают к наемному труду. Иногда кратковременной помощи требуют мостостроители, и все же меновщики заняты главным образом тем, что нанимают рабочих для путевых бригад и обеспечивают так называемое «освежение».

— Это еще что такое? — не замедлил поинтересоваться я.

— То самое, из-за чего нас так не любят,— ответил Коллингс.— Город ищет поселения, где голодают и нищенствуют. Мы предлагаем туземцам пищу, технику для сельскохозяйственных работ, лекарства, электроэнергию, а в обмен просим выделить мужчин, способных к физическому труду, и одолжить несколько молодых женщин. Женщины переселяются в Город на срок, какой требуется, чтобы дать жизнь новым горожанам.

— Я слышал об этом,— сказал я.— Слышал, но не верил.

— Почему же не верил?

— Но разве это...— Я запнулся.— Разве это не аморально?

— Что же тут аморального, если Город хочет, чтобы его население не сокращалось? Без свежей крови мы бы вымерли за два-три поколения.

Я припомнил, из-за чего началась драка.

— Но ведь случается, что женщины, которых переселяют в Город, уже замужем?

— Ну, и что же? Все, что от них требуется — родить одного ребенка. Потом они, если хотят, могут вернуться домой.

— А ребенок?

— Если это девочка, она остается в Городе и воспитывается в яслях. Если мальчик, мать может забрать его с собой или оставить здесь, как пожелает...

Только тут до меня дошло, почему Виктория избегала этой темы: моя мать тоже была привезена в Город извне, а потом оставила его, не пожелав взять меня с собой. Она меня бросила. Но я осознал это без горечи.

Меновщики, как и разведчики, выезжали в свои экспедиции на лошадях. Меня никогда не учили ездить верхом, и когда мы с Коллингсом впервые отправились в путь, я шел с ним рядом, держась за стремя. Позже он научил меня основам верховой езды: мне, пояснил он, все равно не обойтись без этого, когда я попаду, наконец, в гильдию своего отца. Осваивал я эту премудрость медленно — сначала я боялся лошади и никак не мог совладать с ней. Лишь постепенно до меня дошло, что лошадку мне подобрали кроткую и послушную, я обрел уверенность в себе, и она, словно почувствовав это, начала повиноваться мне.

В первый раз мы не стали отлучаться далеко от Города. К северо-востоку лежали две деревушки, и мы побывали в обеих. Нас встречали с любопытством, но, по мнению Коллингса, и в той и в другой жители не так уж нуждались в товарах и услугах, которые Город мог им предложить, и в переговоры мы не вступали.

Путешествие наше заняло девять дней, и все девять дней мы жили без удобств и ночевали где придется. А вернувшись, узнали, что Совет навигаторов дал добро на строительство моста. Если я правильно понял Коллингса, Город мог выбрать один из двух маршрутов. Первый отклонялся от прямой на северо-запад, шел в обход глубокой расселины, но затем выводил на резко пересеченную местность с обнажениями скальных пород; второй вел по более ровной местности, но требовал возведения моста через расселину. Совет проголосовал за второй маршрут, и теперь все трудовые ресурсы временно передавались в распоряжение гильдии мостостроителей.

Меня отправили на север, в распоряжение мостостроителя Леру, отца Виктории. Увидев расселину своими глазами, я понял, что строительство моста действительно представляет собой серьезную инженерную задачу. Расселина была широкая — там, где ее должен был пересечь мост, ярдов шестьдесят; грунт по краям расселины выветрился и грозил вот-вот осыпаться. По дну ее струилась быстрая речка. В довершение всех бед северный край расселины был футов на десять ниже, чем южный, и следовательно, к мосту с северной стороны надо было пристраивать наклонную эстакаду.

Гильдия мостостроителей приняла решение, что мост будет подвесным. На то, чтобы соорудить арочный или консольный мост, не хватало времени, а простейший метод заложить расселину деревянными брусками-подпорами в данном случае исключался из-за непрочности грунта.

Первым делом начали возводить четыре опорные башни — по две на северной и южной стороне. Башни, свинченные из стальных труб, казались неправдоподобно хрупкими. Один из монтажников сорвался с верхушки и разбился насмерть. Работы даже не приостановились. Вскоре после этого мне разрешили очередной двухдневный отпуск, и я очутился в Городе в момент перемещения. Впервые я сидел в городских стенах, заведомо зная, что исполинская махина ползет вперед по рельсам, и с интересом отметил про себя, что движение в сущности не ощущается, лишь где-то вдалеке чуть слышен легкий шум, наверное, от моторов лебедок.

Как раз в этот отпуск Виктория сообщила мне, что беременна. Ее мать встретила известие с восторгом, да и я обрадовался и едва ли не впервые в жизни выпил лишнего и начал валять дурака. Впрочем, это никого как будто не удивило.

В положенный срок Город переместился к самой расселине и безмолвно встал над нею, выжидая, когда же наконец ему откроют дорогу на противоположную сторону. Шли дни, и Леру, как и его коллегам, становилось заметно не по себе: ведь по мере того, как оптимум удалялся на север, конструкции моста подвергались все большему риску — они тоже могли вспучиться наподобие рельсов к югу от Города. Вообще-то по расчетам мост мог сопротивляться изгибу, но до определенного предела; оттягивать дело до бесконечности было никак нельзя. Теперь работу вели и по ночам при свете мощных дуговых ламп. Отпуска были отменены, люди работали по сменам, круглосуточно.

Город был так близко от нас, что все мы ночевали у себя в комнатах, и каждый вечер мне бросалась в глаза разница между нервной, напряженной обстановкой у моста и относительно спокойным, размеренным ритмом повседневной жизни в городских стенах. Мое поведение, надо думать, отражало тревогу моих наставников, потому что Виктория вдруг возобновила свои вопросы: чем это мы так заняты целые дни напролет?

И вот мост объявили готовым. За ночь Город подготовили к перемещению. И едва забрезжил рассвет, по сигналу одного из движенцев серая громада начала с бесконечной осторожностью, дюйм за дюймом ползти вперед.

Я выбрал себе наблюдательный пункт на одной из несущих башен с южной стороны расселины; передние колеса вкатились на мост, цепи приняли на себя нагрузку — башня завибрировала и устояла. В слабом свете восходящего солнца я все же не мог не заметить, как цепи опустились и натянулись, удерживая чудовищный вес, как железнодорожное полотно прогнулось под тяжестью Города. Никто не шевелился и не произносил ни слова, будто малейший звук мог нарушить непрочное равновесие

всей системы. А Город все катился вперед, и вскоре мост принял на себя его вес целиком.

Тишина оборвалась внезапно. С оглушительным треском — крутые стены расселины отозвались громоподобным эхом — лопнул один из тяговых канатов. И с дикой силой хлестнул прямо по цепи охранявших мост стражников. По конструкциям моста пробежала крупная дрожь, а из недр Города донесся истошный визг лебедки, вдруг избавленной от напряжения. Визг оборвался: движенцы у пульта управления отключили мотор. Теперь Город продолжал ползти на четырех лебедках еще медленнее, чем раньше. На северной стороне расселины лежал, свернувшись, лопнувший канат, а под ним — пять убитых стражников.

Наконец самые рискованные минуты остались позади. Город протиснулся меж северных башен и лениво заскользил по эстакаде к канатным опорам. Затем он затормозил, но никто не нарушил молчания — ни криков торжества, ни вздохов облегчения. Мост вызвал длительную задержку, и от оптимума нас отделяли четыре с половиной мили. А сколько еще предстояло сделать: снять рельсы, залатать разорванный канат, демонтировать несущие башни и цепи и сберечь их для возможных будущих нужд...

Но скоро, неизбежно скоро Город двинется в путь опять — все дальше и дальше на север вслед за оптимумом, который тем не менее всегда ухитряется ускользнуть от нас, убежав на несколько миль вперед.

Часть вторая

1

Гельвард Манн ехал верхом. Привстав на стременах, склонившись к шее крупной каурой кобылы, он весь отдался скачке: ветер, треплющий волосы, грохот копыт по каменистой почве, дрожь мускулов на боках лошади, подспудная боязнь, что она вот-вот споткнется и выкинет его из седла,— все сливалось в дивное ощущение скорости. Путь лежал на юг, прочь от убогих деревушек, где они только что побывали, сквозь холмы и по равнине, обратно в Город. Когда за очередным гребнем он, наконец, показался на горизонте, Гельвард перевел лошадь на легкий галоп и снова повернул ее по широкой дуге на север. Вскоре она перешла на шаг, а когда солнце стало припекать, он и вовсе спешился и двинулся рядом, держа ее в поводу.

Он думал о Виктории: ее беременность длилась уже более десяти миль. Выглядела она совершенно здоровой и даже похорошевшей, и администратор медицинской службы заверил его, что беременность протекает нормально. Гельварду теперь разрешали проводить в Городе больше времени, оставаясь с женой иногда целыми днями. Им повезло, что Город опять перемещался по ровной местности — ведь столкнись гильдиеры с необходимостью строить новый мост, возникни любые другие чрезвычайные обстоятельства, и время, которое он мог уделить Виктории, тут же резко бы сократилось.

Ученичество подходило к концу. Он поработал не за страх, а за совесть во всех гильдиях кроме одной-единственной — своей собственной гильдии разведчиков будущего. Меновщик Коллингс уже сообщил ему, что к вечеру его вызовет сам Клаузевиц для подведения итогов практики. Гельвард не мог дождаться этой минуты. Все еще юноша внешне, он по меркам Города уже считался взрослым — и вполне заслужил это тяжким трудом. За последние несколько миль он похудел, но мускулы его набрали силу, а кожа покрылась ровным золотистым загаром. Он больше не падал в изнеможении после каждого трудового дня, напротив, завершение очередной нелегкой задачи приносило ему ощущение удовлетворения и полноты жизни. Большинство гильдиеров, под началом которых ему довелось работать, относились к нему уважительно и даже тепло, семейная жизнь с Викторией складывалась как нельзя лучше, и мало-помалу окружающие стали смотреть на него как на человека, достойного принять на свои плечи заботу о безопасности Города.

Особенно хорошие, дружеские отношения установились у Гельварда с Коллингсом. Когда он отслужил обязательные пятнадцать миль — по три в каждой из пяти гильдий,— ему предложили самому выбрать, в какой из них пройти дополнительную пятимильную практику, и он тут же попросился к меновщику. Работа меновщиков

привлекала его прежде всего тем, что давала возможность узнать кое-что о жизни местного населения. Он даже усвоил десяток расхожих испанских фраз, но стать помощником Коллингсу в переговорах, зачастую длительных и трудных, так и не смог.

В селении, где они только что побывали, удалось заключить выгодное соглашение. Старейшины обязались выделить двадцать мужчин для путевых работ, а затем добавить к этим двадцати еще десять из какой-то другой деревушки, затерянной в горах. В придачу к этому пять женщин согласились — Гельвард не был уверен, добровольно ли, а Коллингса не спросил — переселиться на время в Город. Теперь они с Коллингсом возвращались, чтобы отобрать обещанные поселянам припасы и предупредить других гильдиеров о близящемся пополнении.

Через полчаса Гельвард снова сел на лошадь, развернул ее и направил шагом по прежнему маршруту. Вскоре он заметил Коллингса, отдыхавшего в тени под скалой. Оба пошли пешком, ведя лошадей под уздцы.

— Что-то ты сегодня какой-то притихший,— вдруг сказал Коллингс.

— Верно. Извините. Я все думаю о том, что вот пришла пора стать гильдиером. И не уверен, что готов к этому.

— Почему же нет?

— Это не просто выразить. Скорее смутная догадка.

— Ты хочешь обсудить ее со мной?

— Да, хочу. То есть если вы позволите.

— Почему же я должен возражать?

— Вопросов у меня два. Насчет оптимума и клятвы. Не могу разобраться ни в том, ни в другом.

— И неудивительно. Я перевидал на своем веку десятки учеников, и всех волновало одно и то же.

— Так вы просветите меня?

Коллингс покачал головой.

— По поводу оптимума — нет. Тут ты должен все выяснить сам.

— Но я знаю лишь, что он всегда движется вперед. Это что, условное понятие?

— Нет... но больше я ничего тебе не скажу. Уверяю тебя, ты узнаешь все, что хочешь знать, и очень скоро. Ну, а с клятвой что тебе неясно?

Гельвард помолчал.

— Предположим, вы обнаружили бы — вот сейчас, сию минуту обнаружили бы,— что я нарушил клятву. Вы бы убили меня, так?

— Теоретически так.

— А практически?

— Я бы, конечно, встревожился, обдумал бы все хорошенько, потом, наверное, посоветовался бы с кем-то из друзей-гильдиеров и послушал, что он скажет. Но ты же не нарушал клятвы?

— Если бы я был в этом уверен!

— Ну-ка, расскажи мне лучше все по порядку.

— Ладно.

Гельвард начал перечислять вопросы, с которыми Виктория приставала к нему с первых же дней, но ответы свои передавал весьма гуманно. Коллингс молчал, и тогда Гельвард стал излагать их подробнее, пока наконец, почти слово в слово не пересказал все, чем поделился с Викторией. Когда он наконец выдохся, Коллингс заметил:

— Признаться, не вижу в этом никакой беды.

Гельвард вздохнул с облегчением, но сомнения, терзавшие его душу, не рассеялись.

— Как же не видите?

— То, чем ты делился с женой, никому не причинило вреда.

Они подошли к точке, откуда Город был виден как на ладони. Вокруг, на путях, кипела обычная суета.

— Но это не может быть так просто! — воскликнул он.— Клятва сформулирована очень жестко, и наказание, предусмотренное ею, легким не назовешь...

— Верно... но мы, сегодняшние гильдиеры, унаследовали ее от наших предков. Клятву передали нам наши отцы, а мы передаем ее вам. И вы, придет день, передадите ее своим детям. Это отнюдь не значит, что все гильдиеры согласны с ней, но никто до сих пор не предложил ничего лучшего.

— Значит, гильдиеры, как только смогут, сами отменят клятву? — спросил Гельвард.

Коллингс усмехнулся.

— Этого я не говорил. История Города уходит в глубь времен. Основателем Города был человек по имени Фрэнсис Дистейн, и считается, что текст клятвы придумал он. Из дошедших до нас документов того времени следует, что тогда сохранение тайны было оправданным и необходимым. Но сегодня... сегодня наша жизнь, надо думать, уже не так сурова.

— Однако клятва существует.

— Да, и, на мой взгляд, в ней по-прежнему есть смысл. В Городе полным-полно людей, которые знать не знают, что творится за его стенами, и которым нет нужды это знать. Например, те, кто занят в разных внутригородских службах. Время от времени они встречаются с негорожанами, хотя бы с переселенными женщинами, и если разрешить им трепаться, то мы и глазом моргнуть не успеем, как наша подноготная станет известна всей округе. У нас и так хватает неприятностей с местными, с мартышками, как их называют стражники. Видишь ли, существование Города связано с определенным риском, и этот риск надо уменьшить любой ценой.

— Нам угрожает опасность?

— В настоящий момент особой опасности нет. Но в случае саботажа опасность возникнет немедленно и сразу станет неотвратимой. Мы и без того не пользуемся особой любовью — какая же нам выгода подкреплять эту нелюбовь, давая понять, что мы уязвимы?

— Выходит, я могу быть с женой более откровенным?

— Решать тебе. Она ведь дочь мостостроителя Леру? По-моему, девочка с головой. Пока она не делится с другими тем, что ты ей рассказываешь, тревожиться не о чем. Но не вздумай откровенничать направо и налево.

— Не собираюсь,— заверил Гельвард.

— И не говори никому, что оптимум движется. Это не так.

Гельвард не сумел скрыть удивления.

— Но мне же сказали, что он движется!

— Тебя дезинформировали. Оптимум всегда на одном месте.

— Тогда почему же Город никак не может достичь его?

— Ну, иногда ему это удается,— ответил Коллингс.— Не удается только задержаться на точке оптимума. Потому что сама почва неуклонно смещается на юг.

2

Рельсы уже протянулись на север от Города примерно на милю. Когда Гельвард с Коллингсом подошли ближе, они встретили движенцев, которые везли тяговый канат к заново смонтированным опорам. День-другой — и Город двинется в путь опять.

Гельвард проводил Коллингса до конюшен.

— Всего тебе доброго, Гельвард!..

Гельвард взял протянутую руку, и они обменялись теплыми рукопожатиями.

— Вы словно прощаетесь со мной навсегда.

Коллингс по обыкновению слегка пожал плечами.

— Мы теперь долго не увидимся. Желаю удачи, сынок.

— Вы куда-нибудь уезжаете?

— Я-то остаюсь здесь. А вот ты уезжаешь. Будь осторожен и поразмысли над тем, что увидишь.

Прежде чем Гельвард успел что-либо сказать, меновщик повернулся и скрылся в конюшне. Гельвард чуть было не бросился за ним, но инстинктивно понял, что это бесполезно. Наверное, Коллингс и так сказал больше, чем положено.

В назначенный час Гельвард поднялся на седьмой уровень и был допущен в штаб-квартиру верховных гильдий. Клаузевиц поджидал его в кабинете, отведенном для разведчиков будущего. Когда Гельвард возник на пороге, глава гильдии тепло его приветствовал и предложил вина.

— Вы неплохо зарекомендовали себя, ученик Манн.

— Благодарю вас, сэр.

— Готовы ли вы к тому, чтобы вступить в наши ряды?

— Да, сэр.

— Хорошо... У гильдии нет оснований возражать против вашей кандидатуры. Вы заслужили весьма лестные отзывы.

— Если не считать стражников,— заметил Гельвард.

— Пусть это вас не тревожит. Стиль жизни стражников не всякому по вкусу.

Гельвард вздохнул с известным облегчением: он опасался, что стражники не преминут наябедничать на него разведчикам.

— Цель настоящей встречи,— продолжал Клаузевиц,— сообщить вам, что будет дальше. Вам еще предстоит трехмильная практика в вашей собственной гильдии, но, насколько я могу судить, для вас это чистая формальность. Сначала вам придется покинуть Город. Это входит в программу подготовки гильдиера. Возможно, ваша отлучка будет довольно длительной.

— А насколько длительной, разрешите узнать? — осведомился Гельвард.

— Трудно сказать. Не менее десяти миль. Вернее, бывает по-разному: одни возвращаются через десять—пятнадцать миль, другие отсутствуют миль сто, а то и больше.

— Но Виктория...

— Да, мне известно, что она ожидает ребенка. Когда это должно произойти?

— Миль через девять.

Клаузевиц нахмурился.

— Боюсь, что в это время вас здесь не будет. Говоря по правде, у нас с вами нет выбора.

— Неужели нельзя подождать до родов?

— К сожалению, нельзя. Вам дают определенное задание, и его надо выполнить. Вам уже известно, что время от времени Город вынужден пользоваться услугами женщин, нанятых со стороны. Мы взяли за правило отпускать их как можно раньше, но они все равно живут здесь не менее тридцати миль. Один из пунктов заключаемых нами сделок гласит, что мы обязуемся вернуть их в родные поселения. Сегодня у нас есть три женщины, выразившие желание вернуться домой. Женщин обычно сопровождают ученики, тем более что такое поручение считается важной частью тренировочного процесса.

За месяцы практики Гельвард волей-неволей приобрел известную уверенность в себе.

— Сэр, моя жена ждет первого ребенка. Я должен остаться с ней.

— Об этом не может быть и речи.

— А что, если я откажусь?

— Вам предъявят копию принесенной клятвы, и вы понесете предусмотренное ею наказание.

Гельвард открыл было рот, чтобы возразить, и все же сдержался. Для споров о том, должно ли следовать букве клятвы, минута выдалась явно неподходящая.

— Сэр, могу ли я апеллировать к вашему разуму?

— Апеллировать вы можете, только это ничего не изменит. Вы поклялись, что будете ставить интересы безопасности Города выше личных забот. Точное выполнение программы вашей подготовки — в интересах безопасности Города, вот и все.

— Но ведь отъезд наверняка можно отсрочить! Как только родится ребенок, я выполню любой приказ.

— Нет.— Клаузевиц повернулся и вытащил большой лист бумаги — на нем была карта, а также столбцы цифр.— Женщин надо доставить в их родные поселения. Через девять миль, когда ваша жена разрешится от бремени, эти поселения отодвинутся от нас слишком далеко. Они и так уже находятся более чем в сорока милях к югу от Города. Факт остается фактом: настала ваша очередь, и выполнить поручение должны вы, и никто другой.

— Это ваше последнее слово, сэр?

— Последнее.

Гельвард отставил нетронутый стакан вина и направился к двери.

— Гельвард, стойте!..

— Если я должен уехать, я хочу, по крайней мере, проститься с женой.

— У вас еще будет время. Вы отправляетесь через полмили.

Пять дней — это почти ничего.

— Ну?..— буркнул Гельвард, уже не чувствуя потребности выказывать собеседнику освященное традициями почтение.

— Садитесь, сделайте милость.— Гельвард нехотя подчинился.— Не обвиняйте меня в бесчеловечности: по иронии судьбы предстоящее путешествие как раз и покажет вам, отчего обычаи Города подчас кажутся бесчеловечными. Именно то, что вы увидите на юге, раскроет вам подоплеку клятвы, подоплеку нашей кажущейся жестокости. Вы же образованный человек, Гельвард... было ли в истории хоть одно цивилизованное общество, выменивавшее себе женщин ради одной-единственной незамысловатой цели — чтобы они осчастливили его ребенком? А потом, когда цель достигнута, возвращало бы их по домам?

— Нет, сэр.— Гельвард замялся.— Кроме разве что...

— Кроме примитивных кочевых племен, для которых разбой и насилие были способом существования? Ну что ж, мы, может, чуточку лучше их, но наши обычаи не менее жестоки. Приказ должен быть выполнен. Вы покинете свою жену в такое время, когда она нуждается в вас больше всего. Это бесчеловечно, но эта маленькая бесчеловечность — лишь следствие образа жизни, который бесчеловечен сам по себе.

— Нельзя оправдывать жестокость жестокостью,— произнес Гельвард.

— Нельзя... тут я готов с вами согласиться. Но вы связаны клятвой. А клятва вытекает из тех факторов, которые продиктовали нам нашу бесчеловечность, и когда вы принесете на алтарь Города личную жертву, многое станет вам яснее.

— Сэр, Город должен изменить свои обычаи.

— Вы увидите сами, что это невозможно.

— Совершив путешествие в прошлое?

— Я сказал, многое станет яснее. Хотя и не все. — Клаузевиц поднялся. — Гельвард, до сих пор вы были хорошим учеником. Предвижу, что вы и впредь будете трудиться на благо Города, не щадя своих сил. У вас умная и красивая жена, вам есть ради чего жить и бороться. Прошу вас выполнить миссию, возложенную на вас Городом, и выполнить без проволочек. Я сам в свое время совершил такое путешествие, и ваш отец, и все остальные гильдиеры. И сегодня там, в прошлом, находятся семь ваших собратьев-учеников. Им тоже пришлось столкнуться с личными затруднениями сходного порядка, и не каждый встречал их с большой охотой.

Гельвард пожал Клаузевицу руку и отправился искать жену.

3

Через пять дней он собрался в дорогу. В общем-то он ни на минуту не сомневался, что придется смириться с судьбой, но объяснить это Виктории было нелегкой задачей. Сперва она, естественно, пришла в ужас, потом неожиданно ее настроение изменилось.

— Разумеется, ты должен ехать. Не отказывайся из-за меня.

— Но что будет с ребенком?

— Все будет в порядке,— заверила она.— Да и чем ты, в самом деле, мог бы помочь, окажись ты здесь? Приставать ко всем и действовать им на нервы?

— Но разве тебе не хотелось бы, чтобы я был рядом?

Она ласково взяла его руку.

— Конечно, хотелось бы. Но не забывай, что́ ты сам мне сказал. Клятва вовсе не так жестока, как тебе представлялось. Я знаю, ты обязан уехать, зато когда вернешься, все для нас с тобой будет ясно. Особенно скучать в твое отсутствие мне будет некогда, а потом... потом мы обсудим с тобой все, что ты увидел.

Клаузевиц поджидал его в штаб-квартире разведчиков. В углу лежала груда снаряжения, на столе была расстелена крупномасштабная карта. Держался глава гильдии иначе, чем при прошлой встрече. Едва Гельвард вошел в комнату, Клаузевиц подозвал его к столу и без предисловий приступил к делу.

— Перед вами сводная карта местности к югу от Города. Она выполнена в линейном масштабе. Термин вам знаком?

Гельвард кивнул.

— Прекрасно. Город в настоящий момент находится вот здесь, а селение, которое вы должны разыскать,— здесь.— Клаузевиц показал на скопление черных пятнышек в нижнем углу карты.— Сейчас нас отделяют от этого селения ровно сорок две мили. Впрочем, по мере удаления от Города расстояния станут неточными, направления — тоже. Тут я могу дать вам только один совет, такой же, как всем вашим предшественникам: придерживайтесь нашего путевого полотна. Когда вы уйдете далеко на юг, оно останется единственной ниточкой, связывающей вас с Городом, оно же

поможет вам найти дорогу домой. Ямы, выкопанные под основания шпал, видны хорошо и долго. Вы меня поняли?

— Да, сэр.

— Вы отправляетесь в путешествие ради одной главной цели. Вы должны убедиться, что вверенные вам женщины благополучно добрались до своего селения. А затем вы без задержки вернетесь в Город.

Гельвард провел в уме несложные вычисления. Сколько времени требуется, чтобы пройти милю? Минут пятнадцать, не больше. За день, даже в жару, он покроет, по крайней мере, миль двадцать; из-за женщин придется, конечно, снизить скорость— допустим, наполовину. Ну, ладно, даже не десять, а шесть миль в день; значит, семь дней на дорогу до селения, три-четыре дня на возвращение. Если повезет, он сумеет вернуться в Город дней через десять — пользуясь принятой среди гильдиеров единицей измерения времени, через одну милю. Почему же ему сказали, что он не успеет к рождению ребенка? Постой-ка, вспомни поточнее, что говорил Клаузевиц при предыдущей встрече? Что он, Гельвард, будет отсутствовать миль десять—пятнадцать, а может статься, и сто? Полная бессмыслица...

— Вам надо будет как-то вычислять длину пройденного пути, чтобы определить, когда вы подойдете к цели. Между Городом и тем поселением было установлено тридцать восемь канатных опор. На карте они обозначены в виде линий поперек полотна. Места установки опор удастся обнаружить без труда. Придерживайтесь левого внешнего пути. Иначе говоря, поскольку вы двигаетесь на юг,— крайнего справа. Поселение, которое вам предстоит найти, находится на этой стороне полотна.

— Но ведь женщины, конечно же, узнают родные места? — вставил Гельвард.

— Справедливо. Ну, что ж... теперь о вашем снаряжении. Вот оно. Вам придется взять всю эту груду. Не вздумайте выбросить что-либо по дороге — поверьте, мы знаем, что делаем. Понятно?

Гельвард опять кивнул. Вместе с Клаузевицем они осмотрели снаряжение. В одном тюке оказались пакеты с сухой синтетической пищей и две большие фляги с водой. В другом — палатка и четыре спальных мешка. Кроме того, там были моток прочной веревки, стальные крючья, пара ботинок, подбитых железом, и складной арбалет.

— У вас есть вопросы?

— Кажется, нет, сэр.

— Вы уверены, что нет?

Гельвард снова посмотрел на груду. Тащить все это на себе будет чертовски тяжело, разве что удастся всучить часть ноши женщинам; к тому же при виде синтетической пищи его чуть не вывернуло наизнанку.

— Нельзя ли, сэр, подкрепляться тем, что встретится по дороге? — спросил он.— Синтетическая пища, по-моему, так безвкусна...

— Советую вам не есть *ничего*, кроме продуктов, которые мы дали вам с собой. Можете, если придется, пополнить запасы воды, но непременно убедитесь сначала, что вода проточная. Что же касается еды... если съедите что-либо выросшее на земле, как только Город скроется из виду, можете не на шутку заболеть. Не верите — попробуйте. Я в свое время попробовал и маялся потом добрых два дня. Так что этот совет — не теория, он основан на долгом и горьком опыте.

— Но в Городе мы же не отказываемся от туземных плодов!

— Да, пока Город вблизи оптимума. А вы удалитесь от оптимума на много-много миль к югу.

— И это повлияет на пищу, сэр?

— Да, повлияет. Еще вопросы?

— Все ясно, сэр.

— Хорошо. Тогда тут ждет кое-кто, кто хотел бы видеть вас перед отъездом.

Он жестом показал на дверь, которая до тех пор оставалась закрытой, и Гельвард отворил ее. За дверью была маленькая комнатка, и там его ждал отец.

Гельвард сначала удивился, а затем просто не поверил своим глазам. Он же видел отца совсем недавно — тот направлялся верхом на север; теперь за какие-то десять дней отец внезапно и чудовищно постарел. Когда Гельвард вошел, отец встал со стула, но не удержался на ногах и уперся нетвердой рукой в сиденье. Он сгорбился, костюм висел на нем мешком, и рука, протянутая навстречу Гельварду, заметно дрожала.

— Гельвард! Здравствуй, сыночек...

И манера держаться у отца стала совсем другая: от былой отчужденности, к которой Гельвард так привык, не осталось и следа.

— Отец!.. Тебе нездоровится?

— Да нет, все в порядке. Просто придется поберечься — доктор говорит, я слишком часто бывал на севере.— Он снова сел.— Мне сообщили, что ты отправляешься в прошлое. Это верно?

— Да, отец.

— Будь осторожен, сынок. Ты увидишь много такого, над чем придется поразмыслить. Там все иначе, чем в будущем... в будущем я чувствовал себя как дома.

Клаузевиц вошел следом за Гельвардом и стал на пороге.

— Гельвард, учтите, отцу только что сделали инъекцию.

Сын обернулся, словно его ужалили.

— Что случилось?

— Он вернулся в Город ночью, жалуясь на боль за грудиной. Диагноз — ангиоспазмы. Ему дали обезболивающее, и он должен лежать в постели.

— Хорошо, я его не задержу.

Гельвард опустился на колени подле стула.

— Ну, а сейчас... сейчас-то ты чувствуешь себя нормально?

— Я же сказал, все в порядке. Не беспокойся обо мне. Как Виктория?

— Держится молодцом.

— Славная она у тебя девочка, Виктория...

— Я ей передам, чтобы она навещала тебя.

Видеть отца в таком состоянии было больно и страшно. Гельварду в голову не приходило, что отец может так состариться... ведь всего несколько дней назад он выглядел куда моложе! Что же могло случиться за эти дни?.. Они поговорили еще немного, но отец вскоре начал терять нить разговора, потом веки его смежились, и Гельвард встал.

— Я позову врачей,— предложил Клаузевиц и быстро вышел.

Через две-три минуты он вернулся в сопровождении двух администраторов медицинской службы. Они бережно подхватили старика под руки и вынесли в коридор, где уложили на покрытую белой тканью каталку.

— Он поправится? — вырвалось у Гельварда.

— За ним будут ухаживать. Это все, что сейчас можно сказать.

— Он стал таким дряхлым,— вырвалось у Гельварда.

— Профессиональный риск,— заметил глава гильдии разведчиков.

Гельвард бросил на Клаузевица острый взгляд, но пояснения не последовало.

4

Гельвард на лифте спустился на второй уровень — тюки и прочее снаряжение были свалены в кабине рядом с ним. Когда кабина остановилась, он сунул ключ в специальную прорезь, чтобы дверцы не могли закрыться, и разыскал комнату, названную Клаузевицем. Здесь его поджидали четыре женщины и мужчина — Гельвард сразу заметил, что лишь мужчина и одна из женщин принадлежат к городской администрации.

Гельварда представили трем другим женщинам, но они едва удостоили его беглым взглядом и отвернулись. На их лицах застыло выражение сдержанной враждебности, а возможно, и безразличия — в конце концов, до этой минуты он по отношению к ним тоже ничего, кроме безразличия, не испытывал. Пока он не переступил порога этой комнаты, он и не задумывался над тем, что за женщин ему придется сопровождать, и даже хороши они собой или нет. Ни одной из них он прежде не видел в глаза, но, слушая Клаузевица, поневоле вообразил их похожими на тех, каких встречал, выезжая на север с меновщиком Коллингсом. Те были, как правило, худыми и бледными, сухорукими, плоскогрудыми, с костлявыми лицами и глубоко запавшими глазами. Да и одеты они были чаще всего в вонючее тряпье, над ними вечно кружились мухи — в общем, деревенские женщины являли собой весьма плачевное зрелище.

Эти отличались от тех, как небо от земли. Аккуратное, ладно пригнанное городское платье, хорошо вымытые и подстриженные волосы, плавные контуры налитого тела, ясные глаза... Гельвард едва сумел скрыть удивление, когда понял, что они совсем молоденькие, его ровесницы или чуть постарше. В Городе о временно переселенных говорили как о зрелых женщинах, а эти были по существу совсем девчонки!

Вероятно, он таращился на них до неприличия, но они по-прежнему не удостаивали его вниманием. А ему никак не удавалось сладить с крепнущим подозрением, что эти три раньше ничем не отличались от обыкновенных деревенских оборвашек и лишь переселение в Город временно вернуло им здоровье и красоту, которые могли бы быть их неотъемлемым, пожизненным достоянием, не родись они в нищете.

Женщина-администратор коротко описала Гельварду каждую из них. Их звали Росарио, Катерина и Люсия. Они немного понимали по-английски. Каждая провела в Городе чуть больше сорока миль, и каждая родила ребенка. Это оказались два мальчика и девочка. Люсия, родившая мальчика, не пожелала взять его с собой, ребенок остается в Городе и будет воспитываться в яслях. Росарио, напротив, не захотела расстаться с сыном и забирает его с собой. Катерине выбора не предоставили, разлучив с дочуркой насильно, но ей самой это было, казалось, безразлично.

Еще женщина-администратор сказала, что, поскольку Росарио — кормящая мать, ей следует давать сухое молоко без ограничений. Остальные должны питаться тем же, что и их провожатый.

Гельвард попытался дружески улыбнуться своим подопечным, но те вообще не смотрели на него. Подхватив свои скудные пожитки, они тесной группой двинулись по коридору. Кое-как войдя вслед за ними в кабину, Гельвард направил ее вниз.

Когда кабина достигла цели и перед ними открылся выход в темный туннель под Городом, Гельвард чуть не упал, взвалив на плечи всю свою неподъемную поклажу разом. Ни одна из женщин и не подумала ему помочь — они лишь следили за его усилиями повеселевшими глазами.

Яркое солнце чуть не ослепило его. Он сбросил тюки на землю и огляделся.

С тех пор как он выходил наружу в последний раз, Город снова переместился, и путевые бригады вовсю выкорчевывали рельсы. Женщины, заслонившись от солнца ладонями, озирались вокруг. Вероятно, они очутились на воле впервые с того дня, как попали в Город.

Малыш на руках у Росарио залился плачем.

— Вы мне не поможете? — спросил Гельвард, кивая на тюки с пищей и снаряжением.

Они по-прежнему не отвечали, тогда он присел на корточки и раскрыл тюк с синтетической пищей. Решив, что Росарио и без того тяжело, он разделил пищу на три пакета, вручил по пакету каждой из ее подруг, а третий запихал обратно в свой тюк. Люсия и Катерина с неохотой уложили пакеты в свои вещевые сумки. Теперь ноша у Гельварда стала ухватистее, хоть и ненамного легче, и вопреки совету Клаузевица он испытывал искушение выкинуть большую ее часть ко всем чертям.

Гельвард старался идти широким шагом, но уже через час вынужден был признать, что в своих подсчетах продолжительности экспедиции принимал желаемое за действительное. Три женщины тащились за ним как черепахи, то и дело жалуясь на жару и неровности почвы. Выданная им обувь была действительно плохо приспособлена для прогулок по пересеченной местности, но уж от жары-то он страдал не меньше их. В форменной куртке, да еще придавленный к земле тяжеленной ношей, он пропотел насквозь буквально за несколько минут.

Они были все еще в виду Города, солнце только подходило к зениту, а малыш орал не переставая. Единственной отрадной минутой была короткая встреча с Малчускиным. Путеец искренне обрадовался Гельварду, тут же стал, как водится, поносить наемных рабочих, а потом пожелал счастливого пути. Поговорить бы с бывшим наставником подольше, да женщины, разумеется, и не подумали остановиться, и пришлось нагонять их.

Наконец он решил объявить привал.

— Ты не могла бы унять своего ребенка? — обратился Гельвард к Росарио.

Она смерила провожатого недобрым взглядом и села на землю.

— Ладно, я его покормлю...

Она продолжала смотреть на Гельварда в упор, ее подруги стали подле нее, как на страже. Поняв намек, он отошел подальше и подчеркнуто повернулся к ним спиной, пока кормление не закончилось.

Потом он открыл одну из фляг с водой и пустил по кругу. Солнце пекло немилосердно, и настроение падало, по мере того как нарастала жара. Стащив с себя куртку,

он пристроил ее поверх тюков; правда, лямки теперь впивались в плечи еще глубже, зато телу стало чуть прохладнее.

Однако уже через полчаса пришлось сделать новую остановку. Он вспотел, как мышь; то, что женщинам было тоже не сладко, не облегчало дела.

Гельвард поднял глаза на солнце. Оно стояло почти точно над головой. Неподалеку из земли торчала небольшая скала, и, сделав несколько шагов в сторону, он сел в ее тени на землю. Женщины не замедлили присоединиться к нему, не прекращая, впрочем, роптать на родном языке. Гельвард пожалел, что в свое время не выучил испанского: уловив смысл одной-двух фраз, он понял лишь, что служит основной мишенью их острот и жалоб.

Он раскрыл пакет с синтетической пищей и развел ее водой из фляги. Получился суп, цветом и вкусом напоминающий прокисшую овсянку. Ропот возобновился с еще большей силой, но, как ни странно, доставил ему даже известное удовольствие; жалобы на пищу были безусловно основательными, однако он не собирался потакать женщинам и соглашаться с ними.

Пока они отдыхали, Гельвард смотрел на Город, по-прежнему ясно видимый милях в двух на севере, и ругал себя за то, что не внял совету Клаузевица и не обращал внимания на меты, оставшиеся от канатных опор. Впрочем, за две мили они могли миновать лишь одну мету. И действительно, он припомнил, что они видели глубокие ямы буквально за десять минут до остановки.

Итак, позади осталось первое гнездо опор. Тридцать семь впереди.

Но как бы медленно они ни двигались, Гельвард по-прежнему не понимал, что могло бы помешать ему вернуться в Город к рождению собственного ребенка. Только довести бы женщин до их селения, а там, сам себе хозяин, он наверстает любые задержки, невзирая на погоду.

5

До вечера они миновали еще два гнезда опор, и тогда Гельвард распорядился разбить лагерь на ночь. Площадку для лагеря он выбрал близ рощицы, в двухстах—трехстах ярдах от шрамов, оставленных железнодорожной колеей. Рядом журчал ручеек, и, проверив воду на вкус — приборов для определения ее качества у него не было,— Гельвард объявил ее пригодной для питья. Воды во флягах оставалось не так много, ее следовало беречь.

Поставить палатку было делом относительно несложным, и он начал возиться с нею в одиночку, а под конец женщины сменили гнев на милость и пришли на помощь. Закрепив палатку как полагается, он швырнул туда спальные мешки, и Росарио забралась внутрь первой — покормить ребенка.

Вскоре малыш уснул, и Люсия помогла Гельварду приготовить синтетический ужин. На сей раз получился суп оранжевого цвета, на вкус ничуть не лучше серого. Пока они ужинали, солнце село. Гельвард разжег небольшой костер, но тут с запада задул резкий, холодный ветер, и в поисках тепла пришлось залезть в палатку и в спальные мешки.

Поднялись они рано и вышли в путь, как только собрали вещи. Гельвард никак не мог понять, что произошло, но настроение всей компании решительно изменилось. Катерина и Люсия даже запели, только Росарио продолжала держаться особняком. Все три сняли куртки, более того, на следующем привале Люсия расстегнула две верхние пуговицы рубашки, а Катерина и вовсе распахнула свою, связав полы узлом под грудью и обнажив живот.

Когда они добрались до леса — Гельвард в свое время помогал расчищать его для путевых работ,— сразу стало легче. Они уселись в тени, под деревьями, пережидая самое пекло в относительной прохладе.

Позади осталось в общей сложности пять гнезд опор — впереди еще тридцать три. Медлительность продвижения уже не раздражала Гельварда так, как накануне: он понимал, что идти быстрее было бы не по силам, даже если бы он был один. Слишком твердой была земля, слишком безжалостным солнце.

Гельвард решил провести под деревьями часа два, не меньше. Он прикрыл было глаза, вознамерившись подремать, но вдруг его охватило беспокойство. Выйдя из-под деревьев, он приблизился к отпечаткам шпал на четырехколейном полотне. Посмотрел влево и вправо, на север и на юг; колеи бежали прямо, как по линейке, слегка

приподнимаясь и опускаясь вместе с рельефом, но упорно придерживаясь заданного раз и навсегда направления.

Радуясь возможности побыть одному, он постоял у полотна минут пять—десять и уже совсем собрался возвращаться назад на опушку, как вдруг уловил краешком глаза вдалеке, примерно в миле к югу, шевелящееся пятнышко. Он сразу насторожился и на всякий случай, бросившись на землю, укрылся за пнем. Он ждал — и через минуту заметил пятнышко снова: кто-то приближался по путям с юга.

Гельвард вспомнил про складной арбалет, упакованный в багаже, но бежать за арбалетом было уже поздно. В полутора-двух ярдах от пня рос ветвистый куст, и он по-пластунски переполз под его защиту: здесь можно было остаться незамеченным.

Человек, ни о чем не догадываясь, продолжал шагать по полотну прямо к засаде. Через несколько минут Гельвард, к великому своему удивлению, обнаружил, что на путнике форма ученика гильдии.

Когда расстояние между ними сократилось ярдов до пятидесяти, Гельвард узнал одинокого странника. Это был Торролд Пелэм, который покинул ясли миль за пятьдесят до него. Тут уж Гельвард отбросил всякую осторожность и встал.

— Торролд!.. — Тот так и присел от неожиданности. Поднял арбалет, целясь в Гельварда... и медленно опустил.— Торролд, это же я, Гельвард Манн!..

— Черт побери, что ты тут делаешь?

Они расхохотались, сообразив, что находятся здесь по одной и той же причине.

— А ты подрос,— заявил Пелэм.— Когда я видел тебя последний раз, ты был еще совсем желторотый.

— Ты побывал в прошлом?

— Да.

Пелэм смотрел мимо Гельварда на север, вдоль полотна.

— Ну и что там?

— Совсем не то, что я думал.

— А что же, что? — не унимался Гельвард.

— Так ты и сам уже в прошлом. Ты разве ничего не чувствуешь?

— А что я должен чувствовать?

Пелэм пристально посмотрел на него.

— Здесь, конечно, еще не так плохо. Но почувствовать можно. Просто, наверное, ты еще не понял, что это такое. Ничего, дальше к югу это быстро нарастает, так что поймешь.

— Что нарастает? Не говори загадками.

— И не собираюсь даже. Просто этого не объяснишь.— Пелэм снова посмотрел на север.— Что, Город далеко отсюда?

— Миль шесть-семь. Недалеко.

— Что с ним случилось? Вы нашли способ перемещаться быстрее? Я отсутствовал всего несколько дней, а Город переместился куда дальше, чем я рассчитывал.

— Да нет, перемещение шло с обычной скоростью.

— Я тут недавно пересек речку. Вы там строили мост. Когда это было?

— Примерно девять миль назад.

Пелэм недоверчиво покачал головой.

— Не может быть!

— Ты потерял чувство времени, только и всего.

— Наверное, так и есть,— согласился Пелэм и неожиданно усмехнулся.— Послушай, ты идешь не один?

— Нет, не один. Со мной три женщины.

— Ну, и как?

— Да ничего. Сперва было трудновато, но сейчас мы уже попривыкли друг к другу.

— Хорошенькие?

— Недурны собой. Пошли, посмотришь.

Гельвард повел Пелэма под деревья. Увидев спутниц Гельварда, тот даже присвистнул.

— Ха!.. Девочки тебе попались что надо. И что, ты еще не пробовал... ну, понимаешь?

— Нет.

Они вернулись к полотну.

— А собираешься?

— Не знаю пока.

— Прими мой совет, Гельвард. Если собираешься, то поторапливайся. А то будет поздно.

— Почему?

— Сам поймешь.

Пелэм осклабился и зашагал дальше на север.

Однако события повернулись так, что нескромные мысли и намерения тут же вылетели у Гельварда из головы. Перед тем как двинуться в путь, Росарио покормила малыша, но не прошло и десяти минут, как того вырвало.

Росарио прижала малыша к себе, лаская и баюкая его. Люсия подбежала к ней со словами утешения, но, в сущности, никто ничем не мог помочь. Гельвард не на шутку встревожился: ведь если ребенок заболеет всерьез, придется вернуться в Город. К счастью, рвота вскоре прекратилась, малыш еще поревел немного и успокоился.

Они двинулись дальше, стараясь не слишком спешить. Жара не ослабевала, и Гельвард несколько раз спрашивал женщин, не надо ли передохнуть. Каждый раз они отвечали — нет, но Гельвард уловил какую-то перемену в тоне. Словно приключившаяся с малышом беда сблизила их четверых.

— Вечером разобьем лагерь,— объявил он,— и завтра весь день будем отдыхать.

Против этого никто не возражал; попозже Росарио покормила малыша снова, и рвота не повторилась.

Перед заходом солнца они попали в места более холмистые и скалистые и неожиданно вышли к расселине, которая в свое время доставила столько забот мостостроителям. От самого моста не осталось почти ничего, хотя там, где были опорные башни, в земле зияли две огромные ямы.

Гельвард вспомнил, что на северном берегу речки, протекающей по дну расселины, он когда-то видел подходящую для лагеря ровную площадку, и повел всю компанию вниз.

Пока Росарио с Люсией сюсюкали над малышом, Катерина помогла Гельварду поставить палатку. И в тот момент, когда они раскладывали спальные мешки, она вдруг обняла его за шею и легонько поцеловала в щеку.

— Это еще за что? — усмехнулся он.

— Ты добрый к Росарио...

Гельвард замер, рассчитывая, что поцелуй повторится, но Катерина вылезла из палатки и позвала остальных.

Вечер выдался куда теплее вчерашнего, и после ужина они еще некоторое время посидели на воздухе. Люсия жаловалась на ноги, беспрестанно потирала их, и подруги почему-то очень ей сочувствовали. В конце концов она показала ноги Гельварду — оба больших пальца с внешней стороны были натерты до мозолей. Тут и две другие женщины признались, что натерли себе ноги, и принялись сравнивать свои болячки.

— Завтра,— подвела итог Люсия,— без ботинок.

На том вроде бы и порешили.

6

Когда он проснулся, уже совсем рассвело, и после тщетных попыток натянуть штаны в мешке Гельвард вынужден был вылезти из палатки и торопливо одеться снаружи. Запалив костер, он поставил кипятить воду для чая.

Здесь, на дне расселины было уже тепло, и Гельвард подумал: может, стоит все же идти дальше, а не отдыхать весь день, как он обещал.

Вода закипела, и он уже прихлебывал чай, когда в палатке зашевелились. Спустя миг оттуда выбралась Катерина и, будто не замечая его, прошествовала мимо, к речке.

Спустившись к воде, она обернулась и, махнув ему рукой, позвала:

— Иди сюда!

Он не заставил себя упрашивать и спустился следом за ней. В своей форме и подбитых железом ботинках он казался себе неуклюжим, как медведь.

— Будем плавать? — спросила она, и, не дожидаясь ответа, выскользнула из рубашки, и вошла в воду.

Гельвард метнул взгляд на палатку: нет, остальные не появлялись. В одну секунду он содрал с себя все до нитки и, взметая тучи брызг, устремился вдогонку. Она опять обернулась и, с усмешкой глядя на Гельварда, плеснула в него водой. Вновь отвернулась, но тут он нагнал ее и схватил в объятия...

Когда они, наконец, опомнились, оделись и вернулись к палатке, Росарио с Люсией сидели у входа и ели желтую похлебку. Никто ничего не сказал, но Гельварду все-таки заметил, что Люсия понимающе улыбнулась Катерине.

Через полчаса у малыша опять началась рвота. Росарио в тревоге взяла его на руки и, вдруг быстро сунув его Люсии, побежала куда-то. Через несколько секунд со стороны речки донеслись хрипы — ее тоже рвало.

Гельвард понюхал похлебку. Запах был совершенно обыкновенный — не возбуждающий аппетита, но и не затхлый. А через минуту и Люсия стала жаловаться на боль в животе и сильно побледнела.

Катерина встала и куда-то ушла.

Гельварду был в отчаянии: у них теперь явно не оставалось другого выхода, как вернуться в Город. Если пища пришла в негодность, им просто не удастся довести экспедицию до конца.

Он отправился на поиски Катерины — единственной кто как будто не пострадал. Искать ее долго не пришлось. Она возвращалась в лагерь вдоль речки с яблоками в руках — сказала, что наткнулась на дикую яблоню. Краснобокие яблоки выглядели спелыми, и Гельварду надкусил одно. Сладкое, сочное... но тут он вспомнил о советах Клаузевица. Разум подсказывал, что Клаузевиц не прав, и тем не менее Гельварду, хоть и нехотя, вернул яблоко Катерине. Она его и доела.

Еще одно яблоко, самое спелое, они испекли в горячей золе, раздавили в кашицу и по капелькам скормили малышу. На сей раз пища не принесла ему вреда — напротив, он загукал и заулыбался.

Гельварду доел желтую синтетическую похлебку... и с ним ничего не случилось.

Немного позже Гельварду вскарабкался вверх по откосу и не торопясь пошел вдоль расселины. Именно здесь и в общем-то недавно — девять миль назад — Город заплатил человеческими жизнями за то, чтобы пересечь ее. Все вокруг было знакомо, и Гельварду живо вспомнились дни и ночи лихорадочной спешки — они были совсем свежи в памяти.

Он вышел к тому месту, где висел мост, и остановился, глядя со своего северного берега на южный. Но что это... берега словно бы сблизились, да и сама расселина была не такой глубокой. Наверное, от неопытности препятствие, преграждавшее путь Городу, показалось ему тогда более серьезным.

Да нет, пропасть несомненно была шире!

Гельварду вспомнил, что, когда Город пересекал расселину, длина рельсов на мосту составляла ярдов шестьдесят. Теперь же там, где был мост, расселина сузилась до каких-нибудь двадцати ярдов.

Он долго стоял, глядя на противоположный берег и недоумевая, откуда взялось столь явное несоответствие между прошлым и настоящим. Потом его осенила одна мысль.

Мост возводили, исходя из жестких инженерных требований: башни на южном и на северном краю расселины ставились на строго определенном расстоянии друг от друга, так, чтобы Город мог пройти между ними.

Расстояние это равнялось ста тридцати футам или примерно сорока шагам.

Гельварду отошел к яме, оставшейся от одной из северных башен, и зашагал по прямой к яме-близнецу. Он насчитал пятьдесят восемь шагов.

На обратный путь у него ушло шестьдесят шагов.

Он повторил опыт, стараясь ступать как можно шире. Пятьдесят пять.

Стоя на краю расселины, он уставился на речку. С предельной ясностью он помнил глубину пропасти, которую пересекал мост. Дно расселины казалось отсюда далеким до ужаса; теперь же крутой обрыв превратился в откос, по которому было нетрудно спуститься к лагерю.

Новая мысль заставила его пойти на север, туда, где рельсы, сбежав с эстакады, вновь соприкоснулись с почвой. Следы четырехколейного пути сохранились совершенно отчетливо.

Если башни так резко отдалились друг от друга, что же произошло с полотном?

За долгие дни работы с Малчускиным Гельвард выучил наизусть каждую цифру, имевшую отношение к рельсам и шпалам. Ширина колеи — три с половиной фута, длина шпалы — пять футов. Довольно было одного пристального взгляда на шрамы в грунте, чтобы заметить, что они стали много длиннее, чем раньше, да и лежат гораздо ближе друг к другу. Но как же так — ведь Город использовал шпалы стандартной длины, и ямы под них выкапывались одинакового размера...

Для верности он обошел все четыре колеи. Следы от шпал, все до одного, были на два фута длиннее, чем следовало.

Гельвард провел немало времени, повторяя свои измерения, потом спустился вниз, перешел речку вброд (она показалась более узкой и мелкой, чем даже сегодня утром) и взобрался на южный берег. Но и измерения на южном берегу дали тот же результат: параметры шрамов, оставленных Городом, явно не соответствовали норме.

Озадаченный, не на шутку встревоженный, он повернул обратно к лагерю.

Женщины чувствовали себя и выглядели намного лучше, зато малыша вырвало еще раз. Впрочем, женщины, как они сами сказали, не ели ничего, кроме принесенных Катериной яблок. Гельвард разрезал одно яблоко пополам и внимательно осмотрел мякоть. На вид яблоко как яблоко. Ему снова захотелось отведать вкусненького — и снова он, поборов искушение, отдал яблоко Люсии.

И тут его осенила еще одна мысль.

Клаузевиц предупредил его, чтобы он не ел местной пищи: он горожанин, и она для него, надо полагать, вредна. Клаузевиц говорил, что горожане могут есть местную пищу лишь вблизи оптимума, а здесь, на много миль к югу, этого делать нельзя. Он должен есть только то, что принесено с собой, иначе заболеет.

Но ведь женщины — они же не горожанки! Что, если они болеют как раз оттого, что едят городскую пищу? Что, если для них, по сравнению с ним, все наоборот: они могут есть городскую пищу в Городе, вблизи оптимума, а здесь нет?

Гипотеза выглядела бы довольно логично, если бы... не малыш. Ведь не считая капельки яблочной тюри, малышу не давали ничего, кроме материнского молока. Уж оно-то не могло пойти ему во вред!..

Малыш не ел ничего, кроме материнского молока... А что, если здесь, вдали от оптимума, мать стала в чем-то другой? Она была негорожанкой, а малыш родился в Городе. Да, но какая разница где кто родился,— ведь малыш-то родился от этой матери? Все эти рассуждения, должно быть, сплошная чушь, и все-таки... не исключено, что они правильны.

Вернувшись в лагерь, он развел сухое молоко на воде, принесенной из Города, и предложил Росарио покормить малыша по его рецепту. Она сперва отказалась, потом сдалась. Малыш поел и не срыгнул, а часа через два снова спал сладким сном.

День тянулся медленно. У речки было безветренно и тепло, но Гельвард опять предался мрачным раздумьям. Ведь если его гипотеза верна, то и женщинам нельзя больше есть городскую пищу. Впереди еще миль тридцать, не менее — на яблочках не проживешь...

Поделившись с подопечными своими раздумьями, он предложил им есть как можно меньше синтетической пищи и пополнять свой рацион тем, что сыщется по дороге. Они ничего не поняли, но согласились.

А знойный день все тянулся... и беспокойное состояние Гельварда мало-помалу передалось женщинам, хотя и своеобразно. Они вели себя все более легкомысленно и игриво, без конца высмеивая его форму, действительно неудобную и неуклюжую. Катерина заявила, что намерена еще раз поплавать, и Люсия поддержала ее. Они разделись прямо у него на глазах и с помощью шуточек заставили и его раздеться. Потом все они долго плескались в воде.

Остаток дня они провели, загорая подле палатки.

Поутру Гельвард постарался свернуть лагерь как можно быстрее.

Он повел женщин через речку, вверх по откосу и дальше на юг, придерживаясь, как и раньше, левого внешнего пути. Окружающий ландшафт был хорошо знаком Гельварду. Милях в двух впереди виднелся тот самый гребень, на который Город тащили при первом перемещении, какому он был свидетелем.

Около полудня они остановились передохнуть, и тут Гельвард вспомнил, что всего в двух милях к западу расположено небольшое туземное селение. Если бы там удалось достать еды, проблема питания женщин была бы решена. Но как только он заикнулся об этом, возник вопрос, кому идти. Он бы пошел сам — как-никак ответственность за успех экспедиции была возложена именно на него,— но ему требовалась помощница, поскольку он не знал языка. Оставить малыша на попечение одной из женщин и уйти втроем — на это он не решался, а если он выберет в спутницы Катерину или Люсию, у оставшейся появятся основания ревновать его. В конце концов он взял в сопровождающие Росарио.

После долгих переговоров с тремя крестьянами им дали сухого мяса и каких-то зеленых овощей. Все прошло на удивление гладко — оставалось только гадать, какими доводами воспользовалась Росарио,— и через час они вернулись к своим.

Но по дороге, шагая следом за Росарио, Гельвард обратил внимание на одно странное обстоятельство.

Росарио была полнее подруг, лицо и плечи у нее были не просто округлыми, а, пожалуй, тяжеловатыми. И вот Гельварду показалось, что она стала еще полнее. Он присмотрелся — сначала с мимолетным интересом, потом внимательнее: ткань рубашки на спине у Росарио натянулась. Но ведь раньше рубашка сидела на ней как следует — в Городе одежду выдавали по размеру. Опустив взгляд, Гельвард заметил, что и брюки натянулись на ягодицах, а обе штанины почему-то волочились по земле. Правда, Росарио шла босиком, но она разувалась и накануне, и он что-то не помнил, чтобы брюки были ей настолько длинны.

Он поравнялся с ней и зашагал рядом. И спереди то же самое: рубашка натянулась, сплющивая грудь, а рукава стали непомерно длинными. Росарио казалась сейчас просто коротышкой в сравнении с тем, какой была вечером, у речки...

Когда они присоединились к остальным, Гельвард заметил, что и на Катерине с Люсией одежда сегодня сидит из рук вон плохо.

Гельвард старался выкинуть эти странности из головы, но чуть ли не с каждым шагом на юг они становились все более очевидными, а то и комичными. Росарио наклонилась над малышом — и у нее лопнули брюки. Люсия поднесла к губам флягу с водой — и у нее отлетела пуговица, а у Катерины рубашка разлезлась по швам.

Еще миля или даже чуть меньше — и Люсия потеряла еще две пуговицы. Рубашка у нее распахнулась, и она по примеру Катерины завязала полы узлом под грудью. Все три женщины подвернули низ брюк, и тем не менее каждый шаг причинял им явное неудобство.

Миновав гребень, Гельвард выбрал местечко под защитой холма и разбил лагерь. Сразу после еды женщины стащили с себя остатки одежды и забрались в палатку. Оттуда они принялись поддразнивать Гельварда: как там твоя форма, скоро тоже расползется по швам? Гельвард сидел снаружи, не испытывая ни желания спать, ни охоты коротать вечер в палатке, в праздной болтовне.

Малыш заплакал, и Росарио вышла наружу приготовить ему поесть. Гельвард заговорил с ней, но она не ответила. Он наблюдал, как она разводит сухое молоко; обнаженная, она не вызывала у него никаких эмоций. Он же видел ее нагишом только вчера — неужели она выглядела так же? Безусловно не так — она была почти одного роста с ним, а стала куда приземистей и толще.

— Скажи, Росарио, Катерина еще не спит?

Росарио молча кивнула и вернулась в палатку. Спустя мгновение из-под полога показалась Катерина, и Гельвард поднялся на ноги.

Они смотрели друг на друга при свете костра. Катерина молчала, да и Гельвард не знал, что сказать. Она изменилась тоже. А тут и Люсия вылезла из палатки и подошла к ним.

Теперь он убедился, что это ему не кажется. За день, всего за один день, женщины стали другими.

7

Наутро Гельвард не мог не заметить, что за ночь женщины изменились еще больше. Ростом ни одна из них не достигала теперь и пяти футов, зато болтали они между собой еще быстрее, чем прежде, и голоса у них стали выше.

Ни одна не сумела втиснуть свои телеса в одежду. Люсия попыталась было, но

не смогла всунуть ногу в штанину и разорвала рукава рубашки. Пришлось женщинам оставить одежду на месте ночевки и отправиться дальше нагими.

Гельвард, как ни старался, был не в силах отвести от них взгляд. С каждым часом в них обнаруживались все новые перемены. Ноги у них укоротились настолько, что они теперь семенили за ним, и он то и дело вынужден был останавливаться, чтобы они не отстали. К тому же он поневоле обратил внимание на необычность их походки: они шли под углом к почве, как бы отклоняясь назад,— и с каждым часом все больше.

Они следили за ним с таким же ужасом, как он за ними, и когда он решил дать им передохнуть и пустил по кругу флягу с водой, над странной группой нависла гнетущая тишина.

Да и вокруг все менялось стремительно и необъяснимо. Они по-прежнему придерживались левого внешнего пути, но следы шпал потеряли четкость. Последний отпечаток, обнаруженный Гельвардом, был не менее сорока футов в длину, а в глубину не достигал и дюйма. Соседний путь, левый, внутренний, вообще исчез: просвет между путями постепенно увеличивался, пока не вырос по меньшей мере до полумили, а на таком расстоянии уже ничего не разберешь.

Зато ямы от фундаментов канатных опор попадались все чаще. За одно утро экспедиция миновала двенадцать гнезд, и, по подсчетам Гельварда, от цели их теперь отделяло всего девять.

Но как он найдет эту цель — селение, откуда женщины родом? Окружающий ландшафт был плоским и однообразным. Там, где они присели отдохнуть, почва напоминала застывшую лаву. Он присмотрелся к ней внимательнее, затем с силой провел по ней пальцем, оставив неглубокие вмятины; грунт, по виду сыпучий, песчаный, на поверку оказался плотным и вязким.

Рост женщин не превышал теперь трех футов, а их тела исказились до неузнаваемости. Широченные, плоские ступни на коротких толстых ногах, бочкообразные туловища. Они походили теперь на уродливые карикатуры; происходившие с ними физические перемены буквально завораживали Гельварда, хотя их щебет вызывал острое раздражение.

Не изменился только малыш. Насколько Гельвард мог судить, малыш оставался таким же. Но по сравнению с матерью он выглядел непропорционально большим, и раскоряченная фигурка, откликавшаяся на имя Росарио, взирала на него с невыразимым ужасом.

Малыш был и остался горожанином.

Как и сам Гельвард, рожденный женщиной, временно переселенной из деревни, ребенок Росарио оставался детищем Города, его частью. И какие бы метаморфозы ни происходили с женщинами и с окружавшей их местностью, ни самого Гельварда, ни малыша это не затрагивало.

Гельвард не имел ни малейшего понятия ни о том, как объяснить невероятные события последних суток, ни о том, что ему теперь предпринять.

Его одолевал страх: все, что творилось вокруг, выходило за рамки его представлений о естественном порядке вещей.

Он бросил взгляд на юг — там, не слишком далеко отсюда, тянулась гряда холмов. Вернее, сначала он принял их за холмы или, быть может, предгорья какой-то более высокой гряды... и вдруг с тревогой заметил, что холмы увенчаны снежными шапками. Солнце палило как обычно, воздух был напоен теплом; логика подсказывала, что в подобном климате снег может уцелеть лишь на вершинах самых высоких гор. А холмы были совсем близко — в миле, от силы в двух милях от Гельварда,— так что он не мог ошибиться: их высота не превосходила пятисот футов.

Он встал в полный рост и вдруг упал.

И, упав, покатился на юг, словно по крутому склону. Кое-как затормозив, он неуверенно поднялся на ноги: надо было как-то противостоять этой силе, которая тянула его на юг. Ощущение было не новым, оно давало о себе знать все утро, и тем не менее падение явилось для Гельварда неожиданностью: сила внезапно показала свою мощь. Почему же она почти не влияла на него до этой минуты? Он задумался. С утра ему было не до нее — отвлекали другие события, и все-таки он уже догадывался о ней, ему все время чудилось, что они идут под гору. Он отгонял это наваждение от себя: зрение неустанно подтверждало, что он на плоской равнине. И теперь он стоял подле своих подопечных, анализируя необычное ощущение.

Он сделал несколько шагов на север и понял, что напрягает мышцы ног, словно взбирается на крутой холм. Направился на юг — и в явном противоречии с тем, что утверждали глаза, испугался, что вот-вот покатится под гору.

Женщины с любопытством наблюдали за Гельвардом. Он вернулся к ним.

За те несколько минут, что он знакомился с неведомой силой, они изменились еще страшнее.

8

Когда Гельвард решил наконец тронуться дальше, Росарио попыталась заговорить с ним. Ему никак не удавалось понять ее. Она и без того говорила с сильным акцентом, а тут и голос стал чересчур высоким, и речь слишком быстрой.

После многих попыток он все же, кажется, уловил суть.

Она и ее подруги боятся возвращаться в свою деревню. Они теперь городские, и их там не примут.

Гельвард ответил, что надо идти, что они сделали выбор и теперь его не изменишь, и тогда Росарио заявила, что не двинется с места. У себя в деревне она была замужем — сначала она хотела вернуться к мужу, а теперь поняла, что муж убьет ее. Замужней была и Люсия, и та разделяет ее опасения. В деревне ненавидят Город, и раз они связались с горожанами, им придется худо.

Гельвард решил, что все равно ему не вразумить ее. Заставить ее понять что-либо было не легче, чем самому понять ее щебет. Мелькнула мысль, что можно было бы передумать и пораньше; да и, в конце концов, не на аркане же их затащили в Город, а в результате добровольной сделки. Он даже старался втолковать ей это, только она не сумела его понять.

За считанные минуты разговора в облике женщин произошли дальнейшие метаморфозы. Рост Росарио теперь не превышал двенадцати дюймов, а в ширину тело ее, как и тела ее подруг, раздалось футов до пяти. Гельвард помнил, что эти чудища совсем недавно были людьми, но признать их за людей уже было невозможно.

— Ждите меня здесь! — приказал он.

Он встал — и сразу снова упал и покатился. Сила, действовавшая на его тело, все возрастала, и остановиться удалось с огромным трудом. Кое-как ползком он подобрался к сброшенному наземь тюку, подтащил его к себе. Достал веревку, перебросил ее через плечо. И, что есть мочи упираясь ногами в грунт, направился на юг.

Теперь уже не было никаких примет, кроме поднимающейся впереди цепи холмов. Сама поверхность представляла собой мозаику из размытых пятен; он приостановился, вглядываясь, но не смог разобрать ничего — ни следов травы, ни скальных пород, ни даже почвы.

Все естественные особенности ландшафта исказились до неузнаваемости, словно бы растеклись, потеряв высоту и глубину.

Большой валун казался темно-серой полоской шириной в сотую долю дюйма и в добрые две сотни ярдов длиной. Невысокий, увенчанный снегом гребень впереди был, по-видимому, горным кряжем; полоска зелени — деревом.

А вон та белесая черточка позади — обнаженной женщиной.

Он достиг возвышенности гораздо раньше, чем ожидал. Сила, тянувшая тело к югу, все возрастала, и когда до ближайшего холма оставалось ярдов пятьдесят, Гельвард споткнулся и покатился к холмам с возрастающей скоростью.

Северный склон возвышенности оказался почти вертикальным, точно подветренная сторона песчаной дюны, и он налетел на нее как на стену. Но неведомая сила, бросая вызов законам гравитации, тут же потащила его вверх по этой стене. В отчаянии — ведь если бы его перекинуло через холмы, он уже не смог бы сопротивляться,— Гельвард заскреб ногтями по поверхности, твердой, как скала. Помощь пришла в виде небольшого горизонтального выступа. Гельвард вцепился в него обеими руками. Бороться с безжалостной силой было невообразимо трудно: его перевернуло и распластало по стене вверх ногами. Ослабь он хватку — сдайся хоть на мгновение — и его перекинет через стену и поволочет все дальше и дальше на юг, без возврата...

Пошарив за спиной, он нашупал стальной крюк. Нацепил крюк на выступ, приладил веревку, обмотав другой ее конец вокруг запястья.

Сила, тянувшая его на юг, давила на него до такой степени, что притяжение вроде бы перестало существовать.

Но и сам горный кряж под телом Гельварда медленно разглаживался. Каменная стена, только что почти вертикальная, постепенно расползлась на запад и восток, постепенно оседала, и вершина кряжа как бы сползала к нему. Перед глазами Гельварда возникла трещина (ущелье? горная долина?), она неуклонно смыкалась, и Гельвард бросил крюк с выступа в эту щель. Еще миг — и крюк зажало, словно клещами.

Вершина кряжа сплющилась и очутилась под Гельвардом. Сила завладела им и перенесла через гребень. Но чудо — веревка не лопнула и удержала его в горизонтальном положении.

То, что некогда было кряжем, превратилось в жесткую складку, на которой он лежал грудью, живот попал в долину за горой, а ноги в поисках опоры заскребли по другому, более дальнему кряжу, от которого тоже уже не осталось почти ничего.

Гельвард лежал плашмя, гигантским покрывалом нависнув над целым горным районом.

В поисках более удобной позы он приподнялся. И, вздернув голову, вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха. С севера задул резкий, холодный ветер, но ветер был лишен упругости, лишен кислорода. Гельвард вновь опустил голову, уткнулся подбородком в грунт. На этом уровне воздухом, проникавшим через нос в легкие, можно было дышать.

Холод пробирал до костей.

Ветер принес облака, и они стелились в нескольких дюймах над почвой плотной белой тканью. Они клубились вокруг Гельварда, обтекая его тело, как пена корпус корабля.

Рот оставался ниже облаков, глаза видели их сверху.

Гельвард смотрел поверх облачной пелены. Сквозь жидкую, разреженную атмосферу взгляд проникал далеко-далеко на север.

Гельвард очутился на краю бытия; вся громада мира лежала перед ним как на ладони.

Он мог бы сейчас объять взглядом весь мир.

К северу от Гельварда земля была плоской, ровной, словно крышка стола. Но вдалеке, строго по центру, она вздымалась вверх, симметрично изгибаясь с обеих сторон и взрезая горизонт исполинским шпилем. Шпиль тянулся в небо, все сужаясь, становясь все изящнее и острее, и невозможно было определить, есть ли у этого острия конец.

Шпиль переливался красками. У основания — обширные коричневые и желтые мазки, переслоенные зеленью. А дальше на север — синева, чистая глубокая синева, от которой становилось больно глазам. И поверх всего этого — облака, тонкие белесые завитки и хлопья, а то и плотные скопления ослепительной белизны.

Солнце садилось. Наливаясь пурпуром, уходило на северо-восток, за немыслимый вогнутый горизонт.

Солнце выглядело все так же. Широкий плоский диск, сплющенный по экватору, а на полюсах, вверх и вниз,— длинные заостренные копья.

С того дня, как Гельвард впервые вышел из Города, он видел солнце так часто, что облик светила уже не вызывал у него вопросов. Но теперь он понял: его собственный мир, его планета, имеет точно такую же форму.

9

Солнце зашло, и мир окутала тьма.

Сила, тянувшая Гельварда на юг, набрала такую мощь, что тело почти уже не касалось подпиравших его складок, которые некогда были горами. Гельвард висел во мраке на веревке, словно намеревался взобраться по ней на вертикальную стену или отвесный утес; разум твердил ему, что тело не меняло горизонтального положения, но чувства, все до одного, спорили с разумом.

Крепость веревки не внушала больше доверия. Вытянув руку во тьму, Гельвард уцепился кончиками пальцев за какие-то крохотные выступы (не они ли недавно были горами?) и подтянулся.

Поверхность под ним разгладилась, и найти новую опору оказалось делом нелегким. Он бы и не нашел ее, если бы не обнаружил, что, вдавив пальцы в грунт, способен удержаться. Он еще подтянулся — на несколько дюймов, но в ином измерении — на мили. Сила, которая влекла его на юг, не ослабевала ни на йоту.

Он бросил отслужившую свою службу веревку и пополз. Еще дюйм, еще — и ноги нащупали низкий гребешок, что издали прикидывался горой. Хорошенько упершись в него, Гельвард продвинулся сразу на несколько дюймов.

Постепенно сила начала слабеть, отступать, пока Гельвард не понял, что может удержаться на месте, не взнуздывая себя отчаянием. Он на секунду расслабился, надеясь перевести дух. Однако сила тут же вновь принялась за свое, отчетливо нарастая с каждым мгновением, и он снова пополз. Полз до тех пор, пока не сумел подняться на четвереньки.

Назад, на юг, он не оглядывался. Что осталось там, позади?

Он полз бесконечно долго, потом наконец почувствовал, что можно встать. Идти приходилось, резко наклонившись вперед, как против ветра. Но мало-помалу неведомая сила ослабевала, и спустя какое-то время Гельвард понял, что вырвался из опасной зоны.

Обернувшись, он не разглядел ничего: там лежала тьма. Над головой висели облака — те самые, что совсем недавно клубились вокруг лица. За облаками пряталась луна. В своем простодушии Гельвард никогда не задавался вопросом об облике ночного светила — он видел луну много раз и принимал ее как она есть; а ведь и у луны была та же странная форма.

Он поднялся и продолжил путь на север, чувствуя, как чудовищная сила слабеет и слабеет. Все окружающее казалось смутным, лишенным примет, да он и не обращал ни на что внимания. Сознанием владела неотвязная мысль: он должен, должен во что бы то ни стало уйти достаточно далеко, чтобы во время сна его не уволокло обратно туда, где действует неодолимая сила. Теперь он усвоил основополагающую истину этого мира: почва, как и утверждал Коллингс, действительно движется на юг. На севере, там, где остался Город, она движется почти незаметно, со скоростью одной мили за десять дней. Но чем дальше на юг, тем стремительнее движение, пока ускорение не достигает немыслимых величин.

Вот почему Городу никогда не ведать покоя. Город обречен вечно перемещаться вперед и вперед — остановка означала бы долгое, поначалу неуловимо медленное сползание к югу, в прошлое, пока ускорение постепенно не вынесло бы всех и вся в зону, где горы превращаются в гребешки высотой в несколько дюймов и где безжалостная сила неизбежно разнесет постройки и людей вдребезги и отправит их в небытие.

Ночь давно вступила в свои права, а Гельвард не ощущал усталости, только легкую боль в мышцах, выдержавших такую нагрузку там, на изменчивых горных склонах. Мелькнула мысль, что день прошел что-то слишком быстро, куда быстрее, чем он ожидал.

Опасная зона осталась далеко позади, но сила, тянущая к югу, была еще слишком интенсивной, и о ночлеге нечего было и думать.

Он был частицей Города; он, как и Город, не мог позволить себе остановиться.

Наконец, усталость одолела Гельварда, он повалился и заснул прямо на голой земле.

Проснулся он с восходом солнца и сразу подумал о силе, тянущей на юг: не прибавилась ли она за ночь? Встревоженный, он вскочил на ноги, но равновесия не потерял; правда, сила никуда не делась, он ощущал ее — примерно такой же, как перед сном.

Он посмотрел на юг. И не поверил своим глазам: там высились горы.

Но как же так, не может быть! Он же не просто видел, он о с я з а л всем существом, как они сглаживаются в складки высотой в каких-нибудь полтора-два дюйма. И тем не менее вот они, вновь громоздятся у горизонта — отвесные, зазубренные, увенчанные снегом.

Гельвард поднял с земли рюкзачок — все, что осталось от двух объемистых тюков,— и проверил его содержимое. Веревку вместе с крючьями он потерял, большая часть его снаряжения осталась у женщин, однако в его распоряжении по-прежнему был спальный мешок, фляга с водой и несколько пакетиков синтетической пищи. Какое-то время он во всяком случае продержится.

Слегка подкрепившись, он вскинул рюкзачок на плечо.

Взглянул вверх на солнце, твердо решив сегодня не терять ориентации ни во времени, ни в пространстве.

И зашагал на юг, в сторону гор.

Сила медленно нарастала, завладевала им, настойчиво тянула вперед. Горы на глазах понижались, теряя высоту. Почва, по которой он шел, становилась все более вязкой, а окрестный пейзаж начал сливаться в смутные поперечные полосы.

Солнце катилось по небу со скоростью, на какую просто не имело права.

Преодолевая навалившуюся на него силу, Гельвард остановился, как только горы впереди вновь превратились в волнистую гряду невысоких холмов.

Сегодня он не был снаряжен для того, чтобы двигаться дальше. Он повернулся к горам спиной и направился обратно на север. Через час наступила ночь.

Гельвард шел сквозь ночь до тех пор, пока сила не упала до приемлемого уровня, затем прилег отдохнуть.

С рассветом на юге вновь поднялись горы... именно горы, а не холмы.

На сей раз он решил выждать на одном месте. По мере того, как шло время, сила с каждым часом все возрастала. Его отчетливо сносило на юг, к горам, вместе с почвой — а он сидел и ждал, пока горы не начали потихоньку терять высоту и разъезжаться в стороны.

Тогда он свернул лагерь и тронулся в путь, не дожидаясь наступления новой ночи. С него довольно — пора возвращаться в Город.

Вопреки здравому смыслу, надежда на возвращение не успокоила, а встревожила его. Должен ли он доложить кому-то о том, что с ним произошло?

Самым ошеломляющим из всех его недавних впечатлений была, конечно же, картина мира, распростертого перед ним и под ним. На запад и на восток — да, насколько он мог судить, и на юг — поверхность планеты, по-видимому, не имела границ. И только на севере, строго на севере, она обретала определенную, но совершенно невероятную форму изящного острия, уходящего ввысь, в бесконечность.

Как солнце, как луна. И как, по-видимому, все небесные тела в окрестной вселенной.

Теперь три женщины — что прикажете доложить о них? Мог ли он считать, что они благополучно добрались до своего селения, если они превратились в карикатуры, с которыми было невозможно общаться, а потом в полоски, которые стало не разглядеть? Они перешли в свой собственный мир, полностью враждебный ему.

А малыш — что сталось с малышом? Дитя Города, не подверженное изменениям, как и сам Гельвард, и неспособное окарикатуриться подобно всему вокруг... Росарио, вероятно, вынуждена была бросить его, и теперь он уже мертв. А если еще и жив, то движение почвы неизбежно вынесет его на юг, в зону, где сила достигнет такой мощи, что убьет его.

Погруженный в мрачные раздумья, Гельвард шагал и шагал, почти не замечая ничего вокруг. И только когда приостановился, чтобы сделать глоток воды, с удивлением понял, что знает, где находится — к северу от расселины, через которую строили мост.

Глотнув воды из фляги, Гельвард пошел назад по собственным следам. Чтобы отыскать дорогу в Город, надо прежде всего обнаружить колею, а там, где строили мост, шансов на это больше, чем в любом другом районе.

И правда, вскоре он натолкнулся на речку, которую до того, видимо, пересек не заметив. Отнюдь не уверенный, что это именно та речка — ее и речкой-то назвать было трудно, разве что ручейком,— он все же двинулся вниз по течению. Мало-помалу

берега ручейка приподнялись, стали круче, но расселины не было и в помине. Ландшафт казался дразняще знакомым, но ручеек поразительно сузился и обмелел — наверное, это все-таки другой ручеек...

И тут он увидел у воды вытянутый черный овал, а подойдя ближе, уловил слабый запах чего-то горелого. Всмотрелся — и понял, что перед ним след костра. Его собственного костра, разожженного всего несколько дней назад.

Ручеек, журчавший теперь у самого костра, был в ширину не больше ярда, а ведь когда Гельвард купался здесь с женщинами, полоса воды казалась по крайней мере вчетверо шире. Он опять поднялся наверх и после долгих поисков обнаружил на берегу вмятину, которая могла быть ямой, оставшейся от фундамента опорной башни.

Здесь, на этом самом месте, Город пересек расселину, казавшуюся бездонной.

К вечеру следующего дня окружающие предметы приобрели более или менее обычный вид. Деревья выглядели деревьями, а не раскидистыми кустами. Камешки под ногами стали округлыми, а расплывчатые пятна зелени превратились в пучки травы. Правда, колея, по которой он шел, лишь отдаленно напоминала ту, какую прокладывали путевые бригады, да и просвет между путями оставался слишком велик, и все же Гельвард склонялся к мысли, что путешествию скоро конец.

Дни шли за днями, он потерял им счет, зато местность казалась теперь хорошо знакомой, и, кроме того, он не сомневался: сколько бы ни длилось его отсутствие, оно все равно будет куда короче, чем предсказывал Клаузевиц.

Он продолжал путь, и снова шли дни, а впереди не было заметно никаких признаков Города, и, хуже того, колея упорно не желала сужаться до заданной ширины. Впрочем, Гельвард уже так привык к неизбежности линейных искажений, что не придавал им особого значения.

Но однажды поутру его испугала незваная мысль: вот уже несколько суток ширина колеи вроде бы не менялась совсем. Не достиг ли он района, где скорость движения почвы в точности равна темпу его ходьбы? И не означает ли это, что он как белка в колесе по существу топчется на месте? На час-другой он даже прибавил шагу, пока испуг не отступил перед доводами разума. В конце концов он благополучно выбрался из горной зоны, где сила, тянущая на юг, была неизмеримо мощнее...

Почему же дни бегут, а Город не приближается? Все это, решил Гельвард, могло означать только одно: за время его отсутствия в Городе нашли способ перемещаться много быстрее, чем раньше. Может статься, Город даже опередил оптимум и попал в края, где почва движется медленнее. Гельвард начал догадываться, что за упорным стремлением гильдиеров вперед и вперед кроется еще одна причина: они надеются, что там, за оптимумом, есть зона, где почва не движется совсем.

И тогда Город сможет остановиться.

10

Гельвард лег на голодный желудок и спал плохо. Утром он промочил горло водой из фляги и сразу отправился дальше. Город должен быть совсем-совсем близко...

Однако в полуденный зной пришлось дать себе передышку. Местность была голая и открытая, нигде ни деревца. Гельвард без сил опустился на край полотна.

Тупо глядя в одну точку перед собой, он внезапно заметил троих людей, которые не спеша шли по полотну в его сторону. В сердце затеплилась новая надежда: эти трое из Города, их послали найти и спасти его. Подпустив их поближе, он попытался встать, но оступился и упал ничком.

— Эй! Ты из Города?..

Гельвард открыл глаза и взглянул на говорящего. Над ним склонился молодой человек в форме ученика гильдии. От изумления у Гельварда отвисла челюсть, и он лишь слабо кивнул.

— Ты болен? Что с тобой?

— Ничего, обойдется. Еда у тебя есть?

— Сначала попей немного.

Молодой человек протянул Гельварду флягу с водой, и тот сделал жадный глоток. Вода была затхлая и безвкусная, городская вода.

— Ты кто? Мы знакомы? — спросил он.

— Ученик Келлен Личен.

Личен! Он же прекрасно помнил Личена по яслям...

— А я Гельвард Манн.

Келлен Личен раскрыл пакет синтетической пищи и капнул в котелок воды. Вскоре перед Гельвардом возникла порция серой каши, привычной с детства, и он набросился на нее с небывалым восторгом.

В отдалении стояли две молодые женщины, пришедшие вместе с Келленом.

— Значит, тебя послали в прошлое,— констатировал Гельвард, глотая кашу.

— Именно.

— Я только что оттуда.

— Ну и как там?

Неожиданно Гельвард вспомнил, как встретил Торролда Пелэма при почти аналогичных обстоятельствах.

— Ты и сейчас уже в прошлом. Разве ты ничего не чувствуешь?

Келлен покачал головой.

— На что ты намекаешь?

Гельвард намекал на силу, тянущую к югу, — слабый ее отголосок он до сих пор ощущал при ходьбе. Но ведь Келлен наверняка и не подозревал о ней. Быть может, ее просто нельзя отделить от других ощущений, пока она не проявит себя во всю мощь.

— Этого не расскажешь,— ответил Гельвард.— Ступай дальше — сам все поймешь... Послушай, Город далеко отсюда?

— Не очень. Миль пять, не больше.

Пять миль! Выходит, движенцы с путейцами оставили оптимум далеко позади.

— Не мог бы ты дать мне еды? Совсем немножко... только чтобы добраться до Города.

— О чем речь!..

Келлен вынул и протянул Гельварду четыре пакета. Тот подержал их минутку, потом вернул три обратно.

— Мне хватит одного. Остальные тебе и самому пригодятся.

— Да нам теперь уже недалеко,— возразил Келлен.

— Знаю. И все-таки они тебе пригодятся.— Он смерил Келлена новым пристальным взглядом.— Скажи, тебя давно вывели из яслей?

— Миль пятнадцать назад.

Но Келлен был куда моложе Гельварда и его однокашников! С полной отчетливостью припомнилось: Келлен учился на два класса ниже. Что же, выходит, они теперь набирают учеников из младших возрастных групп? Однако выглядел Келлен почти ровесником Гельварда, мускулистое его тело не походило на тело подростка.

— Сколько тебе стукнуло?

— Шестьсот шестьдесят пять.

Что за ерунда — Келлен по меньшей мере миль на пятьдесят моложе Гельварда, а ему самому ведь едва исполнилось шестьсот семьдесят миль!..

— С путейцами работал?

— Конечно. Каторжная у них работенка...

— Это я и сам знаю. Я другого не понимаю: каким образом Городу удалось перемещаться так быстро?

— Быстро? Это были трудные мили. Пришлось пересекать реку, а теперь Город застрял меж высоких холмов. Мы здорово задержались. Когда я уходил, мы отставали от оптимума на целых шесть миль.

— На шесть миль? Тогда, значит, оптимум стал двигаться быстрее?

— Насколько мне известно, нет.— Келлен смотрел мимо Гельварда на своих подопечных.— Слушай, я, пожалуй, пойду. Тебе стало получше?

— Да, спасибо Как ты с ними ладишь?

Келлен усмехнулся.

— Да ничего. Конечно, лингвистические барьеры и так далее, но мне сдается, что мы потихоньку находим общий язык.

Гельвард расхохотался и опять вспомнил Пелэма.

— Поторапливайся,— посоветовал он.— А то через пару дней спохватишься, да будет поздно.

Келлен Личен ответил ему недоумевающим взглядом, потом решительно поднялся на ноги.

— На мой вкус, чем раньше, тем лучше.

И направился к женщинам, которые только тут поняли, что остановка была кратковременной, и громко зароптали. Когда экспедиция тронулась дальше, Гельвард заметил, что у одной из женщин рубашка расстегнута донизу и полы завязаны узлом.

Поскольку Келлен любезно пополнил его запасы, Гельвард был уверен, что теперь-то уж нагонит Город без труда. Но миновал день и ночь и еще день — только тогда, поднявшись на очередной холм, он увидел Город, недвижимый в широкой долине внизу.

И — замер.

Город изменился, в его облике появилось что-то новое. И это что-то заставило Гельварда броситься вниз напрямик, почти не разбирая дороги.

С высоты было видно, что вокруг Города, как обычно, суетится множество людей: позади него четыре путевые бригады выкорчевывали старые рельсы, впереди еще больше народу ставило быки через реку, преграждавшую Городу путь. Но очертания Города изменились — вся южная его часть была изуродована, обуглена...

Охранялся Город еще строже, чем раньше; Гельварда остановили и потребовали назвать свое имя. Он кипел от негодования: ведь ясно, что с Городом случилось несчастье, а его тут задерживают... Но пришлось ждать, пока из Города не пришлют подтверждение, а тем временем Гельвард выяснил у старшего стражника, что за последние мили Город дважды подвергался нападению туземцев. Вторая атака была яростнее, чем первая. Убиты двадцать три стражника, а в самом Городе потерям просто несть числа.

Радость возвращения в один миг сменилась отрезвляющей горечью.

Ясли сгорели дотла; большую часть погибших составляли именно дети. Эта тягостная новость была не единственной: буквально на всех уровнях Города произошли какие-нибудь удручающие перемены, но у Гельварда не было времени переживать каждую из них. Он мог лишь откладывать их в подсознании — новые и новые горькие вести оттесняли зрительные впечатления на задний план.

Во-первых, Гельвард узнал, что отца нет в живых: не прошло и нескольких часов с момента их расставания, как его сердце остановилось. Сообщил об этом Гельварду Клаузевиц — и тот же Клаузевиц объявил ученичество законченным.

Во-вторых, Виктория родила ребенка, мальчика, но он оказался в числе тех, кто погиб при пожаре.

В-третьих, Виктория подписала документ, расторгающий их брак. Теперь она живет с другим и ожидает нового ребенка.

И в-четвертых — эта новость была, несомненно, связана со всеми остальными событиями, но оттого она не стала менее неожиданной,— согласно Центральному календарю за время отсутствия Гельварда Город переместился на семьдесят три мили и, несмотря на это, находится в настоящий момент в восьми милях позади оптимума. А ведь Гельвард считал, что отсутствовал никак не дольше трех миль.

Он воспринял это все как бесспорные, хоть и жестокие факты. Пережить их предстояло потом, а сейчас Город готовился к отражению новой атаки.

Часть третья

1

Долина была погружена во мрак и тишину. Вдалеке, на северном берегу реки, дважды подряд мигнул красный фонарь — и вновь воцарилась тьма.

Но вот секунд десять спустя где-то глубоко в недрах Города заурчали моторы лебедок, и его исполинская туша медленно, дюйм за дюймом, поползла вперед. Звук моторов раскатился по долине громовым эхом.

Я и еще десятка три горожан затаились меж густых ветвей подлеска, которым порос склон холма. На время переправы, одной из самых драматических за всю историю Города, меня снова зачислили в стражники. Третья вылазка туземцев ожидалась с минуты на минуту, но если только Город достигнет северного берега, самый характер

окружающей местности позволит ему защищаться достаточно успешно и выстоять, пока успеют дотянуть пути до прохода сквозь холмы на север.

По нашим сведениям, где-то тут, во мраке долины, скопилось полторы сотни туземцев, и все с ружьями. Грозный враг, если учесть, что Город располагал лишь двенадцатью ружьями, захваченными у туземцев в предыдущих стычках, а патроны к ним были все до единого расстреляны при отражении второй атаки. Оставалось рассчитывать только на арбалеты — в ближнем бою их стрелы разили насмерть — да еще на точность разведывательных данных. Именно разведчики надоумили наших лидеров выделить резерв для внезапной контратаки, и меня отрядили в число резервистов.

Еще несколько часов назад, как только сгустились сумерки, мы заняли эту позицию, господствующую над долиной. Главные оборонительные порядки, три ряда арбалетчиков, были развернуты вокруг Города. Как только Город вкатится на мост, им предписывалось начать отступление и создать надежный заслон у насыпи на южном берегу. Туземцы, естественно, сосредоточат огонь на арбалетчиках, тут-то мы и ударим по нападающим из засады.

Но в тишине долины вой лебедок разнесся на многие мили вокруг. Головные башни Города только-только вползли на мост, как послышались первые выстрелы. Я взвел арбалет, зарядил его стрелой и положил руку на предохранитель.

Ружейный огонь становился все гуще. Туземцы, по-видимому, наступали. Город вкатился на мост уже половиной своей неподъемной туши и упорно продвигался вперед.

Откуда-то издалека донеслась команда:

— С в е т!..

И внезапно над южной оконечностью Города вспыхнуло восемь солнц-прожекторов. Их лучи прошли поверх арбалетчиков и озарили всю окрестную равнину. Туземцы, застигнутые врасплох, не успели спрятаться и были видны как на ладони.

Первый ряд стражников разрядил свои арбалеты в цель и пригнулся, заряжая новые стрелы. То же самое сделали стражники второго, а затем третьего ряда.

— П о т у ш и т ь с в е т!..

Тьма показалась кромешной, и под ее прикрытием арбалетчики рассеялись, меняя позиции. Через полминуты свет вспыхнул вновь, и они произвели новый залп. Это опять застало нападавших врасплох, и они опять понесли потери. А Город тем временем уже въехал на мост целиком.

Внезапно что-то оглушительно взорвалось, и по стене Города полыхнули языки пламени. Мгновением позже еще один взрыв раздался на самом мосту, и пламя принялось жадно пожирать сухую древесину настила.

— Р е з е р в и с т ы, к б о ю!..

Я поднялся в ожидании следующего приказа. Страха я не чувствовал, напряжение долгих часов, проведенных в засаде, куда-то улетучилось.

— В п е р е д!..

Возле берега я вдруг заметил туземца, который, приготовясь к броску, уже завел назад руку с металлическим цилиндром. Меня отделяли от злоумышленника какие-нибудь двадцать ярдов. Я прицелился и пустил стрелу... она вонзилась ему в грудь. Зажигательная бомба взорвалась в двух шагах от убитого, опалив все вокруг клубами жара и огня.

Наша контратака, как и предполагалось, явилась для противника полной неожиданностью. Нам удалось сразить еще троих туземцев, и тут они дрогнули и пустились наутек.

На какое-то время в наших собственных рядах возникло замешательство. Город горел. Лебедки продолжали упрямо тянуть его к дальнему берегу, однако настил местами прогорел насквозь, и доски, взметая фонтаны искр, срывались в воду.

Порядок удалось восстановить довольно быстро. Командир стражников отдал приказ, и люди разделились на два отряда. Один отряд занял оборону у въезда на мост, другой, к которому примкнул и я, был послан вдогонку за Городом воевать с огнем. Однако пожар на мосту так полыхал, что мы оказались почти бессильны с ним справиться. Правда, основная часть Города уже миновала самый опасный участок, но задним парам ведущих колес еще предстояло пройти сквозь пламя, и, сражаясь с огнем, я заметил, что рельсы начали оседать и прогибаться, не выдерживая жара и веса.

С оглушительным ревом сорвался и рухнул вниз целый прогоревший пролет. Дым

был слишком плотным, и мы, задыхаясь, были вынуждены выбраться из-под днища, так ничего и не добившись.

Пламя, лизавшее стены Города, тоже еще не угасло, но городские пожарные команды, кажется, справлялись со своей задачей успешнее нашего. Лебедки натужно выли — и Город потихоньку сползал с моста на сравнительно безопасный северный берег.

2

Наутро Город начал считать свои раны. Людей мы потеряли в общем-то немного. В перестрелке было убито три стражника и еще пятнадцать ранено. Внутри Города серьезно пострадал лишь один человек — его изуродовало при взрыве зажигательной бомбы, да с десяток мужчин и женщин слегли, наглотавшись дыма в борьбе с пожаром.

Зато материальные убытки оказались очень серьезными. Целая секция административного квартала сгорела дотла, многие квартиры, поврежденные огнем и водой из пожарных шлангов, стали непригодными для жилья.

Больше всего пострадало днище. Стальная рама — опора всех семи уровней, конечно же, уцелела, но к ней крепились деревянные балки и конструкции, и от некоторых из них просто ничего не осталось. Ведущие колеса на правом внешнем пути сошли с рельсов, а одно даже раскололось. Заменить его было нечем, пришлось попросту снять с оси и выбросить.

Пламя на мосту продолжало бушевать и после того, как Город переполз на северный берег. Мост погиб безвозвратно, и вместе с ним сотни ярдов драгоценных рельсов, которые перекорежил и деформировал огонь.

Я провел два дня вне Города с путевыми бригадами, снимавшими уцелевшие звенья рельсов на южном берегу реки, затем меня вызвал Клаузевиц.

В сущности, я не бывал в стенах Города очень давно и даже дорогу к штаб-квартире верховных гильдий нашел не без труда. Повсюду меня окружали толкотня, гвалт и грязь. Каждый свободный квадратный ярд был отдан под временные спальни, и даже в коридорах лежали раненые. Часть стен и переборок была разобрана, а у входа в штаб-квартиру верховных гильдий приютилась построенная на скорую руку кухня.

И над всем этим витал неистребимый запах горелой древесины.

Город, бесспорно, стоял на пороге коренных реформ. Традиционная система гильдий распадалась на глазах. Положение многих горожан уже стало иным: среди тех, кто работал в путевых бригадах, появились люди, впервые в жизни попавшие за городские стены,— до начала нападений на Город они были инженерами службы синтеза, учителями или клерками внутренней службы. О том, чтобы использовать наемный труд, теперь не могло быть и речи, каждая пара рук ценилась на вес золота. Зачем при таких обстоятельствах я срочно понадобился Клаузевицу, оставалось полной загадкой.

Я прождал Клаузевица с полчаса и, рассудив, что на путевых работах приносил и принесу Городу больше пользы, чуть было не ушел,— но в коридоре столкнулся с разведчиком Дентоном.

— Вы разведчик Манн?

— Так точно.

— Нам с вами приказано выехать из Города. Вы готовы?

— Меня вызвали к разведчику Клаузевицу.

— Правильно. Он и послал меня за вами. Верхом ездить умеете?

За время своей экспедиции я успел забыть, что на свете существуют лошади.

— Умею.

— Хорошо. Встретимся на конюшне через час.

С этими словами он скрылся за дверью кабинета. Я оказался на целый час предоставленным самому себе. Мне было нечем заняться, не с кем поговорить.

Я отправился к южной оконечности Города взглянуть на то, что осталось от яслей, но там не сохранилось ничего. Только здесь, у руин собственного детства, до меня дошло, насколько мы уязвимы. Город не был создан для того, чтобы отражать вражеские атаки,— передвигался он медленно, был неповоротлив и построен из легко воспламеняющихся материалов.

Туземцы, наверное, и не догадываются, как несложно было бы разрушить Город до основания: всего-навсего лишить его способности к перемещению, а потом сидеть сложа руки и ждать, пока вместе с почвой его не снесет на юг, к верной гибели. Сча-

стье, что местные жители не способны разгадать нашу главную слабость. Здесь, вблизи оптимума, линейные искажения не наблюдались — или наблюдались в самой незначительной степени,— и «мартышки» не улавливали разницы между собой и нами. Только если бы им удалось задержать нас настолько, что никакие лебедки не могли бы противостоять силе, тянущей к югу,— тогда они сообразили бы, что это смертельно и для Города, и для его обитателей.

У меня мелькнула мысль, что надо бы, воспользовавшись предоставленным мне часом, сменить одежду,— ведь я не снимал ее ни днем, ни ночью бог знает как давно. Мысль эта вновь напомнила мне о Виктории: как она, бывало, морщила нос, когда я являлся к ней в форме после десяти дней практики! Лучше бы, решил я, не встречаться с ней до отъезда...

3

Дентон безотказно отвечал на любой мой вопрос, но от ответа до ответа хранил молчание. Меня это не раздражало: мне хотелось подумать, и Дентон мне не мешал.

Старое правило гильдиеров оставалось в силе: я понял, что должен, как и прежде, наблюдать и делать собственные выводы, не полагаясь на помощь других.

Мы проехали вдоль намеченной линии полотна, обогнули холм, миновали проход, заметный издали от реки, и поднялись на седловину. Отсюда путь вел вниз вдоль крохотного ручейка. Впереди виднелась роща, а за ней новая гряда холмов.

— Дентон, почему мы покинули Город в такой момент? — спросил я.— Там сейчас каждый человек на счету...

— Работа разведчиков всегда важна.

— Важнее, чем даже защита Города?

— Несомненно.

Потом, пока мы ехали вдоль ручейка, он пояснил мне, что за последние мили разведку пришлось запустить — отчасти из-за стычек с туземцами, отчасти потому, что в нашей гильдии вечно не хватало народу.

Он показал мне карту, начерченную на длинном бумажном свитке, и напомнил значение отдельных значков. Наша работа, как я понял, сводилась к тому, чтобы составить карту местности, лежащей дальше, на север. У Дентона был геодезический инструмент на деревянной треноге; время от времени он слезал с лошади и, установив треногу, вымерял что-то через глазок и делал пометки на карте.

Поклажи у нас было много, лошади еле шли. В придачу к обильным запасам пищи и спальным принадлежностям каждому из нас полагался арбалет с полным колчаном стрел; кроме того, мы везли лопаты и кирки, походную химико-геологическую лабораторию и видеокамеру с запасом пленки. Камеру Дентон доверил мне, предварительно показав, как ею пользоваться.

Перед вечером Дентон остановился, наверное в шестой раз, и опять начал возиться с треногой.

— Мы в районе оптимума, — сообщил он. — Вам понятно, что это значит?

— Не вполне,— признался я.

— Вы же побывали в прошлом, не так ли? — Я подтвердил, что да, побывал.— В этом мире все время приходится бороться с центробежной силой. Чем дальше на юг, тем отчетливее она проявляет себя. Впрочем, если вы испытали ее действие на себе, то знаете это и сами... — Он еще повозился со своим инструментом.— Восемь с половиной миль. Таково сейчас расстояние от оптимума до Города, расстояние, которое предстоит наверстать...

— А как определяется точка оптимума? — поинтересовался я.

— По нулевому гравитационному искажению. Оптимум нужен нам как точка отсчета для вычисления скорости движения Города. Вообще-то это не точка, а линия, опоясывающая мир кольцом.

— И оптимум все время смещается?

— Нет. Оптимум неподвижен, это почва непрерывно смещается с севера на юг.

— Ах, да, верно...

Мы упаковали свое снаряжение и поехали дальше на север.

4

Процедура разведки будущего была однообразной и не требовала напряжения. Мы, не торопясь, продвигались к северу, и единственное, что я делал более

или менее постоянно,— озирался по сторонам: не прячутся ли где-нибудь туземцы? По мнению Дентона, вероятность нападения была очень мала, и все же мы держались настороже.

Я до сих пор не мог отделаться от благоговейного ужаса тех минут, когда вся планета распростерлась передо мной.

Но все-таки что это за планета? Где мы и как сюда попали?

Ответ на эти вопросы, вероятно, следовало искать в прошлом.

Что я знал о прошлом? Довольно много, хотя на уроках истории в яслях нам рассказывали исключительно о прошлом Планеты Земля. Ее история сводилась по преимуществу к военным походам, возвышению и падению отдельных государств и правительств. Нам рассказали, что время на Планете Земля измеряется годами и столетиями и что зафиксированная ее история охватывает более двух тысяч лет. У меня сложилось прочное, хотя, быть может, и не слишком обоснованное впечатление, что жизнь на Планете Земля была не очень-то привлекательной: сплошные распри, войны, территориальные притязания, экономические кризисы. Была разработана концепция цивилизации: цивилизованные люди, как нам объяснили, стекались в города. Цивилизация землян была насквозь пропитана жадностью и эгоизмом: те, кто жил в цивилизованном состоянии, беспощадно эксплуатировали тех, кто жил по-другому. На Планете Земля не хватало элементарных жизненных благ, и люди из цивилизованных стран монополизировали эти блага, поскольку были экономически сильнее. Экономическое неравенство и лежало в основе распрей.

Внезапно мне открылось, что наша цивилизация не так уж отлична от той, земной. Осложнение отношений с туземцами явилось следствием нашей меновой торговли. Мы не оказывали на них прямого экономического давления, но располагали избытком благ, тех же, каких недоставало на Планете Земля: пищи, энергии, сырья. Зато нам не хватало рабочих рук, и мы расплачивались за них благами, которые имелись у нас в избытке. Процесс был вывернут наизнанку, опрокинут с ног на голову, но по существу оставался тем же процессом эксплуатации.

Рассуждая дальше, я понял, что изучение истории Планеты Земля было полезно гильдиерам-меновщикам, но к ответу на интересующие меня вопросы это ничуть не приблизило. История, преподанная нам в яслях, начиналась и заканчивалась Планетой Земля; в ней не было и намека на то, каким образом Город очутился в нашем опрокинутом мире, как он был построен, кто были его основатели и откуда они пришли.

Одно из двух: либо об этом сознательно умалчивали, либо за давностью лет забыли.

Карта, которую мы составляли, день ото дня становилась все полнее и подробнее. Дентон разрешал мне работать с аппаратурой, когда и сколько я захочу, и вскоре я наловчился управляться с нею не хуже, чем он. Я выучился проводить геодезическую съемку местности, замерять высоту холмов, определять положение любой точки относительно оптимума.

Все вокруг дышало миром и покоем, все было так несхоже с напряженной обстановкой в Городе, да и Дентон, хоть и молчун, оказался умным и приятным спутником. Беспокоило одно: я уже потерял счет времени — во всяком случае прошло никак не меньше двадцати дней, а Дентон вроде бы и не собирался возвращаться домой.

Ландшафт становился все зеленее, все живописнее. Солнце палило по-прежнему нещадно, но здесь чаще выпадали дожди, особенно по ночам, и мы то и дело натыкались на разнообразные ручейки и речки. Все это Дентон заносил на карту без комментариев. В задачу разведчиков будущего не входило выбирать или рекомендовать Городу дальнейший маршрут.

В часы, свободные от замеров и съемок, я по-прежнему предавался размышлениям. Нет, при всем желании я не мог бы вычеркнуть из памяти поразительную картину этого мира. И было что-то на протяжении томительно долгих лет, проведенных в яслях, что подготовило меня к восприятию подобного зрелища,— но что и когда?

Наконец, Дентон объявил работу законченной, и мы тронулись в обратный путь. Пожалуй, это слегка отдавало мелодрамой, но я ожидал, что теперь, собрав данные, за которыми нас посылали, мы будем скакать день и ночь, не считаясь с опасностью и пренебрегая комфортом. Ничуть не бывало — мы ехали все так же медленно, даже с ленцой.

— Разве мы не должны спешить? — наконец не вытерпел я.

— В будущем спешить некуда и незачем,— последовал ответ.

Обратный путь занял у нас три дня. И на третий день, едва мы навьючили лошадей и снялись с ночевки, я вдруг припомнил то, что так долго от меня ускользало. Припомнил ни с того ни с сего, как обычно бывает, когда искомое запрятано глубоко в подсознании. А мне-то казалось, что я исчерпал свою память обо всех прослушанных мною предметах до самого дна.

И вдруг выяснилось, что искомый ответ был дан в ходе изучения предмета, который я вовсе не принимал в расчет!

Это было в последние ясельные мили, когда наш учитель завел нас в дебри теоретической математики. Любые математические дисциплины вызывали у меня отрицательную реакцию — мне было неинтересно, и моя успеваемость оставляла желать лучшего, — а такое пережевывание абстрактных концепций тем более.

Мы приступили к изучению функций, и нам показали, как чертить графики этих функций. Именно графики и дали мне теперь ключ к ответу: у меня всегда были способности к рисованию, и даже абракадабра в ее графическом выражении рождала у меня известный интерес. Впрочем, интерес угас через два-три дня, как только обнаружилось, что график нужен не сам по себе, а для того, чтобы лучше разобраться в свойствах функции... а я так и не взял в толк, что это за штука.

Один график обсуждали особенно долго и до оскомины детально. График изображал кривую решений некоего уравнения, где одно решение было обратным, иначе противоположным, другому. Кривая называлась гиперболой. Одна часть графика размещалась в положительном квадранте, другая — в квадранте отрицательном. В обоих квадрантах кривые стремились к бесконечности, как вверх и вниз, так и вбок.

Учитель принялся рассуждать о том, что произойдет, если вращать этот график вокруг одной из его осей. Мне было непонятно ни зачем вообще нужен график, ни тем более зачем его надо вращать, и я впал в дремоту. Но все же заметил, что учитель нарисовал на большом листе картона тело, какое могло бы получиться в результате подобного вращения.

У тела была совершенно неправдоподобная форма — диск бесконечного диаметра с двумя гиперболическими остриями вверх и вниз, сужающимися к бесконечно далекой точке.

Разумеется, сие была математическая абстракция, и я уделил ей внимания не больше, чем она, на мой взгляд, заслуживала.

Но эту математическую абстракцию нам демонстрировали не просто так, и учитель рисовал ее не ради любви к рисованию. В окольной манере, в какой велось все наше обучение в яслях, нам в тот день показали мир, где мне суждено жить.

5

Мы с Дентоном проехали рощицу у ручейка. Впереди открылся тот самый проход между холмами.

Я невольно натянул поводья и остановил лошадь.

— Город! — воскликнул я.— Где же Город?..

— Надо думать, по-прежнему у реки.

— Тогда, значит, он разрушен!..

Другого объяснения быть не могло. Город за эти тридцать дней не сдвинулся с места. Задержать его могла только новая атака туземцев. В противном случае он по меньшей мере достиг бы прохода, лежавшего перед нами.

Дентон наблюдал за мной, еле сдерживая улыбку.

— Вы, наверное, раньше не бывали далеко на север от оптимума? — осведомился он.

— Нет, не бывал.

— Но вы путешествовали в прошлое. Что случилось, когда вы вернулись?

— На Город напали туземцы.

— Да, конечно, но сколько миль прошло за время вашего отсутствия?

— Семьдесят три.

— То есть гораздо больше, чем вы ожидали?

— Много больше. Я же отсутствовал всего несколько дней, две-три мили от силы.

— То-то и оно.— Дентон тронул поводья, и мы двинулись дальше.— А на север от оптимума все наоборот.

— Что наоборот?

— Вам никогда не говорили о субъективном восприятии времени? — Мой недоуменный взгляд был красноречивее ответа.— К югу от оптимума субъективное время замедляется. Чем дальше на юг, тем заметнее. А в Городе, пока он находится вблизи оптимума, время течет более или менее нормально, и когда вы возвращаетесь из прошлого, вам представляется, что Город переместился куда дальше и быстрее, чем вы ожидали.

— Но мы сейчас ездили на север...

— Да, и испытали нечто прямо противоположное. На севере наше субъективное время ускорилось, и нам кажется, что Город застрял на месте. По опыту могу предположить, что, пока мы с вами прохлаждались на севере, в Городе прошло дня четыре, не больше.

Я довольно долго молчал, стараясь переварить услышанное. Потом спросил:

— Значит, если бы Город обогнал оптимум, он мог бы остановиться?

— Нет. Город остановиться не может.

— Ничего не понимаю,— признался я.

Мы подъезжали к проходу. Коль скоро Город действительно там, где предсказывал Дентон, то через какие-нибудь десять минут мы увидим его.

— Взаимодействуют два фактора. Один фактор — движение почвы, второй — субъективные изменения в восприятии времени. Оба фактора безусловно реальны, но, по нашим данным, не обязательно прямо связаны между собой.

— Тогда почему...

— Постарайтесь понять. Почва движется — в прямом физическом смысле слова. На севере она движется медленно — и чем дальше на север, тем медленнее. И напротив, на юге скорость ее движения возрастает, пока у самых дальних пределов этого мира не достигает бесконечно больших величин...

— Я побывал там,— вставил я,— у самых дальних пределов.

— Вы побывали... где? На сколько миль вы удалились от Города — примерно на сорок? Или, по стечению обстоятельств, чуть-чуть дальше? Ну что ж, этого довольно, чтобы ощутить возрастание скорости на себе... но поверьте, это только цветочки. Мы говорим сейчас о расстояниях в миллионы миль. А иные полагают, что и миллионы — еще не то слово. Основатель Города Дистейн считал, что наш мир велик бесконечно

— Но ведь Город мог бы переместиться всего на восемь—десять миль и очутился бы к северу от оптимума.

— Да, и наша жизнь сразу стала бы намного легче. Беда в том, что мы должны всеми силами держаться вровень с оптимумом.

— Да что, этот ваш оптимум медом намазан, что ли?

— Оптимум — это полоса, где условия максимально близки к условиям жизни на Планете Земля. У самой линии оптимума субъективное восприятие времени свободно от искажений, день равен ровно двадцати четырем часам. Почва в районе оптимума движется со скоростью примерно одной мили за десять дней. В мире, где все переменчиво, нам нужен хоть какой-то стандарт...

Мы доехали до седловины — и перед нами выросли канатные опоры. Город находился в процессе перемещения. Куда ни глянь, повсюду стояли стражники — и вокруг самого Города, и вдоль путей. Мы спешились у опор, поджидая, пока перемещение не закончится.

— Вы читали Директиву Дистейна? — вдруг спросил Дентон.

— Нет, не читал. Но слышал о ней. Она упоминается в клятве.

— Совершенно верно. У Клаузевица есть копия. Теперь, раз вы стали гильдиером, вам надо с ней познакомиться.

Когда мы попали в Город, я первым делом направился к Центральному календарю и выяснил, что мы отсутствовали всего-навсего три с половиной дня.

После короткого совещания у Клаузевица нас с Дентоном повели на аудиенцию к навигатору Макмагону. Мы довольно подробно описали местность, которую изъездили вдоль и поперек, указали главные ориентиры на карте. Дентон изложил свои соображения о том, какой маршрут можно было бы наметить для Города, деловито перечисляя естественные препятствия и обходные пути, позволяющие их миновать.

— Немедленно пошлите на север две новые разведывательные группы,— распорядился навигатор, обращаясь к Клаузевицу.— Одну на пять градусов восточнее, другую на пять градусов западнее. Люди у вас найдутся?

— Да, сэр.

— Я сегодня же соберу Совет, и мы утвердим предложенный вами маршрут как временный. Скоро вы предполагаете наладить работу разведчиков по нормальному графику?

— Как только нам вернут гильдиеров, мобилизованных в стражники и на путевые работы,— ответил Клаузевиц.

— Это пока не представляется возможным. Возобновите ваше ходатайство, как только ситуация станет поспокойнее.

— Слушаюсь, сэр.

Навигатор забрал нашу карту и видеозаписи, и мы удалились. Не теряя времени, я обратился к Клаузевицу:

— Сэр, разрешите мне добровольно вызваться в одну из двух новых групп.

Глава гильдии покачал головой:

— Нет. Вам положено три дня отпуска, затем вы вернетесь в путевую бригаду.

— Но, сэр...

— Таковы правила, продиктованные спецификой гильдии.

6

В кабинете разведчиков будущего сидел всего один гильдиер, назвавшийся разведчиком Блейном.

— Вы ведь сын старика Манна?

— Да.

— Рад познакомиться. Уже побывали в будущем?

— Да,— ответил я.

Блейн мне понравился. Он был не намного старше меня, и у него было свежее, открытое лицо. Он явно обрадовался тому, что нашел собеседника; через несколько часов ему предстояло отправиться по одному из альтернативных разведывательных маршрутов, и, следовательно, он десятки миль подряд будет предоставлен самому себе.

— Мы что, обычно ездим в будущее в одиночку? — спросил я.

— Обычно да. Разрешается работать парами, если Клаузевиц даст добро, но большинство разведчиков предпочитают разъезжать в одиночестве. Я-то как раз не принадлежу к их числу, мне скучно без компаньона. А вы?

— Я пока что был в будущем только раз. С разведчиком Дентоном.

— Ну и как вы с ним ладили?

Беседа текла дружески, без той подчеркнутой сдержанности, которой обычно был отмечен разговор с другими гильдиерами. Я и сам невольно перенял эту суховатую манеру и поначалу, наверное, показался Блейну зазнайкой. Однако минут через десять его откровенность заразила и меня, и вскоре мы болтали как старые друзья.

Оттого-то я и признался ему, что однажды сделал видеозапись заката.

— Надеюсь, вы стерли ее?

— Что значит — стер?

— Использовали этот кусок пленки повторно?

— Нет... а что, надо было?

Он рассмеялся:

— Ну, если навигаторы увидят вашу запись, они спустят на вас собак.

— Но что же я сделал плохого?

— Это запрещено. Пленка — штука ценная, и ее нельзя тратить как попало. А в общем не расстраивайтесь. Только вот зачем вам понадобилось снимать закат, если не секрет?

— Хотел проверить одну занимающую меня мысль. У солнца такая интересная форма.

Блейн взглянул на меня с удвоенным любопытством:

— Ну, и к какому выводу вы пришли?

— Опрокинутый мир.

— Верно. Но как вы догадались? Кто-нибудь подсказал вам?

— Нет, просто вспомнил кривую, про которую нам толковали на уроках. Гиперболу.

— А что из этого вытекает? Вы продумали все до конца? Например, что можно сказать о поверхности планеты?

— Разведчик Дентон говорил, что она очень велика.

— Это неточно,— поправил Блейн.— Не очень, а бесконечно велика. К северу от Города поверхность прогибается до тех пор, пока не становится почти — и все же не вполне— вертикальной. К югу от Города она становится почти — но не вполне — горизонтальной. А поскольку планета вращается вокруг оси, то, обладая бесконечным по величине радиусом, она вращается с бесконечно большой скоростью.

— Вы шутите! — воскликнул я.

— Если бы шутил! Но я говорю всерьез. Тут, вблизи оптимума, вращение планеты вокруг оси влияет на нас примерно так же, как если бы мы жили на Планете Земля. Дальше на юг эффект стремительно нарастает. Там, в прошлом, вы ведь испытали действие центробежной силы?

— Испытал.

— Попади вы хоть немного дальше, мы с вами сегодня не беседовали бы. Центробежная сила — жестокая и неоспоримая реальность.

— Нас учили,— сказал я,— что ни одно тело не может обладать большей скоростью, чем скорость света.

— Опять верно. Ни одно материальное тело. Теоретически окружность планеты по экватору бесконечно велика, и любая точка на экваторе движется с бесконечной скоростью. Но, с другой стороны, есть, или по крайней мере должен быть, предел, когда материя перестает существовать.

— Значит, планета все-таки не бесконечна?

— Почти бесконечна. Во всяком случае, невероятно велика. Посмотрите на солнце.

— Смотрел. Часто смотрел.

— С солнцем то же самое. Если бы оно не вращалось, оно было бы бесконечно огромным.

— Но позвольте,— возразил я,— теоретически оно все равно бесконечно. Как же может вселенная вместить множество тел, если каждое из них бесконечно велико?

— Есть ответ и на этот вопрос. Только этот ответ вам не понравится.

— Откуда вы знаете? Сперва ответьте.

— Если бы мы находились на Планете Земля, то жили бы в бесконечной вселенной, на одном из множества заполняющих ее тел, каждое из которых, даже самое крупное, имеет конечные размеры. Здесь же все наоборот: мы живем во вселенной, которая при всей своей необъятности имеет конечные размеры, однако эта конечная вселенная заполнена множеством бесконечно больших тел.

— Бессмыслица какая-то...

— Не спорю. Я же сказал, что ответ вам не понравится.

— Но как мы сюда попали?

— Это никому не известно.

— И куда делась Планета Земля?

— Это тоже никому не известно.

Я переменил тему:

— Там, в прошлом, на моих глазах стали твориться странные вещи. Со мной были три женщины. Когда мы зашли далеко на юг, их тела начали изменяться. Они...

— А на севере,— перебил Блейн,— вы туземцев не встречали?

— Нет, мы... нам встречались поселения, но мы старались не подходить к ним.

— К северу от оптимума туземцы тоже физически изменяются. Они становятся очень высокими и тощими. Чем дальше на север, тем это заметнее.

— Мы ушли за оптимум миль на пятнадцать.

— Что же, тогда вы, наверное, еще не заметили ничего необычного. Уйди вы миль на тридцать пять, все вокруг изменилось бы до неузнаваемости...

Оставшись один, я внимательно прочел Директиву Дистейна — Блейн взял для меня экземпляр у Клаузевица.

Директива представляла собой два десятка страничек плотного текста, большая часть которого показалась бы мне полной абракадаброй, познакомься я с ним до того, как попасть за пределы Города. Теперь, пережив все, что мне довелось пережить, осмыслив собственный опыт и слова Блейна, я увидел в Директиве прежде всего подтверждение тех выводов, к которым пришел.

Страницы математических выкладок, пересыпанные уравнениями, я проглядел по диагонали. Наибольший интерес вызвали абзацы, напоминавшие торопливые дневниковые записи. Иные из записей мне запомнились:

Мы чудовищно далеко от Земли. Сомневаюсь, увидим ли мы вновь родную планету, но если мы хотим выжить, мы должны вести себя как микрочастица Земли. Большего одиночества, большего отчаяния нельзя себе и представить. Вокруг нас враждебный мир, угрожающий нашему существованию ежедневно и ежечасно. Человек уцелеет здесь лишь до тех пор, покуда целы возведенные нами постройки. Главная наша задача — сберечь и защитить наш общий дом.

Далее Дистейн писал:

Я измерил скорость регрессии: она равна одной десятой статутной мили за двадцать три часа сорок семь минут. Дрейф почвы на юг происходит медленно, но неумолимо; следовательно, надо передвигать платформу как минимум на милю каждые десять дней.

Ничто не должно остановить нас. Мы уже встретили одну реку и пересекли ее с немалым риском. Несомненно, в предстоящие годы и мили мы столкнемся и с другими препятствиями, и к этому надо готовиться заранее. Надо сосредоточить усилия на поисках природных материалов, которые можно было бы хранить длительное время, а затем по мере надобности использовать как строительный материал. Даже мост можно возвести без особого напряжения, если подготовиться к этому заранее.

За этим отрывком следовали две страницы теории, которую Блейн уже пытался мне втолковать. Я перечитал эти страницы дважды, и с каждым разом они выглядели чуть яснее. Потом я оставил теорию и стал читать дальше. Дистейн писал:

Чен представил мне список расщепляющихся материалов, который я у него просил. Какие бессмысленные расходы! С пуском транслатерационного генератора в них больше не будет нужды. Говорить об этом с Л. я не стал. С ним так интересно спорить, зачем же лишать себя этого удовольствия?

Наружная температура сегодня —23° С. По-прежнему движемся на север.

И далее:

Опять порвалась одна из гусениц. Т. посоветовал мне отказаться от них совсем. Рассказывает, что Стернер обнаружил на севере заброшенную железнодорожную линию. Разработан невероятный проект передвигать платформу по рельсам. Т. утверждает, что проект вполне разумен.

И далее:

Решено основать систему гильдий. Милый архаизм, снискавший общее одобрение. А главное — хороший способ придать нашей организации определенную структуру, не ломая уже сложившихся установлений, и я лично полагаю, что система гильдий создаст условия, при которых наше дело переживет нас самих.

Демонтаж гусениц продвигается вполне успешно. Правда, переход на новую систему тяги вызвал значительные задержки.

Натали сегодня родила ребенка. Мальчик.

Доктор С. прописал мне новые таблетки. Утверждает, что я слишком много работал и обязан отдохнуть. Сейчас об этом не может быть и речи.

Ближе к концу Директивы в ней стал все отчетливее проступать менторский, поучающий тон:

Эти мои записи должны стать достоянием тех, и только тех, кто выходит наружу; тем, кто постоянно пребывает в стенах зданий, незачем знать о каж-

додневно висящей над нами угрозе. Мы неплохо организованы, у нас достанет энергетических ресурсов и воли на то, чтобы продержаться в этом вероломном мире по крайней мере еще какое-то время. Те, кто придет нам на смену, должны постичь на собственном горьком опыте, что случится, если мы хоть на миг утратим энергию или волю, и если их опыт будет выстрадан, он послужит достаточным стимулом для того, чтобы работать с предельным напряжением сил.

Когда-нибудь, бог даст, нас отыщут посланцы Земли. До тех пор наш девиз неизменен: выжить л ю б о й ц е н о й.

Отныне решено и предписывается:

Высшая ответственность за судьбу нашего наследия лежит на плечах Совета. Члены Совета определяют курс перемещения колонии и носят звание навигаторов. Навигаторы, число которых ни при каких обстоятельствах не должно быть менее двенадцати, избираются из самых заслуженных представителей следующих гильдий:

— гильдии путейцев, ответственной за прокладку путей, по которым движется платформа;

— гильдии движенцев, ответственной за поддержание и обслуживание энергетического хозяйства платформы и возведенных на ней построек;

— гильдии разведчиков будущего, ответственной за разведку местности, по которой платформе предстоит пройти;

— гильдии мостостроителей, ответственной за преодоление естественных препятствий, если обойти их не представляется возможным.

В дальнейшем, при возникновении необходимости в создании новых гильдий, таковые не могут быть созданы иначе как единогласным решением Совета.

Подписано: Ф р э н с и с Д и с т е й н.

Основная часть Директивы состояла из коротких отрывочных записей, датированных последовательно с 23 февраля 1987 года до 19 августа 2023 года. Под подписью Дистейна стояла дата 24 августа 2023 года.

Далее следовали еще два листка. Первый — записка без даты, информирующая о создании гильдии торговцев-меновщиков и гильдии стражников. На втором листке была нарисована гипербола, выражаемая зависимостью $y=1/x$, а под ней тянулась цепочка математических символов, которые я при всем желании понять не мог.

Такова оказалась Директива Дистейна.

7

Как полноправному гильдиеру мне разрешалось присутствовать на заседаниях Совета навигаторов. И когда Совет собрался в очередной раз, я такой возможности не упустил.

Навигаторы заседали в небольшом зале, примыкающем к отведенным им покоям. Их оказалось пятнадцать; двоих, Олссона и Макмагона, я знал по именам.

Первым пунктом повестки дня было положение Города с военной точки зрения. Один из навигаторов встал, представился как навигатор Торенс и кратко обрисовал ситуацию. Стражники установили, что в окрестностях Города до сих пор слоняется не менее сотни туземцев, и почти все с винтовками. По данным военной разведки, их боеготовность после понесенных тяжелых потерь оставляет желать лучшего; как заявил навигатор, моральное состояние наших защитников несравнимо выше — мы приобрели боевой опыт и уверенность в своей способности отразить новый натиск. В нашем распоряжении также есть двадцать одна трофейная винтовка, и хотя патронов маловато, гильдия движенцев придумала, как изготовлять их кустарным способом, правда небольшими партиями.

Следующее сообщение было посвящено состоянию городских построек. Довольно долго дискутировали о том, какие постройки восстанавливать, в какой очередности и как срочно. От имени внутренней службы было заявлено, что ее администраторы сбились с ног, пытаясь создать людям мало-мальски сносные условия для отдыха, и навигаторы согласились в первую голову возвести новый жилой корпус.

От вопросов строительства дискуссия сама собой перекинулась к проблемам общего характера и стала теперь уже по-настоящему интересной.

Мнения навигаторов разделились. Одни были убеждены, что необходимо как можно скорее вернуться к прежней политике — «Город, замкнутый в себе». Другие полагали, что подобная политика отжила свой век и с ней следует покончить раз и навсегда. После жарких споров, обсуждения частностей и внесения поправок приступили к голосованию. Большинством в один голос Совет решил политику «замкнутого Города» не возрождать.

Еще одно новшество. Согласно оглашенному списку, в Городе на текущий момент находилось семнадцать переселенных женщин. Что с ними делать? Все они поселились здесь еще до первой атаки туземцев, и все изъявили желание остаться в Городе и не возвращаться домой. Высказывалось мнение, что атаки на Город, возможно, предпринимались с целью отбить этих женщин.

Снова проголосовали: женщинам было разрешено остаться в Городе на срок, какой они пожелают.

Было решено также не восстанавливать практику путешествий в прошлое как итоговый этап подготовки учеников. Я понял, что путешествия были отменены после первой атаки, а теперь часть навигаторов подумывала, не возобновить ли их. Между тем Совету было достоверно известно, что из отправленных в прошлое учеников двенадцать погибли, а о пятерых до сих пор нет вестей. Решили путешествий пока не возобновлять.

Честно признаться, услышанное удивило и обрадовало меня. Я и не подозревал, что навигаторы так подробно и заинтересованно вникают в самые практические вопросы. Об этом не говорили вслух, но среди гильдиеров бытовала уверенность, что Совет — это кучка бранчливых старикашек, начисто утративших контакт с действительностью. Да, бесспорно, иные из навигаторов были в летах, но остроты мышления отнюдь не потеряли. Вероятно, скептикам из нашей среды просто следовало бы почаще бывать на заседаниях Совета: как я убедился, места, предназначенные для гильдиеров, по большей части пустовали.

Один пункт повестки дня сменялся другим.

Последним выступил навигатор Льюкен, поднявший вопрос об изменении принципов перемещения Города. Суть его предложения сводилась к тому, чтобы сделать плечи перемещения совсем короткими и тянуть Город лебедками на пониженной скорости, зато без перерывов.

Серьезных возражений против предложения движенцев ни у кого не возникло, хотя председатель и распорядился представить Совету подробный проект с расчетами и обоснованиями. Следовательно, как только будет готов проект и проведена необходимая подготовка, лебедки станут крутиться день и ночь.

8

Мне предстояла новая поездка на север. Утром меня вызвали из путевой бригады, и Клаузевиц провел краткий инструктаж. Надлежало разведать местность на глубину двадцати пяти миль за оптимумом и уточнить расположение и характер поселений. Мне дали возможность самому решить, работать ли одному или в паре с другим гильдиером-разведчиком. Памятуя о недавнем и таком приятном знакомстве с Блейном, я попросил разрешения поехать вместе с ним, что и было санкционировано.

Вторично в этот день я вернулся в Город уже под вечер. Мне хотелось потолковать о предстоящей разведке с Блейном, а потом переночевать в кабинете разведчиков, чтобы выехать с первыми лучами зари.

И вдруг, шагая по коридору, я увидел Викторию.

Она сидела одна в крошечной комнатушке и что-то сверяла, листая толстую кипу бумаг. Повинуясь мгновенному порыву, я переступил порог и прикрыл за собой дверь.

— А, это ты,— тихо сказала она.

— Не возражаешь?

— Я очень занята.

— Я тоже.

— Тогда не беспокой меня и занимайся своим делом.

— Нет,— заявил я.— Нам надо поговорить.

— Как-нибудь в другой раз...

Я выхватил у нее перо, точнее, выбил его из пальцев. Бумаги посыпались на пол. У Виктории от изумления перехватило дыхание.

— Что случилось, Виктория? Почему ты не дождалась меня? — Она смотрела на бумаги, разбросанные по полу, и молчала.— Ну, не молчи же, ответь...

— Это было так давно. Разве это еще имеет значение?

— Для меня имеет.

Теперь она взглянула на меня, а я на нее. Да, она изменилась, стала гораздо старше. Она казалась более уверенной в себе, более независимой... и все же я нет-нет да и узнавал милые прежние привычки — чуть склонить голову набок, сжать кулачок, но не до конца, а оттопырив два пальца...

— Гельвард, мне очень жаль, если я причинила тебе боль, но, поверь, мне и самой пришлось многое пережить. Теперь ты удовлетворен?

— Нет, и ты прекрасно знаешь, что нет. А как же все, о чем мы с тобой говорили?

— Твоя клятва не пострадала, можешь не волноваться.

— Да я вовсе не о том! — вскипел я.— Было же и другое, что касалось только тебя и меня...

— Это было давно,— повторила она. Видимо, мне не удалось скрыть, что ее безразличный тон причиняет мне боль: она внезапно смягчилась.— Я вообще не надеялась снова увидеть тебя. Тебя не было так долго! Я думала, что ты погиб, и никто, ну, никто не хотел даже говорить со мной об этом!

— К кому ты обращалась?

— К твоему начальнику, Клаузевицу. И все, что он соизволил ответить,— что ты уехал из Города.

— Но я же сказал тебе, куда меня посылают! Говорил, что отправляюсь далеко на юг...

— И что ты вернешься через несколько миль.

— Я и вправду так думал. Но я ошибся.

— Что же произошло?

— Я... меня задержали.

Объяснять что-либо было бесполезно. Я и не пытался.

— И только-то? Тебя задержали, и все?

— Это оказалось куда дальше, чем я ожидал.

Она принялась рассеянно перебирать бумаги, придавая им какое-то подобие порядка. По существу она бесцельно шевелила руками: броня самообладания была пробита.

— Ты так и не видел Дэвида...

— Дэвида? Ты назвала его Дэвидом?

— Он был...— Она подняла на меня глаза, полные слез.— Пришлось отдать его в ясли — на меня навалили столько работы. Я навещала его каждый день, но тут на нас напали. Меня поставили на пост у гидранта, и я не могла, я не успела... Потом мы побежали туда...

Она закрыла лицо руками и зарыдала. Пять секунд — и у меня самого полились слезы.

Какое-то время спустя Виктория сказала:

— Я решила, что ты уже не вернешься. В Городе была полная неразбериха, но я разыскала кого-то из твоей гильдии. Он оказался откровеннее и проболтался, что там, на юге, убили много учеников. Я рассказала ему, когда ты уехал и как долго тебя нет. Он не стал ни уверять меня, что ты жив, ни разуверять. А я знала только, когда ты уехал и когда обещал быть обратно. Ведь прошло целых два года, Гельвард.

— Меня предупреждали. Но я не поверил.

— Отчего же?

— Мне предстояло пройти всего миль восемьдесят в оба конца. Я был убежден, что обернусь за несколько дней. И никто из гильдиеров не объяснил мне, почему это невозможно.

— А они знали?

— Без сомнения.

— Могли бы по крайней мере подождать до рождения ребенка.

— Меня вынудили подчиниться приказу. Это расценивалось как важная часть моей подготовки.

Виктория понемногу совладала с собой, слезы смыли ее отчужденность. Она подняла рассыпанные бумаги и убрала их в ящик. Я опустился на стул у стены.

— А знаешь, системе гильдий скоро конец,— заявила она.

— Ну уж, не преувеличивай.

— Система разваливается. И ее надо сломать до конца. Да оглянись вокруг — сам видишь, насколько все изменилось. Каждый волен выйти за пределы Города когда угодно. Ясное дело, навигаторы будут цепляться за старое, потому что живут в прошлом, но мы...

— Не такие уж они твердолобые,— возразил я.

— Можешь не сомневаться, они постараются восстановить секретность и гнет.

— Ты ошибаешься,— произнес я тихо и твердо.— Точно знаю, что ошибаешься.

— Допустим, ошибаюсь. И все равно перемены необходимы. В Городе не осталось никого, кто бы не понимал, что наша жизнь под угрозой. Мы крадемся по этой земле исподтишка, как воры, и тем самым лишь умножаем угрозу. Пришла пора, наконец, остановиться.

— Виктория, ты просто не...

— Ты только взгляни на разрушения! Убито тридцать девять детей! А убытков и не сосчитать!.. Неужели ты веришь, что мы способны уцелеть, если местные будут нападать на нас снова и снова?

— Все улеглось. Мы контролируем обстановку.

Она покачала головой.

— Не так уж важно, как обстоит дело сию минуту. Я говорю о перспективе. Все наши беды оттого, что Город перемещается. Это само по себе чревато опасностями. Мы вторгаемся на земли, принадлежащие другим, мы покупаем рабов, чтобы они настилали рельсы, мы похищаем женщин и заставляем их спать с людьми, которых они не успели даже толком узнать. И все ради того, чтобы Город двигался, двигался, двигался...

— Город не может остановиться,— заявил я.

— Вот-вот! Всегда одно и то же, всегда это безоговорочное заявление, и никто даже не пытается взглянуть на вещи шире. Город должен перемещаться, Город должен перемещаться... Почему?

— Это аксиома, Виктория. Мне известно, что будет, если Город остановится.

— И что же такое будет?

— Город будет разрушен, и все мы погибнем.

— Убеждена, что ты заблуждаешься,— возразила Виктория.— И не я одна. Люди умеют думать сами, без подсказки. Они побывали за Городом, увидели, как оно там. Мы жили бы в мире и покое, если бы не риск, который мы навлекаем на себя сами.

— Но послушай,— вставил я,— зачем нам рассуждать о таких общих материях? Я хотел поговорить о нас с тобой.

— Одно вытекает из другого. То, что случилось с нами, неразрывно связано с обычаями Города. Не будь ты гильдиером, мы с тобой могли бы ладить и по сей день.

— Как ты думаешь, есть еще хоть какой-то шанс?..

— А ты бы хотел?

— Не уверен,— честно признался я.

— Это попросту немыслимо. Для меня, по крайней мере. Я не могу примирить свои убеждения с твоим образом мыслей. Мы ведь пробовали, но система разъединила нас. И кроме того, я теперь живу с...

— Что-что, а это я знаю.

Она посмотрела на меня, и я увидел в ее глазах глубину пропасти, что легла между нами.

— Ты во что-нибудь веришь, Гельвард? — спросила она.

— Прежде всего в то, что система гильдий, при всех ее недостатках, в основе своей разумна.

— И ты хочешь, чтобы мы снова жили вместе? Жили наперекор тому, что наши убеждения исключают друг друга? Из этого просто ничего не получится.

Да, мы оба действительно изменились: она была права. Гадать, что́ могло бы произойти при каких-то иных обстоятельствах, не имело смысла.

Размеренность городской жизни восстановилась быстрее всяких ожиданий. Туземцы на нас больше не нападали, хотя один из стражников, посланный в разведку, был захвачен ими в плен и убит. Вскоре после этого руководители гильдии стражников оповестили, что противник разбредается и последние группы мартышек возвращаются в свои деревни. Правда военное положение сохранялось еще долгое время,— а точнее сказать, никогда уже не отменялось официально,— но мало-помалу гильдиеры, пополнившие ряды стражников, стали возвращаться к своей основной работе.

Как я узнал еще на том, первом для меня заседании Совета, принципы движения Города изменились. Движенцы сумели преодолеть начальные неполадки и с помощью хитроумной системы сменных канатов перевели Город на режим непрерывного перемещения. В конце концов, одна десятая мили в день — не бог весть какое большое расстояние, и спустя недолгий срок Город очутился на точке оптимума.

Это, в свою очередь, повлекло за собой небывалую свободу выбора дальнейших маршрутов. К примеру, теперь можно было обходить препятствия, отклоняясь на многие мили от направления строго на север.

Хоть и не без колебаний, Город вернулся к практике меновой торговли. Меновщики сделали выводы из печального опыта прошлого и вели переговоры скрупулезно, как никогда ранее. За наемный труд — нужда в нем все же не отпала — Город платил более щедро и старался как можно дольше не требовать новых женщин.

Регулярно посещая заседания Совета, я был полностью в курсе прений по этому вопросу. Те семнадцать женщин, что остались с нами после первых атак, по-прежнему не выражали ни малейшего желания вернуться домой. Но среди новорожденных по-прежнему преобладали мальчики, и многие гильдиеры настаивали на «притоке свежей крови». Как, почему возникало неравенство в соотношении полов, никто не ведал, однако факты — упрямая вещь. По данным недавней переписи, среди детей младшего возраста — до ста пятидесяти миль — насчитывалось семьдесят шесть мальчиков и только четырнадцать девочек. Диспропорция неуклонно возрастала, и, наконец, меновщики получили приказ вступить в переговоры со старейшинами попутных поселений.

Именно этот приказ и оказался лакмусовой бумажкой, наглядно выявившей происшедшие в Городе перемены. Политика «открытых дверей» неизбежно повела к тому, что негильдиеры стали посещать заседания Совета, и не прошло и часа после голосования, как распоряжение набрать новых переселенок стало известно всем и каждому и послышались голоса протеста. Тем не менее Совет оставил распоряжение в силе.

И вот однажды на очередном заседании я впервые услышал о терминаторах. Мне пояснили, что так называют себя люди, возражающие против перемещения Города на север и требующие остановить его.

Совет решил разработать программу просветительных мероприятий, чтобы разъяснить настоятельную необходимость неустанного перемещения Города. Но на следующем же заседании в зал ворвалась группа людей и потребовала слова. Я не очень удивился, узнав среди нарушителей спокойствия свою бывшую жену. После бурного спора навигаторы вызвали на подмогу стражников, и заседание было закрыто.

Происшествие, как ни странно, лишь сыграло терминаторам на руку. На заседания Совета вновь перестали пускать широкую публику. Расслоение среди негильдиеров углублялось день ото дня.

Затем последовала цепь неприятных сюрпризов. Один из канатов при загадочных обстоятельствах был перерезан, кто-то из терминаторов попытался выступить перед наемными рабочими, убеждая их разойтись по деревням... но в общем-то терминаторы были для Совета не более чем неприятной занозой.

Просветительная программа шла своим чередом. Был прочитан цикл лекций о странностях и опасностях опрокинутого мира, и на посещаемость жаловаться не приходилось. Знак четыреххвостой гиперболы был утвержден в качестве эмблемы Города, и гильдиеры стали носить его на груди как украшение и символ звания.

Уж не знаю, многое ли поняли на лекциях рядовые наши сограждане; думаю, что влияние терминаторов не прибавляло доверия к лекторам. Слишком долго горожан воспитывали в заблуждении, что мы живем в мире, во всем подобном Земле,

если не на самой Планете Земля. И реальность оказалась слишком жестокой, чтобы безоговорочно принять ее. Да, они слушали лекторов, им даже мерещилось, что они понимают услышанное,— но терминаторы-то взывали не к разуму, а к чувствам...

И все-таки, несмотря ни на что, Город продолжал медленно продвигаться вперед. В минуты досуга я представлял себе его пылинкой на поверхности огромного чуждого мира, искоркой жизни из одной вселенной, напрягающей все силенки, чтобы не угаснуть в другой; или, еще страшнее, полным людей городишком, прилепившимся на сорокапятиградусной крутизне и пытающимся удержаться на трех-четырех ниточках ветхих канатов.

С возвращением Города к более или менее размеренному существованию разведка будущего превратилась в рутинную процедуру. Местность к северу от Города была поделена нами на сектора по пять градусов с общей вершиной в точке оптимума.

Наша задача была несложной. Мы разъезжались по своим секторам, в одиночку или парами, и представляли навигаторам исчерпывающие отчеты. Временем нас никто не лимитировал. Все чаще и чаще в поездках на север меня охватывало ощущение полной свободы,— по словам Блейна, это была болезнь, общая для всей гильдии. Какой прок было спешить, торопиться назад, если целый день, праздно проведенный где-нибудь у реки, обходился на поверку в десять — пятнадцать минут по городским часам?

Однако за время, проведенное на севере, приходилось платить; цена казалась несущественной, но лишь до тех пор, пока я не заметил последствий на себе. Любой день, самый праздный, был тем не менее днем моей жизни. За пятьдесят дней я старел, как если бы прожил в Городе пять миль, тогда как для горожан мои пять миль составляли всего четыре дня. Поначалу я не обращал на это внимания: с точки зрения горожан, мы возвращались чуть не поминутно, и я не улавливал разницы между собой и ими. Но дни шли за днями, и все, кого я знал, казалось, не изменились вовсе, а о себе, поглядев в зеркало, я такого сказать уже не мог.

Связывать свою судьбу с какой-либо другой женщиной мне не хотелось. Виктория заметила как-то, что обычаи Города разорвут любую привязанность, и я часто вспоминал эти ее слова.

Когда в Город доставили новых переселенок, мне, как и другим холостякам, предложили выбрать себе подругу. Я сперва отказался: самая мысль о переселенках вызывала у меня отвращение. Однако понемногу я преодолел растерянность и робость, попривык к переселенкам, и моя предубежденность стала исчезать.

Со временем мне приглянулась девушка по имени Дорита, и вскоре нам с ней выделили комнату. Общего между нами было немного, но ее попытки говорить по-английски приводили меня в восторг, да и я был ей как будто небезразличен. Она забеременела, и в промежутках от одной разведывательной поездки до другой я с интересом наблюдал за тем, как развивается ее беременность.

Это происходило у меня на глазах — но как же медленно, как невероятно медленно!

Я подал ходатайство о временном переводе в другую гильдию: как ни радовали меня ленивые деньки в будущем, я вдруг почувствовал, что время утекает, как вода меж пальцев.

Десятка два миль я сотрудничал с движенцами, и именно в этот период моей жизни Дорита родила близнецов — мальчика и девочку. Мы отпраздновали событие как положено, но тут я понял, что городская жизнь мне тоже претит.

Дорита покинула Город, а я вернулся к коллегам-разведчикам. Лучше всего я чувствовал себя теперь наедине с самим собой, упиваясь часами, украденными у Города на севере. Во мне заново пробудилась любовь к рисованию, но я никому об этом не говорил.

Я наблюдал за Городом издали, и он казался мне чуждым не только этому миру, но и мне самому.

Часть четвертая

1

Женщина притаилась в проеме церковных дверей, следя за переговорами, которые шли на дальней стороне площади. За ее спиной, оборудовав себе подобие мастерской, священник с двумя помощниками терпеливо старались восстановить гипсовую статую девы Марии. Из церкви тянуло прохладой, и, несмотря на просевшую крышу, там было чисто и тихо. Женщина сознавала, что ей здесь вовсе не место, однако какой-то инстинкт толкнул ее сюда, лишь только на площади появились два незнакомца.

Сейчас они усердно втолковывали что-то Луису Карвальо, самозваному сельскому старосте, и десятку других мужчин. В иные времена главенство в общине, естественно, отошло бы к священнику, но отец Дос Сантос, как и она, чувствовал себя здесь еще новичком.

Незнакомцы въехали в селение верхом со стороны высохшего потока. Выглядели они совсем иначе, чем селяне,— в черных накидках, хорошо пригнанных брюках и высоких кожаных сапогах. Лошади у них были ухоженные и, несмотря на перекинутые через луку седла тюки с каким-то снаряжением, не падали от усталости. Местным лошадям было далеко до них.

Любопытство все же оттеснило осторожность, и она шагнула из тени на площадь. Как раз в этот момент переговоры, по-видимому, были завершены: селяне разбрелись, а незнакомцы вскочили в седла и ускакали в том направлении, откуда приехали.

Когда они скрылись за деревьями, женщина кинулась между постройками к невысокому, но крутому холму. Спустя мгновение она увидела всадников на пустоши за околицей. Они проехали немного и, натянув поводья, остановились. Потом один из всадников приветственно поднял руку и, развернув лошадь, пустил ее галопом в направлении дальних, более высоких холмов. Второй не спеша двинулся в противоположную сторону, его лошадь шла легкой, ленивой рысцой.

Вернувшись в селение, женщина разыскала Луиса.

— Что им было надо? — спросила она без обиняков.

— Просили дать им людей для какой-то работы.

— И вы согласились?

Луис уклонился от прямого ответа.

— Сказали, что вернутся завтра.

— А чем заплатят?

— Хлебом. Гляди-ка...

Староста протянул ей кусок хлеба. Она бережно приняла его на ладонь — хлеб был темный, но свежий и душистый.

— Больше они ничего не предлагали?

— Предлагали. Вот.— Он показал ей небольшой мешочек. Она развязала тесемки — внутри оказался белый кристаллический порошок без запаха.— Они сказали, что, если посыпать этим землю, будет хороший урожай.

— И много у них такого порошка?

— Сколько угодно.

Перемолвившись еще двумя-тремя фразами с отцом Дос Сантосом, женщина кинулась на конюшню и, оседлав лошадь, выехала из селения по сухому руслу следом за вторым незнакомцем.

2

Деревню окружала пустошь, кое-где поросшая кустиками и низкорослыми деревцами. Вскоре женщина увидела впереди всадника — он неспешно ехал к лесу, темнеющему вдали. Как только он достиг опушки, она потеряла его из виду и спешилась. Ведя лошадь под уздцы, она настороженно вглядывалась и вслушивалась в полутьму леса: не выдаст ли себя тот человек движением или звуком? Вскоре она услышала журчание воды: река в разгар лета обмелела и перекатывалась по камушкам.

Потом женщина увидела лошадь, привязанную под деревом. Она тут же остановилась и, привязав свою лошадь, крадучись двинулась дальше. Под деревьями было сумрачно и душно. Что вынудило ее броситься вдогонку за этим человеком? Даже ребенку ясно, что это рискованно. Но в селении незнакомцы держали себя достойно и явились с миссией безусловно мирной, хоть и таинственной.

На опушку у реки женщина вышла чуть не на цыпочках. И застыла, глядя с пологого берега вниз на воду.

Да, незнакомец был здесь, но вел себя как-то непонятно. Сбросив накидку и сапоги подле сложенного кучкой снаряжения, он забрел в воду по щиколотку и, не подозревая о ее присутствии, наслаждался прохладой, по-мальчишески дрыгал ногами, вздымая тучи сверкающих брызг. Наклонился, зачерпнул воды в ладони и окатил себе лицо и шею. А еще через минуту, выбравшись из воды, подошел к оставленному на берегу снаряжению и достал из черной кожаной сумки видеокамеру. Не спеша нацелил объектив на противоположный берег и, как показалось женщине, прямо на нее. Она невольно пригнулась, но по отсутствию реакции с его стороны поняла, что он ее не заметил. Когда она рискнула еще раз выглянуть из своего укрытия, камера была нацелена вниз по течению реки. Мгновение спустя он потянулся, почесал в затылке и, усевшись на берегу, погрузил ноги в воду.

Теперь она могла внимательно его рассмотреть. Вид у него был самый что ни на есть безобидный. Крупный, мускулистый, лицо и руки покрыты ровным загаром. На голове грива светло-каштановых волос — волосы, правда, были длинные, спутанные. Борода. На вид ему было лет тридцать пять, и, невзирая на бороду, выглядел он моложаво и привлекательно.

Поколебавшись еще секунды две-три, женщина выбралась из своего укрытия и не то спустилась, не то скатилась с откоса, послав вниз небольшую лавину камушков и песка.

Мужчина отреагировал мгновенно. Сел, огляделся, вскочил на ноги. Но движение оказалось слишком резким, и он упал ничком, вспенив воду ногами. Она невольно рассмеялась. Он тут же снова вскочил, метнулся к своему снаряжению — и в руках у него появилось ружье.

Смех замер... но он не поднял ружья. Он произнес какую-то фразу вроде бы по-испански, только так плохо, что она ничего не поняла. Да она и сама знала по-испански лишь несколько слов и ответила на местном наречии:

— Простите, я не хотела смеяться...

Он непонимающе затряс головой и смерил ее внимательным взглядом. Она развела руки в стороны, показывая, что безоружна, и улыбнулась ободряющей, как она надеялась, улыбкой. Он вроде бы успокоился, понял, что ему ничто не угрожает, и положил ружье. Опять попытался заговорить с ней на своем кошмарном испанском и вдруг пробормотал что-то себе под нос шепотом, еле слышно, но несомненно по-английски.

— Вы знаете английский? — удивилась она.

— Да. А вы?

— С детства.— Она опять рассмеялась и спросила: — А что, если я присоединюсь к вам?

Сбросив туфли и подобрав подол, она вошла в воду. Вода оказалась обжигающе холодной, пальцы ног свела судорога — и все же ощущение было восхитительным. Она присела на берег, не вынимая ног из воды. Он сел рядом.

— Простите, что схватился за ружье. Вы меня испугали.

— И вы меня тоже простите. Но вы так блаженствовали, что впору было позавидовать.

— Это лучшее занятие, какое можно придумать в такой жаркий день...

Они сидели, уставясь в воду.

— Как вас зовут? — поинтересовалась она.

— Гельвард.

— Гельвард? — Она повторила непривычное имя, будто пробуя его на вкус.— Это что, фамилия?

— Нет. Если полностью, то меня зовут Гельвард Манн. А вас?

— Элизабет. Элизабет Хан. Я не люблю, когда меня называют Элизабет.

— Очень сожалею.

Она вскинула на него глаза, удивленная его странным акцентом.

— Откуда вы? — спросила она.

— Тут недалеко,— ответил он и неожиданно встал.— Надо напоить лошадь...

Взбираясь на берег, он вновь оступился, но на этот раз она удержалась от смеха.

Из леса он вышел, держа в поводу обеих лошадей. Пришлось встать и помочь ему спустить их к воде. Очутившись меж двух животных, она не удержалась и потрепала лошадь Гельварда по холке.

— Хороша лошадка,— похвалила она.— Это ваша?

— Ну, не совсем моя. Просто я предпочитаю ее другим.

— А как ее кличут?

— Ее... у нее нет клички. А разве надо ее как-то назвать?

— Нет, не обязательно.

— Мне нравится ездить верхом,— внезапно признался он.— Самая приятная особенность моей профессии.

— Не считая возможности шлепать босиком по воде. Чем вы вообще занимаетесь?

— Я... на это трудно ответить в двух словах. А вы?

— Я медицинская сестра. По диплому, по крайней мере.

— У нас тоже есть медицинские сестры,— сказал он.— Там, где я живу.

— Это где же?

— В Городе. Отсюда на юг.

— Как он называется?

— Земля. Но мы чаще называем его просто Город.

Элизабет нерешительно улыбнулась, не уверенная, что расслышала правильно.

— Расскажите мне про свой город.

Он покачал головой. Лошади напились и теперь обнюхивали друг друга.

— Мне пора ехать.

Он поспешил к куче снаряжения и принялся второпях навьючивать лошадь. Элизабет с недоумением следила за ним. Кое-как распихав снаряжение по седельным сумкам, он развернул лошадь и вывел ее на берег. На самой опушке леса он оглянулся.

— Извините меня. Я, наверное, кажусь вам грубияном. Все дело... все потому, что вы так не похожи на остальных.

— На остальных?

— На тех, кто живет в этих местах.

— Это что, плохо?

— Нет, конечно.— Он обвел взглядом оба берега реки, словно надеялся найти там повод задержаться. И вдруг раздумал уезжать и привязал лошадь к первому попавшемуся дереву.— Могу я попросить вас об одном одолжении?

— Разумеется.

— Вы не будете возражать... вы не позволите мне нарисовать вас?

— Нарисовать?..

— Ну да, сделать набросок. Боюсь, я не слишком хороший художник, не очень опытный. Но когда я бываю здесь, на севере, я люблю зарисовывать то, что вижу.

— Вы хотите, чтобы я позировала?

Он порылся в одной из седельных сумок и извлек на свет пачку листков. Элизабет успела заметить, что на каждом листке был рисунок карандашом.

— Нет, нет. Просто стойте, где стоите. Чуть-чуть иначе, пожалуйста... станьте подле лошади.

Гельвард присел на берегу, пристроив листки на коленях.

— Вы не можете держаться прямее?— вдруг спросил он. — Повернитесь ко мне... вот так...

Потом он попросил ее сесть в седло, но ей это уже порядком надоело.

— Можно мне посмотреть, что у вас получилось?

— Я никогда их никому не показываю.

— Ну пожалуйста, Гельвард. Меня еще никогда не рисовали.

Он перебрал листки и вынул три из них.

— Не знаю, понравится ли вам...

Посмотрев на листки, она невольно воскликнула:

— Боже, неужели я такая тощая!

— Отдайте обратно! — вспылил он.

Она отбежала на два шага и быстро просмотрела рисунки еще раз. Пропорции были какие-то, мягко говоря, необычные. И она сама, и лошадь выглядели очень высокими и худыми. Это производило не то чтобы отталкивающее, но, за неимением более точного слова, диковинное впечатление.

— Прошу вас... отдайте.

Она отдала рисунки, он сунул их в самый низ пачки и, резко повернувшись, зашагал к опушке, туда, где привязал лошадь.

— Я вас обидела? — спросила Элизабет.

— Не обидели, а просто не надо было вам их показывать.

— По-моему, они превосходны. Только... только это так неожиданно, когда видишь себя со стороны. Я же говорила вам, что меня никогда не рисовали.

— Вас трудно рисовать.

— А можно взглянуть на другие рисунки?

— Вам будет неинтересно.

— Послушайте, я это делаю вовсе не для того, чтобы погладить вас по шерстке. Мне и вправду хочется взглянуть.

— Ну что с вами сделаешь...

Он отдал ей всю пачку, а сам отошел к своей лошади и притворился, что поправляет сбрую.

Сюжеты рисунков были самые разные: пейзажи, портретные зарисовки, целая серия набросков, посвященная лошадям. И удивительное дело — чувство пропорции художнику, как правило, не изменяло. Внизу пачки лежали зарисовки, сделанные здесь, у реки. Первые эскизы были не слишком удачными, те три, что он отобрал сам, намного превосходили их. Озадачивала лишь явная удлиненность силуэта — и у нее, и у лошади.

— Ну как?— не выдержал он.

— Я...— Она не смогла подобрать нужного слова.— По-моему, они хороши. Только необычны. Вы очень наблюдательны.

— Вас трудно рисовать,— повторил он.

— Мне особенно нравится вот этот.— Она вытащила из пачки рисунок лошади с откинутой, развевающейся гривой.— Совсем как в жизни.

Он усмехнулся.

— Мне и самому этот нравится больше всех.

Она перелистала рисунки снова. На некоторых из них присутствовала одна и та же непонятная деталь. Вот, например, на этом мужском портрете: в верхнем углу — таинственное четырехконечное пятно. И такое же — на каждом рисунке, сделанном у нее на глазах.

— Что это? — спросила она, указывая на пятно.

— Солнце.

Она нахмурилась, но решила не продолжать этой темы. И без того она, по-видимому, нанесла его художническому самолюбию чувствительный удар. Тогда она выбрала из трех рисунков, сделанных Гельвардом здесь, у реки, тот, который показался ей наиболее удачным.

— Вы не подарите мне его?

— Я думал, он вам не понравился.

— Напротив. По-моему, он великолепен.

Он проницательно посмотрел на нее, потом забрал у нее всю пачку.

— А не хотите ли взять еще и этот?

И протянул Элизабет рисунок лошади с развевающейся гривой.

— Как я могу! Нет, только не этот...

— Мне хочется оставить его вам на память. Вы первая, кому я его показал.

— Я... большое спасибо.

Он уложил остальные рисунки в седельную сумку и бережно застегнул ее.

— Вы сказали, что вас зовут Элизабет?

— Я предпочитаю, чтобы меня называли Лиз.

Он кивнул с серьезным видом.

— Прощайте, Лиз.

— Вы уезжаете?

Он молча отвязал лошадь и вскочил в седло.

3

До базового лагеря было почти семь миль, и она добралась туда только вечером. Ей не повезло, в лагере не оставалось практически ни души: для большей части персонала любая отлучка затягивалась на много дней. Но Тони Чеппел, на ее беду, был тут как тут и перехватил ее на полдороге к жилому корпусу.

— Ты сегодня свободна, Лиз? Мы не могли бы...

В первые дни Элизабет потянулась было к Чеппелу и совершила роковую ошибку, не удержав этого в тайне. Вскоре она убедилась в том, что он самовлюблен и скучен, но Тони упорно не желал оставить ее в покое. Хотя в данных обстоятельствах он может оказаться, пожалуй, даже полезным.

— Ты не знаешь, есть ли в этой стране город под названием Земля?

— Земля? А может, Марс? Или Венера? — Он расхохотался, восторгаясь собственным остроумием. — Ты правильно разобрала?

— Да не то чтобы... Наверное, я все-таки ошиблась.

В одном из кабинетов висела крупномасштабная карта всего района, но, излазив карту вдоль и поперек, Элизабет не обнаружила ни одного названия, хотя бы отдаленно напоминавшего то, что произнес Гельвард.

Вернувшись к себе в комнату, она достала подаренные ей рисунки и присмотрелась к ним повнимательнее. Рисунки были выполнены на очень старой бумаге, пожелтевшей по краям. И вдруг до нее дошло, что вверху и внизу бумага по линии отрыва как бы чуть-чуть иззубрена. Проверяя себя, она провела по краю пальцем и ощутила то же, что заподозрили глаза: тут некогда была перфорация. По задней стороне листка, сбоку, бежала блеклая колонка цифр, а рядом проступала надпись синим шрифтом, почти неразличимым от времени: «Лента компьютерная многократного применения. ИБМ» [1]. Элизабет прикрепила рисунки к стене... и уставилась на них в полном недоумении.

4

Наутро Элизабет, отсчитав по телетайпу очередную тщетную просьбу прислать врача, вернулась в селение. К тому времени, как она добралась туда, улицы уже затопил полуденный зной и все погрузилось в привычную унылую летаргию. Луиса она разыскала быстро: в компании двух других мужчин он развалился в тени у церкви.

— Ну что? Они приезжали?

— Нет. Сегодня нет, малышка Хан.

— А вы уже пробовали?..— Она запнулась, разозлясь на себя: ведь хотела же взять щепотку предложенного селянам удобрения в базовый лагерь на анализ, а потом заторопилась и забыла.— Ладно, если они вернутся, дайте мне знать...

Она зашла проведать Марию и ее новорожденного ребенка, но никак не могла сосредоточиться на самых обыкновенных вещах. Позже сняла пробу с бесплатного обеда для всех желающих, потолковала с отцом Дос Сантосом у него в мастерской. И все время невольно прислушивалась: не донесется ли издали цокот копыт?

Наконец, не пытаясь больше обманывать себя, она отправилась на конюшню и оседлала лошадь. И выехала из селения вчерашним маршрутом в сторону реки.

Нет, все-таки и сейчас она старалась не разбираться в собственных мыслях, не отдавать себе отчета в своих намерениях. Только от себя не уйдешь: последние двадцать четыре часа привнесли в ее жизнь нечто новое. Она вызвалась приехать сюда и поработать вместе с другими добровольцами, когда поняла, что прежняя жизнь дома была по существу никчемной. Но здесь на смену прежнему разочарованию пришло иное, не менее горькое: какими бы благими ни были их намерения, добровольцы могли предложить обнищавшему населению здешних мест не помощь, а лишь видимость помощи. Слишком поздно они пришли, слишком скудными ресурсами располагали.

Ведя лошадь по пустоши к лесу, Элизабет наконец призналась себе, что ею движет не простое любопытство, а нечто большее. В базовом лагере каждый был

---

[1] «ИБМ» («Интернэшнл бизнес машинз») — крупная американская корпорация, специализирующаяся на электронной технике.

одержим собой и своим воображаемым вкладом в науку; они обожали мыслить абстрактными категориями, рассуждать о групповой психологии, социальной приспособляемости и поведенческих стереотипах, а на ее более приземленный вкус выглядели напыщенными болванами.

Гельвард был совсем из другого теста. Нет-нет, она и теперь не произнесла бы такого вслух и все же ехала как на свидание.

Элизабет без труда разыскала то самое место на берегу и позволила лошади напиться. Потом привязала ее в тени, а сама уселась у воды и стала ждать. Вода журчала по каменистому ложу, мягко шуршал ветерок в вершинах деревьев, звенели какие-то мошки, пахло сухой листвой, прогретой почвой и просто жарой...

Прошел час, если не больше. Но вот лошадь забеспокоилась, и ей из-за реки отозвалась другая. Элизабет очнулась: на том берегу стоял Гельвард.

У нее накопилась тысяча вопросов — но она не задала ни одного. Она упивалась неизвестностью и не хотела разрушить тайну прозаическим объяснением. Простейшим из объяснений было, конечно же, то, что Гельвард — сотрудник из какого-то более отдаленного лагеря и что он со скуки затеял разыграть с ней незамысловатую и в сущности бессмысленную шутку. Но даже если так, она не осуждала шутника: его присутствие служило наградой само по себе.

Единственной заведомо интересной для него темой разговора были рисунки, и Элизабет попросила показать их заново. Они поговорили о рисовании, он охотно комментировал то, что показывал, а она не преминула отметить, что рисунки, все без исключения, выполнены на обороте старинной компьютерной ленты. И вдруг он выпалил:

— А я чуть было не решил, что вы тоже из мартышек.

— Из кого, из кого?

— Из мартышек. Так мы называем туземцев, которые здесь живут. Но они не говорят по-английски.

— Ну, положим, кое-кто говорит, хоть и не слишком грамотно. Те, кого мы научили.

— Мы? Кто это «мы»?

— Я работаю не одна.

— Разве вы не городская? — спросил он и неожиданно отвернулся.

Элизабет ощутила смутную тревогу: накануне он точно так же отворачивался и беспокоился, прежде чем внезапно встать и уехать.

— Вы же знаете, что нет.

— Знаю, что вы не из нашего Города. Но кто вы?

— Я же говорила вам, как меня зовут.

— Но откуда вы взялись здесь?

— Из Англии. Приехала два месяца назад.

— Из Англии? Но ведь Англия на Земле!..

Он смотрел на Элизабет во все глаза, совершенно забыв про рисунки. Она рассмеялась нервным смехом — он опять повел себя более чем странно.

— До сих пор была на Земле,— ответила она, пытаясь обратить дело в шутку.— По крайней мере, пока я оттуда не уехала.

— Мой бог! Значит...

— Что — значит?

Он резко встал и отвернулся. Шагнул прочь, потом передумал и уставился на нее сверху вниз.

— Вы с Земли?

— А откуда же еще?

— Вы с Земли... С Планеты Земля?

— Конечно. Я вас не понимаю.

— Вы ищете нас,— заявил он.

— Нет. А впрочем... что вы имеете в виду?

— Вы нас нашли!

Она вскочила на ноги, отшатнувшись от Гельварда. Но, добежав до лошади, все же задержалась. Его странности на глазах перерастали в помешательство, и она понимала, что оставаться нельзя. И все-таки...

— Элизабет, не уезжайте!

— Лиз,— поправила она.

— Лиз, вы понимаете, кто я? Я из Города Земля. Вы должны знать про нас!

— Но я не знаю.

— Вы не слышали о нас?

— Нет, не слышала.

— Мы провели здесь тысячи миль. Много-много лет. Без малого два столетия.

— А где ваш город сейчас?

— Там,— он показал на северо-восток.— Миль двадцать пять к югу.

Между словами и жестом было явное противоречие, но она решила, что Гельвард от волнения перепутал стороны света.

— Можно мне взглянуть на него?

— Разумеется! — Он в возбуждении схватил Элизабет за руку и одновременно за уздечку ее лошади.— Поехали немедля!

— Погодите-ка. Как пишется название вашего города? — Он написал на бумаге «Земля».— Почему он носит такое название?

— Не знаю. Наверное, потому, что мы с Планеты Земля.

— А разве мы с вами сейчас на другой планете?

— Но ведь это же очевидно!

— Вы уверены?

Вопрос вырвался у нее против воли — она поддразнивала Гельварда как маньяка, но был ли он маньяком? Лихорадочное возбуждение, пылающее в его глазах, можно было истолковать как угодно. Инстинкт, которому она еще недавно верила безоговорочно, требовал осторожности, но кто и за что мог бы поручиться теперь?

— Это не Земля!

Она подумала и сказала:

— Гельвард, встретимся завтра. Здесь же, у реки.

— Но мне казалось, что вы хотите увидеть Город.

— Хочу, но не сегодня. Надо проехать двадцать пять миль. Нужна свежая лошадь, нужно разрешение начальства...

— Вы боитесь, что я вас обманываю?

— Нет, не боюсь.

— Тогда в чем же дело? Сколько я себя помню, и задолго до моего рождения, Город жил единственной надеждой, что рано или поздно придет помощь с Земли. И вот вы здесь — и вы мне не верите, считаете меня сумасшедшим!..

— Вы и сейчас на Земле.

Он открыл рот, закрыл его снова. Наконец спросил:

— Зачем вы так зло шутите?

— Я не шучу.

Он опять схватил ее за руку и заставил развернуться. Ткнул пальцем вверх:

— Что вы там видите?

Она заслонилась ладонью от нестерпимо яркого света.

— Солнце.

— Солнце! Да, солнце! Но какое солнце?

— Обыкновенное. Пустите меня, вы делаете мне больно!

Он послушался — только ради того, чтобы перебрать свои рисунки сызнова. Вытащил из пачки один рисунок и поднял листок перед ее глазами.

— Вот солнце! — заорал он, указывая на диковинное четырехконечное пятно в верхнем углу листка, над нелепой долговязой фигурой, изображающей саму Элизабет.— И такое же там, на небе!..

Задыхаясь от бешеного сердцебиения, она кое-как взобралась в седло и с силой саданула лошадь по бокам каблуками. Лошадь взвилась на дыбы и пошла в галоп.

5

На селение спускался вечер, и Элизабет рассудила, что возвращаться сегодня в базовый лагерь уже поздновато. Да она и не ощущала в себе ни сил, ни желания возвращаться — в конце концов, переночевать можно и здесь.

Главная улица была пуста. Это поразило ее: в такое время селяне обычно выходили из домов и сидели в пыли, лениво болтая между собой и попивая крепкое, вязкое, как смола, вино — делать настоящие вина они разучились.

Потом Элизабет услышала гвалт, доносящийся из церкви, и поспешила туда. Действительно, под сводами собрались почти все мужчины селения. Были и женщины, иные из них плакали.

— Что тут происходит? — обратилась она к отцу Дос Сантосу.

— Незнакомцы вернулись. И предложили сделку.

Дос Сантос держался в стороне от толпы, явно неспособный хоть чем-то повлиять на селян. Элизабет попыталась вникнуть в суть спора, но каждый орал, не слушая соседа, и даже у Луиса, хоть он и вылез к разбитому алтарю, не хватало голоса перекричать общий гам. Встретившись с Элизабет глазами, староста протолкался к ней.

— Что скажешь?

— Они прибыли, малышка Хан. Мы согласны на их условия.

— Похоже, что до согласия еще далеко. Чего они хотят?

— Условия честные.

Он вознамерился было вернуться к алтарю, но Элизабет перехватила его за руку.

— Чего они хотят? — повторила она.

— Они дадут нам лекарства и много еды. И еще удобрения, и еще они помогут починить церковь, хоть мы об этом и не просили.

Он уклонился от ответа, то поднимая взгляд на Элизабет, то отводя глаза.

— А что взамен?

— Пустяк.

— Ну, давай, не тяни, Луис. Чего они хотят?

— Десять наших женщин. Все равно что отдают добро задаром.

Она не сумела сдержать изумления.

— И что вы?..

— За ними будут хорошо смотреть. Сделают их здоровыми и сильными, а когда выйдет срок, принесут нам еще еды.

— А как к этому относятся сами женщины?

Он оглянулся через плечо на толпу.

— Они, глупые, не рады...

— Еще бы! — Она повернулась к Дос Сантосу.— И что теперь будет?

— Люди уже все решили, мы бессильны.

— Но разве это не дикость? Не могут же они всерьез выменивать своих жен и дочерей на несколько мешков зерна?

— Нам нужно то, что нам предлагают,— вмешался Луис.

— Но мы тоже обещали вам продовольствие и врача — он уже в пути...

— Да, конечно, вы обещали. Вы здесь скоро два месяца, а еды вы нам дали всего ничего, и врач все едет... Эти люди, по крайней мере, не обманщики, это видно сразу.

Покинув Элизабет и Дос Сантоса, Луис протиснулся на прежнее место. Выждав удобный момент, он утвердил сделку голосованием. Женщины в голосовании не участвовали.

Элизабет провела беспокойную ночь, зато к рассвету ей стало ясно, что предпринять.

Вчерашний день принес ей множество неожиданностей. Ирония судьбы — единственное событие, какого она инстинктивно ждала, так и не состоялось. Теперь, когда встречи с Гельвардом были видны ей как бы в новом измерении, она набралась храбрости признаться себе, что внутреннее беспокойство, погнавшее ее вчера к реке, объяснялось, в сущности, просто: она предвкушала, что он ее соблазнит. И это вполне могло случиться вплоть до той секунды, когда его глаза заволокло пеленой фанатизма, даже сейчас она не избавилась от дикого чувства — не страха, не удивления, где-то посередине,— испытанного ею, когда Гельвард крикнул:

— Солнце! Да, солнце! Но какое солнце?..

Несомненно, за этой сценой скрывалось что-то, чего она еще не понимала.

И эта загадочная компьютерная лента... В радиусе тысячи миль отсюда был один-единственный компьютер, и Элизабет знала точно, где он установлен и каким целям служит. Тот компьютер заведомо обходился без бумажной ленты и не имел

ровным счетом никакого отношения к ИБМ. Если на всем белом свете сохранился в целости хоть один прибор производства ИБМ, то разве где-нибудь в музее...

Наконец, навязанная селянам чудовищная сделка. Каким-то образом все это спутано в один клубок. Незнакомцы, нагрянувшие в селение, несомненно, жители того же таинственного города, что и Гельвард. Но какая может быть связь между этой сделкой и его безумными выкриками?

Обратиться за советом в базовый лагерь? Этого еще недоставало! Лагерем руководили прекрасные, честные ученые, но применять свои знания на практике было для них внове, и они не умели спуститься с академических высот на грешную землю. Нет, если кто-нибудь и мог что-то предпринять, то лишь она сама, на собственный страх и риск.

Элизабет поднялась с первыми лучами зари и отправилась к Марии. Новорожденный плакал. Но Мария, не обращая на него внимания, набросилась на Элизабет с расспросами о сделке, заключенной накануне.

— Некогда,— резко перебила ее Элизабет.— Мне нужна одежда.

— Но у тебя такое красивое платье!

Недоуменно ворча, Мария выложила перед гостьей все свои небогатые наряды, вероятно никогда не видевшие ни воды, ни мыла. О лучшем Элизабет и не мечтала. Она выбрала плохо сшитую, обтрепанную юбку и сероватую мужского кроя рубаху.

— Но ты теперь выглядишь не лучше наших замарашек!

— Что и требовалось доказать.

На площади перед церковью уже собралась небольшая толпа. Луис, выполняя обязанности распорядителя, уговаривал тех женщин, что явились из любопытства, разойтись по домам. Подле Луиса жалась кучка девушек — Элизабет не без ужаса убедилась, что сюда пригнали самых молоденьких и хорошеньких со всего селения. Вскоре их стало ровно десять; тогда Элизабет протолкалась сквозь толпу.

Невзирая на маскировку, Луис узнал ее с первого взгляда.

— Малышка Хан?..

— Луис, кто тут самая младшая? — Но прежде чем он успел ответить, она совершила выбор без его помощи и подошла к Леа, которой по всем приметам едва исполнилось четырнадцать.— Леа, ступай домой, к маме. Я пойду вместо тебя.

Девушка отделилась от других и двинулась прочь, не выразив ни удивления, ни протеста, ни радости. Луис пожал плечами.

Ждать долго не пришлось. Через несколько минут на площадь въехало трое всадников, и каждый вел еще одну лошадь в поводу. Все шесть лошадей были тяжело навьючены, и прибывшие, спешившись, без промедления разгрузили поклажу рядом с толпой. Элизабет услышала, как один из них обратился к Луису:

— Через два дня привезем остальное. Хотите ли вы изменить условия сделки?

— Нет. Мы удовлетворены.

— Прекрасно.— Человек повернулся лицом к толпе. Он говорил с селянами, как до того с Луисом, на их родном языке, но с сильным акцентом.— Мы старались вести себя как люди доброй воли и люди слова. Кому-то из вас предложенные нами условия, возможно, и не понравились, но мы просим не таить на нас зла. О женщинах, которых вы нам одолжили, будут заботиться, их никто не обидит. Мы не меньше вашего заинтересованы в том, чтобы они были здоровы и счастливы...

На этом церемония, если она заслуживала такого названия, была закончена. Спешившиеся всадники предложили лошадей женщинам. Две девицы ухитрились взгромоздиться на лошадь вместе, пятеро сели в седла поодиночке. Элизабет и еще две гордячки предпочли идти пешком.

6

Трое мужчин обращались друг к другу по-английски. Элизабет напряженно прислушивалась, но, к большому ее разочарованию, мужчины ограничивались тем, что сетовали на жару, отсутствие тени и длительность предстоящего пути. Впрочем, о вверенных их попечению женщинах они заботились вроде бы искренне и постоянно осведомлялись о самочувствии каждой в отдельности. Время от времени Элизабет заговаривала со спутницами на их родном языке и слышала в ответ, по существу, то же самое: жарко, устали, хочется пить и вообще поскорее бы добраться до цели...

То ли усталость постепенно взяла верх над бдительностью, то ли женщины

полным своим безразличием к провожатым укрепили их в уверенности, что не понимают по-английски ни слова, однако ближе к полудню провожатые, беседуя между собой, вдруг перешли на темы, с путешествием прямо не связанные.

— И ты полагаешь, все это по-прежнему необходимо?

— Меновая торговля?

— Да. Ты же помнишь, какие беды она принесла нам в прошлом!

— Что ты можешь предложить взамен?

— Не знаю. Да меня и не спрашивали. Будь моя воля, разве я перся бы сейчас по солнцепеку?

— А по мне, это, может, и не бессмыслица. Помнишь предыдущую группу переселенок? Так они прижились в Городе и, похоже, в мыслях не держат проситься домой. Может, в новых сделках и нужды не возникнет.

— Возникнет.

— Ты что, вообще против всей нашей работы?

— Если честно, то против. Подчас мне сдается, что самые принципы жизни Города — полный бред.

— Терминаторов наслушался?

— Ну что же, не спорю. Послушаешь их непредвзято — и поймешь, что в их рассуждениях есть зерно истины.

— Ты с ума сошел!

— Согласен. Как не спятить по такой жаре?

— Не вздумай повторить что-либо подобное в Городе.

— А, собственно, почему? Там многие говорят то же самое.

— Но не гильдиеры. Ты же побывал в прошлом. И должен знать, что почем.

— Я просто реалист. Надо прислушаться к мнению большинства. В Городе уже и сегодня терминаторов больше, чем гильдиеров.

— Заткнись, Норрис,— вмешался третий, до сих пор не участвовавший в беседе,— тот, кто выступал с речью перед толпой.

Элизабет завидела Город на горизонте гораздо раньше, чем сообразила, что́ это, собственно, такое. По мере того как десять женщин и трое провожатых приближались к цели, она вглядывалась в открывавшуюся перед ними картину все пристальнее, но так и не разобралась ни в самой системе рельсов и канатов, ни в их предназначении. Сперва ей померещилось, что перед ней какая-то сортировочная станция, но где же тогда вагоны? И каким практическим надобностям могут служить пути столь небольшой длины?

Потом она обратила внимание на людей, выставленных вдоль путей в качестве часовых,— одни были с ружьями, другие с устройствами, напоминавшими старинные арбалеты. Но, по правде сказать, рассматривать эти устройства ей было недосуг: более всего ее заинтересовал сам Город.

Да, она слышала, как провожатые, а еще раньше Гельвард называли свое местожительство Городом, хотя самой Элизабет оно показалось одним разросшимся и довольно бесформенным зданием. Не слишком прочным зданием, возведенным по большей части из дерева. Лишенное всяких украшений, оно казалось безобразным и привлекательным одновременно. Она припомнила изображения зданий, построенных до Катастрофы,— тогда использовали другие материалы, сталь и железобетон, но предпочитали именно такие строгие контуры, четкость линий и так же пренебрегали внешней отделкой. Впрочем, те здания были очень высокими, а это непонятное сооружение не превышало семи этажей.

Подведя группу вплотную к Городу, провожатые направились к темному проходу под днищем. Все спешились. Несколько ступенек, дверь, лестница и еще одна дверь и, наконец, ярко освещенный коридор. Коридор упирался в новую дверь с табличкой: «АДМИНИСТРАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ».

Раз уж Элизабет взялась играть определенную роль, приходилось выдерживать эту роль до конца.

В первые дни ее подвергли множеству обследований и процедур — не понимай она их медицинского смысла, она могла бы счесть их унизительными. Ее выкупали,

промыли ей волосы, проверили, нет ли там насекомых. Отвели ее на осмотр к терапевту, затем к офтальмологу и стоматологу и, наконец, сделали укол — не составляло труда догадаться, что это тест на венерические болезни.

Приговор врачей ее не удивил: из десяти вновь прибывших Элизабет единственная была признана полностью здоровой. Вскоре ее передали на попечение двух других женщин, которые принялись учить ее начаткам разговорной английской речи. Она пыталась как могла затянуть процесс обучения — и все же буквально через три дня ее сочли достаточно подкованной, и на том начальный этап ее переселения в Город был завершен.

До сих пор она ночевала в общей спальне со своими спутницами, теперь ей выделили крошечную отдельную комнатушку, стерильно чистую и обставленную с предельной скупостью. В комнатушке была узкая кровать, ниша для одежды — Элизабет получила два одинаковых комплекта белья и верхнего платья,— стул и четыре квадратных фута свободной площади.

С момента ее прибытия в Город прошло восемь дней, и Элизабет все чаще задавалась вопросом, чего же, собственно, она рассчитывала добиться. По выходе из-под прямой опеки администраторов службы переселения ее определили на кухню судомойкой. Вечера оставались свободными, и ей без обиняков дали понять, что она обязана минимум час, а то и два проводить в особом зале и не отказываться от общения с посетителями мужского пола.

Зал находился по соседству со службой переселения. У стены располагался маленький бар с весьма скудным, как отметила Элизабет, выбором напитков, а рядом — древний видеомагнитофон. Улучив удобный момент, она включила его: на экране замелькали кадры комедийной программы, начисто ей непонятной, хотя невидимая публика то и дело взрывалась хохотом. Комические эффекты были, очевидно, рассчитаны на современников: терпеливо досмотрев программу до конца, она узнала, что пленка была выпущена в 1985 году — более двух веков назад!

Обычно посетителей в зале бывало немного. Женщина из службы переселения, хозяйничающая за стойкой, улыбалась заученной улыбкой, в уголке сидели две-три девицы из нового набора. Время от времени в зал заглядывали мужчины, одетые, как Гельвард, в темную форму, но никому из них так и не удалось завладеть ее вниманием.

И вдруг Элизабет разрешила одну из мучающих ее загадок — днем, на кухне, когда менее всего этого ожидала. Перемыв посуду, она складывала ее в металлический шкаф и неожиданно увидела то, чего раньше не замечала. Да, увидеть было непросто: всю прежнюю начинку давно вынули, понаделав деревянных полок, и все же на дверце из-под слоя краски при определенном освещении проглядывала эмблема «ИБМ» — некогда кухонный шкаф был кожухом компьютера.

Пользуясь возможностью, Элизабет бродила по Городу и с любопытством вглядывалась во все вокруг. До прибытия сюда она пугала себя, что очутится в Городе на положении узницы, но нет, за пределами четко обозначенного круга обязанностей она была вольна ходить где вздумается, делать что захочет. Как-то раз она попала в небольшую комнату, отведенную, очевидно, рядовым гражданам Города для бесед в часы досуга. На столике лежала пачка аккуратно скрепленных машинописных листков. Она пробежала их глазами без особого интереса — на первой странице значилось: Директива Дистейна.

Впоследствии, гуляя по Городу, она приметила, что копии Директивы разложены в самых разных местах, и со временем любопытства ради прочитала одну из копий насквозь. Это явилось, пожалуй, решающим открытием: вникнув в содержание Директивы, Элизабет спрятала один экземпляр под матрасом, намереваясь вывезти его из Города, как только будет возможно.

Час за часом ее знания о Городе выстраивались во все более логичную цепь — и тем не менее в этой цепи зиял очевидный пробел. Гипотеза, на которой зиждилось бытие Города и его обитателей, сводилась к тому, что они существуют в некоем опрокинутом мире. Опрокинуты все физические характеристики — и не только самой планеты, но и всех тел во всей обозримой вселенной. Горожане приняли приближение, предложенное Дистейном — тела, изогнутые от экватора на север и на юг по гиперболе,— и это приближение как нельзя лучше согласовывалось с формой странного пятна, нарисованного Гельвардом над головой Элизабет и обозначавшего, по его мнению, солнце.

Но пробел — как залатать пробел? Как устранить противоречие, которое Элизабет со всей ясностью осознала в тот день, когда забрела в дальнюю часть Города, прежде разрушенную, а ныне возводимую заново? Она подняла взгляд к солнцу, защитив глаза рукой. Солнце оставалось точно таким же, каким было всегда: на небосводе висел шар, сияющий ослепительно белым светом.

7

У Элизабет созрело решение покинуть Город — лучше всего украсть из конюшни лошадь, верхом добраться до селения, а оттуда до базового лагеря — и сразу попросить отпуск. Отпуск был ей так или иначе положен в недалеком будущем, и приблизить это будущее на неделю-другую, вероятно, не составит труда. А получив в свое распоряжение целый месяц, она успеет съездить в Англию и разыщет там кого-нибудь, для кого ее рассказ об испытанном и пережитом представит профессиональный интерес.

Коль скоро у нее составился четкий план, привлекать к себе излишнее внимание было бы неразумно. День накануне отъезда она провела как обычно, работая на кухне, а вечером, тоже как обычно, направилась в зал знакомств. И первым, кого она увидела там, едва переступив порог, оказался Гельвард.

Он стоял к ней спиной, разговаривая с одной из переселенок. Она подошла, стала рядом и тихо произнесла:

— Хэлло, Гельвард...

Он резко обернулся и уставился на нее в недоумении.

— Это вы?.. Что вы здесь делаете?

— Тсс!.. Не стоит, чтобы другие слышали, что я говорю по-английски свободно. Я ведь одна из ваших переселенных женщин.— Она двинулась в дальний угол зала. Матрона за стойкой удостоила ее поощрительным кивком, когда Гельвард бросился следом.— Послушайте,— сказала Элизабет, не давая ему опомниться,— я очень сожалею о том, что произошло последний раз у реки. Теперь я кое в чем разобралась получше...

— А вы не корите меня, если я испугал вас.

— Вы кому-нибудь говорили обо мне?

— О том, что вы с Земли? Нет.

— Очень хорошо. И не надо говорить.

— Так вы действительно с Планеты Земля? — спросил он, помолчав.

— Я с Земли, и вы тоже. Тут какое-то огромное недоразумение.

— Мой бог, вы снова за свое. Но зачем вы записались в переселенки?

— Не могла придумать другого способа проникнуть в Город.

— Я бы взял вас с собой.— Он огляделся по сторонам.— Вы подружились здесь с кем-нибудь из мужчин... Вы понимаете?..

— Понимаю, но нет, этого не было.

— И не надо.— Он все время озирался через плечо.— Вам дали комнату? Нам было бы там гораздо удобнее...

Очутившись в комнатушке, она заперла дверь: стены были тонюсенькие, но создавалась по крайней мере видимость уединения. Интересно, ему-то какой резон осторожничать? Отчего он не захотел разговаривать в зале?

— Я прочла Дистейна,— сказала Элизабет.— Увлекательный документ. И я где-то слышала это имя. Кто он был?

— Основатель Города.

— Это-то я поняла. Но он был известен чем-то еще.

Гельвард ответил ей недоуменным взглядом, потом спросил:

— А то, что вы прочли? Вы поняли то, что прочли?

— Более или менее. Он был очень одинок. И он заблуждался.

— Заблуждался? В чем?

— Во всем, что касается Города и окружающих вас опасностей. Он считал, что вас каким-то образом забросило на другую планету.

— Но это так и есть!

Элизабет покачала головой.

— Вы никогда не покидали Землю, Гельвард. И сейчас, сию минуту, когда мы говорим с вами, мы оба на Земле.

Он весь задергался, заломив в отчаянии руки.

— Вы ошибаетесь! Не знаю, как это может быть, но вы ошибаетесь! Что бы вы ни говорили, Дистейн написал правду.

Элизабет попыталась подойти к делу с иной стороны.

— Тогда, у реки... вы нарисовали над моей головой солнце. Солнце гиперболической формы. Вы видите его именно таким? А меня вы изобразили слишком худой и высокой. Опять-таки потому, что вы такой меня и увидели?

— Не я вижу солнце таким, а оно такое й есть. И таков же весь этот мир. А вас... вас я нарисовал такой, какой вы были тогда. Мы же встретились далеко на север от Города. А теперь... Нет, этого не объяснишь — слишком сложно.

— А вы попробуйте.

— Не стану и пробовать.

— Ну, не хотите — не надо. А знаете, каким вижу солнце я? Самым обычным, круглым, сферическим — выберите термин по вкусу. Ваши органы чувств обманывают вас. Не знаю почему, но обманывают... и с Дистейном было то же самое.

— Лиз, это не обман чувств. Я не просто вижу, не просто воспринимаю — я ж и в у в этом мире. И я не один. Бо́льшинство жителей Города знают то же, что знаю я. Наши знания восходят к Дистейну, потому что он был здесь с самого начала. И если мы не погибли за столько лет, то лишь благодаря этим знаниям...

Элизабет попыталась вставить реплику, но он продолжал:

— Лиз, после того как мы расстались тогда, мне надо было подумать. Я поехал на север, еще дальше на север. И обнаружил такое... такую преграду, с какой мы не сталкивались никогда прежде. Встреча с вами была — не умею выразить — подарком, какого я не ожидал. Но она косвенно повлекла за собой открытие еще большего значения.

— Что же это за открытие?

— Не могу вам сказать.

— Почему?

— Я не вправе говорить о нем ни с кем, кроме членов Совета. Они наложили запрет на распространение информации, по крайней мере на текущий момент. Если новость станет общим достоянием, не миновать беды.

— Какой беды?

— Вы не слышали о терминаторах?

— Слышала, хоть и не знаю толком, кто это такие.

— Ну, как бы лучше выразиться... это группа горожан, своего рода течение. Они намерены заставить Город остановиться. Если новость дойдет до них, поднимется страшная кутерьма...

Элизабет смотрела на него молча, не находя слов. Неожиданно она увидела себя и всю ситуацию в новом свете. Судьба поставила ее как бы на стыке двух реальностей: ее собственной, привычной с детства, и реальности Гельварда. И как бы ни приблизились две реальности друг к другу, им не сомкнуться. Угораздило же ее впутаться в трагедию, где одна логика пасовала перед лицом другой,— и найти выход оказывалось ей не по силам.

— Я собираюсь завтра уехать из Города,— сказала Элизабет.

— Поехали вместе. Мне как раз предстоит поездка на север.

— Ничего не получится, мне надо вернуться в селение.

— В то самое, откуда привезли женщин?

— Да.

— Это по пути. Я достану вам лошадь.

Новое противоречие: селение лежало на юго-запад от Города.

— Зачем вы пожаловали к нам в Город, Лиз?

— Хотела повидать вас.

— Зачем?

— Сама толком не знаю. Вы напугали меня, но я встретила еще и ваших коллег, вступивших в переговоры с селянами. Хотелось выяснить, что происходит. Лучше бы я не ввязывалась в эту историю. Честно говоря, я и сейчас вас боюсь.

— Я же сейчас смирный...

Она рассмеялась — и поняла, что смеется впервые с того самого дня, как прибыла в Город.

— Да нет,— сказала она,— тут дело не в вас. Все, что я принимала как само собой разумеющееся, здесь, в Городе, выглядит иначе. И не мелочи, а самые важные понятия, например, цель жизни. Вы все здесь такие целеустремленные, словно Город — средоточие всей человеческой цивилизации. А это не так. Для человека на свете есть множество дел, и стремление выжить — не единственная цель существования и даже не главная. Что бы вы ни думали, ваш Город — вовсе не центр вселенной.

— Нет, центр,— возразил он.— Потому что, если мы усомнимся в этом, мы все умрем.

8

Выбраться из города оказалось даже проще, чем Элизабет себе представляла. Вместе с Гельвардом и еще одним мужчиной, которого звали разведчик Блейн, они спустились в конюшню, оседлали трех лошадей и двинулись в направлении, которое Гельвард упорно называл северным. Вновь, в какой уже раз, она спросила себя, что стряслось с его чувством ориентации,— судя по солнцу, они ехали на юго-запад,— но вслух никаких вопросов не задала.

Под вечер они проехали примерно в миле от ее селения, и Элизабет сказала Гельварду, что пора расставаться.

— Нет-нет, поезжайте с нами. Вернуться всегда успеете.

— Но я собираюсь в Англию,— ответила она.— Надеюсь, что сумею вам помочь.

— Сначала вы должны кое-что увидеть.

— Что именно?

— Сами не знаем,— отозвался Блейн.— Вот Гельвард и подумал, что вы, быть может, подскажете...

Элизабет поупрямилась минуту-другую, но в конце концов согласилась. Просто поразительно, как быстро и, в общем, охотно она дала себя вовлечь в чуждые ей заботы. То ли эти люди чем-то привлекли ее, то ли растормошили: обычаи Города при всей их экзотичности напоминали собой порядок, складывались в подобие цивилизации — и это в стране, которую на протяжении многих десятилетий раздирала анархия! За считанные недели, проведенные в селении, Элизабет стала ощущать, что повадки крестьян, их хроническая летаргия, неспособность справиться даже с пустячными житейскими проблемами истощили ее волю, почти исчерпали профессиональную готовность служить интересам других. Горожане были людьми иной породы: очевидно, потомками какой-то группы, уцелевшей в дни Катастрофы и продолжавшей жить по законам прошлого. В Городе сохранились все признаки организованного общества: дисциплина, чувство цели, безусловное, присущее каждому самосознание,— все это не могло не привлекать, невзирая на заведомый оттенок анахронизма, невзирая на явные несоответствия между формой и содержанием.

И когда Гельвард попросил Элизабет составить им компанию, а Блейн поддержал его, она не нашла в себе сил сопротивляться. В конце концов, ее никто не тянул в Город на аркане, она влезла в эту кашу по доброй воле. Она бросила порученных ее попечению селян — ну, допустим, это можно оправдать беспокойством за судьбу женщин,— и теперь хочешь не хочешь обязана довести свою затею до конца....

Ночь они провели в палатках. Палаток было только две, и мужчины галантно уступили одну Элизабет — но сначала чуть не замучили ее разговорами. По-видимому, Гельвард рассказал своему коллеге о том, как встретился с ней и как поразился ее несходству ни с туземными женщинами, ни с горожанками. И сейчас Блейн обращался к ней напрямую, а Гельвард держался в тени, лишь время от времени поддакивал, подтверждая слова товарища.

Блейн понравился Элизабет прежде всего своей прямотой: он не уклонялся даже от самых неприятных вопросов. Но в общем и целом он только удостоверял то, что Элизабет уже знала и без него: Дистейн и Директива, неустанное перемещение как первейшая заповедь Города, диковинный облик планеты. Элизабет не пыталась спорить, просто слушала: опыт внушил ей, что препираться с горожанами бесполезно.

Леса остались позади; ныне их путь лежал по неровной пустоши, поросшей кое-где высокой травой да хилыми кустами. Здесь не было ни дорог, ни тропинок, лошади шли медленно. В лицо дул ровный и прохладный, бодрящий ветерок.

Мало-помалу исчезла всякая растительность, кроме редких пучков упрямой жесткой травы, цепляющейся за песчаную почву. Перед Элизабет открылась полоска дюн, а за ней берег. Лошадь, уже учуявшая в воздухе соленый привкус, с готовностью откликнулась на прикосновение каблуков и устремилась по дюнам вниз легким галопом. На несколько пьянящих минут Элизабет вовсе отпустила поводья, упиваясь счастьем вольного полета над кромкой прибоя по пляжу, вот уже многие годы не видевшему ни сора, ни следов — ничего, кроме мягкого наката волн.

Гельвард и Блейн спустились на берег следом за ней и стали рядом, спешившись и глядя вдаль, на бескрайний водный простор.

— А что на запад и на восток? — спросил Блейн.

— То же самое. Я поискал объездной путь, но не нашел.

Блейн вынул из седельной сумки видеокамеру, подсоединил ее к батареям и плавным круговым движением отснял панораму водной глади.

— Надо отправить разведчиков еще дальше на восток и на запад,— сказал он.— Такое пространство не пересечь.

— Другого берега даже не видно.

Блейн глянул себе под ноги и нахмурился.

— И почва мне не нравится. Надо вызвать сюда мостостроителей. По-моему, песок не выдержит тяжести Города.

Гельвард достал какой-то небольшой инструмент и установил его у самой воды. Инструмент был снабжен треногой и круглой шкалой, подвешенной на оси. Опустив на шкалу отвес, гильдиер снял с нее показания.

— Мы далеко опередили оптимум, — заявил он наконец. — У нас уйма времени. Тридцать миль — без малого год по городским часам. Неужели не успеем?

— Построить мост? Н-да, тут придется повозиться. И людей потребуется больше, чем у нас есть...

Еще с полминуты он смотрел на безбрежную ширь, потом будто вспомнил о существовании Элизабет и обернулся к ней.

— Ну, и что вы об этом скажете?

— О чем? Чего вы, собственно, от меня ждете?

— Скажите нам, что наше восприятие нас обманывает. Скажите, что тут нет реки.

— Это не река,— отозвалась она.

Гельвард бросил взгляд на Блейна.

— Ну вот, ты слышал. Нам это только мерещится.

Элизабет закрыла глаза и отвернулась. От ветра ее знобило, она стянула с лошади попону и, закутавшись, отошла за дюны. Мужчины сразу же опять забыли о спутнице, Гельвард вытащил какой-то другой инструмент. Он считывал показания вслух, голос его на ветру звенел пронзительно и тоскливо.

Они работали мучительно медленно, кропотливо проверяя друг друга. Через час Блейн упаковал свою часть снаряжения, сел в седло и поскакал по берегу в северном направлении. Гельвард остался и долго смотрел вслед компаньону, и самая его поза, как показалось Элизабет, выражала глубокое одиночество и отчаяние.

Она истолковала это как крошечную трещинку в разделяющем их барьере. Закутавшись в попону еще плотнее, спустилась по дюнам назад к кромке прибоя и спросила:

— Вы хоть знаете, где находитесь?

Он даже не повернул головы.

— Нет, не знаем. И никогда не узнаем.

— В Португалии. Эта страна называется Португалией. Она в Европе.

Элизабет передвинулась так, чтобы заглянуть ему в лицо. Секунду-другую он смотрел на нее в упор, потом безмолвно покачал головой и прошел мимо женщины к своей лошади. Барьер был непреодолимым.

Элизабет оставалось лишь последовать его примеру и сесть в седло. Она пустила лошадь шагом — сначала вдоль берега, затем вкось от воды, примерно в сторону базового лагеря. Несколько минут — и тревожная синева Атлантики пропала из виду.

Часть пятая

1

Гроза бушевала всю ночь, и всю ночь никто из нас не сомкнул глаз. Наш лагерь был расположен в полумиле от моста, и рев волн, обрушивающихся на берег, достигал нас, как монотонный гул, к тому же приглушенный завыванием ветра. Но нам то и дело, особенно в секунды затишья, мерещилось, что мы слышим треск и стон дерева, крошащегося в щепу.

К утру ветер утих, и мы наконец-то заснули. Правда, ненадолго — кухня задымила, как обычно, с рассветом, и нас позвали на завтрак. За едой все молчали: тема для разговоров могла найтись только одна, а ее никто не хотел поднимать.

Затем мы отправились к мосту. И не прошли и пятидесяти ярдов, как кто-то указал на кусок дерева, заброшенный волнами далеко на берег. Мрачное предзнаменование — и, как выяснилось, правильное: от моста не осталось ничего, кроме первых четырех свай, вбитых в относительно твердый грунт у самых дюн.

Я взглянул на Леру — на эту смену он был здесь старшим.

— Понадобятся бревна, много бревен,— заявил он.— Меновщик Норрис, возьмите тридцать человек на валку леса.

Меня разбирало любопытство, что-то ответит Норрис: из всех гильдиеров, занятых на строительстве, он был самым нерадивым и поначалу то и дело донимал нас пространными нудными жалобами. Но сегодня он и не подумал противиться,— видно, детская болезнь бунтарства канула в прошлое.

— Значит, начнем все сначала? — обратился я к Леру.

— Конечно.

— А новый мост выдержит?

— Если построить его должным образом, то да.

Мы трудились весь день не покладая рук. К вечеру площадка была расчищена, а Норрис со своими помощниками приволокли на берег четырнадцать толстых стволов. Теперь мы действительно могли наутро начать все сначала.

Но я не стал дожидаться утра и разыскал Леру. Он сидел в палатке один, перебирая листочки с набросками моста, хотя мысли его, по-моему, витали где-то далеко.

Встречи со мной не доставляли ему удовольствия, однако мы с ним были здесь старшими по рангу, и, помимо того, он понимал, что я не стану докучать ему без причины. Мы достигли примерно одинакового возраста: специфика моей работы на севере привела к тому, что я прожил множество никем не считанных, но субъективно долгих лет. Мы стали теперь ровесниками, хоть ни один из нас и не позволял себе говорить об этом.

— Знаю, знаю, зачем ты пожаловал,— бросил он, едва я переступил порог.— Собираешься заявить мне, что этот мост нам никогда не построить.

— Да, это будет нелегко,— заметил я.

— Ты хотел сказать — невозможно.

— А как по-вашему?

— Я строю мосты, Гельвард. Думать мне не положено.

— Что за чепуха!

— Городу нужен мост, и я его строю. И не задаю лишних вопросов.

— До сих пор у рек, какие мы пересекали, было два берега.

— Это несущественно. Можно построить понтонный мост.

— А когда мы достигнем середины реки, где нам взять новую древесину? На чем устанавливать канатные опоры? — Я без приглашения сел напротив Леру.— Но главное — противоположный берег. Где он?

— Где-нибудь там.

— Где — там?

— Не знаю.

— Откуда в таком случае известно, что он вообще есть? Мы же вышли сюда задолго до оптимума, смотрели под благоприятным углом и все-таки ничего не видели. Между тем поверхность планеты...

— ...вогнутая, ты хотел сказать? Естественно, я и сам размышлял об этом. Теоретически мы можем в любой момент объять взглядом всю планету. А на деле

атмосферная дымка не дает нам видеть дальше, чем на двадцать—тридцать миль, и то в ясный день.

— Уж не собираетесь ли вы и вправду строить мост длиною в тридцать миль?

— Полагаю, что такой длинный мост нам не понадобится. Полагаю, что вообще все обойдется. Иначе зачем бы я стал упорствовать?

Я покачал головой.

— Понятия не имею.

— Известно ли тебе,— продолжал он,— что меня выдвигают в навигаторы? — Я опять покачал головой.— А это так. Когда я последний раз был в Городе, состоялось большое совещание. Общее мнение — река, вероятно, не так широка, как кажется. Не забывай, что к северу от оптимума все линейные масштабы искажаются. Сжимаются с запада на восток, растягиваются с севера на юг. Несомненно, перед нами очень многоводная река, но противоположный берег у нее так или иначе существует. И Совет склоняется к мысли, что, как только движение почвы снесет реку к точке оптимума, мы этот берег увидим. Да, конечно, река и тогда останется слишком широкой, чтобы пересечь ее одним прыжком, но все, что от нас потребуется,— набраться терпения и подождать. Чем южнее мы очутимся, тем уже и мельче станет река, тем легче будет построить мост.

— Но это дьявольский риск! Центробежная сила...

— Она учитывается.

— А что, если противоположный берег так и не появится?

— Он должен появиться, Гельвард, иначе не может быть.

— Вы слышали об альтернативном проекте? — осведомился я.

— Слышал, что болтают безответственные люди. Что можно покинуть Город и построить корабль. Моего согласия они не допросятся.

— Гордое упрямство мостостроителя?

— Нет! — выкрикнул он, побагровев.— Здравый смысл! Мы просто не сумеем сконструировать корабль достаточно вместительный и достаточно прочный.

— Пока что нам не удается построить достаточно прочный мост.

— Это правда — но мы по крайней мере разбираемся в мостах. А кто в Городе хоть что-нибудь смыслит в кораблестроении? На ошибках учатся. Будем начинать снова и снова, пока мост не выдержит нагрузку.

— А время бежит...

— Как далеко в данный момент отсюда до оптимума?

— Двенадцать миль, даже немного меньше.

— По городским часам сто двадцать дней,— сказал Леру.— А здесь — сколько времени у нас есть здесь?

— Субъективно — примерно вдвое больше.

— Ну, этого хватит.

Я встал и двинулся к выходу. Он меня не убедил.

— Кстати,— бросил я через плечо.— Примите поздравления с титулом навигатора.

— Благодарю. Учтите, что в списке тех, кого прочат в члены Совета, ваше имя значится рядом с моим.

2

Спустя несколько дней нас с Леру сменили, и мы отправились в Город. Строительство нового, четвертого по счету моста через реку шло полным ходом, и настроение в лагере и на площадке царило приподнятое. Десять ярдов моста были готовы полностью — хоть сейчас настилай пути.

Поначалу мы молчали, потом я поинтересовался:

— Как поживает Виктория?

— Спасибо, хорошо.

— В последнее время я ее почти не видел.

— Я тоже.

Я осекся: упоминание о дочери явно привело его в замешательство. В течение последних миль слух о реке, преградившей нам путь, неизбежно стал общим достоянием, и терминаторы не замедлили громогласно напомнить о себе,— а Виктория выдвинулась среди них в признанные лидеры. Как и большинство ее единомышлен-

ников, она продолжала выполнять свои повседневные обязанности на пользу Города, однако влияние терминаторов сказывалось, между прочим, и в том, что городские службы зачастую работали спустя рукава. У навигаторов всегда наготове было объяснение: люди, мол, переброшены на строительство моста, но мало кто сомневался в том, что объяснение фальшиво.

— Ну и как, намерены вы принять предложенный пост? — спросил я.

— Наверное, да. Не хочется уходить в отставку, но...

— Кто же говорит об отставке?

— Кресло в Совете фактически означает отставку. Отставку от работы в гильдии. Навигаторы почитают это новым шагом в своей политике. Вовлекая в Совет тех, кто играл активную роль в верховных гильдиях, они рассчитывают поднять его авторитет. Между прочим, именно поэтому выдвинули и твою кандидатуру...

— Мое место на севере,— перебил я.

— Мое тоже. Но мы с тобой достигли такого возраста...

— Не смейте и думать об отставке, — воскликнул я. — Вы же лучший специалист по мостам во всем Городе!

— Утверждают, что так. И тактично умалчивают о том, что три моих последних моста рухнули один за другим.

— Это те три, что не выдержали натиска волн на реке?

— Именно. И четвертый разделит их судьбу, как только налетит новая гроза.

— Но вы же сами говорили...

— Гельвард, этот мост мне не по зубам. Тут нужен кто-нибудь помоложе.

Мы с Леру оба понимали без лишних слов, чего стоило ему подобное признание. Мостостроители недаром считались самой гордой гильдией во всем Городе. Ни один мост ни разу не подводил своих создателей. Вплоть до недавнего времени.

Едва появившись в Городе, я ощутил острое желание вернуться на север. Очень уж не по душе мне пришлась господствующая здесь атмосфера: повсюду в глаза бросались лозунги, вывешенные терминаторами, в коридорах валялись грубо напечатанные листовки.

В кабинете разведчиков будущего меня встретил Клаузевиц, ныне член Совета навигаторов. Он вручил мне официальное письмо с предложением принять высший в Городе ранг.

— Благодарю за честь,— ответил я.— Но принять ее не могу.

— Вы нам нужны, Гельвард. Вы один из опытнейших гильдиеров.

— Не спорю. Но мое место у моста.

— Вы принесете еще больше пользы здесь.

— Не думаю.

Клаузевиц отвел меня в сторону и взял доверительный тон:

— Совет создает рабочую группу для переговоров с терминаторами. Они требуют, чтобы мы отказались от перемещения Города и перешли на оседлый образ жизни. Мы склонны прислушаться к ним, но лишь отчасти, и отказаться от моста.

Я уставился на него в недоумении и наконец сказал:

— Решительно не стану участвовать в подобной сделке.

— Вместо моста мы построим корабль. Естественно, не столь сложный, как Город,— меньше по размерам и проще по конструкции. Лишь бы перебраться на противоположный берег, а там мы возведем Город заново.

Я вернул ему письмо и направился прочь.

— Нет и еще раз нет. Это мое последнее слово.

3

Я решил покинуть Город без промедления, вернуться на север и провести новую разведку реки. Что, если Леру был прав и противоположный берег удастся различить, как только река приблизится к оптимуму? Я хватался за эту гипотезу как за соломинку — но ведь если бы мне удалось засечь тот дальний берег, отпали бы все и всякие возражения против моста...

Мне вспомнилась фраза, брошенная когда-то Блейном. Он заявил, что Город — скопище фанатиков, и я его тогда не понял. Он пояснил, что фанатик — это человек,

который не сдается даже тогда, когда на успех не осталось никаких шансов. Город борется, в сущности не имея шансов на успех, со времен Дистейна, и за спиной у нас уже семь тысяч достоверно пройденных миль, ни одна из которых не досталась нам даром. Выжить в опрокинутом мире, говорил Блейн, человек не может и не должен — и тем не менее Город прожил семь тысяч миль и собирается жить еще.

Вероятно, я унаследовал фанатизм от далеких предков, но мною владело чувство, что исконное стремление горожан уцелеть любой ценой сохранилось во мне, и только во мне. И сосредоточилось для меня в строительстве моста, какой бы безнадежной ни выглядела эта затея.

В коридоре я столкнулся с гильдиером, с которым когда-то вместе учился в яслях. Теперь он субъективно стал на много миль моложе меня.

— Куда направляешься? — окликнул он.

— На север,— ответил я.— Здесь мне нынче делать нечего.

— Ты что, не слышал о митинге?

— Каком еще митинге?

— Терминаторы созывают митинг.

— И ты идешь к ним?..

В моем голосе, надо думать, прозвучало такое неодобрение, что он начал защищаться:

— Да, иду. А почему бы и нет? Они впервые решились выступить публично.

— Ты что, с ними заодно?

— Ничуть не бывало. Но я хочу послушать, что они скажут.

— А что, если они убедят тебя в своей правоте?

— Вряд ли.

— Тогда зачем идти?

Он помолчал и спросил:

— Значит, Гельвард, ты окончательно утратил объективность? Ты считаешь, что на свете есть лишь одна точка зрения — твоя?

— Нет, не считаю. Но тут не может быть никаких споров. Они неправы, и ты знаешь это не хуже, чем я.

— Из того, что человек неправ, еще не следует, что он дурак.

— Послушай,— взмолился я,— ты же побывал в прошлом. Тебе известно, что довольно Городу остановиться — и его неизбежно снесет туда движением почвы. Какие же могут быть сомнения в том, что́ нам делать?

— Да, все это мне известно. Но терминаторов поддерживает значительная часть горожан. Мы обязаны хотя бы выслушать их.

— Они — враги безопасности Города!

— Согласен. Но чтобы одолеть врага, надо знать его. Я должен знать, с кем и с чем мне предстоит сражаться. Если мы намереваемся преодолеть эту реку, то перевести Город на другой берег будет поручено мне и таким, как я. Либо у терминаторов есть альтернатива, и тогда я хочу ее выслушать. Либо у них ее нет, и тогда я хочу в этом убедиться.

Мы еще поспорили, но в конце концов отправились на митинг вместе.

Миль пять — десять назад работы по восстановлению яслей, и без того вялые, были приостановлены. Широкая стальная площадка опорной рамы, оголенная после расчистки пожарища, открывала с трех сторон широкий вид на окрестный ландшафт, а с четвертой, северной, примыкала к уцелевшим городским постройкам.

Митинг уже начался. Оратор — это был кто-то из службы синтеза — в основном посвятил свою речь описанию окружающих Город в настоящее время природных условий.

— ...Почвы тут богатые, и мы еще вполне можем успеть вырастить и собрать собственный хлеб. Климат приятный. Туземцы не проявляют враждебности, и нам нет нужды их озлоблять...

Через несколько минут он сошел с трибуны под жиденькие аплодисменты. Без всякой паузы слово взял следующий оратор. Это была Виктория.

— Граждане Города, стараниями Совета навигаторов мы поставлены перед лицом нового кризиса. Тысячи миль подряд мы ползли по этой земле, не брезгуя никакими, самыми бесчеловечными средствами, лишь бы остаться в живых. До сих

пор нам навязывали единственный способ существования — двигаться, двигаться все дальше на север. За нами,— она широко взмахнула рукой, как бы обведя ею местность за южным краем площадки,— пережитые в силу этого невзгоды. Впереди река. Река, которую, нам твердят, нужно пересечь во что бы то ни стало...

По мне, все это отдавало дешевой риторикой, но толпе примитивные приемчики Виктории пришлись явно по вкусу. Да и я, по-видимому, не сумел сохранить равнодушия в той мере, в какой хотелось бы. Особенной неожиданностью явилась для меня самая концовка речи:

— Я утверждаю, что мост не только не нужен, но и опасен для каждого из нас. И это не голословное утверждение. Многие из вас знают, что мой отец стоит во главе гильдии мостостроителей. Послушайте, что он скажет.

Мостостроитель Леру уже поднялся на трибуну и стал подле дочери, выжидая, покуда стихнут аплодисменты. Смотреть на толпу он избегал, понуро уставясь себе под ноги. Выглядел он совершенным стариком, усталым и подавленным.

Я стал проталкиваться сквозь толпу, мечтая только об одном — скрыться, прежде чем Леру произнесет хоть слово. Я привык уважать его и не хотел даже слышать, как он кается в своем поражении.

Но сделав всего десяток шагов, я замер как вкопанный. Позади Виктории и ее отца я высмотрел еще одну знакомую фигуру. Элизабет Хан!

Наверное, это был шок: я никак не ожидал увидеть ее опять. Сколько воды утекло с тех пор, как она оставила нас! Не менее восемнадцати миль по городским часам, а субъективно еще больше. Я всячески старался вычеркнуть ее из памяти — и это мне почти удалось..

Леру заговорил. Его голос звучал чуть слышно, смысл речи до меня не доходил. Я не сводил глаз с Элизабет. Я уже понял, зачем она здесь. Когда Леру кончит бичевать себя, слово предоставят ей.

Уголком глаза я приметил Блейна, который протискивался к нам сквозь толпу.

— Гельвард, ты только погляди, кто на трибуне!

— Блейн, ради всего святого, помоги мне!..

Я рванулся вперед сквозь толпу, и он с трудом удержал меня.

— Прекрати, Гельвард. Стой спокойно и слушай.

— Но я знаю наперед, что она скажет!

— Так не мешай остальным.

Виктория снова выступила вперед.

— Граждане Города, я сейчас предоставлю слово одному человеку. Большинству из вас она незнакома, и неудивительно — ведь она не горожанка. Но то, что она сообщит вам, имеет огромное значение, и надеюсь, у вас отпадут последние сомнения в том, что нам делать.

Элизабет не повышала голоса, но слова ее, кажется, были слышны на многие мили вокруг.

— Я для вас незнакомка, но мы с вами соплеменники: мы люди, и мы земляне. Вы прожили в этом Городе без малого двести лет — по вашему счету времени семь тысяч миль. Вокруг себя вы видели мир, погрязший в хаосе и поверженный в развалины. Люди, которых вы встречали на своем пути, были темны и невежественны, раздавлены нищетой. Однако в мире есть и другие люди, и другие страны. Ваше организованное, упорядоченное существование — отнюдь не единственное в своем роде...

Она замолкла в ожидании отклика со стороны толпы. На площадке стояла мертвая тишина.

— Я наткнулась на ваш Город совершенно случайно и некоторое время прожила среди вас как переселенка.— Послышался удивленный гул.— Я беседовала с несколькими из вас, стараясь вникнуть в вашу жизнь. Потом я покинула Город и вернулась домой, в Англию. Я провела там почти полгода, попыталась разобраться в истории Города. Сегодня я знаю о вас много больше, чем в первый свой приезд...

Она сделала новую паузу. Из толпы раздался чей-то выкрик:

— Но ведь Англия на Земле!..

Словно не расслышав этого выкрика, Элизабет сказала:

— Разрешите вопрос. Есть здесь кто-нибудь, кто отвечает за машины, приводящие Город в движение?

После недолгого замешательства один из стоявших неподалеку от меня ответил:

— Я из гильдии движенцев.

— Можете вы сообщить нам, какая сила питает эти машины?

— Ядерный реактор.

— А какое топливо подается в реактор и как часто?

Я почувствовал, что Блейн ослабил хватку, и мог бы освободиться. Но меня, как и всех остальных, заворожили странные вопросы Элизабет.

— Понятия не имею, — помолчав, сказал представитель движенцев. — Наша гильдия полагала, что он способен работать бесконечно долго без всякого топлива.

— Нет у вас никакого реактора,— сказала Элизабет.— Сами того не ведая, ваши гильдиеры-движенцы вводят вас в заблуждение. Когда-то, возможно, реактор и был, но он не работает уже на протяжении тысяч миль.

— Не слушайте ее! — закричал я.— Есть у нас электричество? Есть. Значит, реактор работает. Откуда бы иначе оно могло взяться?..

— Сейчас объясню,— ответила Элизабет с трибуны.

Элизабет заявила, что расскажет нам о Дистейне. Я слушал затаив дыхание, как и все остальные.

Фрэнсис Дистейн был физик, специалист по теории элементарных частиц, и жил он в Великобритании, на Планете Земля. Это были времена, когда на Земле стали ощущать нехватку энергии. Элизабет перечислила причины энергетического кризиса — главной из них явился дефицит полезных ископаемых, которые сжигали, превращая в тепло, а тепло — в энергию. Когда запасы ископаемых были исчерпаны, источников энергии фактически не осталось.

Дистейн, продолжала Элизабет, выступил с утверждением, что открыл процесс, при котором энергия может быть получена в неограниченных количествах и без топливных затрат. Его идея была решительно отвергнута большинством ученых. Пробил час — и запасы горючих ископаемых подошли к концу, и тогда на Земле наступил период, который для краткости стали называть Катастрофой. Развитая технологическая цивилизация в том виде, в каком она расцвела до Катастрофы, на части земного шара перестала существовать.

Элизабет рассказала, что в первоначальном своем виде установки Дистейна были недодуманными и опасными для здоровья, теперь их несколько усложнили, зато сделали экономичными и безвредными.

— А какое отношение все это имеет к нашему Городу? — крикнул кто-то из толпы.

— Сейчас узнаете,— сказала Элизабет.

Дистейн изобрел генератор, создающий искусственное энергетическое поле. Достаточно поместить два таких поля по соседству друг с другом — и между ними потечет электрический ток. Критики Дистейна не замедлили указать, что открытие не имеет практического значения хотя бы потому, что два генератора потребляют энергии больше, чем производят.

Дистейну отказали в поддержке — как финансовой, так и нравственной. И даже когда он обнаружил однотипное естественное поле — он назвал его транслатерационным окном — и таким образом смог получать энергию без второго генератора, ему не поверили. Естественное транслатерационное окно — потенциальный источник энергии,— по данным Дистейна, медленно перемещается по поверхности Земли, как бы описывая исполинский круг.

Мало-помалу Дистейну удалось собрать кое-какие средства за счет частных пожертвований и построить передвижную исследовательскую лабораторию. Он набрал группу помощников и вместе с ними отправился в Юго-Восточную Азию, в район Гонконга,— туда, где в тот момент находилось транслатерационное окно.

— С тех пор,— сказала Элизабет,— Дистейн не подавал о себе вестей.

Элизабет заявила, что мы по-прежнему на Планете Земля, что мы никогда ее и не покидали.

Она заявила, что наш опрокинутый мир — это и есть Земля, только наше восприятие окружающего искажено транслатерационным генератором, который, коль скоро его запустили, действительно не нуждается ни в каком топливе, но создает вокруг себя губительное для здоровья поле.

Она заявила, что Дистейн пренебрег побочными эффектами своего открытия, на которые ему в свое время указывали. Его предупреждали, что генератор в своем первоначальном виде неизбежно повлияет на органы чувств, вызовет наследственные недуги и генетические отклонения.

Она заявила, что транслатерационное окно в самом деле существует, и не одно, что на Земле открыли много таких же окон.

Заявила, что окно, обнаруженное Дистейном, находится под нами и питает наш генератор.

Что, следуя по кругу, оно за двести лет переместилось из Юго-Восточной Азии в Европу.

Что сегодня мы достигли самого края Европы и перед нами океан шириной в несколько тысяч миль.

Она говорила, говорила — а люди слушали...

Когда Элизабет закончила, я медленно двинулся сквозь толпу к двери, ведущей в Город. Мне пришлось пройти почти рядом с трибуной, и меня заметили.

— Гельвард! — окликнула Элизабет.

Я не остановился и, раздвинув толпу, углубился в недра Города. Спустился по лестнице, миновал темный проход под днищем и вышел вновь на солнечный свет.

Я шел на север — туда, куда вели рельсы и канаты.

4

Через полчаса я услышал позади цокот копыт и обернулся. Элизабет нагнала меня и, поравнявшись, спросила:

— Куда путь держите?

— На север, к мосту.

— Не ходите, незачем. Движенцы отключили генератор.

Я сердито ткнул пальцем вверх.

— И солнце теперь снова шар...

— Вот именно.

Я даже не замедлил шага.

Элизабет повторила мне все, о чем говорила на митинге. Она заклинала меня внять голосу разума, повторяя вновь и вновь, что мир опрокинут лишь в моем субъективном восприятии.

Я молчал.

Что с ней спорить, она не бывала в прошлом. Ее не было рядом со мной в те часы, когда я наблюдал воочию жуткие истины этого мира. Разве могло мое восприятие чудовищно изменить физический облик Люсии, Росарио и Катерины? А малыш — что, это мое больное восприятие заставляло малыша маяться от материнского молока? Что, это мое воспаленное воображение заставляло городскую одежду расползаться по швам, когда тела женщин просто-напросто перестали умещаться в ней?

— Почему вы не рассказали мне все это во время нашего предыдущего разговора? — спросил я.

— Потому что я этого и сама тогда не знала. Чтобы узнать, мне пришлось вернуться в Англию. И поразительное дело — никого в Англии мое открытие не взволновало. Я так старалась найти кого-нибудь, кто проявил бы каплю сострадания к вам, к вашему Городу... но нет, ваша судьба никого не трогала. На Земле сегодня происходит множество важных событий. И на судьбу какого-то городишка на колесах всем наплевать...

— Зачем же вы вернулись сюда?

— Потому что я видела Город своими глазами. Я должна, я обязана была выяснить все про Дистейна... и про транслатерацию — это сегодня стандартный, повсеместно принятый технологический процесс, но я-то лично ничего в нем не понимала!

— А что тут понимать, все яснее ясного,— отозвался я.

— То есть? — переспросила Элизабет.

— Если генератор, как вы утверждаете, отключен, тогда не осталось вообще никаких проблем. Мне надо лишь время от времени поднимать глаза на солнце и внушать себе, что это шар, как бы он на самом деле ни выглядел.

— Но, Гельвард, это же обман зрения!

— Обман или не обман, а я верю тому, что вижу.

Стройплощадка опустела. Я спустился с берега по мягкому желтому грунту на настил покинутого моста. Внизу блестела вода, прозрачная и спокойная; интересно, откуда же берутся волны, что даже сейчас облизывают сваи, выкатываясь на песок?

Обернувшись, я увидел Элизабет, стоящую рядом с лошадью на берегу. Она смотрела мне вслед — я ответил ей долгим взглядом, потом нагнулся, снял ботинки и босиком пошел дальше, к самой крайней точке настила.

Солнце спускалось к северо-западному горизонту. Какое же это было прекрасное, своеобразное зрелище! Изящный, загадочный огненный контур, эстетически куда более привлекательный, чем безыскусный шар. Жаль, что мне так ни разу и не удалось удовлетворительно передать красоту этих линий на бумаге.

Я нырнул с моста головой вперед. Вода обожгла тело холодом, но это было даже приятно. Едва я вынырнул на поверхность, подоспевшая волна швырнула меня обратно на ближайшую сваю. Я оттолкнулся от склизкого бревна и поплыл вдаль, на север, ровными сильными гребками.

Потом меня разобрало любопытство: неужто Элизабет все еще наблюдает за мной? Я перевернулся и лег на воду. Оказывается, покуда я плыл, женщина тоже спустилась с берега и теперь неторопливо ехала верхом по неровным доскам настила. Достигнув края, она остановилась, и, замерев в седле, пристально смотрела мне вслед.

Я поплыл дальше на спине. Может, она хотя бы помашет мне? Заходящее солнце обливало ее сочной желтизной, и она будто светилась на фоне темной голубизны неба.

Вновь перевернувшись, я устремил взгляд на север. Солнце уже почти закатилось, большая часть широкого сплюснутого диска скрылась из виду. Я ждал — и вот на моих глазах за горизонт ушла середина, а затем и верхушка светового копья. Меня накрыло темнотой, и тогда я поплыл, взрезая пенистые гребешки волн, обратно к берегу.

В нынешнем электронном быту обыкновенный школьный глобус в диковинку. И все же попробуйте достать глобус и прикинуть на нем — а на худой конец на карте полушарий — маршрут Города, пройденный им за двести лет, за семь тысяч миль.

Крайние точки маршрута Кристофер Прист обозначил отчетливо: Гонконг и атлантическое побережье Португалии. Для полной наглядности натяните между этими точками нитку — она ляжет на самые труднодоступные районы Юньнаня, прорежет чуть не половину Гималаев, пронижет Гиндукуш, Эльбурс, хребты Малой Азии, а напоследок неминуемо пересечет моря: Эгейское, Адриатическое, Тирренское... Да, но ведь, по Присту, Город перемещался не по кратчайшему пути, а вслед за «транслатерационным окном», то есть по кругу. Пусть так — отклоняйте нитку, только равномерно, описывайте с ее помощью круги любого диаметра: вам удастся уйти от Средиземноморья, но вы никуда не денетесь от гор Куэньлуня и Наньшаня на востоке, от Альп и Пиренеев на западе. При этом расстояние от Гонконга до Атлантики станет неизбежно возрастать и далеко превысит семь тысяч миль, но не будем придираться. Главное в другом: ни прямой, ни равномерно изогнутый маршрут из Юго-Восточной Азии в Западную Европу при тех довольно скромных технических средствах, какие Прист отпустил своим гильдиерам, попросту невозможен.

Вторая, еще более явная невозможность — хронология действия. Начальная запись в «Директиве Дистейна» датирована 1987 годом. По Присту, катастрофа,

постигшая к этому году цивилизованный мир, носила не военно-ядерный (при всей безысходной мрачности подобного пророчества спорить с ним было бы много труднее), а сравнительно мирный, энергетический характер. Однако даже по самым пессимистическим оценкам западных экспертов, нефти на Земле хватит еще на три-четыре десятилетия, угля — на полтора-два столетия, не говоря уже о перспективах ядерной и термоядерной энергетики, поистине безграничных. Так что и в этом отношении воспринимать нарисованную Пристом картину как научно обоснованный, а тем паче вероятный прогноз никак нельзя.

Наконец, третья из невозможностей, положенных автором в основу романа,— сама гипотеза «опрокинутого мира», на которой зиждется бытие и сознание гильдиеров вообще и главного героя Гельварда Манна в частности. Правда, гипотеза эта в первых двух третях книги раскрывается, а в последней трети развенчивается — что и составляет одну из важнейших пружин интриги,— но опровергается ли? Мыслима ли хотя бы теоретически модель вселенной «по Дистейну», вселенной, имеющей конечные размеры, однако заполненной множеством бесконечно больших тел?

Математическое мое образование оставляет, мягко говоря, желать лучшего, и, переводя соответствующие страницы, я был вынужден обратиться за советом к специалистам. И специалисты не сошлись во мнениях. Один, подобно Гельварду, заявил, что сие есть нонсенс, а в переводе на русский язык — бессмыслица, другой же, напротив, засомневался: надо бы посчитать, конечно, но, пожалуй, что-то в таком духе теоретически может быть... Далее началась трагикомедия — специалисты ожесточенно заспорили, принялись перекидываться уравнениями и терминами, начисто мне непонятными, а я взял да и подлил масла в огонь, сообщив, что, если верить послесловию к изданию 1974 года, Кристофер Прист просчитывал «модель Дистейна», как положено, на мощном компьютере...

Вы этого послесловия сегодня не видите по весьма веской причине: в 1979 году автор его из книги снял. Одновременно был изъят и пролог, внесены коррективы в отдельные главы. Новая редакция романа, без сомнения, стала занимательнее и композиционно строже — но для чего все-таки понадобилось Присту аннулировать, казалось бы, выигрышное послесловие? Один из моих перессорившихся консультантов предположил, что компьютер опротестовал ссылку на свой непогрешимый авторитет, поскольку обнаружил ошибку в программе. Мне больше по душе объяснение принципиально иное: автор отказался от послесловия, так как понял, что оно лишнее. Более того, по законам высшей, художественной логики ссылка на компьютер — не выигрыш, а проигрыш; да, компьютер может подтвердить или опровергнуть математическую модель, но воссоздать фантасмагорию «опрокинутого мира» в зримых, выпуклых образах он решительно не способен. Главы, где Гельвард отправляется «в прошлое», к границе транслатерационного поля,— на мой взгляд, сильнейшие в романе, а между тем эти же главы пестрят логическими погрешностями, очевидными безо всякого компьютера. А потому не лучше ли, не последовательнее ли так и оставить немыслимое немыслимым, не пытаясь гримировать его «под науку»?

Я вообще не слишком верю в послесловия: автор сказал все, что хотел, и кто любит фантастику, тот во всем разобрался сам, а кому чужда природа жанра, тому и комментарии не помогут. И тем не менее, противореча себе, но противореча во имя жанра, которому на страницах «Иностранной литературы» уже давно не находилось места, рискну поставить в лоб «убийственный» вопрос, какого прежде всего жду от критиков. Если фабула романа невозможна географически, недостоверна хронологически и сомнительна математически, тогда зачем сам роман?

Столетие назад, на стыке эпох пара и электричества, в фантастах видели прорицателей, способных предугадать новые удивительные чудеса науки и нарисовать впечатляющие картины могущества, каковым эти чудеса не преминут одарить человечество в самом недалеком будущем. Такое симпатичное, хоть и наивное представление о роли и сущности фантастики бытует еще и поныне. Во всяком случае, не так давно мне довелось прочесть за подписью не дилетанта, а весьма уважаемого академика похвалу по адресу известного английского писателя Артура Кларка: роман Кларка «Свидание с Рамой», по утверждению академика, хорош именно тем, что неуемная фантазия автора сочетается в нем с полной научной достоверностью высказываемых идей, и если земляне когда-либо решат соорудить межзвездный корабль, то обязательно будут следовать принципам, очерченным в романе. Академик пошел еще дальше, от души пожалев остальных фантастов, которым-де все труднее стало изыскивать оригинальные сюжеты и строить прогнозы, не вступая в противоречие с фактами, твердо установленными разветвленной и изощренной — не то что сто лет назад — современной наукой.

Ну что ж, изобретать фантастические сюжеты, ни в чем не противоречащие положениям научных дисциплин, число которых за сто лет увеличилось, наверное, во много десятков раз,— дело сегодня действительно почти безнадежное. Только фантасты и сами, и уже давно, отказались от «жюльверновского» понимания роли и задач жанра, передав былые свои прогностические функции в руки еще одной научной отрасли, о какой современники Жюля Верна и слыхом не слыхали,— в руки футурологии. В этом смысле Артур Кларк — едва ли не последний из могикан. И тем характернее, что, выступая в прошлом году в Москве перед советскими

писателями-фантастами, именно он, по количеству оправдавшихся прогнозов не знающий себе равных, счел необходимым напомнить коллегам кредо другого выдающегося мастера жанра, американца Рэя Брэдбери: «Нет, мы не предсказываем — мы предотвращаем...».

На смену эпохам пара и электричества пришел атомный век, а вместе с ним и отрезвляющее сознание, что развитие науки отнюдь не автоматически влечет за собой прогресс и благоденствие, что ее достижения можно использовать и для того, чтобы отбросить человечество вспять, а то и вовсе уничтожить. Выяснилось, что аэропланы могут служить не только для перевозки срочной почты, а подводные лодки — не только для исследования морских глубин. Еще «Большую Берту» жюльверновская традиция, пожалуй, предусматривала, но облака иприта в нее уже не укладывались, не говоря о множестве чудовищных подарков, какие наука насильственной смерти приберегла на 40—50-е годы и так далее, вплоть до наших дней. И новое поколение писателей, сменившее «жюльверновцев» — и первый из них Герберт Уэллс,— уловив эту страшную тенденцию, положило начало новому направлению фантастики, которое и сегодня остается в ней самым читаемым и плодотворным.

И изменилось-то — если говорить о приеме, положенном в основу жанра,— по сути дела немногое. К ребячески восторженному вопросу «Что будет завтра?» прибавилось одно-единственное слово: «Что будет завтра, если?..» Вопрос стал смятенным, а ответы на него — подчас зловещими до кошмара. Чуть позже обнаружилось, что и будущее время употреблять не обязательно, что фантастические фабулы нового типа можно накладывать на настоящее и даже опрокидывать в прошлое. В обобщенном, нынешнем своем виде вопрос звучит: «Что было бы, если?..» Правда, большинство писателей-фантастов и по сей день предпочитают относить действие своих произведений в будущее, но не потому, что это непреложное правило, а просто потому, что так удобнее. Так рельефнее высвечивается тема, стержневая для всей современной фантастики,— тема ответственности науки перед человечеством.

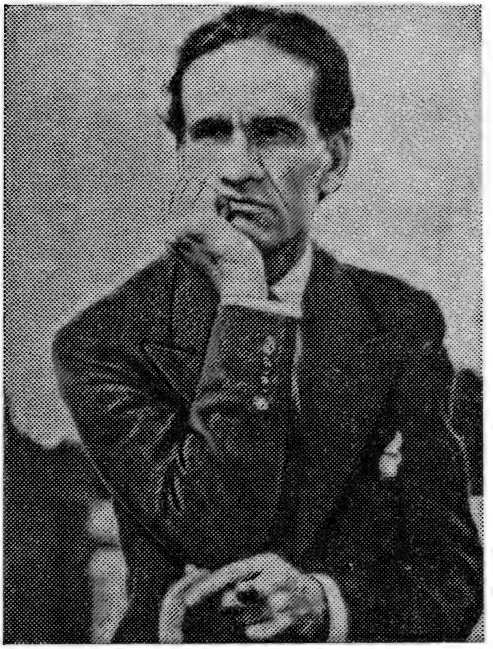
Что, собственно, такое Город Кристофера Приста, неповоротливая громада, тупо, ценой любых лишений и потерь ползущая по планете, подминая под себя мили, судьбы и даже основополагающие представления о пространстве-времени? Если коротко, Город — это выразительный символ научной и социальной безответственности, своего рода самодвижущийся собрат нейтронной бомбы. Любая идея, способная и призванная принести людям еще более полную власть над природой,— в данном случае идея неиссякаемого источника энергии, транслатерационных полей — в обществе, где человек человеку волк, находит себе прежде всего варварские, уродливые воплощения. Город — одно из таких воплощений. Увы, одно из многих.

Кристофер Прист прямо объявил себя учеником и продолжателем Герберта Уэллса. В романе «Машина пространства» (1976), изданном в русском переводе, он предпринял дерзкую, но не лишенную изящества и логики попытку срастить сюжеты двух самых знаменитых романов учителя — «Машина времени» и «Война миров» — и возвел на этом фундаменте самобытное и, надо признать, достаточно стройное сооружение. «Опрокинутый мир» написан до «Машины пространства», а переделан, как уже упоминалось, после нее. В определенной мере, быть может, на решении доработать роман сказалось и преклонение перед «писателем-философом», как именует учителя Прист, и сами перечитанные заново бессмертные книги Уэллса.

«Мы не предсказываем — мы предотвращаем...» Антиутопии рождаются из страстного нежелания допустить, чтобы тенденции, уже намеченные развитием науки и общества и лишь продолженные воображением писателя, воплотились в жизнь. Разумеется, не надо трактовать это «предотвращаем» слишком буквально: тот же Уэллс описал атомную войну — невероятно, но факт — еще в 1913 году, но ведь ее описание не отвело ядерного удара от Хиросимы. И все же без тени преувеличения можно утверждать, что Уэллс помог и помогает нам, всему современному человечеству, предотвратить повторение Хиросимы, что его прозорливость была и остается оружием против оружия и что сила этого контроружия, которую не измерить ни кило-, ни мегатоннами, неуклонно нарастает и будет нарастать.

Мне неизвестно, какие книги читает «отец нейтронной бомбы» Сэмюэл Коэн и читает ли он их вообще. Но каждый раз, когда я, переводя «Опрокинутый мир», наталкивался на имя Фрэнсиса Дистейна, основателя Города, я вспоминал о том, что где-то за океаном бодрствует и процветает — и, самодовольно улыбаясь, заносит на бумагу многоэтажные формулы — Сэмюэл Коэн, Дистейн во плоти. Та же гипертрофия знания при атрофии совести, то же фанатичное стремление реализовать научную идею любой ценой — и наплевать на последствия. В истории науки XX столетия Дистейны — Коэны, к сожалению, встречались не раз. И какие бы «невозможности» ни выискивали в антиутопии Кристофера Приста дотошные критики, для меня несомненно одно: когда ученик Уэллса писал свой роман, им двигала осознанная потребность выступить против дикарей с учеными степенями, маниакально ставящих на карту судьбы народов и всей Земли. Согласитесь, такая задача действительно назрела, и эта насущная в наши дни необходимость с лихвой перекроет любые отступления от формальной логики, перечеркнет любое число «невозможностей», а не только три.

Литературное наследие



СЕСАР ВАЛЬЕХО

С испанского

УЧЕНЬЕ, СКРЫТОЕ ЗА СТРАННЫМИ СТИХАМИ

Знакомство русского читателя с прозой Сесара Вальехо (романом «Вольфрам» — о судьбе перуанских горняков) состоялось почти полвека тому назад. Но лишь в середине шестидесятых годов публикация «Иностранной литературы» и сборник «Черные герольды» [1], вышедший в издательстве «Художественная литература», положили начало воссозданию по-русски стихов великого перуанца. Это долгое и трудное дело продолжается и, видимо, будет продолжаться не одним поколением переводчиков. Надо сказать, что и на родном языке поэзия Вальехо, по крайней мере зрелого Вальехо, шла к своему читателю долго и трудно. Его главные книги, вершина творчества — «Человечьи стихи», «Испания, да минует меня чаша сия...» — увидели свет только после его смерти. И лишь совсем недавно собраны и изданы его очерки, заметки, афоризмы, записные книжки — интереснейший и выразительный раздел его прозы, фрагменты которого предлагаются в нашей подборке.

Сесар Вальехо родился высоко в Андах весной 1892 года и умер в парижской больнице тревожной весной 1938 года, последней в его мятежной жизни. Неизменными в этой кочевой жизни были нужда, борьба и труд.

В 1918 году в Лиме вышел сборник стихов «Черные герольды». Хотя автор, молодой провинциальный учитель, и отдал некоторую дань литературной моде, книга захватила, а многих взбесила неожиданностью. И новизна была даже не в не-

[1] Стихи Сесара Вальехо публиковались в «ИЛ», 1963, № 4. Рецензию Р. Обрегона Моралеса на эту книгу см. в «ИЛ», 1966, № 11. *(Здесь и далее — прим. ред.)*

привычном, будничном трагизме, суровой прозе или, наоборот, космичности лучших стихов, а в самом голосе — словно заговорила, тоскуя «из глубин», человеческая душа. Перуанцы, пусть не все и не сразу, расслышали ее индейскую тоску и ощутили, что наконец-то родился национальный поэт. Но вряд ли кто тогда предвидел, что это наложит печать на всю латиноамериканскую поэзию, а сам поэт вскоре и навсегда покинет родину.

В 1919 году в Перу надолго установился диктаторский режим. Уже через год Сесар Вальехо — в тюрьме (там он создает свой второй и последний прижизненно изданный сборник «Трильсе»), а с 1923 года — в эмиграции, в самой гуще общественной и художественной жизни Парижа. В 1929-м, после двух поездок в Советский Союз (где он встречался с Маяковским), Вальехо высылают из Франции за «связи с коммунистами»; Испания, куда он перебрался, упрочила их окончательно — Вальехо стал коммунистом. Но едва в 1933 году изменился состав французского правительства, он возвращается в Париж — город, где столько выстрадал и со стольким сроднился.

В наэлектризованный европейский мир Вальехо вошел с ясным сознанием собственной самобытности и права на нее: «Чем личностнее... мировосприятие художника, тем значительнее оно для людей и тем естественнее воспринимается ими». И все же поэт Вальехо непредставим без нелегкого опыта своих последних пятнадцати лет. Он обрел чувство локтя, цель и соратников, но была и другая сторона этого опыта: отчуждение, голод, больничные койки. Вальехо в избытке познал одиночество — и человеческое, и творческое.

Сесар Вальехо — трудный поэт. Не секрет, что многие любят его поэзию выборочно, а иные даже безотчетно, проникаясь насущностью сказанного и становясь в тупик перед смысловыми оттенками. Возможно, трудность в особой, диалектической природе стиха, в одновременности двух ощущений — человеческой единственности («Никто не может меня подменить») и человеческого единства («Это лишь кажется, что те, чьи пути скрещиваются, идут врозь. Все идут вместе, только поочередно»). Лирический герой Вальехо — впереди идущий, но чувствует себя одним из последних и в итоге самым виновным; он постоянно двоится, из обвинителя превращаясь в обвиняемого, потому что первым ставит под удар себя — заслоняет собой. Пристальный интерес Вальехо к диалектике закономерен: как поэт он был воплощенным единством противоречий — точнее, «отрицанием отрицания» (так он озаглавил цикл афоризмов). Врожденное острое чувство неповторимости малого и огромности целого определило лексические и образные контрасты его поэзии. Вальехо писал, что подлинный поэт несет в себе «собственного Данте и собственного Чаплина». Во всяком случае, к нему самому это применимо, как и расхватанная на цитаты строка Данте: «Ученье, скрытое за странными стихами».

Трудность Вальехо и в его творческом максимализме — «искать звук жизни, биение ее сердца» в то время, когда «растет тревога, сбивается дыхание». Поэтому в стихах интонация господствует над логикой. Отсюда и творческое одиночество не только в иноязычной Франции, но даже в Испании: то новое знание, которое он нес в себе, искало новый звук и лишь долгие годы спустя отозвалось эхом. Свой поэтический строй — вплоть до собственного, лишь ему присущего языка — Вальехо создавал в одиночку; завершить все он не успел, и это еще одна, горестная причина его трудности. Лучшее из написанного осталось в рукописи и частью в черновиках, и мы не знаем окончательной, авторской композиции «Человечьих стихов».

Борьба за существование часто и надолго отрывала Вальехо от стихов, но не останавливала напряженной внутренней работы. Сесар Вальехо — художник, мысливший непрерывно, без права на самоуспокоение. Свидетельством — дневник его мысли, записные книжки 1923 — 1938 годов. Помимо них и частью на их материале Вальехо составил два сборника своеобразных эссе: «Против профессиональной тайны» (начат в 1928 году), «Искусство и революция» (начат в 1930 году). Обе книги он не успел ни опубликовать, ни, видимо, завершить.

Проза Вальехо, краткая и четкая, тяготеющая к французской афористической традиции, вряд ли дает ключ к его вулканическим стихам, но — что важнее — составляет с ними одно целое и, вписываясь в гуманистическую проповедь Вальехо, проясняет высокий замысел его жизни.

Формально это заметки по эстетике — программа, полемика, десятки имен, и среди них дорогие для Вальехо: Достоевский (Вальехо считал его «всечеловеческим гением» и в этом не одинок); Паскаль, «чья мысль, бесспорно, развила наибольшую диалектическую скорость»; мятежный Бодлер. Неожиданно и в неожиданном контексте еще одно имя: «Говорили о Верлене, о его поэзии своего Я. Что лучше: сказать безлично Человек или сказать Я? Все-таки лучше Я — как символ всех. Это глубже». Смещение акцента в этой дневниковой записи, одной из самых последних, характерно. Вальехо озабочен, но не встревожен судьбой искусства и, кажется, считает его таким же естественным и неизбежным для человека, как речь и труд. Тревоги Вальехо сосредоточены на самом человеке — это болевой центр его творческого сознания. Вспоминается формула интернационализма у Маяковского: «Труд — наша общая родина»; интернационалист Вальехо, наверно, мог бы сказать: «Человек — наша общая родина».

Прибегая к безличному «человек», Вальехо не строит идеальной абстракции: образ жестоко конкретен — «мой ближний с рукавами, шарфом и глазами», тот самый, что «умеет плотничать, потеет, убивает, потом поет, жует, застегивает ворот».

В «Человечьих стихах» есть и признание: «Ты, кроткий ближний, дорого мне стоил!», и строки отчаяния:

...И понял я, что человек недорожден,
недоживает, недоумирает...[1]

Если помнить, что «человек» — это и «я», что для Вальехо судьба человека в расколотом, грозном мире — судьба самого мира, понятна выстраданность его проповеди о становлении человека, его вочеловечивании. Лирический герой Вальехо — не свидетель рождения, но рождается сам, торопя приход «человека человечного». Призывом к «человечным людям» кончается одно из самых веских стихотворений поэта.

Конечно, это лишь одна, хотя и самая звучная, нота его многотемных стихов, но именно с ней перекликается афористическая проза поэта. Перекликается на разные лады — порой по-чаплински изящным парадоксом: «Я взял у тебя двадцать франков. Дай мне еще пять, и я останусь должен тебе пятнадцать». Шутка, но разве не ту же мысль века назад отчеканил стих Руставели: «Что отдашь — твое, что оставишь — пропало»?

Тема рождения у Вальехо контрастно оттенена, и, может быть, ни у кого из его современников слово «смерть» не возникает так часто и осязаемо. Завороженность смертью? То, что Андрей Платонов называл «специфическим эгоизмом»? В записных книжках Вальехо читаем: «Смерть — не такое несчастье, как думают. Несчастье в другом». Запись на этом оборвана и вряд ли нуждается в постороннем подсказе, но поворот мысли и даже интонация воскрешают в памяти древность. Полтысячелетия назад в бою погиб испанский рыцарь Хорхе Манрике, великий поэт; на теле убитого были найдены его последние стихи, начатые словами: «Мир, ты нас убиваешь, так пусть бы хоть жизнь была жизнью». И тень Манрике неизбежно возникает, едва заходит речь о традиционной для испанцев теме смерти.

Уместно ли по отношению к Вальехо упоминать традицию, тем более испанскую? Два слова о самой традиции. Обычно ее возводят к позднему средневековью — торжеству церкви и кризису веры — или вообще к угрюмости испанского католицизма. Между тем задолго до конца Реконкисты, по меньшей мере за два века до своего торжества, испанская церковь запрещала погребальные плачи: осуждения и запреты возобновлялись многократно, вплоть до прошлого столетия. У этой несколько неожиданной установки на оптимизм были свои веские причины и грустные последствия. Сокровищница народной поэзии почти не сохранила плачей; сквозь века духовной и светской цензуры дошло лишь несколько шедевров, удивительных и, возможно, наиболее сдержанных по чувству. Те оплакивания, что можно услышать в наше время, в испанской глухомани кончаются проклятиями богу и мирозданию.

У испанской «темы смерти» глубокие корни; надо помнить и эту сторону народной традиции — величие горя и сострадания, переходящих в мятеж. Из этих глубин проникло в литературу, и прежде всего в поэзию, осознание смерти — каждой смерти — как убийства. Такова она и для Сесара Вальехо: «смерть — насильственно внедренное начало», даже вещи — соучастники преступления и бросают человека, «заботясь о своем алиби».

В записной книжке 1929 года есть несколько строк: «Если бы в смертный час всю нашу жалость к умирающему, все наше сострадание к нему слить воедино, он бы не умер». И пометка: «Написать в стихах». Ряд подобных пометок так и затерялся в записных книжках; Вальехо как поэт избегал заданности и признавал лишь один долг — «обязанность быть свободным». Но эта запись не забылась и годы спустя. 10 сентября 1937 года Вальехо, вернувшийся из фронтового Мадрида, создает знаменитое стихотворение «Масса»; среди стихов об Испании оно стоит особняком. В конце боя убит солдат — просто солдат, это единственная военная примета, и действие развивается вне реального времени и пространства. Люди — сперва один, еще двое, потом сотня, тысяча, наконец, миллионы — спешат к убитому, моля его не умирать. Все напрасно. И тогда происходит двойное чудо: над мертвым склоняется все человечество, вдруг ставшее единым,— и он воскресает. Но конец странно печален: мертвый открывает глаза, взволнованный и несчастный, трудно встает и бредет дальше. Бой кончен, но битва продолжается, и он воскрес солдатом — может быть, для новой смерти.

Испанскую трагедию Вальехо воспринял прежде всего как битву за человека, пророчески угадав ее всемирный смысл и возможные роковые последствия. Он оставил книгу стихов об Испании, вероятно, грандиозную в замысле, оборванном агонией республики и поэта. Уже само название книги начинает ее высокой, высочайшей из возможных нотой: «Испания, да минует меня чаша сия...» — и право на такую высоту подтверждено не только трагической силой стихов. Чаша не миновала, и Вальехо умер — лицом к великим человеческим бедам, «от бессилия человечьей любви», болезни, неизвестной врачам («Я узнал, как от этого умирают» — строка из его стихов). Перед самой больницей у него мелькнула мысль вернуться в Перу, но он не счел себя вправе, «пока испанский народ борется, пока еще есть надежда на спасение». На родину вернулись лишь его стихи, сберегшие неподвластное смерти и самое человеческое в нем — то, что Марина Цветаева назвала «зерном зерна поэтов» — силу тоски.

А. ГЕЛЕСКУЛ

[1] Перевод автора статьи.

Скотину тянут или погоняют. С человеком идут рядом.

■ ■ ■

Есть вопросы, на которые нет ответа. Они тревожат разум и развивают науку. Есть ответы без вопросов. В них — диалектическое единство мира и дух искусства.

■ ■ ■

На самом деле небо не близко и не далеко от земли. И смерть не близко и не далеко от жизни. Всегда перед нами река Гераклита.

■ ■ ■

Не надо ничего бояться. Не надо ни на что надеяться. Ты всегда жив — более или менее. Ты всегда более или менее мертв.

■ ■ ■

Человек, чей культурный уровень — я имею в виду культуру, в основании которой лежит понятие о справедливости, то есть истинную культуру,— я повторяю: человек, чей культурный уровень ниже того, что позволяет изобрести пистолет, не должен браться за оружие.

■ ■ ■

Чтобы нахмуриться, человеку нужно напрячь шестьдесят четыре мускула, утверждают врачи, а чтобы улыбнуться, только гринадцать. Значит, горе мускулистей радости.

■ ■ ■

Грохот повозки, пока она едет медленно, груб и неприятен. Но стоит ей покатиться быстрее, как рождается мелодия.

■ ■ ■

Раскаиваясь, верующий разбойник теряет бога.

■ ■ ■

Глаза, привычные к экрану, и глаза, привычные к горизонту.

■ ■ ■

Умирают, только сделав что-либо. Ты что-то сделал, раз умираешь.

■ ■ ■

Когда-то я написал, что в прилагательных растет трава. Спустя много лет в Париже, на Монмартрском кладбище, я увидел на камне поросшее травой прилагательное. Поэтическое предвидение.

■ ■ ■

Настоящий портрет человека всегда в запаснике.

Из книг «Против профессиональной тайны» и «Искусство и революция»

Скажи мне, как ты пишешь, и я скажу, кто ты

Стиль не так легко позаимствовать или подделать, как кажется. И в политике, и в искусстве стиль больше программ и манифестов говорит об истинной глубине человеческих чувств. Именно стиль, а не что-нибудь другое, если речь идет о душевной глубине, оказывается наиболее веским доказательством, неопровержимым свидетельством. Ведь именно разногласия, касающиеся стиля борьбы, привели к расколу русской социал-демократической партии на фракции большевиков и меньшевиков. Наши разногласия касаются только тактики, заявили в 1903 году меньшевики, а Ленин ответил им: именно так. Но ведь тактика решает дело.

Иные художники причисляют себя к сюрреалистам и хотели бы следовать эстетике Бретона, но созданное ими, и прежде всего именно стиль — этот сплав глубинных личностных и социальных пластов,— изобличает иное мировосприятие, свойственное импрессионизму или кубизму, или просто трюизм.

Многие полагают, что стиль обязывает к выкрутасам, которые симулируют наличие индивидуальности. Я уверен в обратном: стиль всегда обнажает суть — кто мы и что мы: именно стиль противостоит всем нашим благим намерениям прикрыться и приодеться.

Правила грамматики

Грамматика как коллективная норма для поэзии не имеет ни малейшего смысла. Поэт сам всегда выковывает себе грамматику — свою собственную, не пригодную для других,— и свой синтаксис, и свою орфографию, и свою просодию, и свои семантические поля, и свои аналогии. Нельзя только преступать исконные законы языка. Поэт, если нужно, может даже изменять фонетическую структуру слова или его написание. И это отнюдь не сужает коммуникативную функцию стиха, а напротив, поразительно, почти беспредельно расширяет возможности восприятия поэзии. Как известно, чем личностнее (не путать с личным) мировосприятие художника, тем значительнее оно для людей и тем естественнее воспринимается ими.

Мой портрет в свете исторического материализма

В портрете должна быть воплощена суть жизни, то есть целостная личность — и прошлая, и теперешняя, и будущая; в итоге — свиток жизни. Художник уловит тайну этой жизни, поймет ее изменчивую прелесть и вечный смысл и воплотит их в линиях, цвете, композиции, перспективе. Портрет, таким образом,— это раскрытие жизни от начала до конца ее линий. Портрет — это свидетельство оракула, зашифрованное свидетельство, изъяснение тайны, мифа. В этом суть портрета.

Однако, как и всякое творение, портрет требует героизма. Исток его — борьба между вечным в человеке, то есть тем, к чему обязывает суть, и положением человека в обстоятельствах места и времени. Конкретность положения обусловливает сходство. Интуиция подскажет художнику, какая из составляющих доминирует. Вечность одной жизни заключена в конкретность времени и места, и нельзя

пренебрегать ими — иначе нельзя будет узнать изображенного на портрете. Это таинственное равновесие зримого и незримого, вечного и преходящего, или, иначе говоря, равновесие сходства и сути определяет ценность творения.

Суть и сходство — эти составляющие портрета борются и, обретая гармонию, сливаются. И та и другая составляющая в равной мере необходимы — иначе ощущение от портрета потеряет целостность. Это теза и антитеза диалектики портретного искусства.

Электроны художественного произведения

Все знают, что поэзия непереводима. Поэзия — это звук, словесная молитва жизни. Стихотворение — произведение, выполненное в слове. Переложенное в другие слова, пусть с тем же смыслом, но другие, стихотворение изменяется. Перевод — это новое стихотворение, может быть в чем-то и схожее с оригиналом.

Интонация — вот что действительно важно в стихотворении, интонация, а не то, что говорится. То, что говорится, можно сказать и на другом языке, а интонацию повторить нельзя. Ее нельзя отделить от слов родного языка, создавших ее.

Чем лучше поэт, тем невозможнее перевод. Так думал и Маяковский. Можно перевести мысль и философские построения Уолта Уитмена, поэзия же его неизбежно пропадает. Можно перевести его великие идеи, но нельзя перевести великую страсть, широту его души, сумрак туманностей бытия — они уходят корнями в язык, в материю языка и невоплотимы в слове.

Противоборство глаз и взгляда

Сколько раз я видел то же, что видели другие. И всякий раз при этом жгучая злость подкрадывалась ко мне на цыпочках и выступала кровавым потом.

— Солнце встало,— говорю я первому встречному.

— Да. Какое абрикосовое!

Я вижу, что солнце и вправду абрикосовое. И мне хочется спросить еще у кого-нибудь о том, какое оно. Тот человек подтвердил мое впечатление, и это совпадение отдалось во мне невнятной привязчивой болью. Ведь это я, когда вставало солнце, стоял и смотрел прямо на него. А тот человек появился откуда-то сбоку, словно из зеркала, и как ни в чем не бывало сообщил мне, что солнце абрикосовое! Прилагательное впилось мне в виски. Нет. Я спрошу еще кого-нибудь о солнце. Тот человек сказал так случайно или в шутку, а может, поиздевался.

— Солнце встало,— говорю я другому.

— Да, только вот облака набежали,— отвечает он.

Я иду дальше и говорю третьему:

— Солнце встало.

Он недоволен:

— Какое там солнце!

И никуда не деться от этого зеркала сбоку — вечно натыкаешься на него, хотя идешь вперед и смотришь вперед!

Со всех сторон человек стиснут табунами нелепиц — ладных, проворных,— и каждой нужны поводья, стойло, всадник. Но человек выдумал узду ради всадника, а не ради коня. По мне же, если узда, то лишь ради коня. Никто не может чувствовать то, что чувствую я. Никто не может меня подменить.

Памятник Бодлеру

Памятник Бодлеру — одно из красивейших парижских надгробий, поистине кафедральное надгробие. Скульптор взял глыбу, раскрыл ее с концов и высек морской компас. Он и держит памятник — морской компас. Самолет, одно крыло которого волочится по земле — так оно велико,— символическое подобие альбатроса. Другое крыло ромба перпендикулярно простертому на земле. Навершие его представляет собой огромную летучую мышь, распахнувшую крылья. Над этой живой, парящей тварью сторожко и воинственно нависает сток, и струя не дается в руки.

Другой бы изваял геральдического кота, воспетого поэтом и залапанного критиками. А этот проник вглубь и выбрал вампира — воплощение двойственности в животном мире: и птица, и зверь; воплощение этической двойственности: и ангел, и падший ангел. А как иначе воплотить дух Бодлера? Ведь в певце «Цветов зла» не было дьявольского начала в католическом смысле слова. Все дьявольское в нем — мирское; это естественная поправка на мятежность и святую простоту. Восстание есть следствие святой простоты. Восстают только дети и ангелы. Лукавый не способен восстать. Старики только печалятся и отчаиваются. Таков Вольтер. Восстание — плод чистой души. У кота коготь и тот источает злодейство. Иное дело летучая мышь — крылатая подвальная крыса, пещерная тварь, порождение двух сил: порыва ввысь и порыва во мрак. Она рождена темным царством, но царит под сводами. Двойственная природа — полет и мрак— наделила ее мудростью впотьмах и даром героев — падать ввысь.

Из зеленого блокнота

Испанский солдат убил несколько марокканцев и стал героем. После, в госпитале, когда генерал вручал ему награду, солдат повторял: «Ничего не понимаю, почему герой... я защищался, вот и все... И страшно убивать, и жалко, что убил... Не знаю, за что их ненавидеть, не умею... я человек слабый, какой там герой. Так...». Это замечательно.

Перевод НАТАЛЬИ МАЛИНОВСКОЙ

Из книги «Человечьи стихи»

Душа, которая измучилась быть телом

Страдаешь, жертва внутренней секреции?
А может быть, тебе помехой я,
моя немая, пристальная зоркость.
Или, быть может, рядышком, во тьме,
мерещится тебе пещерный прашур.
Ты ищешь солнце, ты вцепился в душу,
расшевелил телесный муравейник
и поднял ворот; весь ты на виду.
И знаешь сам ты, от чего страдаешь,
что именно тебе пригнуло круп
и на тебе поводьями повисло.
Ты, бедный мой, живешь. Не спорь — живешь,
раз умираешь; ты живешь, не спорь,
раз умираешь
от этой жизни, возраста и века.

И, плачем исходя, ты все же пьешь
и, кровью исходя, находишь пищу
своим атавистическим клыкам,
своей коптилке и своим придаткам.
Страдаешь, терпишь и вдвойне страдаешь,
примат несчастный,
дарвиновский неуч,
мой соглядатай, злейший из микробов.
Ты знаешь это сам — так хорошо,
что, прослезившись, разом забываешь.
В конце концов — и этого не скроешь, —
ты родился злосчастным и молчи;
ты жертва улиц, выпавших на долю,
и вопрошаешь собственный пупок:
куда еще? зачем? и как иначе?
И от ногтей до кончиков волос
тебе, приятель, ровно тридцать восемь,
сантьяго, николас ли там, но ты
есть ты или всего лишь недоносок,
а может, мой двойник,
закабаленный собственной свободой,
бессильный перед собственным гераклом...
Но ежели считаешь ты на пальцах
до двух, тем хуже. Так? Не спорь, сынок.

Так, да не так? Дай лапу, обезьяныш...
Нет, повторяю — руку!
И страдай!

■ ▫ ■

Содрогнулись окна, просветлив метафизику мира. Брызнули стекла. Больного вывернуло стоном, наполовину из горла, бессловесного, лишнего, и целиком — с изнанки.

Идет ураган. Каштаны в саду Тюильри валит ветер, достигший ста метров в секунду. Рушатся шпили старинных кварталов, раскалываясь, калеча.

Из каких же пределов — я спрашиваю, слыша оба океанских побережья,— откуда движется он, этот ураган, такой чуткий к доверию, такой честный в отплате, прямо к больничным окнам? О несгибаемые параллели, которые вибрируют меж ураганом и этой скорбной прямотой кашля и кала! О несгибаемые параллели, которые выхватывают смерть из недр больницы и будят, так не вовремя, тайные клетки в покойниках!

Что понял бы в себе этот больной, который спит напротив, если бы вник в ураган? Бедняга застыл навзничь, на гребне морфия, на дне сознания. Таблеткой больше, таблеткой меньше — и он навзничь отправится в землю, с распоротым животом, глухой к урагану, глухой к распоротому животу, над которым долго и привычно перекликаются врачи, ломая голову, чтобы в конце произнести простое человеческое слово.

У влажных, таюших, беспомощных висков больного смыкается семья. Нет у них больше крова, кроме как здесь, над тумбочкой, где скучно дежурят вакантные туфли больного, кресты про запас и таблетки снотворного. Пространство у столика поделено, как наследство. Женщина придерживает чашку, которая чуть не упала.

Не знаю, кто она — та, что целует его, а исцелить поцелуем не может, глядит на него, а исцелить его взглядом не может, говорит с ним, а исцелить его словом не может. Это мать? И не может его исцелить? Любимая? И не может его исцелить? Сестра? И не может его исцелить? Просто женщина? И не может его исцелить? Ведь она же целовала его, глядела на него, с ним говорила, даже поправила получше одеяло и — страшно выговорить! — нет, не исцелила.

Больной косится на свои вакантные ботинки. Пропахшие потом. Покрытые пылью. Смерть ложится у койки, погружается в сонные воды и спит. И тогда одинокие ноги больного, без лишних проволочек, угловато вывинчиваются и уходят, маяча влюбленной парой, все дальше от сердца.

Час за часом хирург выстукивает пациентов. Как только пальцы его перестают работать и плясать, он их пускает наугад, едва касаясь кожи, и тогда его умные веки дрожат от неразумного, от человечьего бессилия любви. Я увидал, как умирают именно от этого — раздерганной любви хирурга, долгих диагнозов, дотошных доз, придирчивых анализов мочи. Внезапно койку огораживает ширма — неотвратимая и горестная, черная доска для школьных чисел, великого единства тусклых тысяч. Вокруг умершего снуют врачи и санитары. Шагают так, оглядывая остальных, как будто можно умереть от пневмонии, от аппендицита и нельзя умереть, сторонясь человечьих шагов.

Служа делу веры, облетает палату довольная муха. В час обхода хирургов ее жужжание, наверно, отпускает нам грехи, но вскоре, ширясь, вытесняет воздух, чтоб вестником перемены встречать обреченных. Иные слышат ее даже сквозь боль, и от них поэтому зависит, как именно впадать в ночной кошмар.

Долгой ли была анестезия, которой жаждут люди? Богословие, богознание! Да оживи я на таких условиях, обезболенный полностью, всей оголенностью нервов опрокинутый внутрь! Ах, доктора кабинетов, люди сущностей, братья основ! Верните мне меня, с моей саркомой совести, с моими струпьями саднящих нервов, и будь что будет — умирать так умирать! Бросьте меня больным, если угодно, но пробужденным — и с целым миром, пусть и враждебным, в моей застойной температуре!

В мире отличного здоровья можно смеяться над неизбежностью, которой мучусь, но здесь, когда карты сданы, смех иной, в контрапункте.

В жилище боли стон синкопирован великим музыкантом, он сокрушает горловой неповторимостью и дразнит нас неотразимой, непосильно близкой истиной, но, дав обещанное, леденит пугающей растерянностью.

В жилище боли стон размыкает крайние границы. Этому стону не напомнить беспамятного стона счастья, когда любовь и тело — миг соколиной воли, и по возврате есть разлад, достаточный для диалога.

Но где она, другая сторона этого стона боли, когда он отделяется от тела? В жилище боли стоны настолько глухи и так невыразимы, настолько полны — и такой полнотой, что мало над ними плакать и было бы слишком смеяться.

В термометре забунтовала кровь.

Не сладко умирать, сеньор, если в жизни нет ничего, а в смерти бывает лишь то, чего не было в жизни.

Не сладко умирать, сеньор, если в жизни нет ничего, а в смерти будет лишь то, чего не было в жизни.

Не сладко умирать, сеньор, если в жизни нет ничего, а в смерти возможно лишь то, что могло быть и не было жизнью.

Испанский лик смерти

Зови ее! Она! Ее приметы!
То смерть, уже вошедшая в Ирун [1]:
и ругань, и шаги аккордеоньи,
и ворс ее сукна, тебе знакомый,
и грамм ее свинца... Все налицо!

Зови! Она выслеживает в ружьях,
как будто знает, чем мы побеждаем,
и нрав наш, и упрямые законы,
и грозный наш устав. Как человек
среди зверей, идет она сторожко
за той рукой, что спутывает нас,
как только мы вздремнем на баррикадах,
и медлит перед гибкой дверью сна.
Прорвало! Крикнула! Своим утробным криком!
Ей стыдно, когда падают на травы,
когда не возвращаются к животным,
когда мы произносим: — Это смерть!
Когда хороним лучшие надежды!
(Не зря же выделяет она соки,
не зря, брат, переваривает души.)
Зови ее! Скорей ее загоним
под вражеские танки, ибо смерть —
насильственно внедренное начало,
и как ни избегай она, товарищ,
опасностей, с которыми ты свыкся,
как ни хитри она, что знать меня не знает,
на знамени надежд моих недаром
исток ее начертан и предел.

Зови ее! Какое там начало!
Она скорей на месиво похожа,
когда врасплох — и ни глазниц, ни гимнов,
когда ложишься сотым, тусклый грош,
и глухо отзываются караты
в аплодисментах деспота. Зови!
Когда зовем мы с яростью, с издевкой,
тащить ей легче три своих колена;
взбодри ее, окликни — ведь порой,
порой уже пронизывает болью
необъяснимо, дробно, отовсюду,
и я уже не чувствую себя.

Зови! Она за мной идет по следу —
коньячный дух и сизая скула,
и ругань, и шаги аккордеоньи.
Зови! Пусть вызнает, где я над нею плачу.
Над этим запахом. Мой бедный прах, товарищ!
Над этим гноищем. Мой горький долг, сержант!
Над этой тягой вглубь. Моей могилой!

---

[1] Город Ирун был захвачен франкистами.

■ ■ ■

В Сантандере, в Бильбао, в Мадриде
бомбили могилы,
и бессмертные мертвые
— эти чуткие кости, кладбищенские часовые,—
бессмертные мертвые, чуя, и слыша, и видя
всю низость убийства, всю трупность убийц,
вернулись к оборванным мукам,
и начали плакать, и начали снова
надеяться, начали маяться, начали жить,
обреченные сделаться смертными!

И мгновенно стал порох ничем,
разлетелись печати и судьбы,
и, взрывчатке давая отпор, поднялось —
и на стаю вампиров, еще один шаг —
и на судное небо, еще один шаг —
и на семь чернокнижных металлов пошло
неповинное, честное, верное, вечное братство.

Перевод А. ГЕЛЕСКУЛА

■

Критика

Н. АНАСТАСЬЕВ

ПОСТОРОННИЕ И ПРИЧАСТНЫЕ

Американская литературная критика сегодня

Начну разговор с того, чем его следовало бы, наверное, завершить: американская литературная критика сегодня в основном своем слое являет картину плачевную. Понимаю, что ставлю себя таким образом в положение нерадивого школьника, которому придется подгонять решение под готовый ответ, и все же иду на этот риск, ибо считаю необходимым сразу же объясниться с гипотетическим читателем этих заметок: чего ему следует от них ждать, а чего не следует.

Мы привыкли считать, что критика представляет собою высказывание о литературе — и тем самым высказывание о реальной действительности, с позиций которой оценивается художественный процесс. Соответственно, и рассмотрение критических идей, направлений, мнений, дискуссий и т. д., казалось бы, предполагает одновременно рассмотрение самой литературы: верно ли отражается она в исследовательских работах? Способствует ли критика прогрессу художественного творчества? Противостоит ли негативным тенденциям? Вопросов возникает множество.

Увы, наблюдатель нынешнего состояния американской критики этой естественной возможности лишен, не только ответить на подобные вопросы бессилен — даже и в постановке их испытывает немалые затруднения.

В недавнем, во всяком случае обозримом прошлом в США была, используя близкое нам понятие, реальная критика, были имена, чьим творчеством поддерживались уровень и достоинство профессии, положение критики в обществе. Это Максуэлл Гайсмар, темпераментный полемист, решительный сторонник реализма и столь же решительный противник авангардистского разрушения литературы. Это Альфред Кейзин, исследователь, чьи работы представляют впечатляющую панораму американской литературы нынешнего столетия. Это Малкольм Каули, лучший, на мой взгляд, наиболее тонкий ценитель классиков литературы XX века — Фолкнера, Хемингуэя, Фицджеральда, Вулфа. Это Джон Олдридж, который заявил о себе несколько позднее, уже в 50-е годы, и писал в основном о творческих проблемах и трудностях послевоенного романа в США [1].

Я не хочу сказать, разумеется, будто в работах этих и других (здесь названы только наиболее заметные фигуры) авторов все бесспорно. Они принадлежат традиции буржуазно-демократической критики, чем определяются немалые методологические просчеты в их деятельности. Но во всяком случае их неизменно отличала забота о творческом здоровье литературы, и в лучшие свои годы они не уходили от насущных ее дел.

Где они теперь?

М. Гайсмар в последние годы жизни (он умер около двух лет назад) практически не выступал.

М. Каули на склоне лет ностальгически вздыхает по временам «потерянного поколения», даже и не пытаясь перекинуть мост между литературными эпохами—ушедшей и нынешней.

А. Кейзин погружается в еще более давнюю литературную историю, обращаясь к Уитмену, а если возвращается в XX век, то затем, чтобы решить вопрос, почему Фолкнер, Хемингуэй, Фицджеральд, другие крупные писатели питали неумеренное пристрастие к спиртным напиткам.

Дж. Олдридж заметно ослабил творческую активность и хоть следит, как и раньше, за текущей литературой, пишет по преимуществу о явлениях второстепенных.

А наследников не видно. Оценки нынешней прозы, поэзии, драматургии все более становятся уделом рецензионной, газетно-журнальной критики, в которой редкие проницательные суждения заглушаются

[1] С критическим творчеством этих литераторов знаком и советский читатель. См.: Малкольм Каули. Дом со многими окнами. М., 1973; Максуэлл Гайсмар. Американские современники. М., 1976. Джон Олдридж. После потерянного поколения. М., 1981.

трубным гласом откровенной рекламы, совершенно безразличной к реальному художественному уровню произведения. Тут что Джон Апдайк, что, положим, Джеймс Миченер, теперешний лидер «массовой» беллетристики, все едино. Вот почему всерьез о такой критике говорить не приходится, хотя, бесспорно, на писательские репутации, на ход литературы, на общественное мнение она оказывает угнетающее воздействие.

И остается колоссальный массив формальной критики, которая и определяет, едва ли не монопольно, состояние дел в этой области литературы. Конечно, возникла такая критика не сегодня да и не вчера, но ныне отличается одной отчетливой особенностью, которая и заставляет меня делать это несколько затянувшееся вступление. Чем дальше, тем стремительнее отдаляется она от литературы — отдаляется, как увидим, программно [2]. Уточняются критические понятия, проводятся разграничения, испытываются новые методы интерпретации, но все это происходит как бы поверх реально существующей и движущейся литературы.

Наступил «век критики», с горечью констатировал еще четверть века назад известный поэт Рэндэлл Джарелл. Сегодня этот век продолжается, не обнаруживая признаков угасания. Но за нарастающим обилием книг и статей, за интеллектуальной жестикуляцией отчетливо слышится репетиловское: «Шумим, братец, шумим». Волны — на поверхности критического моря, в глубине — мертвый штиль.

Зачем же в этом случае, спросит все тот же гипотетический читатель, нужно обращаться к предметам, имеющим интерес разве что для горстки специалистов? Отвечу. Затем, что, при всем своем принципиальном герметизме, многочисленные школы современной буржуазной критики (не только, к слову, американской) в крайне опосредованной форме отражают духовный климат общества, все явственнее утрачивающего органическую основу. С другой стороны, они же используются в качестве инструментов воздействия на сознание людей, которым навязываются ложные представления о самом смысле творческой деятельности.

После «новой критики»

Впечатление необыкновенной активности нынешней критической мысли в США поддерживается еще и ее явно полемическими устремлениями. По широкому фронту идет спор с основными идеями и понятиями «новой критики» — той школы, которая на протяжении почти двух десятков лет (30—50-е годы) пользовалась практически безграничным влиянием и на университетской кафедре, и на уровне текущих книжно-журнальных публикаций. Не имея намерения входить в существо «неокритических» концепций [3], напомню главное: «новые критики» исходили из того, что «произведение должно не означать, а существовать», что представляет оно собою особым образом организованную систему, не зависящую от намерений творца и не имеющую связей во внешнем мире. Задача критика в этих условиях сводится к обнаружению внутритекстовых закономерностей, что осуществляется путем «пристального чтения» — базовый принцип всех «неокритических» построений.

«Новые критики» вдохновлялись продуктивной задачей: понять литературу как специфическую форму человеческого мышления. Но, обрубая корневые связи литературы с историей, с живой действительностью, они заведомо обрекали себя кружению в пространстве полых абстракций: «объективный коррелят», «способ существования», «пространственная форма» и т. д. Научный подход к литературе, который настойчиво пропагандировала «новая критика», оборачивается произволом, насилием над литературой, чаемое приближение к тексту на деле становится удалением от него.

Именно эти позиционные пороки «новой критики» стали объектом полемики, заметно ожившейся в последние годы. При этом претензии предъявляются различные, но вывод остается единодушным: «новая критика» завела литературную теорию в тупик. В целом это верно. Но сразу же возникает вопрос: а как же выбираться из этого тупика?

Отвечать на него новейшая (то есть та, что после «новой») критика чаще всего демонстративно отказывается.

Вот две недавние книги — только две из многих, зато представительные, ибо принадлежат не случайным авторам, да и не новичкам в своем деле — фигуры заметные, из переднего ряда, из тех на кого ссылаются, неважно, полемически или в поддержку.

Работа Джеффри Хартмана озаглавлена резко, даже вызывающе — «Критика в пустыне» (1980). Однако уже с первых страниц автор выказывает осторожный оптимизм в прогностическом плане. Да, сейчас критика испытывает немалые трудности, и порождены они заблуждениями едва ли не всех англо-американских литературоведческих школ XX века, которые так или иначе мельчили свои задачи, сводя их то к посредничеству между писателями и публикой, то к интерпретации и оценке формального совершенства произведения. Но теперь, по мысли Дж. Хартмана, положение меняется, критика вступила в третью фазу развития — «ревизионистскую», в его терминологии. Речь идет о том, что под влиянием европейских школ — структурализма в его различных модификациях — американская критика, отказываясь от решения «практических», то есть оценочных задач, укрепляет свою философскую основу.

Этот процесс, по мысли автора, должен завершиться расцветом 80-х годов—пустыня обернется землей обетованной. Но прове-

[2] Важные мысли по этому поводу высказаны в недавних работах Д Урнова: «Литературное произведение в оценке англо-американской «новой критики» (М., 1982) и «В критическом климате» («Вопросы литературы», 1982, № 10) В них также содержится богатый фактический материал, к которому обращается и автор этой статьи.

[3] Интересующихся отсылаю к ценной работе ученого из ГДР Р. Ваймана «Новая критика» и развитие буржуазного литературоведения» (М., 1965).

рить надежность своих прогнозов критик не позволяет. Его книга пестрит вопросами, причем вопросами действительно важными: может ли современная критика иметь, как он пишет, «неаллегорический» характер, почему тот или иной поэт обрел классический статус, а тот или иной критик оказал наибольшее воздействие на развитие литературоведения и т. д.— но ответов на них нет. Это отнюдь не творческое бессилие — принцип. «Современная критика,— пишет Дж. Хартман, — стремится к герменевтике неопределенностей»[4]. Переводя эту терминологию на общепонятный язык, можно сказать, что автор утверждает идею максимальной свободы критического обращения с художественным произведением. Поэтому всегда можно написать, и действительно пишут,— не наше дело решать этот вопрос. Поэтому совершенно безразлично, истинно или ложно то или иное прочтение текста (если — оговорка, как скоро увидим, нужная — до него все-таки снисходят): ведь «единственной программой (новейшей критики.—*Н. А.*) является переоценка самой критики» [5].

Ту же эстетику «неопределенностей» отстаивает в работе «Критическое понимание» (1979) другой известный критик, Уэйн Бут. Только наименование ей дает другое: плюрализм. Подобно многим, он вступает в полемику с «новой критикой», хотя к ней у него свой, особенный счет: «пристальное чтение» как принцип бесперспективно, ибо недемократично — любые иные способы эстетического анализа признаются беззаконными и антинаучными. Между тем литература отрицает Метод и требует множественности подходов: «Пусть звучит хор голосов, чем их больше, тем ближе в конечном итоге подходим мы к истине» [6].

Но практические пробы критического плюрализма разрушают само представление об истине как некоей объективной данности. Более того, безжалостно обнажают — возможно, вопреки авторской воле — процесс превращения литературы в испытательный полигон «критического понимания». Берется, например, сонет известного английского поэта У. Одена «В операционной». Но не затем берется, чтобы выявить его идейно-творческое содержание, а затем, чтобы продемонстрировать, как «читают» его представители различных формальных критических школ. При этом любая интерпретация признается в той или иной степени верной: «Если нам угодно услышать звук работы кислородной подушки в строках первой и шестой, почему бы нет? Если нам угодно усмотреть каламбур... или многозначность в строке седьмой .. последуем этим путем... Если у кого-то при чтении сонета возникнут индивидуальные ассоциации с коровьим пометом, что же, пусть и они идут в дело» [7]. И так далее. Ясно, что в результате подобных операций смысл стихотворения безгранично расплывается. Впрочем, в системе «плюрализма» в чистейшую фикцию превращается не только литература — утрачивают сколько-нибудь ясную определенность и сами критические понятия и термины — «автор», «текст», «читатель», «форма» «тема» и т. д. Всякий раз они приобретают новые оттенки смысла, а иногда употребляются и в прямо противоположном значении, потому немалые усилия приходится тратить уже на расшифровку столь понятных, казалось бы, слов. Да что там «текст», что «форма», когда даже простое «да», как пишет У. Бут, «может иметь различный смысл в... разных контекстах» [8].

Легко увидеть, таким образом, что сама полемика с «новой критикой» имеет, по существу, иллюзорный характер. Отвергаются ее глобальные амбиции, осуществляется ревизия понятийного аппарата, но фундаментальные основания не колеблются: художественное произведение по-прежнему воспринимается как самодостаточная величина, как «органическая система отношений», литература выводится из литературы.

Впрочем, различия все же сохраняются — только что это за различия? Освобождая искусство от социальных связей, «новая критика» бесспорно мистифицировала саму природу художественного произведения. Но она хотя бы исходила из представления о нем как об объективном факторе культуры. Оценки, вырастающие из «пристального чтения», очень часто были ложны, но все-таки это были оценки. Более того — приговоры. А критика новейшая отказывается и от такого представления, и от каких бы то ни было оценок, рассматривая литературу как текучую и неоформленную массу, которая в процессе критической интерпретации может принимать любые очертания. В самом деле, если одно и то же произведение с равной легкостью поддается двум, трем, пяти и так далее истолкованиям (вспомним «плюралистические» упражнения с поэзией У. Одена), то, естественно, ни о каком реально существующем факте искусства не может быть и речи.

И это, пожалуй, самый верный симптом болезни: критика потеряла свой предмет — литературу. Раньше, лет двадцать пять назад, когда процесс формирования новейших критических идей только начинался, писали еще с достаточной осторожностью: «Защитить право критики на существование... значит исходить из предпосылки, что критика являет собой самозаконную структуру идей, обладающих относительной независимостью от искусства» [9]. Ныне эта предпосылка обрела аксиоматический статус.

Дж. Хартман метко уколол своих оппонентов — «новых критиков» и Т. С. Элиота как их признанного вдохновителя, заметив, что последний «скорее пристально цитирует, нежели пристально читает» [10]. Пусть так, но ведь хотя бы цитирует. А ныне и это занятие полагается излишним: литературная теория высокомерно отворачивается от литературы, вполне удовлетворяясь самокритикой, кропотливо разбирая и собирая собственный механизм, рассуждая о проблемах

[4] G. Hartman. Criticism in Wilderness, New Haven & Lnd., 1980, p. 41.
[5] Ibid.
[6] W. Booth. Critical Understanding. Chicago & Lnd., 1980, p. 4.
[7] Ibid., p. 120—121.
[8] Ibid., p. 39.
[9] N. Frye. Anatomy of Literary Criticism. N. Y., 1967, p. 5.
[10] Op. cit., p. 175.

собственного содержания и стиля. Формируется особый язык — язык для посвященных, образуется особая каста, рыцарский круг, внутри которого могут происходить смертельные турниры, участники каковых, однако, при любой угрозе извне немедленно сплачивают ряды, оставляя на время все разногласия. Эмансипация критики осуществляется программно. На место «пристального чтения», утверждает Дж. Хартман, должно прийти «пристальное письмо», иначе говоря, критика — сама себе литература, развивающаяся вполне независимо от иных видов творческой деятельности.

В свое время Плеханов писал, что безыдейное, «чистое» искусство есть чистая фикция: даже и те художники, которые демонстративно отказываются от всяких идей, все равно с неизбежностью занимают ту или иную позицию, втягиваются в общественно-политическую борьбу своего времени.

Столь же призрачна и автономия критики — пусть сама она в нее искренне верит. Можно со всем энтузиазмом отдаваться самоанализу, это не защищает от участия в культурной политике, в борьбе идей. Устраняясь от обсуждения насущных проблем литературы, а уж тем более самой действительности, выстраивая «деконструкционистские» и иные ряды зашифрованных понятий, формальная критика тем самым насаждает элитарные взгляды на искусство, способствует утверждению духовной апатии, индифферентизма. В нынешних общественных условиях резкой конфронтации сил мира и сил войны, в тех условиях, когда старый горьковский вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» — звучит со всей остротой и неотложностью, подобная позиция выглядит далеко не безобидным академизмом.

Реализм или постмодернизм?

Нельзя сказать, конечно, будто нарциссическое самолюбование академистов вовсе не встречает отпора. Слышны, хоть и слабо, голоса тех, кто напоминает о нерушимых обязанностях критики — изучать и оценивать литературу,— кто вновь задается старомодными вопросами о мере и критериях истинности критического суждения. Не только критика вопрошает литературу, напоминает Ивен Уоткинс, автор книги «Критический акт» (1975), но и литература подвергает испытанию зрелость критики и эстетической теории. При такой постановке проблемы особенно резко видна граница между «интерпретацией» и критикой как реальным высказыванием о литературе и действительности. «В процессе интерпретации,— пишет автор,— происходит реконструкция языка, характеров и событий в соответствии с общей моделью или смысловой структурой произведения. Критика же обнаруживает истинный смысл и значение, заключенные в художественной речи и реальных взаимоотношениях между характерами. Интерпретатор рассматривает текст как сырье, требующее «переработки», критик воспринимает его как данность, требующую своего раскрытия в процессе критического акта. Таким образом, интерпретация означает глубинный солипсизм, критика же с неизбежностью приобретает характер индивидуального и социального высказывания»[11].

Здесь, в общем, все верно, за вычетом одного только оборота — «с неизбежностью». Социальность — вовсе не имманентное свойство критики, но результат усилия мысли и определенной методологии критического творчества. И. Уоткинс, правильно поставив проблему, тут же от нее, по существу, и ушел. Между тем проблема эта имеет не только академическое, но и вполне практическое значение: какой тип критики может реально противостоять «интерпретации»?

Тут вновь возникают существенные трудности. Если говорить об авторе книги «Критический акт», то он, хоть с оговорками, готов возвратиться к «неокритическим» идеям; во всяком случае он явно пытается вернуть им утраченный престиж. Правда, для этого приходится придумывать несуществующие достоинства — «вряд ли можно сказать, что «новая критика» в лучших своих образцах игнорирует социальный контекст литературы»[12] — и предлагать сомнительные сочетания: И. Уоткинс призывает к объединению «неокритической» методологии с марксистской эстетикой. О полной бесперспективности таких попыток, как и о шаткости самой основы («новая критика» — критика социальная), выразительно свидетельствует опыт самого автора книги «Критический акт». Он совершенно прав, утверждая, что фолкнеровский роман «Авессалом, Авессалом!» представляет собою «социальную драму колоссального напряжения»[13]; беда лишь в том, что, обращаясь непосредственно к тексту произведения, критик словно забывает о собственной посылке и остается в пределах таких понятий, как «структура», «миф» и т. д. «Социальная драма» остается так и нераскрытой.

Все же следует признать, что «новая критика» сейчас не часто находит сторонников — в этом смысле книга И. Уоткинса вряд ли особенно характерна. К тому же автор фактически пренебрегает современной литературой — ссылки на нее есть, но они лишены какой-либо обязательности. Между тем со второй половины 70-х годов заметно учащаются попытки вернуться именно к творчеству нынешних писателей, преодолеть зону отчуждения, возникшую между критикой и литературой. Только, сразу скажу, приближение оказалось мнимым: сама литература — как движущийся процесс — предстает чаще всего в резко сдвинутых пропорциях, некая часть к тому же прогрессивно уменьшающаяся в масштабах и реальном значении, выдается за целое.

Дело тут не просто в оценочных просчетах. Сам веер мнений достаточно широк, и на полюсах они расходятся радикально. Скажем, Ричард Олдмерен в книге «По ту сторону опустошенной земли» (1976) откровенно признается в любви к постмодернизму, усматривая в нем верную картину «сюрреалистической действительности»; а

[11] E. Watkins. The Critical Act. New Haven & Lnd., 1975, p. 188.

[12] Ibid., p. 142.

[13] Ibid., p. 192.

Морис Дикстайн во «Вратах рая» (1977) столь же решительно его опровергает, полагая, в совершенном согласии с истиной, что «апокалипсические видения Джона Барта — это игра без риска, чисто интеллектуальные упражнения... на отдаленных участках истории мирового искусства» [14]. Но это спор вкусов, а проблема в другом. Создается полное впечатление, что критика сознательно стремится направить художественное творчество по определенному пути, «закрывая» иные направления или во всяком случае явно ими пренебрегая.

На протяжении 70-х годов в литературе США протекали напряженные и непростые творческие искания, вырастали новые явления, возникали новые имена. Обдумывая существо происходящих перемен, советские исследователи нередко расходятся в частных суждениях, но, кажется, едины в главном: напор авангарда, характерный для 60-х — начала 70-х, явно слабеет, на центральное положение в литературе вновь выдвигается реалистический роман, переживающий в последние годы значительную и продуктивную внутреннюю перестройку. Такой взгляд — вовсе не критическая абстракция, он надежно подтверждается подлинным положением дел: достаточно вспомнить книги таких писателей, как Дж. Апдайк и Дж. Чивер, Н. Мейлер и Дж. Болдуин, У. Стайрон и К. Воннегут, Р. П. Уоррен и Т. Моррисон, Дж. Гарднер и Р. Прайс (перечень, понятно, легко продолжить).

Но, оказывается, издали видно лучше: за последние десять лет в США не появилось ни одного (!) крупного исследования, посвященного реалистическому роману. И, напротив, только в 1980—1981 годах опубликовано несколько книг, замкнутых опытом авангардистской прозы. Пишут даже монографии; так, в известной серии критических изданий «Twayne» недавно вышла книга о видном представителе современного литературного авангарда Роберте Кувере, что уже само по себе переводит писателя если не в разряд классиков, то по крайней мере — весьма значительных фигур в национальной литературе.

Еще в середине десятилетия один из пропагандистов постмодернизма, Ихаб Хассан, уверял в книге «Паракритика», что нынешняя литература движется лишь по двум в перспективе сходящимся линиям: «литература молчания» и научная фантастика. А между ними размещается «вся карта исчезающей литературы» [15], центром своим имеющая традиционный роман, представленный ныне, например, сочинениями Дж. К. Оутс. По прошествии нескольких лет прозвучало утверждение, из которого явствует, что процесс «исчезновения» благополучно завершился: «Проза семидесятых представляет собой сновидение, молитву, cri de coeur, зарубки на классной доске» [16].

Правда, возникает весьма показательный и красноречивый оттенок: если недавно еще всячески упирали на революционную новизну, то теперь пытаются (совершенно насильственно, конечно) наладить связь неоавангарда с традицией, с романами Джейн Остин и Диккенса. В этом смысле книга Филипа Стевика «Альтернативное наслаждение», на которую я только что ссылался, представляет немалый интерес, и к ней я скоро вернусь. Но сначала имеет смысл коротко сказать о характере самого явления, тем более что, как видно, не всегда у нас достаточно ясно представляют, что скрывается за такими синонимическими понятиями, как постмодернизм, металитература, литература молчания или даже постреализм.

В конце прошлого года была опубликована статья В. Кожинова «Внимание: литература США сегодня». С завидной энергией осваивая новую для него литературную территорию, автор, в частности, сообщает, что «литература постмодернизма имела весьма различные, иногда вообще кажущиеся несовместимыми проявления — от изломанного, деформированного, словом, типично авангардистского стиля так называемых битников (Аллен Гинзберг, Джек Керуак, Лоуренс Ферлингетти и т. п.) и представителей школы, которую обозначают термином «черный юмор» (писатели типа Курта Воннегута), до умеренной, подчас даже вполне «реалистической» манеры (Джером Дэвид Сэлинджер, Джон Апдайк и т. п.). Но в глубоком смысле эти разнородные литературные явления едины в своем о т р и ц а н и и (более или менее очевидном и заостренном) всех подлинных, устойчивых, плодотворных ц е н н о с т е й человеческого бытия» [17].

Воздержусь от полемики вокруг имен, хотя, признаться, любого из названных авторов в качестве ниспровергателя «плодотворных ценностей человеческого бытия» мне лично представить трудно: сразу както вспоминается что при всей неровности, пусть «изломанности» творчества именно битники первыми бросили вызов конформистским тенденциям литературы США начала 50-х годов, что Сэлинджер исключительно остро, даже болезненно был поглощен проблемами духа, что Воннегут программно сравнивал функцию писателя с ролью канарейки в шахте, которая много раньше людей чувствует что где-то произошла утечка газа. Именно поэтому, кстати, приходится столь настойчиво полемизировать с американскими критиками, которые, подобно В. Кожинову (допускаю, что сам он и не подозревает о таком совпадении взглядов), традиционно рассматривают творчество Воннегута в рамках школы «черного юмора», основываясь при этом на одном лишь стилистическом сходстве его книг с романами таких писателей, как Дж. Барт, Т. Пинчон, Дж. Хоукс. Но решает не стиль, решает позиция, и здесь нельзя не заметить радикальных отличий. Если «черные юмористы» изображают вселенский распад истории и личности, то обездушенный мир, возникающий под пером Воннегута, есть проекция вполне реального, нынешнего явления — экспансия

[14] M. Dickstein. Gates of Eden. N. Y., 1977. p. 237—238.

[15] I. Hassan. Paracriticisms Univ. of Illinois Press, 1975, p. 8

[16] Ph. Stevick. Alternative Pleasures. Postrealist Fiction and Tradition. Univ. of Illinois Press, 1981, p. 13.

[17] В. Кожинов. Внимание: литература США сегодня. «Москва», 1982, № 11, с. 181.

технического разума в условиях позднебуржуазной цивилизации.

Но оставим пока это, отнесем дерзкие утверждения автора за счет издержек стиля — «стиля экстаза», как удачно определил его применительно к другой статье того же автора Ю. Суровцев. Перейдем лучше к сути дела. Тем более что В. Кожинов, по собственным словам, обращается к «широкому читателю», который вовсе не обязан знать всех тонкостей литературной ситуации в США.

Почему, собственно, постмодернизм? А потому, что старый модернизм, модернизм, так сказать, классический, необратимо исчерпал себя. «Печально наблюдать,— писал еще 15 лет назад Дж. Барт,— как многие наши писатели стремятся следовать Достоевскому и Толстому, Флоберу и Бальзаку, в то время как проблема, на мой взгляд, состоит в том, чтобы сменить даже не Джойса и Кафку, но тех, кто сменил Джойса и Кафку и ныне приближается к своему закату» [18].

Джеймс Джойс, Вирджиния Вулф, даже Сэмюэл Беккет создавали иные миры, с презрением и страхом отворачиваясь от мира реального, который покушался на свободу и независимость аристократов духа вроде Стивена Дедалуса. Соответственно, все творческие усилия, вся изощренная литературная техника были подчинены изображению замкнутого внутреннего мира героя — как единственной сохранившейся ценности.

Подобные антитезы, полагают идеологи постмодернизма, уже не соответствуют нынешнему состоянию общества, в котором любое индивидуальное переживание — да что там переживание! — даже лицо, имя превратились в чистейшую фикцию. Поэтому взамен сюжета, психологии, характера, вообще привычных строительных материалов литературы нужны простейшие синтаксические структуры, элементарный хронометраж событий, пейзажей, действий, практически утративших друг с другом какую-либо необходимую связь. Только так якобы можно адекватно отразить нынешнюю фрагментарную действительность, которая не знает больше таких понятий, как мораль, психология, культура и т. д., и заполняет создавшиеся пустоты механическими, лишенными всякого смысла жестами [19]. Вот почему, к слову, постмодернистская проза, в отличие от эзотерических структур модернизма в некоторых его характерных образцах, не требует для восприятия особенных интеллектуальных усилий. Нет намека и на «епифании» в духе Джойса, нет символики, нет потока сознания, все до предела элементарно, как, положим, в первых строках «Городской жизни» Дж. Бартельма: «Какой-то аристократ ехал по улице в своем экипаже. Он задавил моего отца. После похорон я вернулся пешком в город. Я старался понять, почему мой отец умер. Потом вспомнил: его переехал экипаж». В таком стиле выдержано все повествование, принципиально оторванное от реального человеческого опыта и переживания — как величин мнимых.

В. Кожинов сильно заблуждается, полагая, что постмодернисты отрицают ценности — они просто демонстрируют их отсутствие. И это вовсе не человеконенавистники — скорее, напротив, в их прозе господствует, казалось бы, радостное мироощущение. Иное дело, что это извращенный оптимизм висельника.

Словом, если В. Кожинов действительно хотел — в чем я, честно говоря, сомневаюсь — обнаружить подлинный характер качественно определенной творческой идеи, ему явно следовало заняться другими писателями, вспомнить Р. Кувера, Р. Бротигана, того же Дж. Бартельма, прежде всего Дж. Барта, наиболее видного теоретика и практика постмодернизма. Правда, для этого пришлось бы, вопреки авторской оговорке, обратиться к литературе на языке оригинала: все-таки лучше, думается, пожертвовать славой демократа, чем ввести в заблуждение «широкого читателя».

Теперь можно вернуться к предмету разговора.

Итак, Ф. Стевик выпускает книгу, в которой всячески доказывает, что «новейшая проза» (то есть тот же постмодернизм) при всей своей оригинальности образует звено в цепи развития мировой литературы. «Я стремился измерить образцы нынешней литературы по шкале традиции... ибо считаю неточными и преувеличенными утверждения, будто эти образцы являют собою разрыв с традицией» [20]. Бартельм встречается тут со Смоллетом, Барт с Филдингом, Элкин со Стерном и т. д. Зачем понадобилось такое соседство — понять легко. С упадком «контркультуры» в общественном сознании нации начали восстанавливаться в своем истинном значении такие осмеянные и оплеванные «леваками» понятия, как мораль, красота, честь, любовь, верность и т. д. Вполне понятно, что возродился и интерес к классической литературе — хранительнице этих идеалов. Интервьюируя в конце 70-х годов повзрослевших молодых людей — вчерашних бунтарей,— обозреватель еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» с удивлением видит в руках собеседников тома Теккерея, Шекспира, Стендаля и даже Ричардсона [21]. И, наоборот, никто не хочет говорить о Бартельме, Барте, Кувере. Надо, следовательно, что-то предпринимать для восстановления пошатнувшейся репутации кумиров. Попытки осуществляются самими писателями — Дж. Барт, например, издает роман «Письма», в котором тщательно стилизует эпистолярную прозу XVIII века [22]. Еще более энергично действуют критики.

Метод прост. Приводится абзац из «При-

---

[18] J. Barth. The Literature of Exhaustion «The Novel Today Contemporary Writers on Modern Fiction» Ed by M Bradbury. Manchester Univ. Press, 1977, p. 73.

[19] Я тут, понятно, в целях экономии места сильно схематизирую, отсылая интересующихся к содержательной статье А. Зверева «Тупик» («ИЛ», 1982, № 6), в которой детально, на живых и характерных примерах проанализирована суть рассматриваемого явления.

[20] Ph. Stevick. Alternative Pleasures, p. X.

[21] F. du Plessix Gray. Seventies Drop-Ins. «New York Times Book Review», 1977, Oct. 2, p. 3.

[22] Об этом подробно пишет в упомянутой статье А. Зверев.

ключений Родрика Рэндома» и, соответственно, абзац из рассказа У. Гасса «В самом сердце сердца страны». В обоих случаях возникает общий план: у Смоллета — матросы, солдаты, леди и джентльмены, проститутки, авантюристы и т. д. У современного писателя — длиннейший перечень различного рода клубов: масонский, литературный, клуб Незабудки, клуб Карусель и т. д.

Или еще: стихия «новейшей прозы» — игра; но игровая природа заметна также в романах Филдинга, Джейн Остин и Стерна.

И еще: повествователь-простак со страниц старой пикарески, затем «Кандида» шагнул в нынешние времена, обнаруживая свое присутствие у Кувера и Бартельма.

И так далее.

Но что все это доказывает? По мнению критика, многое. Оказывается, и Смоллет и Гасс пишут романы «лишенных значения поверхностей».

Игра есть жанровое свойство романа, которое современники, пойдя на выучку к классикам, развили и усовершенствовали.

То же самое с повествователем-простаком. Минуя опыт Диккенса, которому нужен был «зрелый» авторский взгляд, американские писатели 70-х годов обращаются к истокам реалистического романа, обновляя его поэтику в соответствии с изменившимися условиями жизни: «в зрелости отпала нужда. Переход свершается не от невинности к опыту, но от невинности к невинности» [23], — пишет Ф. Стевик.

Спекулятивный смысл подобных построений слишком хорошо виден.

Там, где у Смоллета — изображение общественной среды, в которой происходит буржуазное грехопадение героя, у Гасса (как типичного постмодерниста)— и впрямь «лишенные значения поверхности», ведь длиннейшие перечисления занимают практически всю повествовательную площадь, долженствуя, по мысли автора, отразить смыслоутрату, пережитую самой действительностью. Там, где у Филдинга «игра» как раздумье о природе романа, как прямое обращение к читателю, как способ полемики с литературными противниками (вступительные главы к отдельным книгам «Истории Тома Джонса»), у постмодернистов — игра в буквальном смысле: хаотическая вязь коллажей. Там, где у безымянного автора «Ласарильо с Тормеса» «разоблачение всяческой конвенциональности, дурной, ложной условности во всех человеческих отношениях» [24], у нынешних «невинных» персонажей — только зловещий хохот из подземелья.

Словом, альянс реализма и постмодернизма явно не получается. и попытки организовать его выдают пороки критической методологии, образцы которой показывает Ф. Стевик. Торжествует в конечном счете все тот же формальный подход к литературе — и если постмодернистская проза предоставляет для этого богатые возможности, то литература реалистическая, естественно, сопротивляется, и следы того и другого — согласия и борьбы — отчетливо видны на страницах критического текста.

Значит ли это, что беспредметна применительно к американскому эстетическому опыту семидесятых сама постановка вопроса: литературная классика и литературная современность? Отнюдь. Но для того, чтобы правильно решить его, надо искать преемственность в совсем иной творческой зоне — там и у тех, где и у кого действительно развиваются традиции художественной истории. То есть в зоне реалистической литературы наших дней. А ведь сейчас ее интерес — об этом у нас немало писали — к наследию, старому и новому, заметно обострился.

Но критики, словно завороженные, остаются по ту сторону литературной действительности.

И это не досадное заблуждение, это позиция, общественно-эстетическая позиция— пусть для утверждения ее не выпускаются специальные манифесты. Видят то, что хотят видеть, защищают то, что находят нужным защищать. Выше об этом уже упоминалось: в пору, когда реалистическая литература вновь уверенно вышла на магистраль художественной жизни страны, когда разные писатели и с разной мерой творческой глубины исследуют острые проблемы текущей истории, буржуазная критика предпринимает усилия, чтобы отвлечь публику в сторону других проблем и другой литературы — литературы «альтернативных наслаждений», которая подлинный художественный анализ действительности подменяет конструированием абстрактных моделей всеобщего духовного кризиса. И это лишний раз убеждает в том, что бескрайняя свобода критической мысли, независимость от социальных коллизий времени есть величина мнимая.

Реальная альтернатива

Порой — хотя, признаться, редко — попытки преодолеть зону отчуждения предпринимаются. М Дикстайн начинает свою книгу, о которой уже упоминалось, следующим образом: «У меня двойная цель: показать, что история культуры способна осуществляться в границах художественного воображения и работы слова, и в то же время убедить в том, что критика, которая столь часто ныне поддается соблазнам герметизма, может сказать нам нечто о реальном состоянии мира» [25]. Критик, Уильям Бертофф, также определенно пишет о критике как о социальном организме: «Предмет наших интересов — литература, а следовательно, заявляем мы о том прямо или нет, жизнеспособность общества и культуры» [26].

Только осуществить добрые намерения критик можно сказать, сам себе не позволяет, резко ограничивая зону своих интересов все тем же постмодернизмом. А как можно всерьез говорить о здоровье культуры, замечая лишь «литературу без свойств» (заголовок книги У. Бертоффа, что он, впрочем, и не скрывает, прямо заимст-

[23] Op. cit., p. 88.

[24] Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с 312.

[25] Op. cit., p. XI.

[26] W. Berthoff A. Literature without Qualities. Los-Angeles & Lnd., 1979, p. 13.

вован у Р. Музиля, чей знаменитый роман называется «Человек без свойств»).

Кому-то, допускаю, мои наблюдения покажутся пристрастными, а выводы — чересчур категоричными. Можно, скажут, в необъятном море американской критической продукции найти интересные статьи и проницательные рецензии — статьи и рецензии, трактующие о реальных, а не мнимых проблемах литературы. Охотно соглашаюсь, мог бы и сам привести примеры в этом роде. Но я не преследовал обзорных целей — видел свою задачу в том, чтобы описать в меру сил общую ситуацию, обозначить ведущие направления буржуазной критической мысли в США. А их анализ все-таки заставляет меня повторить: пребывает эта мысль в состоянии глубокого кризиса.

Подчеркиваю: речь идет о буржуазной критике. Ибо важно иметь в виду, что этим тенденциям противостоят идеи здоровые, прогрессивные, возвращающие критику в систему общественных отношений. Я говорю о критике марксистской.

Эта критика имеет в США давние традиции. В 30-е годы в пору «красного десятилетия», она представляла собой влиятельную творческую силу, оказавшую заметное воздействие и на ход литературы, и на читательские вкусы. Регулярно выходил журнал «Нью мэссиз», остро выступали такие крупные критики-марксисты, как М. Голд, Дж. Г. Лоусон, некоторые другие.

Их публикации сохраняют свое значение и поныне, да и новые книги выходят, новые имена появляются. С конца сороковых годов активно выступает С. Финкельстайн, чьи книги «Реализм в искусстве» и «Экзистенциализм в американской литературе» известны нашему читателю. Можно вспомнить также недавно переведенную на русский работу Ф Боноски «Две культуры», в которой развернут содержательный анализ американской духовной жизни минувшего десятилетия. Но в общем ситуация изменилась — не в лучшую, надо честно это признать, сторону.

Трудности, с которыми сталкивается ныне марксистская критика в США, достаточно велики и серьезны. Во-первых, слаба материальная база и крепок, напротив, заговор молчания буржуазных издателей, вовсе не заинтересованных в читательской популярности критиков-марксистов. Сам общественный климат, который во многом определяется ныне неоконсервативными идеями и настроениями, представляет собою среду, глубоко враждебную демократической, тем более социалистической культуре. Наконец, нельзя забывать и о сугубо профессиональной атмосфере. Ведь колоссальное распространение «новой», а затем новейшей критики не могло не сказаться и на движении марксистских идей в области литературы. К тому же как известно, под знаменами марксизма, особенно в Европе, нередко выступают философы и теоретики искусства, никакого отношения к этому учению не имеющие. Это тоже сбивает с толку многих, особенно тех кто лишен надежной теоретической подготовки.

Словом, повторяю, трудности значительны. Тем большее уважение вызывают творческие усилия американских коллег.

Я и в данном случае не буду стремиться к обзорной полноте — сошлюсь только на одну, правда, весьма показательную, как думается, публикацию. Обращаясь к ней, можно увидеть и продуктивность общего подхода к литературе, и некоторые издержки нынешнего развития марксистской критики в США.

Осенью 1981 года вышел очередной номер альманаха «Миннесота ревью», издаваемого университетом штата Орегон. В специальном приложении к выпуску опубликованы материалы симпозиума «Фолкнер и марксистская критика». Казалось бы, предмет разговора имеет вполне академический характер. Но это не так: знаем же мы, что именно творчество Фолкнера издавна служит пробным камнем различного рода формальных критических концепций. В живой полемике с этими концепциями, с теми критиками, что видят у Фолкнера лишь «структуры», «напряженность», «точки зрения» либо толкуют его наследие в абстрактно-моралистических категориях, и протекала дискуссия. Вполне ясно, например, ощущение оппонента в докладе Гэйлорда Лероя, автора известного исследования «Марксизм и современная литература» (1967), а также ряда работ о социалистическом реализме. И, на мой взгляд, критик, а также и другие участники симпозиума сумели нащупать единственно верный путь к писателю: его наследие, в частности роман «Авессалом, Авессалом!», рассматривается в свете реальной истории Америки — Гражданская война, рабовладение, социально-нравственные предрассудки плантаторской аристократии, укоренение на Юге нуворишей типа Томаса Сатпена. На место Фолкнера мифического — испытателя литературной техники — приходит Фолкнер подлинный: писатель, «наделенный социальным сознанием, поглощенный интересом к истории... признающий экономические мотивы и классовые основания поведения героев» [27]

Восстановление реального облика писателя неизбежно подвело участников к проблеме, сама постановка которой показалась бы, например, Клинту Бруксу, автору известной критической дилогии о Фолкнере, совершенно бессмысленной: противоречия автора «Шума и ярости», трилогии о Сноупсах и т. д. как человека и художника. Полагаю, тут не всегда выдерживается должная мера оценок, порой излишний нажим делается на слабые стороны мировоззрения художника, звучат даже слова типа «реакционер» (впрочем, на нашей памяти и отечественные работы, где также употреблялись весьма сильные выражения). Но в целом, думается, удалось верно определить и величие, и границы фолкнеровского гуманизма.

Исключительно важным представляется также и то, что «демифологизация» Фолкнера как социальной личности не привела к исчезновению его как художника. За малыми исключениями книги Фолкнера рассматриваются во всей их творческой не-

[27] The Minnesota Review, N 17 Fall, 1981, p. 74.

повторимости. Весьма поучителен в этом отношении доклад Джона Макклюра «Синтаксис упадка в романе «Авессалом, Авессалом!», где автор тонко прослеживает сложную связь между «специфическими общественными обстоятельствами» и языком героев.

Предмет обсуждения замкнут — творчество одного художника. В то же время объективное мировое значение наследия Фолкнера таково, что «критические пробы» его книг закономерно порождают идеи общего характера.

Фолкнер для участников симпозиума, как явствует из ряда выступлений,—не только Фолкнер: за ним, пишет Г. Лерой, вырастают фигуры Достоевского и Блейка, Кафки и Йитса. Ряд, конечно, произволен, но угадывается в нем и система: речь идет о писателях, чье творчество давно монополизировано формальной критикой в ее различных модификациях, и задача, пишет Г. Лерой, состоит в том, чтобы «выработать методологию критического анализа художников такого типа — независимо от нашего к ним отношения» [28]. На мой взгляд, нелегкая эта задача в целом успешно решена. Победа многозначительна. Дело ведь не просто в том, что крупный писатель, современный классик отвоевывается у тех, кто давно превратил его творчество в «сырье для критической промышленности». Куда важнее то, что сама критическая мысль утверждается, как говорилось, в качестве действенной общественной силы, формальным интерпретациям противопоставляется жизненно-содержательный анализ.

В то же время по ходу дискуссии обнаружились некоторые просчеты, тормозящие прогресс марксистской критики в США.

Во-первых, в полемике с «неокритическим» подходом к литературе нередко возникает противоположная крайность: хорошо виден Фолкнер — историк американского Юга, и слабо — Фолкнер-писатель, решающий крупнейшие проблемы человеческого духа. Д. Макклюр совершенно прав, утверждая, что Фолкнер обращается к «исторически определенному кризису», но он явно заблуждается, полагая, что «Авессалом, Авессалом!» — это всего лишь роман «о том, как белые южане, пережившие Гражданскую войну, сталкиваются с явлениями, которые разрушают их единство и подвергают глубочайшему сомнению их верования» [29]. Будь это так, Фолкнер остался бы писателем местного значения, чьи книги превратились бы в реликвии провинциального литературного музея. Еще острее склонность прочитать Фолкнера в терминах одной лишь южной истории сказалась в выступлении Н. Марковитца (правда, и сам он историк, а не литератор по профессии).

Если бы речь шла только о Фолкнере, подобным сдвигам можно бы и не придавать особенного значения, тем более что, напоминаю, возникают они в ходе важной полемики с ложными идеями. Но в данном контексте, уместно повторить и это, Фолкнер — не просто Фолкнер, но, положим, и Конрад, еще одна давняя жертва различных «интерпретаций», которые также не остались без ответа. «Поразительным образом, — пишет английский литературовед марксистской ориентации Реймонд Уильямс, — целое критическое направление лишило «Сердце тьмы» того социального и исторического содержания, которым Конрад столь несомненно насытил эту повесть. Мой спор с целой критической традицией как раз и идет по линии бесконечных подмен сознательно отраженной реальности разного рода аномалиями, символами, абстракциями» [30].

На той же позиции стоит и другой английский критик-марксист, А. Кеттл. И идеи эти заслуживают всяческого сочувствия. Важно только не впасть в противоположную крайность. Да, Конрад — это не только метафизические штормы, «перемещенные лица», «теневая черта» и т. д., в его книгах сказалось свое время со своими социальными конфликтами. Но из этого еще не следует, что его можно считать прямым наследником Диккенса или что «мир «Ностромо» — это мир современного империализма, войны, насилия, концентрационных лагерей» [31].

Словом, перед нами не просто спорные оценки (Конрада ли, Фолкнера ли), перед нами проблема. Проблема верного, взвешенного подхода к так называемой «трудной» литературе.

Еще одну проблему я бы определил как правильный выбор союзников и противников. Н. Марковитц пишет: «Мое резко критическое отношение к Фолкнеру определяется тем, что он не диалектик и не материалист»[32]. Положим, так, только ведь на подобном основании «резко критического отношения» заслуживает огромный массив мировой литературы. Надо, впрочем, сказать, что и сами литераторы-марксисты остро ощущают опасность оценочной жесткости. Скажем, Г. Лерой в своем выступлении, резко полемизируя с коллегой, прямо говорит об опасности «нормативной» критики, которая чревата разладом и с целыми направлениями в литературе, и с публикой, «продолжающей читать Фолкнера, несмотря на все то, что Марковитц говорит нам о его пороках» [33].

Об известной методологической неустойчивости в работах некоторых критиков-марксистов свидетельствует и крайне противоречивое отношение к «новой критике». Иные утверждают, что она прямо служит интересам буржуазного истеблишмента, другие говорят, что необходимо использовать принцип «пристального чтения» в интересах марксистской критики (тут же звучат осторожные предложения примирить каким-нибудь образом марксизм с фрейдизмом). Нетрудно понять, что в критике «слева» содержатся крайности, да и порождена она была, во всяком случае в такой форме, как признает, скажем, Г. Лерой, скорее тактическими соображениями: необходимо было расшатать бастионы академического, университетского литературоведе-

[28] Op. cit., p. 93.
[29] Op. cit., p. 99.
[30] R. Williams. The European Novel from Dickens to Lawrence. Lnd., 1970, p. 145.
[31] А. Кеттл. Введение в историю английского романа. М., 1966, с. 283.
[32] Op. cit., p. 123.
[33] Op. cit., p. 82.

ния, полностью контролировавшегося до времени «новой критикой». Но бесплодны и попытки наладить союзнические отношения — ибо базируются они на ложной, хотя и распространенной в США посылке, будто «новая критика» являет высший образец эстетического анализа.

Словом, поиски методологии — так можно определить нынешнее состояние марксистской критики в США.

...Дж. Хартман, как мы помним, связывает надежды на близкий расцвет американской критики с усвоением идей европейского структурализма. В других прогнозах ощущается больше доверия к собственным силам, но и они остаются в пределах интерпретационных схем, более или менее подновленных.

Все это — либо опасные иллюзии, либо сознательное стремление намертво закрепить критику в порочном кругу изжившего себя эстетизма.

Достойное положение в общественной жизни, в культуре критика способна вернуть себе, лишь отказавшись от олимпийского высокомерия и вновь обратив взоры к литературе и самой жизни. Вот почему так важен, при всей сложности, опыт нынешней марксистской критики в США — он напоминает об этой старой, но далеко не устаревшей и не поддающейся старению истине.

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Книга ЮРИЯ ГАГАРИНА «Дорога в космос». Издательство «Народна младеж».

Роман ДАНИИЛА ГРАНИНА «Картина». Издательство «Христо Г. Данов».

Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Похождения Шипова, или Старинный водевиль». Издательство «Отечествен фронт».

Повести и рассказы АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО. «Партиздат».

ВЕНГРИЯ

Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Навеки — девятнадцатилетние». Издательство «Карпаты».

Роман ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Выбор». То же издательство.

Роман ИОСИФА ГЕРАСИМОВА «Предел возможного». Издательство «Европа».

Роман САВВЫ ДАНГУЛОВА «Кузнецкий мост». Издательство «Кошут».

Книга ЭДУАРДА УСПЕНСКОГО «Крокодил Гена и другие сказки». Издательство «Мора».

ГДР

Роман ФЕДОРА АБРАМОВА «Братья и сестры». Издательство «Фольк унд вельт».

Роман АНДРЕЯ БЕЛОГО «Петербург». Издательство «Ауфбау».

Рассказы МИХАИЛА ЗОЩЕНКО. Издательство «Ферлаг дер национ».

Стихи РИММЫ КАЗАКОВОЙ. Издательство «Нойес лебен».

«Алмазный мой венец» ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА. Издательство «Фольк унд вельт».

Повесть КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Дни и ночи». То же издательство.

Повесть ВЛАДИМИРА СОЛОУХИНА «Третья охота». Издательство «Ауфбау».

Роман ИВАНА СТАДНЮКА «Война». Издательство «Милитерферлаг».

Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Свидание с Нефертити». Издательство «Фольк унд вельт».

ДАНИЯ

Роман МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Поднятая целина». Издательство «Спутник».

Повесть АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Кортик». Издательство «Гюльдендаль».

К. ЯЦКОВСКАЯ

ОСТАНЕТСЯ ПЕСНЯ НА СВЕТЕ...

Заметки о монгольской поэзии 80-х годов

Слово о монгольской поэзии последних нескольких лет хотелось бы начать с представления одного из самых молодых поэтов Монголии— Очирбатына Дашбалбара. Его первая книга сдана в печать, в другую вошли стихотворения, написанные за минувший учебный год в Москве, в Литературном институте имени А. М. Горького, за месяцы еще одной разлуки с родиной. Впрочем, это имя, возможно, запомнилось читателям по публикации в журнале в 1982 году [1]. Ранней весной, досрочно сдав сессию за IV курс, Дашбалбар снова спешил домой — он зашел попрощаться перед отъездом и принес почитать еще нигде не опубликованный цикл стихотворений «Сияние звезд». Пришел с товарищем по творческому семинару, которым руководит Е. М. Винокуров, молодым советским поэтом Игорем Виновым. Дашбалбар читал по-монгольски. Игорь — русский перевод.

Да, я хочу через тысячу лет в жизнь возвратиться
и увидеть волненье хлебов на высоких пружинящих стеблях
и знакомые горы, бредущие в синюю даль...

Я увижу своими глазами праздник стран и народов
на празднике звезд.
Я пройду по степи, по родным моим травам,
Я войду в мою землю — буду в каждой крупице земли.

(«Вечный запах мечты»)

Дашбалбар заметно расширяет круг познаний в мировой литературе. Его интересует древнеиндийская словесность, «Опыты» Монтеня. Он открыл близкий ему мир музыки и красок Чюрлёниса. Поэт Дашбалбар по-своему передает единство, нерасторжимость человека и природы. В его поэтической интерпретации темы природы есть место и беспредельному космосу, и нежному чувству.

Вот как он пишет об этом в стихотворении «Звездные переливы»:

Серебристо-зеленые звездные звуки
длятся в сердце и тонут в безмолвии мира,
эта ночь оживает в светящихся знаках
и в струенье колеблет незримую лиру.
Сердце музыке внемлет, сердце
слышит волшебную муку.

Я вдыхаю туман, прозревая поющее небо,
лица вечных отцов — их глаза
в глубине высоты.
Они смотрят в меня, они видят меня,
где б я ни был...
И летят табуны в звездном вихре
немой красоты.

(Перевод И. Винова)

Дашбалбару всегда не терпится поскорее оказаться дома — на родине. И его можно понять... Пронзительная синева неба в Монголии. Кристальная прозрачность воздуха. Необыкновенная природа. Неожиданный для многих — современный Улан-Батор... Прикосновение к Монголии, погружение в ее красоту позволяют ощутить исполинское дыхание земли, воочию убедиться в колоссальных человеческих возможностях преодолеть замедленный ход истории и активно участвовать в стремительных процессах XX века. Из множества зримых и незримых явлений складывается чувство, которое иначе не назовешь как очарованность Монголией. Силу этого чувства постигаешь еще больше, когда открываешь мир монгольской поэзии. Наверное, нет в Монголии поэта, который не воспел бы родные места. Из стихотворений, посвященных родному нутаку [1], нетрудно составить поэтический атлас Монголии, со словарем эпитетов, метафор. На монгольской земле нет такого уголка, который не получил бы меткого названия.

[1] См. «ИЛ», 1982, № 5. *(Здесь и далее.— прим. авт.)*

[1] Нутак — место рождения.

До недавнего времени в монгольских библиографических изданиях можно было почерпнуть сведения о нутаке любого писателя. Стоит открыть справочник Магсарына Баяндзула — и мы узнаем, что поэт Цэвэгмидийн Гайтав, снискавший славу страстной гражданственностью своих книг, родился в местности Сопка-субурган [1], а нутак писателя Доржийна Гармаа, известного советскому читателю по роману «Белый источник», называют Мелово-белый источник. Юрта родителей старейшего поэта Худоогийна Пэрлээ стояла на земле Белых могил... Пэрлээ-гуай — первый и крупнейший археолог Монголии. Исстари для монгола не существует безымянной сопки, безвестного ручейка, затерянной долины. Для монгольского поэта место, где он родился, остается святыней на всю жизнь.

— Не родись я в Дзабханском крае, точно, не был бы счастлив в поэзии,— признавался как-то Бэгдзийн Явуухулан, один из крупнейших современных поэтов Монголии.— В нашем аймаке за день (на машине, конечно) из лесистых гор можно попасть в Гоби, добраться до ее классических пустынных песков.

Явуухулан беззаветно любил свой край, где, как писал он в своем гимне родине, владыкой бездонного неба на свет родился.

Я родился на свет, чтоб владеть этой
далью степною,
Где, миражем маня, оживает пустыня
весною.
Где верблюды ревут, от угара
любовного стонут.
Там, где временем след динозавра
доселе не тронут!

Да, владыкой степей необъятных
на свет я родился[2].

(Перевод Л. Букиной)

Покойный Явуухулан обладал удивительным по нашим временам качеством — он умел «остановить мгновение». При неожиданной встрече на улан-баторской улице. Во время заранее условленной беседы в гостинице. Случайно оказавшись соседом в самолете на многочасовом пути в Москву. Он говорил неторопливо, с паузами — молчанием, которого не замечаешь. Он мог каким-то образом делать собеседника соучастником своих раздумий.

Он чутко прислушивался к голосам дебютантов и многих напутствовал в литературу. Зимой 1981 года мне довелось участвовать во встрече молодых поэтов Монголии, устроенной секцией поэзии. (За возможность оказаться среди монгольских писателей, говорить с трибуны перед маститыми и начинающими — неизменная благодарность руководителю Союза монгольских писателей, поэту Доджоогийну Цэдэву). Известно, что монгольские поэты — прирожденные чтецы, аудитория — внимательный слушатель и ценитель. Тогда, на встрече, самыми горячими аплодисментами был отмечен молодой поэт Бавуугийн Лхагвасурэн, прочитавший стихотворение «Борджигинская степь». Оно включено в его первую, совсем недавно вышедшую книгу «Круг лирики». Редактор, автор вступительной статьи Явуухулан по достоинству отметил своеобразие, индивидуальность дарования Лхагвасурэна, его увлеченность монгольской переводной поэзией средневековья, поиски в народной поэзии форм, позволяющих создать современный свободный стих.

Горько при мысли, что нужно о Явуухулане писать: «Он был... он умел... он любил...». Мы виделись в последний, как оказалось, раз в конце 1981 года, за месяц с небольшим до его скоропостижной кончины. Его рассказ, нечаянный тогда, о приходе в поэзию, о детских годах часто приходит на память.

Явуухулан не учился в обычной школе. Первой школой была природа. Отец, Бэгдз его звали, брал сына с собой на охоту, и мальчик постигал тонкости этого древнего занятия мужчин. Явуу помогал отцу гнать волка, лису... Там же, на охоте, он познавал мир растений. Деревья, цветы, травы он знал досконально. Еще он очень любил камни. Тому, что отец не отпускал от себя сына, была причина. В семье один за другим умирали мальчики. Явуухулан был единственным сыном, оставшимся в живых. Поневоле станешь суеверным. В семьях охотников нередко кормились мясом тарбаганов [1]. Отец Явуухулана перестал охотиться на тарбагана. Считалось, что мальчику нельзя есть тарбаганье мясо. Не давали Явуухулану и конину. Монголы говорят: конь — крылья человека... До семи лет мальчика не сажали ни на одно животное. Во время перекочевок, а они были неблизкими (летом — в горы, зимой — в Гоби), шли девять уртонов. Девять уртонов — это почти триста километров. И весь путь мать и отец, спешившись с коня, по очереди несли мальчика за спиной. Только в семь лет Явуухулана впервые посадили на коня. Тогда же он впервые переступил порог соседской юрты. Отец сам учил мальчика грамоте. Дома была популярная книга-ксилограф «Море притч». Ее мальчик быстро научился читать самостоятельно. И, постигая истории, рассказанные в сочинении, прикоснулся, сам того не ведая, к древней индийской литературе, занесенной в Монголию через Тибет.

Когда Явуухулану исполнилось пятнадцать лет, отец решил, что пришла пора учиться сыну в городе. Так юный Явуухулан покинул родное стойбище и оказался в столице. В то время в Улан-Баторе было немного учебных заведений. Выбор пал на финансово-экономический техникум. Охотник Бэгдз хорошо подготовил сына — он лучше всех успевал по математике. В конце сороковых годов в Монголии переходили со старой письменности на кириллицу. Явуухулан поступил на месячные курсы и вскоре уже слыл одним из лучших учителей по родному языку.

Среди студентов техникума был и Цэвэгмидийн Гайтав. Вместе они вступили в литературный кружок, став его постоянными участниками. Дома Явуухулан не помышлял о стихах. Правда, сочинял частушки. Их и сейчас распевают в аймаке. Первым стихотворением было «К маме» Положенное на музыку композитором Миасурэном, оно живет в народе как песня.

[1] Субурган — ступа, надгробная пирамида.

[2] Б. Явуухулан. Полдень. Стихи. М., «Наука», 1978.

[1] Тарбаган — промысловый зверек, сурок.

— У нас любят народные песни,— с какой-то особенной теплой интонацией заметил Явуухулан.— Если праздник устраивается, а праздновать, держать застолье у нас мастера, то песни льются без конца. В песне веками шлифовалась вся поэзия монголов, это — целая школа выразительных, точных художественных средств.

В самом деле, история монгольской словесности изобилует примерами удивительного многообразия, плодотворности и неиссякаемой, живой силы органических связей народной лирики и письменной поэзии.

Наш разговор надолго задержался на народных монгольских песнях. Я только что вернулась тогда из очередной экспедиционной поездки, и мне важно было послушать Явуухулана, поделиться с ним впечатлениями о народных певцах, у которых записали мы с монгольскими коллегами «море песен». Полевые работы велись на западе Монголии, в соседствующем с родным для Явуухулана Дзабханским — Убсунурском аймаке, или, как иначе называют эту местность, в Котловине Больших озер.

Впервые на запад Монголии, в Убсунурский аймак, я попала десять лет тому назад, в ту же осень, когда судьба свела меня с певцом-импровизатором Дава-ааджием в северном — Дархатском — крае. Мы записали тогда у него более 100 народных песен [1]. Не скрывая изумления перед новыми знакомыми, я, понимая, что поступаю немножко против обычая, не могла удержаться от открытого выражения восторга: один человек знает и исполняет более ста песен! «У нас побольше! — спокойно заявили мне в ответ.— Судите сами: тринадцать песен о соловых, тринадцать о саврасых, тринадцать о гнедых... тринадцать высот, тринадцать излучин, тринадцать хребтов... тринадцать... тринадцать...» Не хотелось вступать в спор. Переполненная дархатскими впечатлениями, приняла все на веру. И все оказалось правдой. В Котловине Больших озер в каждом сомоне [2] есть известные в округе знатоки народных песен. Пожилые, молодые, средних лет. Потомки разных племен — дюрбеты, олеты, дзахчины. Каждый занят каким-нибудь привычным трудом. Мы записывали песни у чабанов — Гундзэн-гуая и Джиргээ-гуая; Машгуай занят хозяйственными делами в объединении, почтенные Намдаг и Пэлджээ — на пенсии, а Нямсурэна — за его сильный молодой голос — пригласили в театр...

— Наши дюрбеты славятся песнями. Мелодия складывается вместе со словами,— поделился своими мыслями Гундзэн-гуай. Нам посчастливилось общаться с этим замечательным человеком у него дома — в юрте на летнем стойбище. Узнав, зачем пожаловали гости, радушно воспринял нашу просьбу — сообщить песни, которые, как говорят земляки, он знает во множестве. Только распорядился, чтобы сынишка вместо него доглядел за овцами. Он пел, диктовал текст, иногда сам комментировал исполненную песню. По собственному выбору называл следующую и снова пел. Казалось, он не замечал, как тихонько возятся на своей половине юрты маленькие дети, как кто-то входит, выходит — дверь его дома широко раскрыта... Песня словно уводила его от всего суетного, он целиком отдавался ей:

Беркут настигает серого зайца,
Слезы застилают глаза.
Ястреб настигает темно-серого зайца,
Слезы застилают глаза.
Коршун настигает светло-серого
зайца,
Слезы застилают глаза[1].

Это старинная народная протяжная песня, из тех, что сокровеннее всего и дороже. Исполнители протяжных песен — самые великие искусники. В любой аудитории, в любой стране, где и монгольского языка не знают, их протяжные песни завораживают с первых звуков. Они уносят с собой в неведомую даль, вызывают образы беспредельных просторов, заоблачных высот. Доверяясь голосу певца, слушатель незаметно для себя начинает сопереживать ему, даже не вникая в смысл слов, следуя за ним. И когда с высоты голосовых переливов-трелей мелодия снижается и тают в тишине последние звуки пения и морин-хуура [2], слушатель еще какое-то мгновение находится во власти песни, немотствует...

Читая сборник стихотворений молодой поэтессы Санджджавын Оюун «Тысяча узоров», я очень обрадовалась ее «Протяжной песне», как рады бывают люди встрече с единомышленником. Оюун поведала о восприятии протяжной песни. Под ее звуки героиня стихов видит себя в затянутом голубой дымкой родном краю. Юная, она ждет любимого... Мелодия взлетает ввысь, плавно опускается. То молодой всадник взлетает на гребень холма и мгновенно оказывается в низине... Благоухает полынь. Из нее вспархивают кузнечики-царца, касаются щек... Всадник видится между холмами. Он совсем уже близко... Смолкла песня. Перед глазами — облака. Дурманит аромат цветов, запах вод и ветра...

Монголия — поистине заповедное место на земле. Сколько новых открытий, археологических находок, подземных богатств подарила она ученым. Здесь почти в первозданном виде сохранилась до наших дней песенная лирика:

У ближней реки — дождь и солнце,
Душа тоскует по тебе.
У срединной реки — дождь и гром,
Душа тоскует по тебе.
У дальней реки — град и снег,
Душа тоскует по тебе.

Эти строки также записаны у дюрбета Гундзэна, запомнившего почти сто песен, слушая отца. Отец же был потомственным певцом. Так и передавалось это драгоценное наследие от поколения к поколению. Признаться, когда слушаешь монгольские народные песни, нередко в памяти возникают аналогии из русских народных песен. И разве не одним и тем же чувством про-

[1] Сто песен дархата Г. Дава-ааджия. М., «Наука», 1979.

[2] Сомон — административная единица, близкая к районному делению у нас.

[1] Здесь и далее подстрочный перевод народных песен принадлежит автору статьи.

[2] Морин-хуур — монгольский национальный инструмент.

диктованы слова только что цитировавшейся песни и стихотворения Н. Асеева:

Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя — сушь,
мне и в жары без тебя — стыть...

Фольклорные экспедиции лишний раз убедили меня в том, что живут традиции песенной лирики, что есть — и есть во множестве — не только знатоки народных песен, но и импровизаторы, являющие образцы новотворчества. Их память, их искусство открывают бездну тончайших нюансов в украшении народными песнями такого, например, извечного действа, как свадебный обряд...

Монгольский фольклор увлекает своей чистотой, открывает возможности соединения древних пластов словесного искусства с рукотворным, скажем, рисунками на скалах, на камне, возможности проникновения в психологию кочевника, постижения истоков формирования его эстетических норм. Тот же фольклор демонстрирует нам свое могущество, когда, исследуя современную монгольскую литературу, ее от десятилетия к десятилетию все более преуспевающую поэзию, мы видим, как щедро обеспечивает народная лирика любые новаторские замыслы поэтов.

Начало 80-х годов в монгольской поэзии отмечено выходом десятков книг. Тому есть немаловажная причина. В июле 1981 года исполнилось шестьдесят лет Монгольской народной революции. По монгольским обычаям шестидесятилетие — дата особенная. Равная веку для европейца. Задолго до юбилея еженедельник «Утга зохиол урлаг» («Литература и искусство») открыл рубрику «К 60-летию Народной революции» и предоставил страницы для выступлений ведущих писателей, художников, деятелей искусств. Каждое завершалось непременным обещанием подарка к празднику. (Поток новых книг продолжается!) По сути, состоялся разговор с читателем, ушедший далеко за пределы предъюбилейных заявлений. В нем четко обозначена ретроспектива пути, пройденного несколькими поколениями монгольских писателей, создававших Книгу монгольской новой литературы с первых ее страниц; названы трудности поиска, обретения в становлении монгольской литературы как литературы социалистического реализма. Подумать только, каким небывалым событием был выход (полвека тому назад!) альманаха «Свод изящных слов», первого издания первого литературного кружка... Теперь за два-три года — несколько десятков только поэтических книг, помимо большой «Антологии поэзии», приуроченной к юбилею.

Нынешнее поколение молодых разве что из музейных экспозиций, из художественных произведений узнает, сколько острых ситуаций возникало в стране, где замедленное—век за веком—течение жизни было взорвано вихрем революционных преобразований... Прошла пора стихов-лозунгов, стихов-призывов, пора агитационных театров, бригад. Прошла, но не бесследно. Она вызвала к жизни разнообразную в своих жанрах гражданскую лирику, богатую многоголосием певцов. Новое поколение поэтов вливается в литературу на новом этапе жизни страны, общества. У молодых заметно настойчивое желание понять свое место на земле, определить отношение к окружающему миру... Творчество поэтов разных поколений в Монголии объединяет одна благородная черта — память о предшественниках, искреннее почитание Учителя.

У каждого есть свой или свои любимые писатели. И у всех — единственный — Дашдоржийн Нацагдорж. Его титуловали основоположником современной монгольской литературы. Дело не в торжественном звании. Чем больше проходит времени, тем очевиднее становится глубина творческого провидения Нацагдоржа, предугадавшего современность. Не умирают произведения Нацагдоржа. Напротив, его все больше и больше читают. Его книги берут с собой в дорогу, поэты ведут с ним перекличку, особенно если им выходит путь «От Улан-Батора до Берлина» [1]. Монголы много путешествуют в наше время. Международные связи, дружеские контакты, деловое сотрудничество зовут в дорогу. Наверное, одна из самых загруженных линий Аэрофлота — между Улан-Батором и Москвой.

Листаешь поэтические книги, и в них — весь мир. Стихи, написанные в Москве, Ташкенте, Риге, в Индии, Вьетнаме, на Кубе, в Африке, являют радость открытия новых стран, народов, естественность чувства интернациональной солидарности — сопереживания в одних случаях, сорадости в других...

Нацагдоржа охотно цитируют; он приходит на помощь, когда переполняет чувство восторга по поводу полета в космос первого монгольского космонавта (в 1931 году Нацагдорж написал стихотворение «Звезда», где были строки о грядущей встрече с Марсом). Вместе с Нацагдоржем изумляются, как быстро — за несколько лет — вырастают на монгольской земле новые города. Уже примелькался Дархан, привычной стала слава Эрдэнэта. В 80-е годы все чаще упоминают новую стройку — Баганур. Город воздвигают у озера Бага-Нур, где неподалеку стояла юрта, в которой родился Дашдоржийн Нацагдорж.

В стране продолжается большая созидательная работа. Нередко там, где не хватает рабочих рук, специалистов, рядом становятся советские люди. О них, об испытанной временем дружбе с благодарностью пишут монгольские поэты.

Есть в произведениях последних лет и продолжение, точнее сказать — нарастание темы борьбы за мир. Она звучит в произведениях Дэндэвийна Пурэвдоржа, Пурэвжавына Пурэвсурэна, Шаравына Сурэнжава, Чойжилына Чимида, Лодонгийна Тудэва и особенно Далантайна Тарвы. Шестнадцатилетним пареньком Тарва пошел на фронт защищать монгольскую землю у Халхин-Гола. С тех пор в его сердце поселилась боль за тех, кто не вернулся после битвы, за тех, кто не дождался родных, за тех, кто испытал муки и видел ужасы войны. Монгольский поэт посвящает свои

[1] «От Улан-Батора до Берлина» — путевой дневник в стихах, который вел Нацагдорж во время долгой дороги на перекладных (1926—1927).

стихи погибшим в Хатыни, Саласпилсе, скорбит о тех, чей прах покоится на Пискаревском кладбище в Ленинграде.

Из ряда книг монгольской поэзии 80-х годов мы назовем еще одну — «Пейзажи и портреты» Мишигийна Цэдэндоржа, отдавая дань уважения памяти большого друга нашей страны. В этом сборнике, как в старинной народной песне, рядом — лирика природы и лирика любви, и связаны они между собой доброй и вечной, как земля, народной мудростью, которой был сродни талант писателя.

Цэдэндорж подарил своему народу немало книг, переведенных им на монгольский язык. Он видел монгольскую поэзию в кругу поэзии мира, ему были созвучны голоса поэтов многих стран и разных времен. Свидетельством тому служат стихи, посвященные испанским поэтам (из книги «Пейзажи и портреты»):

Суховей раскаленный веет,
Ломая тростник под комель.
Со смертью бьется своею
Тростник, обнажая корни.
Ломающий-дующий ветер
Стихнет пустою речью.
Останется песня на свете
И флейту увековечит.

(Перевод Л. Букиной)

Книгам Цэдэндоржа суждена долгая жизнь. В них — биение сердца, в них — тревога за судьбы человечества, и ее, как завет, он оставил в строках: «О, поэты! Как мир нам спасти?!»

◆

Советская литература за рубежом

ПОЛЬША

Роман ФЕДОРА АБРАМОВА «Дом». Издательство «Чительник».

Сборник повестей АНАТОЛИЯ АЛЕКСИНА «Третий в пятом ряду». Издательство «Искры».

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Волчья стая». Издательство «КАВ».

Роман НОДАРА ДУМБАДЗЕ «Белые флаги». Издательство «ПИВ».

Роман ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «Евпраксия». Издательство «Чительник».

ФИНЛЯНДИЯ

Избранные стихи для детей ЭММЫ МОШКОВСКОЙ. Издательство «Вернер Сёдерстрём».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Пикник на обочине». То же издательство.

Сказка в стихах КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО «Доктор Айболит». Издательство «Отава».

ФРГ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день». Издательство «Бертельсман».

Пьеса МАКСИМА ГОРЬКОГО «На дне». Издательство «Реклам».

Сборник стихов РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО. Издательство «Дамниц».

Повесть АРКАДИЯ И БОРИСА СТРУГАЦКИХ «За миллиард лет до конца света». Издательство «Вильгельм Хайне».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман ЧАБУА АМИРЭДЖИБИ «Дата Туташхиа». Издательство «Одеон».

Повести ЮЛИЯ КРЕЛИНА. Издательство «Лидове накладателстви».

Роман АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО «Петр I». Издательство «Одеон».

Стихотворения СТЕПАНА ЩИПАЧЕВА. Издательство «Словенски списователь».

ШВЕЙЦАРИЯ

Драматические произведения АЛЕКСАНДРА БЛОКА. Издательство «Л'аж д'ом».

Сборник рассказов МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Я убил». Издательство «Диогенес».

Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Деньги для Марии». Издательство «Л'аж д'ом».

ШВЕЦИЯ

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Прощай, Гульсары!». Издательство «Гидлундс».

Сборник повестей и рассказов ЮРИЯ РЫТХЭУ «Когда киты уходят». Издательство «Фрипресс».

КИПЛИНГ У ТВЕНА

Перевод с английского и вступление М. ТУГУШЕВОЙ

Молодой Редьярд Киплинг навсегда покинул Индию. Здесь он родился и прожил в общей сложности тринадцать лет: до шести и с семнадцати до двадцати четырех. Здесь, в Лахоре, работал в «Гражданско-военной газете» и опубликовал «Простые рассказы с гор», сделавшие его известным писателем. Он был, по отзывам современников, и «гениальным» журналистом — оперативным, точным, аккуратным, с необычайно острым глазом и завидным умением «разговорить» самого молчаливого собеседника. И в Новый Свет он прибыл не любопытствующим туристом, но корреспондентом англо-индийской газеты. Осев на несколько лет в Соединенных Штатах, он построил себе в Вермонте удобный дом «Наулака» и поселился там с любимой женой, принимавшей активное участие в литературных занятиях мужа. В «Наулаке» родились его дети. Здесь он много работал, публикуя в Индии и Англии все новые и новые рассказы. Свои журналистские обязанности он также исполнял тщательно и в срок.

Америка не пришлась Киплингу по душе. В путевых заметках «От моря до моря. Письма о путешествиях» он посвятил стране «свободных и равных» немало язвительных строк: его покоробили рассказы, услышанные на корабле, о кровавой расправе с «анархистами» в Чикаго (речь шла, очевидно, о первомайских демонстрациях начала 80-х годов), ему внушают отвращение трущобы Сан-Франциско и его политические нравы, чикагские бойни. Правда, иногда он излишне категоричен и нетерпим, порой откровенно консервативен. Он жалуется на американские обычаи, его бесит американский «диалект», он порицает делячество и прагматизм, считая их сугубо «американскими» чертами. Но парадоксально: невзлюбив почти все американское, он еще в Индии проникся глубоким пиететом к тому, кто был величайшим американцем не только грандиозностью таланта, но чей жизненный опыт, как не раз отмечали критики, был чисто американского свойства, самой историей страны в рамках личной биографии.

Твен, которого Киплинг «настиг» летом 1889 года в городке Эльмире, ровно на тридцать лет старше своего «визитера». Он автор сборника рассказов «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (1865), серии юмористических очерков «Простаки за границей» (1869), романа «Позолоченный век» (1873, в соавторстве с Ч. Д. Уорнером), очерков «Пешком по Европе» (1880) и трех самых знаменитых своих произведений — «Приключения Тома Сойера» (1876), «Жизнь на Миссисипи» (1883) и «Приключения Гекльберри Финна» (1885). Киплинг, очевидно, читал все, хотя и упоминает в интервью только «Тома Сойера» и «Жизнь на Миссисипи», так как прежде всего полюбил у Твена ту романтическую страну веселого мальчишества, свободы и привольного житья, в которой никогда не жил сам: его сиротское детство было одиноким и грустным.

Но автор мальчишеской идиллии и смешных побасенок непрост и неоднозначен, это Киплинг почувствовал еще в Индии. И вот он всматривается в лицо юмориста Твена, автора «Тома Сойера», и видит тонко чувствующего, уязвимого человека «с деликатным по женски ртом». Он говорит парадоксами и экстравагантен, но глаза у него «лучатся» светом понимания, хотя и держат собеседника на почтительном расстоянии.

Твен долго был неуверен в себе и отчаянно, как самый истый американец, жаждал успеха. История его жизни была историей преданности Американской мечте и жестокого разочарования в американской действительности. Романтик Твен «пережил» свою мечту, и Ганнибал, золотой город его детства, ушел в невозвратимое прошлое. Реалист Твен все больше отчуждался от страны, вступившей в эпоху империалистических войн и экспансий. К тому же, с детства усвоивший «уроки» кальвинизма с его безотрадной догмой предопределенности и неискупимой греховности человека, он был не слишком высокого мнения о «человеческой породе» вообще. И не случайно в «Гекльберри Финне», его шедевре, свет добра и верности, мужества и благородства сопутствует лишь двум фигурам: бездомного мальчишки и беглого негра-раба, которые живут в мире проходимцев и жестоких мещан. Может быть, из своего индийского «далека» Киплинг смутно угадал и твеновский фатализм, который не мог не найти отклик в сердце писателя, исповедовавшего странное смешение христианства, индуизма и буддизма и позднее утверждавшего, что мир исполнен «печали и одиночества». Но сейчас Киплинг молод и с любезной — в присутствии «великого человека» — экспансивностью требует, чтобы Твен по-хорошему обошелся со взрослым Томом, а в его озабоченности судьбой любимого героя так и слышится невысказанное желание: пусть Том женится на Бекки, и пусть оба они будут счастливы.

А что же «Гекльберри Финн»? Не слишком понравился Киплингу? Почему он даже не упомянул о романе? Может быть, и потому, что самый лучший человек в

«Гекльберри» — негр, а Киплинг «неодобрительно» отнесся в Америке и к неграм, видя в них как представителей «низшей расы». Возникают и другие вопросы: как, например, воспринял антиимпериалистическую публицистику позднего Твена, его гневное осуждение «воровства территорий» у «слабых стран» тот, кого величали «бардом империализма»?

Но, возможно, молчаливый, сдержанный джентльмен, каким станет Киплинг в свои пятьдесят четыре года (а Твену было именно столько, когда они встретились в Эльмире), скорбя о сыне, погибшем в окопах первой мировой войны, несколько усомнился в принципах имперского мировосприятия? Закат колониальной системы близился, а ведь Киплинг, будучи ее верным оруженосцем, тем не менее понимал, сколько узколобой недальновидности, невежества, борьбы корыстных интересов и социального лицемерия связано с культом англосаксонского расового превосходства, и чем дальше, тем, очевидно, все сложнее было ему увязывать этот культ с чувством чести, личным бескорыстием и героизмом, которыми он наделял «солдат Империи». Былая мощь Великобритании осыпалась, как пыль Индии с сапог, «законно» попиравших самую ценную для английской короны «заморскую территорию».

Даже похороны Киплинга стали символом конца британского владычества: его гроб, покрытый английским государственным флагом, был встречен звуками «Красного знамени». Это пели английские и индийские коммунисты, отдававшие последние почести одному из борцов за независимость Индии, которого хоронили в тот же день.

Киплинг хотел увековечить мир, обреченный на поражение, и закономерно слава «барда» оказалась тоже преходящей. Осталось же то, что имеет общечеловеческую ценность: мужество и сопротивление неблагоприятной судьбе, одушевляющие знаменитое «Если» (и которое Киплинг — еще один литературно-психологический парадокс — не любил), несравненные картины природы Индии, вера в человека, побеждающего «джунгли» зла и коварства. Остались рука художника, зрение публициста, дар рассказчика, который в свое время знал и умел ценить «великий человек» Марк Твен.

Несколько лет назад журнал «Иностранная литература» познакомил читателей с суждением Марка Твена о Киплинге (см. публикацию В. Лимановской «Вечно новый Марк Твен», «ИЛ», 1979, № 3). Марк Твен вспомнил об этой встрече в Эльмире в одном из последующих своих интервью; вот, в частности, его оценка литературного творчества Киплинга: «Даже если его рассказы были бы лишены содержания, их стоило бы читать ради одного только стиля. Но, как вы верно заметили, в его рассказах всегда есть содержание, и они, как правило, чрезвычайно интересны... И знаете, когда молодой человек... завоевывает такой успех, как нынче Киплинг, это доказывает, что читающая публика умеет отличать хорошее от плохого».

Теперь мы предоставляем возможность познакомиться с интервью Киплинга.

Р. КИПЛИНГ

ИНТЕРВЬЮ, ВЗЯТОЕ У МАРКА ТВЕНА

Да, все вы жалкие людишки! Можно быть важным чиновником, вице-губернатором, кавалером орденов, даже прогуливаться под ручку с самим вице-королем, но никогда не увидеть Марка Твена. А я его видел! В одно благословенное утро я пожал его руку, выкурил у него в доме пару сигар, и мы разговаривали больше двух часов! Не тревожьтесь, однако, я не презираю вас, просто жалею всех, начиная с вице-короля и ниже. И, чтобы успокоить вашу черную зависть, чтобы вы не думали, будто я зазнался, вот мой отчет об этом событии.

В Буффало я узнал, что Твен живет в Хартфорде, штат Коннектикут, «но, может быть, отправился в Портленд», а некий грузный судейский поклялся, что знает великого человека как родного брата и что Марк отдыхает сейчас в Европе. Я так расстроился, что сел не в тот поезд, и кондуктор бесцеремонно высадил меня в полумиле от станции, на пустынном скрещении рельс. Приходилось ли вам, под бременем плаща и чемодана, увертываться от паровозов с дурными намерениями, да еще когда солнце бьет прямо в глаза? Но я забыл, что вы не встречались с Марком Твеном, и мне вас очень жаль, несчастный вы народ!

Едва избежав железных щупалец решетки, которую устанавливают на паровозы для безопасности рогатого скота, я еле влачился и повстречал незнакомца.

— В Эльмиру надо ехать, штат Нью-Йорк, недалеко тут, миль двести, а то и меньше, — и предупредил, что было совершенно излишне: — Смотри в оба, парень, в оба!

Я смотрел в оба по Западной железной дороге до самой полуночи, когда меня ссадили у порога неопрятной эльмирской гостиницы. Да, здесь знали все об «этом самом Клеменсе», но полагали, что его нет в городе. Куда-то на Восток уехал. Наберитесь терпения, подождите утра, а там можно будет поискать его свояка, он еще углем «занимается».

Мысль, что придется рыскать по городу, где тридцать тысяч жителей, за полудюжиной Твеновых родственников, не считая его самого, не дала мне сомкнуть глаза, утро же явило моему взгляду Эльмиру, чьи улицы были обезображены железной дорогой, а пригороды грудились над изготовлением дверных косяков и оконных рам. Город лежал в окружении невысоких, кругленьких холмов, оголенных цивилизацией и

утопающих в заготовленной древесине. Река Чемунг устала бесчинствовать на главных улицах и только что вернулась в свои прихотливые извивы.

Швейцар в гостинице и телефонист уверяли, что столь желанный свояк внезапно отбыл из города и никто не знает, где обретается «этот самый Клеменс». Позднее мне поведали также, что Твен приезжал в Эльмиру не больше девятнадцати лет подряд и поэтому человек он здесь сравнительно неизвестный.

Но дружески настроенный полицейский предположил, что, кажется, позавчера он видел Твена «или кого-то очень похожего». Он еще в шарабане ехал. Это сообщение вселило в мою душу чудесное ощущение доступности великого человека. Подумать только! Можно жить в городе, где автор «Тома Сойера» запросто трясется в шарабане по городским мостовым!

— Его дом вон там, на Восточном холме,— сказал полицейский, — мили три отсюда.

И тогда началась охота, в наемном экипаже, вверх и вниз по холму, где вдоль дороги цвел подсолнух, шелестела под ветром кукуруза и коровы, сошедшие с рекламных картинок «Харперс мэгэзин», стояли по колено в клевере в таких удобных для созерцания и выжидательных позах, что хоть сейчас на фотогравюру. Наверное, великого человека спозаранку преследовали незнакомцы, и он бежал в укрытие на холме.

Иногда возчик останавливался у какого-нибудь жалкого, выбеленного известкой домишка и кричал: «Мистер Клеменс!» И объяснил так: «Он, конечно, большой человек, никто не спорит, но мало ли что этим чудакам в голову взбредет».

Однако тут восстала из моря чертополоха и желтых цветочков молодая художница и направила нас на путь истинный: «Поезжайте вперед и налево, там увидите хорошенький домик в готическом стиле».

— В готическом... — выругался возчик.— В эту сторону, да еще вверх, вообще из города никто не ездит, — и бросил на меня угрожающий взгляд.

Посреди большого участка мы увидели очень хорошенький домик, но совсем не в готическом стиле, весь увитый плющом. По фасаду шла веранда, где стояло множество стульев и шезлонгов. Решетчатый верх тоже был увит растениями, и солнечные зайчики играли на отполированных перилах.

Действительно, сей отдаленный приют был идеальным местом для трудов, если можно трудиться в таком благорастворении воздухов и под неумолчный шум длиннолистых злаков.

Внезапно появилась дама, привыкшая к обращению с настырными незнакомцами: «Мистера Клеменса нет. Он только что отправился в город к свояку». Значит, все-таки я его настиг. Охота была ненапрасной. Я поспешно ретировался, и возчик, притормаживая на спуске и свирепо ругаясь, доставил меня вниз без происшествий.

Но именно в то мгновение, когда я позвонил в колокольчик на двери свояка, меня впервые осенило, что у Марка Твена, возможно, есть и другие заботы, кроме как принимать сумасшедших гостей из Индии, даже таких восторженных, как я, да еще не у себя дома, и что мне теперь делать, что сказать? Предположим, в гостиной полно народу или в доме — больной ребенок, как объяснить, что мне просто захотелось пожать его руку?

А потом события разворачивались так. Большая затемненная гостиная, огромное кресло. Человек с удивительными глазами, шапка седеющих волос, темные усы, скрывающие деликатный по-женски рот, сильная, широкая ладонь и самый тихий, спокойный на свете голос:

— Итак, вы думаете, что обязаны мне и приехали сказать об этом. Вот что называется честно платить долги.

Пыхх — это глиняная трубка (а я всегда считал, что лучшие трубки делаются из белой миссурийской глины), и вот уже Марк Твен уютно устроился в кресле, а я курил— почтительно, как и подобает в присутствии высшего существа.

Сначала мне показалось, что он пожилой человек, но я почти сразу усомнился в этом, а спустя пять минут устремленный на меня взгляд сказал, что седина лишь недоразумение и что обладатель ее просто юн. И это я пожимал его руку, я курю его сигару, я слышу, как говорит тот, кого я полюбил и кем восхищался на расстоянии четырнадцати тысяч миль.

Читая Твена, я пытался понять, что он за человек, но все мои предвосхищения оказались ошибочны и бледны по сравнению с действительностью. Благословен тот, кто не испытывает чувства разочарования при встрече с почитаемым писателем. Да, это был памятный миг, что пред этим лосось двенадцати фунтов весу, пойманный на крючок! Я подцепил самого Твена. и он вел себя так, словно при определенных обстоятельствах я могу сойти за ровню.

Тут до меня дошло, что он рассуждает об авторском праве. И вот что, помнится, он сказал. Прислушайтесь к гласу оракула в устах недостойного толкователя. Вообразите, хотя это невозможно, протяжную, чуть-чуть рокочущую, словно приливная волна, интонацию с неожиданными затуханиями и почти смертельную серьезность чела, и как он сидел в странно угловатой позе, перекинув ногу через ручку кресла, а правая рука иногда поглаживает квадратный подбородок.

— Авторское право? Просто у одних есть моральные принципы, а у других есть кое-что иное. Осмелюсь предположить, что издатель тоже человек, но он не рожден на свет обычным способом. Его создают обстоятельства. У некоторых издателей моральные принципы есть. У моих, например. Они мне платят за английские издания. Когда услышите, что у Брет Гарта или у меня воруют, попросите привести доказательства. Думаю, это убедит в обратном. Мне всегда платили.

Помню одного беспринципного, отвратного издателя. Но, возможно, он уже умер. Обычно он брал мои рассказы и очерки, но не могу сказать, что он их крал. Совсем не то. Просто он собирал мои истории поодиночке и делал из них книгу. Если я писал что-нибудь о дантистах, или теологии, или еще какой-нибудь пустяк вроде

этого (он продемонстрировал величину, показав кончик пальца), было бы только похоже на рассуждение, этот издатель подправлял и улучшал меня.

Он нанимал кого-нибудь дописать продолжение или сокращал меня, как хотел, а затем печатал книгу: «Марк Твен о зубоврачевании», и там был мой очерк с добавлениями. И так же он делал книгу о теологии и остальные. Но, по-моему, это нечестно. Это оскорбительно. Хотя он, наверное, уже умер. Но я его не убивал, честное слово.

Очень много чепухи говорят о международном авторском праве. Его можно упорядочить, если трактовать как право на недвижимость или земельную собственность. Предположим, конгресс издает закон, что можно существовать сто шестьдесят лет, но ни днем больше. Смешно и никого не ущемляет, потому что судебная ответственность никому не грозит. Но условие о сроках действия авторского права — то же самое. Ни один закон не может заставить книгу жить дольше или умереть раньше срока, отпущенного ей временем.

Вот, например, Тотлтаун, штат Калифорния. Молодой город, с населением три тысячи человек, с банками, пожарной командой, кирпичными домами и всеми современными удобствами. Город живет, процветает, а потом исчезает с лица земли, словно и не было его, Тотлтауна, в штате Калифорния. Он умер. А Лондон существует. Билл Смит, автор книги, которую будут читать с год или того меньше, имеет земельную собственность в таком вот Тотлтауне. Уильям Шекспир, которого читает весь мир, владеет землей в Лондоне. Предоставьте Биллу Смиту, тоже почившему в бозе, как мистер Шекспир, авторское право, такое же вечное, как его право на землю в несуществующем Тотлтауне. Пусть он проиграет его, пропьет или пожертвует церкви на благотворительные нужды. Пусть его наследники владеют им столь же безраздельно, как он сам.

Иногда я наезжаю в Вашингтон, сижу там во время прений и стараюсь вдолбить эту мысль конгрессменам, но у конгресса есть заранее заготовленные аргументы против международного авторского права, не очень-то убедительные. Я представил это дело как право на земельную собственность одному сенатору, но он ответил: «А если кто-нибудь создаст бессмертное произведение?»

Я: «Предположим, это случится, но мы-то с вами как узнаем, что оно бессмертно? Так стоит ли беспокоиться?»

Он: «Но я желаю защитить мир против наследников и других правообладателей, которым выгодна ваша идея».

Я: «Неужели на свете перевелись люди с коммерческим чутьем? Книгу, которая живет вечно, нельзя продавать по искусственно заниженной цене. Всегда будут публиковать ее роскошные издания и самые дешевые. Возьмите Вальтера Скотта, — сказал Твен, обращаясь уже ко мне, — когда его романы еще принадлежали ему, я покупал самые дорогие издания, лишь бы денег хватило, потому что они мне очень нравились. Но та же фирма публиковала такие дешевые их издания, что и кошке по средствам. Просто люди блюли свою собственность, но делали это с умом. На одном участке они разрабатывали золотую жилу, на другом разводили овощи, а третий отвели под карьер. Понимаете?»

А я понимал, и с величайшей ясностью, что Марк Твен вынужден отстаивать простую истину: человек имеет такое же право на детище своего ума (ну не ересь ли!), как и на создания рук своих. А когда старый лев рычит, щенки порыкивают. Я тоже порыкивал утвердительно, и разговор о книгах вообще перепорхнул на его собственные в частности.

Все больше смелея и чувствуя за спиной сотни тысяч любопытных читателей, я спросил, женится ли Том Сойер на Бекки Тэчер и вообще будем ли мы иметь возможность познакомиться со взрослым Томом.

— Я еще не решил, как поступить, — ответил Твен. Он встал, снова набил трубку и зашагал в шлепанцах по комнате. — Я хотел бы написать продолжение «Тома Сойера» в двух вариантах. В одном он удостаивается больших почестей и попадает в конгресс. В другом я собираюсь его повесить. А друзья и враги книги могут выбрать конец по вкусу.

Тут я совсем забыл о почтении и заявил протест относительно такого намерения, потому что, для меня по крайней мере, Том Сойер — словно живой человек.

— А он и есть живой, — возразил Марк Твен, — он совсем как мальчик, которого я знал и каким его помню. Но хорошо бы вот так закончить книгу, — и, обратившись ко мне, пояснил: — Потому что, когда начнешь размышлять над всем этим, то понимаешь, что ни религия, ни воспитание, ни образование ничего не значат перед силой обстоятельств, которые вертят человеком как хотят. Возьмем следующие двадцать пять лет в жизни Тома и немного перетасуем обстоятельства, управляющие его поступками. И в зависимости от них он станет мерзавцем или ангелом.

— Значит, вы действительно так думаете?

— Вот именно. Кстати, не эту ли игру обстоятельств вы называете «кисмет»?[1].

— Да, но, пожалуйста, пусть эта игра не будет такой двойной, ведь Том уже не ваша собственность, он принадлежит всем нам.

Твен рассмеялся — и какой это был раскатистый, искренний смех, — а потом прочел мне лекцию о праве писателя распоряжаться судьбой своих персонажей, как ему захочется. Так как этот разговор представляет сугубо профессиональный интерес, я его милосердно опускаю.

Вернувшись в большое кресло и говоря о правде в литературе и тому подобном, он добавил, что автобиография — единственный жанр, в котором каждый являет себя миру в истинном свете, вопреки собственной воле и отчаянным попыткам избежать этого.

— Большая часть вашей «Жизни на Миссисипи» тоже автобиографична?

[1] В рассказах Киплинга — олицетворение сверхъестественной силы, равнодушного фатума, распоряжающегося судьбами людей *(Здесь и далее прим. перев.)*.

— Насколько это возможно, когда пишешь книгу, в частности и о себе. Но в настоящей автобиографии, наверное, просто невозможно сказать о себе всю правду истинную или обмануть читателя, заставив поверить в то, чего не было.

Однажды я проделал такой опыт. Есть у меня друг, человек с болезненной склонностью говорить правду во всех случаях жизни, который и помыслить не может о том, чтобы солгать, и я уговорил его, для нашего общего развлечения, написать автобиографию. Он согласился; рукопись составила том в восьмую долю листа, но этот хороший, честный человек оказался бессовестным лгуном. Каждый факт, который я хорошо знал, попав на бумагу, был извращен, и автор ничего не мог с собой поделать.

Не в природе человеческой писать правду о себе. Да и читатель всегда чувствует, врет автор или ему можно верить. Он как человек, который не знает, почему вот эта женщина показалась ему прекрасной, ведь он даже не помнит, какие у нее волосы, глаза, зубы или фигура. И читательское впечатление всегда правильно.

— А вы собираетесь когда-нибудь написать автобиографию?

— Если и напишу, то меня постигнет та же участь. Я из кожи вон буду лезть, чтобы казаться лучше в любом пустяке, что не служит к моему украшению, и мне, как и прочим, не удастся обмануть читателя, он поверит только правде.

Это замечание, естественно, привело нас к разговору о совести, и тогда Марк Твен изрек знаменательные слова, слушайте и запоминайте:

— Совесть нам очень надоедает. Она как ребенок. Если ее баловать и все время играть с ней и давать все, чего ни попросит, она становится скверной, мешает развлекаться и пристает, когда грустно. Обращайтесь с ней, как она того заслуживает. Если она бунтует, отшлепайте ее, будьте с ней построже, браните ее, не позволяйте ей играть с собой во все часы дня и ночи, и вы приобретете примерную совесть, так сказать, хорошо воспитанную. Совесть же скверная отравит вам всю радость жизни. Свою я, наверное, укротил. По крайней мере она что-то молчит последнее время. Возможно, я даже уморил ее излишней суровостью. Нельзя, конечно, убивать детей, но, между прочим, совесть во многих отношениях и отличается от ребенка. Быть может, она лучше всего — мертвая.

Потом он немного рассказал о себе — что обычно рассказывают незнакомцам,— о своей юности, и как его воспитывали, и каким образом его родители благотворно влияли на него. И глаза его тоже рассказывали, под нависшими бровями лучился свет, и снова он вставал, и легко, как девушка, пересекал комнату, чтобы показать мне какую-нибудь книгу, и затем ходил взад-вперед, попыхивая трубкой. Ах, если бы я мог набраться храбрости и попросить эту трубку ценой в пять центов в дар! Я теперь понимаю, почему варварские племена так упорно желали вкусить от печени храброго воина, павшего в бою. Будь трубка у меня, она, по всей вероятности, сообщила бы мне толику его умения прозревать души людей. Но он ни разу не положил ее в пределах досягаемости, и я не смог ее украсть.

Один раз, и это было, было воистину, он положил мне руку на плечо, и словно при звуках фанфар меня наградили «Звездой Индии» во всем ее голубом шелковом великолепии, усыпанном бриллиантами. Если когда-нибудь в превратностях и случайностях земной судьбы меня ждет бесповоротное падение, я расскажу смотрителю работного дома, как однажды Марк Твен положил мне руку на плечо, и он отведет мне отдельную комнату и удвоит мою нищенскую порцию табаку.

— Никогда не читаю романов, — сказал он, — разве уж общественное мнение загонит меня в угол и начнут приставать с расспросами, что я думаю о книге, которую читают все.

— И чем завершилась последняя атака?

— Вы о книге Роберта?[1]

Я кивнул.

— Я прочел его роман, из интереса к мастерству, конечно, но подумал, что слишком долго пренебрегал беллетристикой и, наверное, на полках у меня скопилось немало хороших книг так же изящно сделанных. Поэтому я устроил себе курс ускоренного прочтения романов, но потом бросил это занятие, меня оно не увлекает. Ну а что до книги Роберта, то впечатление было такое, словно уличный певец услышал прекрасную органную музыку из соседней церкви, правда, я не стал вникать, так ли уж эта музыка серьезна и необходима, я просто слушал, и мне она нравилась. Но я говорю об изяществе и красоте стиля.

Понимаете, — продолжал он, — у каждого есть право на собственное мнение о прочитанной книге. Я вам сказал свое. Живи я при начале мира, я бы сперва послушал, что соседи говорят об убийстве Авеля, прежде чем громко осудить Каина. Конечно, мнение у меня было бы, но я бы погодил его обнародовать. Так что я сообщил вам свое собственное мнение о его книге. А что касается моих обнародованных, то я не слишком в них уверен и мир может спать спокойно.

Он свернулся калачиком в кресле и заговорил о другом:

— Девять месяцев в году я живу в Хартфорде, но работать почти не приходится. Я уже смирился. Все время приезжают разные люди, и «заглядывают» во все часы дня, и толкуют обо всем на свете. Как-то я решил подсчитать, сколько раз на дню меня оторвут от работы, — список составить. И сначала пришел некто и заявил, что желает видеть только мистера Клеменса, и никого другого. Это был агент по изготовлению фотогравюр с живописи, но я очень редко использую в своих книгах репродукции с картин. После него явился другой. Он тоже хотел говорить только с мистером Клеменсом и попросил написать что-нибудь для Вашингтона. Я его проводил. Проводил третьего, потом четвертого. К тому времени уже наступил полдень, я устал и захотел отдохнуть. Но пятый был единственный из всей этой компании, кто пришел персонально от себя. Сначала он прис-

[1] Очевидно, имеется в виду роман Р. Л. Стивенсона «Владелец Баллантре» (1889).

лал визитную карточку, а в ней стояло: «Бен Кунтц, Ганнибал, Миссури». Я вырос в Ганнибале. Бен был мой школьный товарищ. Поэтому я распахнул двери и объятия высокому, неповоротливому толстяку, совсем не похожему на прежнего Бена, ну ничего общего.

«Да ты ли это, Бен? — спросил я. — Знаешь, ты изменился за последнюю тысячу лет» И толстяк ответил: «Видите ли, я не совсем Кунтц, но я его встречал в Миссури, и он сказал, чтобы я не сомневался и шел прямо к вам, и дал визитную карточку, и — тут он разыграл маленький спектакль в мою пользу — если вы минутку подождете, я мигом достану проспекты.. Я не то чтобы сам Кунтц, но у меня есть полный набор удочек для продажи».

— И что ж было потом? — спросил я почти беззвучно.

— Я захлопнул дверь. Это был не Бен Кунтц — не совсем, видите ли,— не мой школьный друг, а я с любовью обнимал его и... меня подцепили на удочку в моем собственном доме.

Итак, в Хартфорде удается работать очень мало. Каждый год я приезжаю сюда на три месяца и работаю четыре-пять часов в день в том маленьком доме в саду на холме, где вы были. Конечно, я не возражаю, если меня прервут два-три раза в день. Когда работа в полном разгаре, от таких пустяков она не страдает. Вот если начнут отрывать восемь, девять или двадцать раз в день, это сказывается на композиции.

Я горел желанием задать ему разные нескромные вопросы, например, какое из своих произведений он любит больше, но его глаза повергали меня в состояние такой почтительности, что я не собрался с духом. Он говорил, я слушал, а дух мой пресмыкался у его ног.

На ковре теперь была проблема начитанности, и я до сих пор не решил, действительно ли он думал, что говорил.

— Я не люблю беллетристику и прочие повествования. Я люблю факты и всякую статистику. Если кто-нибудь изложит голые факты насчет выращивания редиски, мне будет интересно. Вот сейчас, например, перед вашим приходом, — он указал на полки с энциклопедией, — я читал статью «Математика». О настоящей, чистой математике. Мое собственное знание математики кончается таблицей умножения, но статья мне очень понравилась. Я, конечно, ни слова не понял, но факты, или то, что автор считает фактами, всегда чрезвычайно интересны. А этот математический парень верит в свои факты. Я тоже. Мне подавайте факты, — тут голос его упал до еле слышного бормотанья, — и тогда с ними можно делать что угодно.

Запечатлев в душе этот драгоценный совет, я откланялся, а великий человек ласково заверял меня, что я совсем, ну нисколько его не оторвал.

Очутившись за дверью, я почувствовал бешеное желание вернуться и задать еще несколько вопросов, ведь теперь-то я знал, о чем надо спрашивать, но, хотя книги Твена принадлежали мне, его время было его собственностью.

У меня тоже будет время, чтобы вспоминать об этой встрече над могилой отлетевших дней, но грустно думать, что о многом мы не успели поговорить.

В Сан-Франциско газетчик из «Колл» поведал мне массу легенд о том, как Марк работал у них начинающим репортером лет двадцать пять назад и как он был восхитительно не способен сделать репортаж о текущих событиях, но предпочитал сидеть где-нибудь, сгорбившись, и размышлять до последней минуты. А потом выдавал материал, не имевший никакого отношения к нужной теме, и редактор проклинал все на свете, а читатели «Колл» просили еще.

Хотелось бы мне послушать, как сам Марк Твен рассказывает об этом, и вообще о тех давних временах и других событиях своей веселой и разнообразной жизни. Он был бродячим наборщиком (когда двигался от берегов Миссури к Филадельфии), подручным лоцмана, а потом лоцманом-профессионалом, сражался солдатом на стороне Юга (правда, всего три недели), был личным секретарем у вице-губернатора Невады (это занятие ему не понравилось), рудокопом, редактором, спецкорреспондентом на Сандвичевых островах и бог знает кем еще.

Вот бы найти способ и напоить человека с таким богатым опытом — а чудесно было бы подливать ему в стакан из разных бутылок и, говоря языком его соотечественников, «заставить ретроспектировать»!

Но глаза смертных недостойны созерцать пиршества богов!

◆

ФАНТАСТЫ И ФАНТАСТИКА

Предлагаем вниманию читателей беседу с болгарским писателем Любеном Диловым, опубликованную на страницах журнала «Пламк».

— Товарищ Дилов, чем можно объяснить исключительный интерес к фантастике в последние десятилетия?

— В нашем административном языке в последнее время утвердилось новое клише: в тех случаях, когда не знаешь, что ответить, говоришь: «Причины тут сложные и комплексные». Вполне возможно, в данном случае они действительно и сложны и комплексны. Так или иначе любой более точный ответ потребовал бы специальных исследований. Статистически верно, однако, то, что за последние десять лет фантастика прочно занимает первое место по тиражам, опередив даже детективы. Показательно также и то, что одновременно с ростом интереса к фантастике резко усилился и спрос на мемуаристику, на документальную прозу. Из этого можно было бы сделать вывод о том, что читатель предпочитает или что-то «настоящее», или же откровенный вымысел с открыто выраженной в нем идеей той беллетристике, которая старается внушить, будто она достоверна: «В один прекрасный вечер в городке Н. в 19... году» и т. д., а за кажущейся ее достоверностью событий опять-таки стоит вымысел, в котором автор к тому же вынужден прятаться за своими героями, не высказывая собственных мыслей, поскольку герои его становятся в противном случае «рупорами авторских идей», за что писателей ругают критики. Впрочем, таковы законы так называемой реалистической литературы, в то время как фантастика может позволить себе наличие «рупоров», и это ничуть не будет смущать ни ее читателей, ни критиков, поскольку «условия игры» с читателем здесь другие. Фантастика открыто заявляет: «Ясно, дорогой читатель, что то, что я тебе рассказываю, никогда не происходило и никогда не произойдет, следовательно, я хочу сказать тебе своей прозой нечто иное, другими словами... гляди в оба!» В этой условности иного типа заложены не только предпосылки успехов, но и недостатков жанра фантастики. А вывод, к которому я пришел, безусловно, весьма относителен.

— Что делает его относительным?

— Во-первых, понятие «фантастика» в данном случае относится к целому ряду совершенно различных книг, оно включает в себя и то массовое приключенческое чтиво, у которого очень мало общего с литературой, но которое также немало способствует поражающему, рекордному росту тиражей. Если мы зададимся целью найти то общее, что объединяет любителя такого чтива и поклонника социальной сатиры братьев Стругацких или философской фантастики Станислава Лема, возможно, что им окажется общее откровенное желание пережить книгу как приключение духа в неизвестных нам, небудничных сферах. В этом смысле фантастика в первую очередь есть современное (и, видимо, необходимое) продолжение сказки о невероятных путешествиях, полных чудес, которая трансформировалась позднее в средневековые романы-путешествия и путевые записки. Тот герой, что отправлялся за тридевять земель в тридесятое царство и встречался на своем пути со всякими чудесами, сегодня вынужден покинуть Землю и отправиться «за тридевять звезд». Мне кажется, что эта на первый взгляд дешевая параллель связана с некоторыми фундаментальными изменениями в обществе и в мышлении, которые в свою очередь явились результатом как развития техники, так и новой картины природы, созданной современной наукой. На Земле у человека уже нет противника, нет врага. Куда бы он ни отправился — в джунгли Амазонки, или на дно океана, или на необитаемые ледники Антарктиды, — он повсюду встречается с собой и собственным своим относительным представлением о мире, представлением, о котором он знает, что оно временное и во многом зависит от ускорителей или атомных реакторов и что его расшатывает чуть ли не каждая вновь от-

крытая частица материи. Это сознание временности и относительности наших познаний о мире, возможно, еще одна причина интереса читателя к тому разделу фантастики, который называет себя несколько нескромно — «научная фантастика». Не мир дает нам представление о себе, мы сами создаем, я бы сказал даже, каждый человек в отдельности создает себе его образ, и сознание этого дополнительно раскрепощает и подстегивает наше воображение, к тому же нам интересно узнать, что может дать нам воображение ближнего. Поэтому и одним из главных критериев, которым руководствуется читатель при оценке труда фантаста, является новизна фантастической ситуации, оригинальность утопии, которая ему предлагается. Это те критерии, которыми критика почти не оперирует.

— Вы одобряете их?

— Отчасти да, но только отчасти; я считаю, что такая оценка должна применяться при рассмотрении любых жанров. То, что скучно и банально, — нежизнеспособно, сколько бы наград ни получил за это писатель, особенно в эпоху кино и телевидения. Но я хотел сказать другое: этот критерий, если он единственный, становится основой и неприятных явлений... Как-то газета «Орбита» провела опрос читателей по поводу книг, вышедших в первый год существования серии «Галактика». На первое место, по отзывам читателей, вышел Артур Кларк с его романом «Встреча с Рамой». На последнем оказался Эдгар По. А ведь если кто и был настоящим писателем в этой серии из восьми книг, так это именно Эдгар По! Но подобная аномалия лишь подтверждает мою мысль о том, что ищет наш современник в фантастике. И хотя анкетируемые в большинстве своем, вероятно, были люди молодые, я не склонен преуменьшать значение этого результата. Если применять критерий художественности, Артур Кларк — довольно посредственный рассказчик из числа первых десяти или даже двадцати англо-американских фантастов, но он очень эрудирован и в его научно-технических утопиях всегда присутствует богатое воображение. Очевидно, миллионы почитателей такого типа фантастики ищут в ней именно это — помощи в размышлениях о мире. Она готовит их, особенно молодежь и подростков, к возможным изменениям, которые принесет наука, готовит к восприятию относительности мира, в котором им предстоит жить, развивает их воображение, дает некоторые реальные знания, ставшие достоянием человечества в последнее время. А поскольку фантастика изначально есть литература «морализаторская», она еще и воспитывает их своей простой и ясной моралью. Этим она внесла в литературу новый тип развлекательности, лучший и более полезный, нежели развлекательность детективной и приключенческой литературы, поскольку не строит свою интригу на одном лишь насилии.

— Но есть мнение, что сегодняшняя западная фантастика строится именно на насилии и сексе?!

— Видите ли, я склонен вообще исключить из нашего разговора обсуждение этой коммерческой продукции, которая наводняет западный книжный рынок. Она не принадлежит к литературе, и к ней могут быть применены лишь социологические оценки. Я имею на этот счет и личные впечатления. По моему мнению, у нее нет ничего общего с фантастикой, если мы условимся различать фантастику и фантасмагорию. Впрочем, это чтиво создается с помощью чрезвычайно бедного воображения, по нескольким весьма устаревшим и досадно примитивным схемам.

— Какова разница, на ваш взгляд, между фантастикой и фантасмагорией?

— Разница в одном, но она огромна! В фантастике фантастическое всегда подчинено художественной идее, в то время как фантасмагория есть, так сказать, «свободный продукт» воображения. Но как бы ни было интересно или оригинально умопостроение автора, банальность художественной идеи или вообще отсутствие таковой обесценивают произведение как литературу. Мне хочется еще раз особо подчеркнуть это в нашем разговоре, к сведению всех тех молодых авторов, которые часто обращаются ко мне со своими первыми опытами в жанре фантастики, да и молодых любителей фантастики, которые становятся все более одержимыми ею. Некоторое время тому назад один из них доказывал в своей статье, опубликованной в столичной газете, что человек, не читающий фантастики, — идиот и ограниченный болван. Я почувствовал себя уязвленным и с тех пор избегаю встреч с подобными читателями фантастики. Эти молодые люди должны прежде всего уяснить для себя, что в произведении есть художественная идея. И осознать, что она является, по сути, первым показателем, по которому мы должны оценивать и всякое произведение в жанре фантастики, если оно действительно представляет собой художественный факт. Здесь, как мне кажется, существует путаница и в теории фантастики, насколько таковая вообще существует. Любая фантастическая научная гипотеза или же гипотетическое научное открытие не могут представлять ни самую художественную идею, ни даже часть ее и, таким образом, не могут быть и основой литературного произведения. Они лишь элемент сюжета. Не так давно Артур Кларк получил премию, да он и без того гордится тем, что за пятнадцать лет до запуска искусственных спутников описал факт использования их для передачи сообщений. То есть как ретрансляторов. Но он сделал это в специальной статье, а не в литературном произведении, и сам неоднократно подчеркивал в своих интервью, что в фантастике важна не наука, а литературная ценность. Вряд ли, ведь в США решили расположить полигон для запуска космических кораблей во Флориде на том основании, что Жюль Верн именно там расположил свое орудие, с помощью которого был запущен снаряд на Луну в его известном романе...

— Жюлю Верну приписывают довольно много открытий.

— Я думаю, это скорее миф, и не в этом его заслуги перед человечеством. Показате-

лен и такой факт: несмотря на то что большая часть его «открытий» уже давно устарела, его все еще читают с удовольствием. Жюль Верн сознательно наделил свои романы популяризаторскими функциями, сохранился даже его договор с одним издательством, и из этого договора явствует, что автор берет на себя обязательство писать научно-популярные книги. Он дружил с учеными, один его родственник был астрономом, ему хорошо были известны научные идеи и мечты его времени. Читатель же их не знал. Научно-популярных изданий тогда не существовало, и газеты научных проблем не освещали. Читателю было неведомо также и то, что за несколько веков до Жюля Верна у Леонардо да Винчи уже существовали даже чертежи подводных лодок и самолетов, так что «Наутилус» вовсе не его изобретение. А сейчас каждое, даже самое незначительное открытие, самая сумасбродная гипотеза становятся достоянием читателя, прежде чем доходят до писателя, не закончившего еще свой очередной роман. Вообще взвалить на фантастику функции пророчества и открывательства или же оценивать ее по этим показателям абсолютно ошибочно. У нее совершенно те же задачи, что и у других жанров литературы, — исследовать человека и человеческое общество художественными средствами, в данном случае — своими специфическими художественными средствами. Если же в процессе этого будет сделано и какое-то «открытие», оно останется милым курьезом для ее исследователей. Но это относится не только к фантастам. Говорят, Бальзак задолго до анатомов догадался о существовании желез внутренней секреции и о воздействии гормонов на человеческую психику. Предсказание, «открывательство» как результат взлета творческого духа не есть нечто необычайное, и я его не отрицаю. Я не верю только в его роль в развитии науки. А современный век скоростей и вовсе не может себе позволить совершать открытия вначале в романах и рассказах, а уж затем — запускать их в производство.

— У вас лично есть такие «открытия» в вашей фантастике?

— Есть и не в фантастике, но поскольку я их не запатентовывал, предпочитаю держать их в тайне.

— Каковы в настоящее время тенденции развития фантастики в мире?

— Они подтверждают все, о чем мы здесь говорили. Во всех странах, где существует развитая фантастика со своими традициями, социально-философская и сатирическая фантастика доминирует над научно-технической. В серии «Галактика» вышел роман представительницы новой линии в западной фантастике Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы». В мире процветает фантастика, где место действия — человеческий мозг, и здесь изрядно спекулируют «ужасами» подсознания на базе довольно примитивного фрейдизма.

— А есть в этой тенденции что-либо плодотворное?

— Есть, конечно, но это весьма успешно делали и другие писатели, такие, как Достоевский, например, так что это не ново. Недавно я узнал, что у нас наконец-то готовится к изданию Новалис, которого мы долго отрицали, поскольку он «реакционный романтик»; мне предложили даже его отрецензировать. Ваш вопрос напомнил мне о нем, и я позволю себе процитировать по памяти одну его мысль: «Мы страстно мечтаем о путешествиях во Вселенной, но разве Вселенная не в нас самих? Нам неведомы глубины нашего духа: в них ведет путь, полный загадок. Только в нас — или же нигде — вечность с ее мирами, с прошлым и будущим». Вот так-то, а Новалис, если мне не изменяет память, жил на целый век раньше Жюля Верна.

— Но в ходе нашего разговора вы дошли почти до отрицания фантастики.

— Нет, я лишь постарался доказать, что серьезная фантастика неразрывно связана с литературой вообще, что Новалис столь же романтик, сколь и фантаст, что Вольтер столь же философ и политик, сколь и фантаст в своей повести «Микромегас», что Алексей Толстой — представитель эпического реализма — тоже не случайно обратился к фантастике. Сейчас мне пришла на память и мысль Гёте, который очень точно определил, откуда берет начало фантастика как явление и в чем вообще корень фантастического. Эта мысль из его книги «Поэзия и правда», я помню ее в оригинале и процитирую в собственном переводе: «Наши желания — это предчувствия способностей, заложенных в нас, предвестники того, чего мы могли бы достичь. То, что мы можем и чего желаем, представляется нашему воображению вне нас и в будущем. Мы ощущаем сильное стремление к тому, чем тайно уже обладаем». Мне думается, что в этой мысли Гёте содержится открытие, гораздо более значительное, нежели все открытия фантастов в их книгах. И именно в плане художественного исследования человека. Но эта мысль дополняет и мой ответ на ваш первый вопрос — почему растет популярность фантастики. Вот именно из-за этих наших желаний и предчувствий и из-за скрытых способностей, которые являются движущей силой в человеческом мире.

— Существует, однако, и мнение, что фантастика — своеобразное бегство от проблем сегодняшнего дня.

— Бегство — для кого? Для читателя или для писателя? Если для читателя, можно сказать, что всякое хобби, всякая страсть к чему-либо есть такое бегство — например, собирание марок или значков, так же как и чтение до беспамятства романов любого вида и характера. Существует, конечно, и фантастика, которая уводит читателя в другие миры, но она почти отсутствует на нашем книжном рынке. Мы уже говорили об этом массовом и очень пошлом чтиве, которое заполонило книжный рынок после второй мировой войны. Но если говорить о серьезной фантастике, можно с уверенностью сказать, что вся она без ис-

ключения, при этом иногда напрямую, связана с важнейшими проблемами наших дней: война или мир, раздел мира, экологический кризис, нравственные и социальные коллизии на нашей планете. А читатель обращается к этой литературе именно потому, что глобальными вопросами, которые она затрагивает, она провоцирует его мышление, поднимает его над мелочами будней, заставляет его гневаться и мечтать, но при этом — рассуждать и участвовать в дискуссии о будущем мира. Я — за эту фантастику и готов, как говорится, зубами и ногтями защищать ее от подобных несерьезных обвинений.

— Насколько я знакома с вашим творчеством, именно такую фантастику стараетесь создавать и вы. Таким образом, мы подошли к болгарской фантастике. Что вы могли бы сказать о ней?

— Авторов-фантастов у нас сравнительно немного, но зато это хорошие писатели. Поскольку болгарская фантастика кровно связана с нашей национальной литературой, она, естественно, инстинктивно продолжает демократические и социальные традиции нашей литературы. И педантично стремится к художественности. Даже самые молодые авторы, которые пишут сейчас свои первые рассказы, пытаются говорить в них с читателями о важных вопросах нашей жизни, а не только развлекать их. Отсюда и доброе имя нашей фантастики в мире. Даже при беглом взгляде можно отметить преобладание в ней философского и сатирического элементов над научно-техническим и приключенческим. Я убежден, что так будет продолжаться и впредь, поскольку эталоны и вехи, утверждаемые в нашей фантастике, начиная со Светослава Минкова, именно таковы. При этом, хотя мы издаем большое количество зарубежной фантастики, подбор ее в общем и целом неплохой, и читателю, так же, как и будущему писателю-фантасту, преподносится то из западной фантастики, что имеет литературную и идейную ценность.

— Вы лично почему перешли от других жанров прозы к фантастике?

— Интересно было бы задать этот вопрос «коллективно», всем болгарским писателям, таким как Павел Вежинов, Александр Геров и другие, которые пробовали себя в этом жанре. Мне кажется, что при достаточной откровенности ответы были бы приблизительно одинаковыми. Не обратиться ли мне вновь к тому клише, которое гласит, что «причины сложны и комплексны»? Вероятно, это так и есть на самом деле, но здесь не место для сложных и комплексных ответов...

Был в нашей истории довольно длительный период времени, когда и теория и практика искусства насильственно урезали права фантазии во имя ложно понятого реализма. Поэтому закономерно, что немало писателей и художников у нас в стране пытаются теперь вернуть ей потерянные права. Фантастика предлагает воображению очень интересные ходы, дает возможность ставить героев в неправдоподобно острые, но зато легко превращающиеся в символ ситуации, дает возможность четко и ясно выражать свои мысли. Она дает также возможность доносить наши идеи до большого круга читателей, которые еще способны воспринять некоторые истины, в то время как другие, те, что повзрослее, или их знают, или не узнают никогда ибо таких читателей уже бесполезно и поздно поучать.

Перевод с болгарского М. ЯРОСЛАВСКОЙ.

◆

Публицистика

ДЖОНАТАН ЛИНН, ЭНТОНИ ДЖЕЙ

ДА, МИНИСТР

ОТРЫВКИ ИЗ ПЕРВОГО ТОМА ДНЕВНИКОВ ДОСТОПОЧТЕННОГО ДЖЕЙМСА ХЭКЕРА, ЧЛЕНА ПАРЛАМЕНТА И ЧЛЕНА КАБИНЕТА

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

Лондон: в коридорах власти

Недавно в газетах промелькнуло сообщение о начале борьбы английского правительства с бюрократизмом. По этому случаю была созвана пресс-конференция, на которой журналистам роздали два объемистых доклада, пояснения к ним на тринадцати страницах, две пятистраничных справки о том, как следует составлять различные «входящие» и «исходящие», два бланка-анкеты и, наконец, сообщение для печати. Вся эта «литература» едва уместилась на 200 страницах и весила один килограмм.

Эта анекдотичная история как нельзя лучше характеризует проводимые время от времени шумные, но безрезультатные кампании по ослаблению бюрократических пут на Уайтхолле и служит хорошим подтверждением реальности ситуации, предлагаемой читателю во фрагментах из книги Джонатана Линна и Энтони Джея «Да, министр».

Косность обветшалых государственных институтов Британии, бездарность чиновников, нелепость бумажной писанины не раз служили в английской литературе поводом для сатирического обличения. Наиболее ярким и запоминающимся читателям был острый политический памфлет на современную английскую бюрократию Норткота Паркинсона под названием «Закон Паркинсона» [1].

Критический взгляд на всю государственную и социальную систему Британии содержался и в книге Дэвида Фроста и Энтони Джея «Англии — с любовью»[2]. За набором веселых, порой анекдотичных эпизодов из жизни англичан проглядывала убийственно правдивая характеристика английского капитализма, правящих кругов Британии, бюрократической машины, буржуазного образа жизни.

В сатирическом романе Кейта Уотерхауса «Конторские будни» [3] в гротескной форме изображена не только абсурдная тщета занятий чиновников, пишущих циркуляры и заполняющих бланки, но и обнаженно показан антигуманизм «общества благоденствия», лишающий тысячи людей осмысленного, общественно полезного труда.

И вот новая книга того же ряда — «Да, министр». Как уже сказано, один из ее авторов, Энтони Джей, знаком советскому читателю по книге «Англии — с любовью». В течение десяти лет он работал на телевидении, а затем целиком переключился на творческую деятельность — перу его принадлежит несколько документальных и публицистических книг. Джонатан Линн — театральный актер и режиссер, автор свыше пятидесяти телевизионных постановок. Сатира «Да, министр» сначала увидела свет в виде телевизионной серии, а затем ее сценарий обрел обличие книги. К настоящему времени уже закончена работа над второй серией телепостановок «Да, министр».

Написанная в форме дневниковых записей министра Джеймса Хэкера, якобы обнаруженных в 2017 году, эта сатира обращена в наше время и касается лишь одной стороны английской жизни — того эшелона власти, который определяется емким названием «Уайтхолл». Чтобы лучше понять остроту и едкость сатирических стрел, выпускаемых авторами, следует вкратце остановиться на системе формиро-

© Jonathan Lynn and Antony Jay, 1981.

[1] «ИЛ» 1959 № 6.
[2] «ИЛ» 1973 № 2.
[3] «ИЛ», 1982, № 10.

вания и функционирования аппарата министерств и департаментов, которые известный английский писатель Чарльз П. Сноу назвал «коридорами власти».

Армия британской «гражданской службы» насчитывает около одного миллиона человек. В ведении сонма чиновников — такие национализированные отрасли, как угольная, энергетическая промышленности и железнодорожный транспорт, почта и телеграф, образование и медицинское обслуживание, Гайд-парк и другие королевские парки, музеи, Би-Би-Си, аэродромы, полиция, сбор налогов и иммиграционная служба — чиновники, цепко ощупывающие взглядом каждого въезжающего в страну и сверяющие его имя с толстой «черной книгой», куда занесены фимилии лиц, нежелательных для въезда на Британские острова. В руках этого правительственного аппарата по сути дела находится крупнейшая хозяйственная, военная и политическая корпорация, своими ресурсами и влиянием затмевающая любую из промышленных монополий страны, взятую в отдельности.

Но, конечно, не эта безликая армия исполнителей «делает погоду» на Уайтхолле. Действия государственного аппарата направляют высшие чиновники, которых совсем немного,— так называемый «административный класс». Они не зависят от смены правительства, они не обязаны своими назначениями тем или иным политическим организациям или «группам давления». Их имена почти никогда не появляются в печати, они не дают интервью, не упоминаются в парламенте. И тем не менее влияние этих высших чиновников огромно. Постоянные заместители министров — как Хамфри Эплби в публикуемой книге — оплачиваются лучше своих политических боссов-министров. Но и знают они больше. Правительства уходят и приходят, а эти чиновники остаются на своих местах. На следующий же день после сформирования правительства новый министр сидит за своим столом и подписывает поданные ему бумаги. Причем новый министр может и не знать всей документации по тому или иному вопросу. По согласованию между партиями секреты правительства консерваторов остаются тайной для министров-лейбористов и наоборот. Если нужно, то компрометирующие бумаги просто изымаются из дел. А постоянным заместителям министров и другим высшим чиновникам открыт доступ ко всей документации соответствующего департамента. По замечанию одного из министров, «они могут уничтожить министра».

Ну, может, до уничтожения дело и не доходит, но министры — особенно лейбористы — частенько жаловались, что их подручные то и дело говорили: «это сделать невозможно», «так у нас не принято», «но это всегда делалось вот так».

Английские идеологи и пропагандисты любят превозносить так называемую нейтральность высших чиновников. Они, дескать, беспристрастные слуги общества и государства. Они лишь дают деловые советы, помогают формулировать правительственные решения в интересах всего общества.

Однако на деле английское чиновничество тяготеет к «голубому» (то есть консервативному) тону спектра и чурается всего, что хотя бы отдаленно напоминает «розовое», не говоря уж о «красном». Отбор высших чиновников происходит самый тщательный. По происхождению или карьере они почти все одного социального слоя. За их плечами не только определенное происхождение, но и воспитание в классических школах и обязательно — университетах Оксфорда и Кембриджа (Оксфорда предпочтительнее). Их неоднократно проверяют, особенно с точки зрения «национальной безопасности». Берут подписку о благонадежности. Никаких отклонений от идеологического стандарта не допускается. Для думающих мало-мальски не так, как того требует официальная идеология, пути на государственную службу закрыты — все чиновники обязаны дать подписку, что не состоят в коммунистической партии.

Надо ли сомневаться, что в нынешнем правительстве тори мнения министров-«назначенцев» и высших чиновников аппарата скорее совпадают, чем расходятся или требуют корректировки.

Многого из сказанного, естественно, в предлагаемой публикации читатель не увидит — на «тотальную» критику системы в данном случае авторы отнюдь не покушаются. Но довольно точно изображено «приручение» высшими чиновниками министра, который «привыкает к поводку не по дням, а по часам».

Носясь с содержавшейся в предвыборном манифесте его партии идеей Открытого Правительства, он вскоре узнает, что «для Открытого Правительства наступил закрытый сезон». Не так ли бывает и с привлекательными для избирателей лозунгами, которые после прихода к власти той или иной буржуазной партии тут же оказываются забытыми и выброшенными на свалку?

Тут и там в тексте книги разбросаны саркастические ремарки, откровенные признания. Например, констатация того, что «членов парламента выбирает не народ, а местное отделение партии». Или заявление высшего чиновника министру: «Вы здесь не для того, чтобы управлять министерством».

И еще одно. В понимании чиновников «национальные интересы» всегда совпадают с интересами монополий и банков. Смена политической, парламентской, административной карьеры на деятельность в деловом мире и наоборот — обычная практика в сегодняшней Британии. Монополии частенько берут «взаймы» нужных им политических деятелей, включая отставных министров и деятелей тред-юнионов. И те же монополии охотно «ссужают» своих людей на политические и административные посты — на роли советников, наблюдателей, руководителей. Ибо цель у тех и у других одна. Чиновничество выполняет роль верного союзника капитала в борьбе против труда.

История Англии последнего десятилетия полна политических скандалов, связанных с коррупцией, незаконными сделками между представителями государственной власти и большого бизнеса. Отражением процесса взаимопроникновения крупного капитала и государственной службы и является в публикуемой книге глава «Теплые местечки для своих ребят».

Британский правящий класс довел до совершенства умение «выпускать пар». Именно поэтому с экрана английского телевидения разрешается умеренная критика существующих учреждений, если только она не затрагивает основ буржуазного государства и порядка. Такого рода произведение и создавали два английских автора. И все же, хотели они того или нет, их сатирический заряд оказался мощнее рассчитанного. Нарисованная ими картина британских «коридоров власти» предстает в достаточно неприглядном виде.

О. ВАСИЛЬЕВ

Предисловие редакторов[1]

В первую очередь необходимо пояснить, какими принципами мы руководствовались при сокращении дневника в десятки миллионов слов до одного относительно тонкого тома.

Мы поставили перед собой следующую главную задачу: упрощать и тем самым прояснять. Хотя Хэкер стремился к тому же, долгое пребывание на политическом поприще приучило его употреблять двадцать слов вместо одного и использовать язык для того, чтобы затемнять, затушевывать события и проблемы, делая их неудобопонятными для непосвященных.

Тем не менее мы убеждены, что Хэкер вел эти дневники — поистине уникальный документ, рисующий картину управления Англией в восьмидесятых годах двадцатого века,— надеясь, что они будут служить источником информации, а не сбивать читателей с толку. Вот почему мы беспощадно сокращали их и ужимали.

Первый том охватывает приобщение Хэкера к деятельности члена правительства на посту министра министерства административных дел, созданного незадолго до этого для координации в государственном аппарате. Теоретически Хэкер имел право принимать меры против административной неэффективности и перерасходов во всех правительственных учреждениях. К несчастью, однако, министерство административных дел было укомплектовано точно такими же чиновниками, как те, которых оно должно было контролировать. И читатель без труда угадает, чем неизбежно должны были завершаться труды Хэкера.

Нас все еще удивляет, что Хэкер, в своей политической деятельности такой мастер смазывать и затемнять, оказался столь бессильным перед группой сотрудников государственного аппарата, чьи приемы, в сущности, ничем не отличались от его собственных. Наивность Хэкера, постоянно проглядывающая в этих дневниках, поистине трогательна.

Следующие тома, над которыми мы еще продолжаем работать, охватывают дальнейшую деятельность Хэкера в министерстве административных дел и освещают тот период, когда, проваливаясь все выше и выше от одного важного портфеля к следующему, еще более важному, он завершил свою карьеру окончательным крахом на посту премьер-министра и был вознесен в палату лордов (как она тогда называлась).

Хэкеру, естественно, были неизвестны некоторые разговоры и события, которые мы смогли включить в книгу благодаря так называемому «правилу тридцати лет», открывшему нам доступ ко всем меморандумам и другим бумагам сэра Хамфри Эпльби. К счастью, сэр Хамфри, во всех отношениях идеальный чиновник, был убежденным бюрократом и в той или иной форме запечатлевал на бумаге буквально все.

Мы весьма благодарны за многие ценные сведения, полученные в устных беседах с бывшим главой государственной службы сэром Бернардом Вулли, который в эпоху написания дневников был личным секретарем Хэкера.

Джонатан Линн и Энтони Джей
Колледж Хэкера,
Оксфорд, июль 2017 года

1. Открытое Правительство

22 октября. Точнее сказать, теперь уже раннее утро 23 октября. Я очень взволнован. После долгих лет в оппозиции наша партия победила на всеобщих выборах и вернулась к власти.

23 октября. Сижу у телефона с самого завтрака. В первые сутки после назначения нового премьер-министра ни один потенциальный член кабинета не отойдет от телефона дальше чем на пять шагов. Если за эти сутки к вам не обратятся, в кабинете вам не бывать.

Энни все утро поила меня кофе, а потом сказала, что я мог бы помочь ей с брюссельской капустой к обеду, раз мне все равно нечего делать. Я объяснил, что не могу — мне должны позвонить.

— Кто бы это?— Иногда Энни бывает туповата.

Зазвонил телефон. Я схватил трубку. Звонил Фрэнк Уизл, мой политический советник. Он сказал, что сейчас приедет. Энни это не обрадовало.

— Почему бы ему просто не поселиться здесь?— спросила она с горечью.— И почему ты вообще *на нем* не женился? Венчаются муж с политическим советником! Кого политика соединила, жена да не разлучит!

Конечно, Энни жутко трудно, я понимаю. Быть женой члена парламента —

[1] Здесь «редакторы» (и далее сокращ. «ред.») — авторы и персонажи книги.

участь не из завидных. Но теперь, когда я, возможно, стану министром, она начнет пожинать цветы удовольствий.

Телефон звонил весь день. Всякие бесполезные люди поздравляли меня с переизбранием в парламент.

— Неужели они не понимают, что я жду звонка?— сказал я Энни.

— Ты, кажется, думаешь, что получишь министерство?

— Да,— говорю я.— Но вот какое? В этом весь вопрос.

Вдруг Энни завизжала. Я даже ушам своим не поверил, а она начала рвать на себе волосы. Я решил, что ей просто нехорошо.

— Тебе нехорошо? — спросил я, а она взвизгнула и упала на пол. Я хотел было вызвать машину «скорой помощи», но подумал, что в такой критический момент это может дурно повлиять на мою карьеру. «Жену нового министра увозят в смирительной рубашке!»

— Тебе нехорошо? — спросил я снова. Очень осторожно.

— Нет! — кричит она.— Нет, нет, нет. Мне хорошо. Просто я жена политического деятеля. Мне не положено ничего чувствовать. Я просто счастливая и беззаботная жена политического деятеля.

Тогда я ее спросил, почему она лежит ничком на полу.

— Ищу сигарету. И никак не могу найти.

— А ты посмотри в пачке,— посоветовал я, стараясь сохранять спокойствие.

— Там нет. Джим, сбегай купи.

Я объяснил Энни, что не могу отойти от телефона.

Энни проявила обычную тупость:

— Но если премьер хочет взять тебя в свой проклятый кабинет, так он позвонит тебе еще раз. Или ты ему позвонишь.

Нет, Энни не способна понять тонкие политические нюансы. *(Хэкер был потому так не уверен в своем назначении, что перед этим, когда решалось, кому быть лидером их партии, он поддержал соперника нынешнего премьер-министра. И вопрос стоял так: либо премьер-министр достаточно силен, чтобы забыть про Джима Хэкера, либо в интересах партийного единства он вынужден будет найти для него хороший пост.— Ред.)*

На исходе дня я из надежных источников узнал, что Билл получил Европу. Бедная старушка Европа! Билл ни по-французски, ни по-немецки ни бум-бум. Да и вообще двух слов не вяжет. Мартин получил министерство иностранных дел, как и ожидалось. Джек — здравоохранение, а Фред — энергетику.

24 октября. Наконец-то я член кабинета. Сегодня произошла моя первая встреча со старшими чиновниками министерства, и должен сказать, она произвела на меня большое впечатление.

Я всю ночь не спал, а около 9 часов утра мне позвонили из резиденции премьера. Мы с Фрэнком Уизлом как раз успели на лондонский поезд, я схватил такси и приехал в резиденцию, где премьер-министр попросил меня взять министерство административных дел (МАД). Это важный пост — я бы сказал, восьмой или девятый в кабинете, но, с другой стороны, МАД слывет своего рода политическим кладбищем — почти как министерство внутренних дел, и не исключено, что премьер дал его мне из мести.

Я ожидал, что стану министром сельского хозяйства, поскольку в теневом кабинете семь лет ведал сельским хозяйством и у меня было много неплохих идей, но по необъяснимой причине премьер решил иначе.

(Мы нашли служебную записку постоянного заместителя министра сельского хозяйства на имя секретаря кабинета сэра Арнольда Робинсона с просьбой принять меры, чтобы пост не достался Хэкеру, поскольку он в этих вопросах слишком «навострился». Из протокола кабинета следует, что сэр Арнольд сумел убедить премьера в нежелательности назначения Хэкера, «так как он занимался этими вопросами слишком долго и, возможно, несколько утратил свежесть восприятия».— Ред.)

Служебная машина уже ждала меня у подъезда, и прямо из резиденции премьера я был доставлен в МАД. У входа меня встретили Бернард Вулли, который должен будет стать моим личным секретарем, и его помощник. Бернард производит симпатичное впечатление. Мы прошли по коридору несколько миль до моего кабинета. Кабинет большой: внушительный письменный стол, длинный стол для совещаний со множеством стульев и полукруг кресел у кофейного столика для непринужденной беседы. Но вообще-то комната безликая. Бернард немедленно направился к бару.

— Выпьете, министр?

Я кивнул и поправил его:

— Джим,— указывая, что предпочту, чтобы меня называли по имени.

— Джин?— переспросил он, ослышавшись.

— Нет,— сказал я,— Джим. Называйте меня Джимом.

— Если вы не против,— ответил Бернард,— я предпочел бы называть вас «министр», министр.

— Министр, министр?— переспросил я, но понял, что́ он имеет в виду, и сказал: — Значит, я должен называть вас «личный секретарь», личный секретарь?

Но Бернард сказал, чтобы я называл его Бернардом. А минуту спустя пришел сэр Хамфри Эплби, постоянный заместитель министра МАД, глава министерского аппарата. Ему за пятьдесят, но почему-то он производит впечатление человека без возраста. Он обаятелен и умен, типичный высокопоставленный чиновник. Я решил спросить его, кто еще есть в министерстве.

— Коротко говоря, сэр, я постоянный секретарь по административным делам или, в просторечии, постоянный заместитель министра. Вулли — ваш старший личный секретарь. У меня тоже есть старший личный секретарь, то есть старший личный секретарь постоянного секретаря. Непосредственно мне подчинены десять секретарей-заместителей, восемьдесят семь секретарей-помощников и двести девятнадцать младших секретарей. Старшему личному секретарю непосредственно подчинены просто личные секретари. Премьер-

министр назначит от нашего министерства двух парламентских секретарей, а вы назначите своего личного парламентского секретаря.

— И все они умеют печатать на машинке?— пошутил я.

— Никто из нас печатать не умеет, министр,— без запинки ответил сэр Хэмфри.— Печатает миссис Маккей, ваша секретарша.

Я не мог понять, шутит он или нет, и сказал:

— Как жаль! А то мы могли бы открыть машинописное бюро.

Сэр Хамфри и Бернард засмеялись. Моей шутке или делая мне одолжение?

— Наверное, все так говорят в первый раз?— прощупал я их.

Сэр Хамфри меня успокоил:

— Ну, разумеется, нет, министр. Не совсем все.

Я решил немедленно взять дело в свои руки, сел за письменный стол и, к своему огорчению обнаружил, что сел во вращающееся кресло. Терпеть не могу вращающихся кресел! Однако Бернард немедленно заверил меня, что по моему распоряжению все в кабинете может быть сменено — мебель, цветовая гамма картины, распорядок дня. Бесспорно хозяин тут я! И я решил сейчас же и без обиняков объяснить им, что к чему.

— Откровенно говоря,— сказал я,— нашему министерству придется произвести полную расчистку застойной уайтхолловской бюрократии. Нам нужна новая метла. Мы распахнем окна и впустим свежий воздух. Мы покончим с волокитой и подвинтим разболтанную бюрократическую машину. Слишком много бесполезных людей восседает здесь за письменными столами.

Тут я вспомнил, что сам восседаю за письменным столом, но конечно, они поняли, что я говорю не о себе. Я объяснил, что в первую очередь мы избавимся от людей, которые просто задают работу друг другу. Сэр Хамфри принял это как нужно и высказал предположение, что я намерен передислоцировать их — вероятно, именно это я и имел в виду: я безусловно хочу покончить с раздуванием штатов, но не хочу лишать людей работы.

Но, говоря о новой метле, я имел в виду, что мы должны сделать правительство более открытым. Это было нашим предвыборным обещанием, и я намерен его сдержать. Так я и сказал Хамфри и Бернарду, а они к моему удивлению, всецело поддержали эту идею, и Хамфри сослался на мои речи, которые я произносил по этому поводу в палате общин.

На меня очень большое впечатление произвело, что он столько обо мне знает. А он с видимой искренностью объяснил:

— Мы здесь находимся только для того, чтобы помогать вам формулировать и проводить в жизнь вашу политику.

Среди проектов предложений, которые я увез сегодня домой в одной из красных папок, есть «Предложение по сокращению процедур одобрения заявок на планирование». Превосходно! Сэр Хамфри весьма уместно процитировал по протоколам парламентских заседаний довольно острый вопрос, который я задал в палате общин в начале года:

«Мистер Джеймс Хэкер (от Ист-Бирмингема): Известно ли министру, что из-за процедуры планирования строительство загородного коттеджа в двадцатом веке занимает больше времени, чем возведение собора в двенадцатом?»

Поскольку сегодня суббота, мы договорились по-настоящему приступить к делу с утра в понедельник. Однако они вручили мне шесть красных папок — четыре на вечер и еще две на завтра. Бернард объяснил, что предыдущий министр запустил эту работу — особенно во время предвыборной кампании.

Ну, я ничего запускать не собираюсь! И буду читать все, что они мне будут давать!

26 октября. Я прочел все, что было в папках. На это потребовалось около девяти часов. Все проекты предложений для Открытого Правительства производят внушительное впечатление, но мне известно, что чиновники — великие мастера проволочек. И сегодня я упомянул про это Хамфри. По-моему, он начинает усваивать, кто тут хозяин.

Но по порядку. К своему удивлению, я обнаружил, что в моем еженедельнике уже обозначены многочисленные приемы и встречи. Я спросил, как это так. Они же не могли знать, кто победит на выборах.

— Но мы же знали, что у нас будет министр, министр,— сказал Бернард, и я попросил его наперед обходиться без этих удвоений.

— Ее величество предпочитает, чтобы управление страной продолжалось и когда политические деятели отсутствуют,— объяснил Хамфри.

— Но ведь это же очень трудно? — спросил я.

— Да... и нет,— сказал Хамфри. Боюсь, что у него мания величия: я просто не понимаю, как можно управлять страной без политиков...

Кстати, они собирались дать мне на вечер еще три красных папки, и когда я охнул, сэр Хамфри сказал, что необходимо принять ряд решений и одобрить ряд постановлений, а потом добавил с явной задней мыслью:

— Но, разумеется, мы могли бы сократить объем работы так, чтобы вы выносили решения только по основным вопросам.

Но я сразу понял, где зарыта собака, и заявил, что буду выносить все решения и читать все необходимые документы.

На вечер они дали мне пять красных папок.

28 октября. Должен признать, меня поражает моя зависимость от чиновников. Я, как практически все члены нашего нового кабинета, знаю о работе государственной машины только из вторых рук. Мы так долго были в оппозиции, что лишь трое из нас занимали министерские посты прежде. Никогда раньше я не заглядывал в красные папки, не был знаком ни с одним постоянным заместителем министра и не имел ни малейшего представления, как все это делается. Естественно, что в результате мы вынуждены больше обык-

новенного полагаться на наших постоянных сотрудников. Слава богу, они ведут себя достойно.

(В следующий понедельник сэр Хамфри Эплби встретился в клубе с сэром Арнольдом Робинсоном, секретарем кабинета, о чем и сделал запись в своем личном дневнике.)

«Мы с Арнольдом (2 ноября) обменивались впечатлениями о новом правительстве. Его новый кабинет почти не отличается от предыдущего. А мой новый мальчик быстро усваивает правила поведения.

Я прощупал Арнольда касательно американского посла — поговаривают, что он просто не выходит от премьера.

Арнольд подтвердил, но не пожелал уточнить, что обсуждается,— оборона или торговля. Он опасается утечки информации, а потому кабинет пока ни в коем случае ничего не должен знать.

Отсюда я сделал верный вывод — и оборона, и торговля, а именно: контракт на новые космические системы. Перо в шляпу нового премьера всего через две недели после выборов. Конечно, подготовка велась не один месяц, но вся честь, естественно, достанется ему. Четыре с половиной миллиарда долларов и много новых рабочих мест в центральных графствах и на северо-западе, и к тому же в округах, где у них большинство ненадежное,— какое странное совпадение!

Информация очень ценная, и, насколько я понял от Арнольда, премьер попал бы в крайне неприятное положение, если бы некий гипотетический министр сунул палку в колеса англо-американских отношений. Палка о двух концах, и конец многообещающей карьере нового министра.

А потому я дал инструкцию моему секретарю вложить в документы, которые министр приказал передавать на просмотр своему Уизлу, копию накладных на американские дисплеи для канцелярских машин и подсунуть ее в самый низ — пусть Уизл обрадуется, что сделал открытие.

(За послеобеденным кофе к ним присоединился Бернард Вулли.— Ред.)

Я спросил юного Бернарда, как ему наш новый министр. Бернард в восторге. Я тоже. Хэкер скушал ежедневник не поморщившись и, судя по всему, субботу и воскресенье сидел над папками как ангел. Привыкает к поводку не по дням, а по часам.

Нужно только отучить его от вздорных идей об Открытом Правительстве, сказал я Бернарду. А Бернард спросил: «Но чем плохо Открытое Правительство?» Я ушам своим не поверил. Арнольд решил, что он шутит. Иногда я начинаю думать: действительно ли Бернард может сделать карьеру или нам придется прикомандировать его к комиссии по армейским захоронениям?

Арнольд исчерпывающе объяснил, что «Открытое Правительство» — бессмысленное словосочетание: либо будьте открытыми, либо имейте правительство. Бернард возразил, что граждане демократического государства имеют право знать все. Мы ответили, что в действительности они имеют право не знать ничего. Осведомленность означает соучастие и ощущение вины, а в неосведомленности есть определенно гордое достоинство.

На это Бернард сказал: «Но министр хочет Открытое Правительство». Иногда создается впечатление, что за все эти годы Бернард ничему не научился.

Я заметил, что людям не следует давать того, чего они хотят, если это им вредно — например, джин алкоголику.

И, как справедливо заметил Арнольд, если люди не знают, что вы делаете, они не знают, что вы делаете что-то *не то*.

Бернард спросил меня, как я намерен поступить. Естественно, я не сообщил ему, что, по моему замыслу, Уизлу предстоит сделать великое открытие. Не стоит подвергать лояльность Бернарда по отношению к Хэкеру такому тяжкому испытанию. Я спросил Бернарда, умеет ли он хранить тайну. Он ответил, что умеет. И я умею, сказал я».

(Хэкер, разумеется, об этом разговоре ничего не знал.— Ред.)

5 ноября. Фрэнк Уизл влетел ко мне в кабинет, размахивая каким-то документом. «Вы это видели?»— осведомился он голосом в четыре тысячи децибелов, не меньше.

Я попросил его сесть и объяснить спокойно. Выяснилось, что он обнаружил накладные, имеющие колоссальное политическое значение. МАД, по-видимому, закупило одну тысячу дисплеев для компьютеров по десять тысяч фунтов каждый. Десять миллионов фунтов из кармана налогоплательщиков. А изготовляются они в Питтсбурге!

Возмутительно! А Хамфри помалкивал. И неудивительно. Го же самое оборудование мы производим в Ист-Бирмингеме, моем избирательном округе! И у нас там растет безработица! А государственная служба не покупает английские изделия. Позор!

6 ноября. Разговор с Хамфри — с полный успех. Я показал ему накладные, и он признался, что МАД закупило это оборудование для всего Уайтхолла.

— Но они же не английского производства,— указал я.

— К сожалению, это так,— согласился он с некоторым смущением.

— Мы изготовляем такое же оборудование в Ист-Бирмингеме.

— Но не такого качества,— сказал он.

Весьма вероятно, что не такого, но, естественно, признать этого я не мог.

— Наши лучше,— твердо сказал я.— Их делают в моем избирательном округе.— И я распорядился, чтобы Хамфри аннулировал контракт.

Он ответил, что это не в его власти, тем более что тут замешаны иностранные поставщики, и посоветовал мне (несколько нагло, на мой взгляд) поставить этот вопрос на заседании кабинета.

— Возможно, они отложат обсуждение ситуации на Ближнем Востоке или ядерного разоружения, чтобы поговорить о канцелярском оборудовании.

Об этом, разумеется, и речи быть не могло. Я оказался перед дилеммой: если контракт не будет аннулирован, как я погляжу в глаза моим избирателям?

— А зачем им об этом знать?— спросил сэр Хамфри.— И вообще *кому бы то ни было?*

Я был потрясен. Неужели Хамфри не понимает, что это идет вразрез с нашей новой политикой Открытого Правительства,

которую он обязался проводить с не меньшей твердостью, чем я?

Фрэнк сформулировал единственный возможный выход:

— Если контракт нельзя аннулировать, его надо сделать достоянием гласности.

— Но ведь не рекомендуете же вы,— с некоторой тревогой спросил Хамфри,— чтобы министр прямо упомянул об этом конфиденциальном контракте в какой-нибудь речи?

Великолепная идея! В своей речи перед профсоюзом канцелярских служащих я расскажу об этом отвратительном контракте. И мы заранее передадим текст речи в печать.

Сэр Хамфри, казалось, встревожился еще больше. Я спросил его совета, который, впрочем, можно было предвидеть заранее.

— Мне кажется, не так уж желательно задевать американцев.

Смеху подобно! Я недвусмысленно заявил Хамфри, что давно уже пора осадить американцев с их торгашеским самодовольством. Мы обязаны думать об английских бедняках, а не об американских богачах!

— Министр,— объявил Хамфри,— если таково ваше твердое решение, министерство вас поддержит. До победного конца.

Что лояльно, то лояльно надо отдать им должное.

Я ответил, что да, таково мое твердое решение, и тогда Бернард сказал, что как только речь будет напечатана, он сразу же распространит ее для визирования.

Это новость! Какое еще «визирование»? Лишняя бюрократическая волокита и бумагомарание. Других министерств этот вопрос не касается. А если какое-нибудь будет против, пусть заявит об этом во всеуслышание. В этом-то и смысл Открытого Правительства.

8 ноября. Катастрофический день. Началось с того, что Бернард влетел в кабинет с циркуляром из канцелярии премьера: «Всем министерствам. Премьер-министр в следующем месяце намерен посетить Вашингтон и надеется, что результатом его визита станет важное англо-американское оборонно-торговое соглашение».

Отсюда следует, что ближайшие несколько недель мы все должны быть очень любезны с янки. Я был потрясен. И не только своим невезением. Просто невероятно, что я — член кабинета — ничего не знал о заключении оборонных соглашений с американцами.

Тут в кабинет торопливо вошел сэр Хамфри. Вид у него был несколько панический.

— Извините, министр, что я так врываюсь, но в резиденции премьера весь ад с цепи сорвался — по видимому, они только сейчас ознакомились с вашей речью. И спрашивают, почему она не завизирована.

— А что вы сказали? — спросил я.

— Сказал, что мы верим в Открытое Правительство. Но это по-видимому, только ухудшило дело. Премьер вызывает вас в палату общин, и немедленно.

Я понял, что для меня, возможно, все кончено, и спросил сэра Хамфри, чего следует ожидать. Сэр Хамфри пожал плечами.

Премьер-министр дал, премьер-министр и взял.

Сердце у меня защемило. Я вышел в коридор и услышал, как он добавил у меня за спиной: «Да святится имя премьер-министра», но, возможно, мне это почудилось.

Хамфри, Фрэнк и я поспешили в палату общин. У двери кабинета премьер-министра нам пришлось подождать несколько минут. Оттуда вышел Вик Гулд, наш старший парламентский организатор, и встал прямо передо мной.

— Гвоздь в заднице, вот вы кто, а? — Вик прямо-таки чванится своими гнусными манерами.— П-М на стенку лезет. Да кто вам позволил произносить такие речи на каждом углу?

— Это Открытое Правительство! — сказал Фрэнк.

— Заткнитесь, Уизл. Вы-то чего лезете?

Я кинулся на защиту Фрэнка:

— Он прав, Вик. Это Открытое Правительство. Так сказано в нашем предвыборном манифесте. Один из главных пунктов нашей избирательной программы. И П-М тоже верит в Открытое Правительство.

— Открытое, да не зевающее! — отрубил Вик. Очень остроумно! А он продолжал: — В политике надо уметь говорить тактично и изящно, дубина стоеросовая!

И он удалился по коридору. А из кабинета вышел сэр Арнольд и сказал то же самое, но только на языке Уайтхолла:

— Эта речь несколько огорчила премьер-министра. Она действительно уже передана прессе?

Я сказал, что распорядился передать ее точно в двенадцать. Сэр Арнольд, казалось, рассердился на сэра Хамфри.

— Я был крайне поражен! — сказал он. (Мне еще ни разу не приходилось слышать, чтобы один старший чиновник обращался к другому в столь сильных выражениях.) — Как вы могли допустить, чтобы ваш министр пренебрег надлежащими каналами и поставил себя в подобное положение?

— Министр и я,— начал Хамфри, повернувшись ко мне за помощью,— верим в Открытое Правительство. Мы хотим распахнуть окна и впустить свежий воздух. Ведь так, министр?

Я безмолвно кивнул. Впервые сэр Арнольд обратился прямо ко мне:

— Что же, министр, это была бы прекрасная предвыборная речь, но она ставит премьер-министра в довольно затруднительное положение.

На языке сэра Арнольда это равносильно такой угрозе, каких мне еще не приходилось слышать.

— Но... но ведь мы обязались сделать правительство открытым? — наконец кое-как выговорил я.

— По-видимому, сейчас,— сухо сказал сэр Арнольд,— для Открытого Правительства наступил закрытый сезон.

И тут сэр Хамфри облек в слова мои самые страшные опасения, спросив меня вполголоса, не составить ли черновик письма с просьбой об отставке — на всякий случай.

Я знаю, что он просто старался быть по-

лезным, но в минуту морального кризиса он плохая поддержка. Я понял, что остается только один выход.

— Нельзя ли это как-нибудь замять? — спросил я вдруг.

Хамфри, надо отдать ему должное, совершенно растерялся. Он даже словно не понял смысла моих слов. Эти высокопоставленные чиновники все-таки довольно наивны.

— Замять? — переспросил он.

— Да,— сказал я.— Замять.

— Вы имеете в виду (до Хамфри, по-видимому, наконец дошло) скрыть?

Слово «скрыть» мне не очень понравилось, но я должен был признать, что имел в виду именно это.

Тогда Хамфри сказал примерно следующее:

— Я понимаю. Вы считаете необходимым, чтобы в пределах намеченных вами директив касательно Открытого Правительства мы заняли более гибкую позицию.

Чиновники обладают удивительным талантом облекать простейшую идею в такую форму, что она выглядит крайне сложной. С другой стороны, это полезная способность, и мне следует развить ее в себе. При такой формулировке выходит, что я нисколько не изменил свою позицию. Но тут в приемную вбежал Бернард и, запыхавшись, сообщил, что, поскольку распоряжения об отмене процедуры межминистерского визирования отдано не было, в действие вступил пункт, останавливающий прохождение документа, из чего следовало, что *все в порядке!* Другими словами, моя речь не была передана в прессу и — неслыханная удача! — ее послали *только* в личную канцелярию премьера. Этот на редкость своевременный недосмотр спас меня, но, разумеется, я не показал Хамфри своего облегчения, и он даже извинился.

— Вина всецело моя, министр,— сказал он.— Эта процедура восходит ко временам, когда Открытого Правительства еще не было, и я непростительно забыл дать распоряжение о ее отмене. Надеюсь, вы извините этот промах.

— Ничего, Хамфри,— ответил я, решив проявить великодушие (ведь чем меньше будет об этом сказано, тем лучше).— От ошибок никто не застрахован.

— Да, министр,— сказал сэр Хамфри.

2. Кампания за экономию

1 декабря. Возвращаясь в Лондон после крайне беспокойного воскресенья проведенного у себя в избирательном округе, я открыл в поезде «Дейли мейл» и обнаружил огромную статью, полную нападок на меня.

Давайте выгоним Джима Хэкера

Достопочтенный Джим Хэкер, член парламента, торжественно обязался выполнить предвыборное обещание нынешнего правительства и произвести радикальные сокращения в государственном аппарате. Но многие ли понимают, что государственный аппарат растет сейчас буквально не по дням, а по часам? Я обнаружил, что поставку одних и тех же комплектов армейской формы проверяют ЧЕТЫРЕ министерства. Министерство обороны проверяет, то ли ему поставлено, что оно заказало. Министерство торговли и промышленности проверяет, учитывались ли при шитье соответствующие инструкции. Министерство занятости проверяет, соблюдает ли поставщик запланированные нормы использования рабочей силы, а ребята Джима Хэкера проверяют всех остальных.

Джим Хэкер являет собой ярчайший пример раздувания министерских штатов. Для начала выгоним его и сэкономим хотя бы одну ставку!

Я поглядел по сторонам. Обычно в купе первого класса пассажиры читают «Таймс», «Дейли телеграф» или «Файнэншл таймс», но сегодня все они без исключения читали «Дейли мейл».

Когда я вошел к себе в кабинет, Бернард протянул мне «Дейли мейл» и спросил, читал ли я. Я сказал, что читал. Вошел Фрэнк и спросил, читал ли я. Я сказал, что читал. Тогда Фрэнк прочел мне всю статью. Не понимаю, зачем он мне ее прочел: я же сказал ему, что читал. От того, что он прочел ее вслух, ему как будто стало лучше. А мне — хуже.

Я спросил у Бернарда, какой у них тираж — два миллиона, три миллиона?

— Нет-нет, министр,— сказал он так, словно я возмутительно завысил цифры.

— Ну а какой же?— спросил я еще раз.

— Мм... четыре миллиона,— сказал он с некоторой неохотой.— И таким образом статью читали лишь... двенадцать миллионов человек. Ну, от силы пятнадцать. И, как вам известно, многие их читатели вообще не умеют читать.

Фрэнк вел себя возмутительно То и дело повторял: «А это вы читали?» — и выхватывал еще какое-нибудь жуткое сведение из треклятой газетенки, например:

— «Вы отдаете себе отчет, что в налоговом управлении служит больше людей, чем во флоте? Возможно, правительство считает налоги лучшим средством обороны».

Бернард хихикнул, но увидел, что мне это остроумным не показалось, и сделал вид, будто закашлялся. Дурак!

Размахивая экземпляром «Дейли мейл», вошел сэр Хамфри.

— Вы это читали? — начал он.

Ну, это уж слишком!

— Да, да, да, да!!!— вспылил я.— Да, я читал эту газетенку. Я ее читал, вы ее читали, мы все ее читали! ПОНЯТНО?

— Более чем, министр,— холодно сказал сэр Хамфри после краткой оскорбленной паузы.

Я овладел собой и пригласил их всех сесть.

— Хамфри,— сказал я,— у нас нет другого выхода: мы должны провести радикальные сокращения. Сколько служащих в нашем министерстве?

— В нашем министерстве?— сказал он уклончиво.— Немного.

— Что значит «немного»?— спросил я. —

Две тысячи?— Он молчал.— Три тысячи? — предположил я самое худшее.

— Примерно двадцать три тысячи, министр.

Я был потрясен. Двадцать три тысячи служащих в министерстве административных дел? Двадцать три тысячи администраторов для регулирования административных дел других администраторов?

— Нам необходимо провести проверку организации и методов управления и установить, сколько штатных единиц — лишние.

— Мы провели такую проверку в прошлом году,— хладнокровно объявил сэр Хамфри.— И обнаружили, что нам требуется еще пятьсот штатных единиц. Однако, министр, мы в любую минуту можем закрыть ваше бюро по борьбе с бюрократией [1]. Ведь по сути дела — это всего лишь почтовый ящик для безответственных склочников.

Я так и ждал. Я знал, что оно Хамфри не по нутру. Да и понятно. Но бюро останется. Во-первых, такая идея нравится избирателям, а во-вторых, это пока единственное, что мне удалось тут сделать.

— Бюро останется,— сказал я.

Мы долго и холодно смотрели друг на друга. Наконец сэр Хамфри сказал:

— В таком случае без предварительных изысканий я просто не вижу какие еще меры по экономии мы могли бы принять.

Просто смех!

— Вы серьезно утверждаете,— спросил я,— что мы не можем провести у себя никаких сокращений?

Он пожал плечами.

— Ну... пожалуй, мы могли бы расстаться с одной-двумя буфетчицами.

Я снова вспылил и сказал, чтобы он не говорил ерунды. Я сказал, что мне нужны факты, ответы на вопросы, и перечислил их:

1. Сколько людей работает в министерстве?
2. Чем они все заняты?
3. Сколько зданий у нас на бюджете?
4. Кем какая работа ведется в этих зданиях?

В первую очередь мы приведем в порядок собственный дом, а затем возьмемся за остальной Уайтхолл. Получив исчерпывающие сведения, мы увидим, где следует сократить расходы, где — штаты, а где — процедуры.

Сэр Хамфри слушал с некоторым нетерпением.

— Государственный аппарат, министр,— сказал он, едва я умолк, чтобы перевести дух, — существует для проведения в жизнь законов, издаваемых парламентом. Пока парламент продолжает издавать все больше законов, государственный аппарат должен разрастаться.

— Ха! — насмешливо произнес Фрэнк.

Сэр Хамфри смерил его ледяным взглядом.

— Должен ли я заключить из этого, что мистер Уизл со мной не согласен?

— Ха! — повторил Фрэнк.

Он начинал действовать на нервы и мне.

— Фрэнк, смейтесь либо нормально, либо никак, — потребовал я.

— Министр, — сэр Хамфри встал, — если вы меня извините, я займусь подготовкой к осуществлению ваших инструкций.

Когда он ушел, Фрэнк сообщил мне про закулисные махинации. Оказывается, один из северо-западных ревизоров добился только по своему району сокращения расходов на 32 миллиона фунтов. А государственная служба это скрыла! Я спросил почему.

— Да они никаких сокращений не хотят,— раздраженно сказал Фрэнк.— Просить сэра Хамфри провести сокращение штатов — это все равно что просить алкоголика разбить самогонный аппарат.

Я спросил Бернарда, верно ли то, о чем рассказал Фрэнк. Бернард ответил, что он ничего про это не слышал, но если верно, то он неприятно поражен. Я попросил обоих проверить правильность фактов.

(Несколько дней спустя у Бернарда Вулли состоялся разговор с сэром Хамфри, который сэр Хамфри затем записал. Эту запись мы нашли в досье сотрудников МАД в Уолтемстоу. — Ред.).

«В 5 часов 15 минут пришел Вулли, чтобы обсудить вопрос о 32 миллионах фунтов, сэкономленных северо-западным ревизором. Я сказал, что неприятно поражен.

Вулли сказал, что он тоже был неприятно поражен, — просто невероятно, что мы ничего об этом не знали.

Иногда он проявляет опасную наивность. Естественно, я знал про это все. И был неприятно поражен только тем, что дело выплыло наружу. В результате министерство финансов может срезать нам фонды на будущий год.

Я почувствовал, что лучше разберусь в Бернарде Вулли, если переведу разговор на неофициальные рельсы. *(Для этого сэр Хамфри должен был встать из-за письменного стола и, упомянув, что уже 5.30 и рабочий день кончился, перейти к кофейному столику и предложить Бернарду рюмку хереса. — Ред.).* Я спросил, почему он так встревожен, и выяснилось, что он искренне хочет, чтобы МАД экономило средства.

Невероятно. Он явно не овладел еще и азами нашей работы.

Государственной службе необходимо какое-то мерило успеха. Поскольку она не приносит прибылей и не несет убытков, мы измеряем свой успех величиной нашего штата и нашего бюджета. По самому определению большое министерство более успешно, чем небольшое. Поразительно, как Вулли умудрился до сих пор не понять, что эта простейшая формула лежит в основе всей нашей системы.

Никто не просил этого ревизора экономить 32 миллиона. А что, если так будут делать все? Что, если повсюду начнут безответственно экономить средства?

Вулли с не меньшей наивностью сослался на то, что министр требует сокращений. Мне пришлось объяснять ему факты, которые, казалось бы, должен знать каждый ребенок.

[1] Это было нововведение Хэкера — отдел, куда частным гражданам рекомендовалось сообщать все лично им известные случаи волокиты и бюрократизма в государственных учреждениях. Оно просуществовало четыре месяца. *(Ред.)*

1. Министры приходят, министры уходят. Средний министр в любом министерстве держится менее одиннадцати месяцев.

(За десять лет своего пребывания на посту президента «Бритиш стил корпорейшн» сэр Монти Финнистон имел дело с девятнадцатью министрами промышленности. — Ред.).

2. Наш долг — помогать министру драться за деньги для министерства, несмотря на его панические реакции.

3. Впадать в панику министру не возбраняется. Политики любят паниковать. Это удовлетворяет их потребность в деятельности и создает иллюзию успеха.

4. Довод, будто мы обязаны выполнять все требования министра потому что он был «избран демократическим путем», при ближайшем рассмотрении не выдерживает критики. Членов парламента выбирает не народ, а местное отделение их партии, то есть тридцать пять мужчин в поношенных дождевиках или тридцать пять женщин в нелепых шляпах. Дальнейший «процесс отбора» — такая же чепуха: в парламенте только 630 членов, к власти приходит партия, имеющая там немногим более 300 членов, из которых сто слишком стары и глупы для поста министра, а еще сто слишком молоды и зелены Поэтому сто правительственных постов приходится заполнять из числа ста кандидатов. Иными словами, выбора тут никакого нет.

5. Отсюда следует, что, поскольку министры отбираются как попало, без малейшей специальной подготовки, наш патриотический долг — устраивать так, чтобы они возможно чаще принимали верные решения.

В заключение я научил Вулли, как объяснить министру эту экономию в 32 миллиона. Я предложил следующие возможности. Сказать, что а) они у себя на северо-западе изменили систему отчетности,

или б) изменились административные границы, так что цифры этого года несопоставимы с прошлогодними,

или в) эта сумма представляет собой компенсацию за перерасход по 16 миллионов в предыдущие два года, вызванный особыми и ныне устраненными причинами,

или г) эта экономия существует только на бумаге, и соответствующая сумма будет израсходована в будущем году,

или д) еще не был учтен крупный расход, так что в будущем году у данного района окажется точно такой же перерасход,

или е) произошло пока еще не учтенное перемещение кадров и промышленных предприятий в другие районы, расходы которых соответственно возросли,

или ж) в начале бюджетного года из соображений экономии было отменено осуществление каких-то дорогостоящих проектов, но фонды уже были выделены

Вулли как будто понял. Я намереваюсь в дальнейшем следить за ним внимательнее, поскольку, несмотря на случившееся продолжаю считать его многообещающим молодым человеком. Он счел нужным поставить меня в известность, что Фрэнк Уизл продолжает собирать материал и я, естественно, распорядился, чтобы Уизлу предоставили служебную машину. *(Посторонним лицам, от которых можно ожидать неприятностей, министерство, как правило, предоставляет служебную машину. Шофер, отчитываясь в показаниях спидометра, в любом случае должен будет сообщить, где побывал. Шоферы служебных машин являются в Уайтхолле одним из важнейших источников информации. Нередко их пассажиры упускают из виду, что все разговоры на заднем сиденье прекрасно слышны на переднем. К тому же у министров есть привычка забывать в машинах секретные документы. Информация — это самая ценная валюта в Уайтхолле, и шоферы ею постоянно обмениваются. — Ред.).*

(Далее следуют служебные записки, которыми сэр Хамфри обменивался с сэром Фредериком Стюартом, постоянным заместителем министра иностранных дел и по делам Содружества. — Ред.).

12.XII

Дорогой Хамф!

Меня тревожит, что ваш министр все еще пытается бессмысленно экономить.

Джумбо

Дорогой Джумбо!

Надеюсь, все сведется к обычной правительственной кампании за экономию — три дня заявлений для прессы, три недели министерских меморандумов, затем кризис на Ближнем Востоке, и все входит в нормальную колею.

Х., 12.XII.

13 XII.

Дорогой Хамф,

надеюсь, вы правы, но зачем рисковать? Предлагаю повторить операцию «Власяница»: «Экономия начинается у себя дома. Необходимо подать личный пример. Нельзя требовать от других того, чего мы сами не делаем», и прочее.

Джумбо

Джумбо,

прекрасная мысль Попробую. Спасибо Решение проблемы, вероятно как и всегда, в самопожертвовании.

Х.

Постскриптум. Увидимся на банкете лорда-мэра.

13.XII.

15 декабря Сегодня мы провели большое заседание о сокращении расходов. Фрэнк собирал материал около двух не-

дель. Совещание кончилось не совсем так, как я ожидал, но, во всяком случае, у нас есть теперь конкретная программа действий, хотя и не та, которая рисовалась мне.

Фрэнк приготовил две папки — одну по штатам, другую по зданиям.

Я сказал сэру Хамфри, что он будет просто поражен и что новообнаруженные сведения неопровержимо обличают бюрократическую неэффективность и самопотакание. Сэр Хамфри был как будто очень озабочен и заинтригован, а также полон желания узнать, где именно можно провести впечатляющее сокращение расходов. Я решил начать со зданий.

— Чэдуик-Хаус,— объявил я.— Вест-Одли-стрит.

— Огромное здание, где работает горстка людей, — вставил Фрэнк.

Сэр Хамфри заметил, что он случайно в курсе относительно Чэдуик-Хауса.

— Бесспорно, здание пока используется лишь частично, но оно предназначено для размещения новой комиссии по окружающей среде. И мы опасаемся, что места там может оказаться для этой цели даже недостаточно.

Это выглядело убедительно. А потому я перешел к корпусам в Уолтемстоу. Они абсолютно пусты.

— Разумеется, — сказал сэр Хамфри.

Я спросил, что он имеет в виду.

— Из соображений безопасности, министр. Ничего больше я сказать не могу.

— Значит, вы имеете в виду Эм-ай шесть?[1] — спросил я.

Он только молча покачал головой, а потому я спросил, что же он все-таки имеет в виду.

— Мы не признаем существования Эм-ай шесть, — ответил он.

Чушь какая-то. Я напомнил ему, что нет такого человека, который не знал бы о существовании Эм-ай шесть.

— Тем не менее мы его не признаем. Не все за этим столом прошли соответствующую проверку, — сказал сэр Хамфри, глядя на Фрэнка. — Эти корпуса сверхзасекречены.

— Как, — спросил я саркастически, — можно засекретить семиэтажное здание в Уолтемстоу?

— Было бы желание, а способ найдется,— ответил Хамфри. Я понял, что в присутствии Фрэнка он не намерен обсуждать что-либо хоть отдаленно связанное с вопросами безопасности. Я не собирался отсылать Фрэнка, а потому с неохотой был вынужден перейти к следующему мертвому грузу, обременяющему наш бюджет.

Фрэнк предложил продать дом номер 3-17 по Биконсфилд-стрит.

— В нем, — объяснил сэр Хамфри, — три бетонированных подземных этажа.

— Ну и что? — сказал я.

— Он предназначен на случай,— сказал сэр Хамфри. Я подождал, чтобы он закончил фразу, но вскоре стало ясно, что, по его мнению, он дал исчерпывающий ответ.

— На случай чего? — спросил я в конце концов.

— Вы же знаете, министр, — сказал он крайне многозначительным тоном. — Запасное помещение для правительства, если и когда.

Я ничего не понял.

— Если и когда — что?

— Если и когда... вы знаете что, — ответил Хамфри так тихо, что я его еле расслышал.

— Что — что? — Я не был уверен, верно ли я расслышал.

— Если и когда вы знаете что.

— Я *не* знаю что,— сказал я, сбившись с толку. — Что?

— Что? — Теперь с толку сбился сэр Хамфри.

— Что вы имеете в виду: «Если и когда вы знаете что»? Если и когда я знаю что — *что?*

Наконец Хамфри решил объяснить:

— Когда карты будут брошены на стол, министр, когда мыльный пузырь лопнет и погаснет свет... Ведь управление страной должно где-то продолжаться, даже если все остальное остановится.

Я некоторое время обдумывал его слова.

— А зачем? — спросил я.

Хамфри был, казалось, ошарашен этим вопросом. Он начал растолковывать, словно я пятилетнее умственно отсталое дитя:

— Правительство не может прекратить работу только потому, что страна уничтожена. Не хватало бы еще и анархии!

Как бы то ни было, это явно относилось к ведению МО (*министерства обороны. — Ред.*), и я понял, что дом № 3-17 по Биконсфилд-стрит вне моей компетенции.

— Почему у вас все эти сведения наготове? — вдруг воинственно осведомился Фрэнк и бросил на сэра Хамфри испепеляющий взгляд.— Вам известно, где я бывал!

Мне это не пришло в голову, однако Фрэнк, несомненно, сделал верный вывод, и я уже собрался обличить Хамфри, но он сказал мне самым обезоруживающим тоном:

— Разумеется, мы знали, где он бывал. А разве он занимался шпионажем? Я хочу сказать: мы же стоим за открытые обследования, не правда ли?

Ответить мне было нечего, а потому я самым своим деловым жестом захлопнул папку со зданиями. И открыл папку со штатами. Тут уж я чувствовал под ногами твердую почву.

— По-видимому, — начал я, — в Сандерленде девяносто государственных служащих точно дублируют работу девяноста других здесь, в Уайтхолле.

Хамфри кивнул.

— Следствие одного из решений кабинета. Создание рабочих мест на северо-востоке.

Наконец-то мы хоть в чем-то согласились!

— Ну, так давайте избавимся от них, — предложил я.

— Лично я, министр, вполне одобрил бы эту меру. Значительная экономия. Но... мой долг напомнить вам, что это район пониженной занятости. Чем и объясняется вышеупомянутый план создания рабочих мест. Правительство, которое сократит штаты в районе пониженной занятости,

[1] Сокращенное название секретной разведывательной службы.

где оно получило минимальное число голосов, проявит огромное политическое мужество.

Мы посидели и помолчали. Должен признать, со стороны Хамфри было очень мило напомнить мне, что речь идет о сомнительном избирательном округе. Обычно чиновников не интересуют такие жизненно важные политические расчеты. Ясно, что рискнуть там забастовкой я не мог, но у меня голова пошла кругом: на чем же все-таки можно сэкономить? И я решил отпасовать мяч сэру Хамфри.

— Послушайте, Хамфри, — сказал я, — все это прекрасно... но... нет, я не могу поверить, что невозможно сократить расходы по государственному аппарату. Сколько денег летит на ветер!

— Я с вами согласен, министр, — ответил он, к большому моему удивлению. — Для экономии есть значительные возможности...

— Но в таком случае, — перебил я, — на чем, скажите бога ради!

И тут, к еще большему моему удивлению, сэр Хамфри стал конкретен:

— Мне иногда кажется, что у нас здесь все поставлено на слишком уж широкую ногу. Вы понимаете: служебные машины, обстановка, штат личной канцелярии, приемы, копировальные аппараты...

Чудесно! Само собой разумеется! Я ликующе закивал.

— Но тут есть одна трудность, — добавил он, и сердце у меня упало. — Если люди наверху продолжают пользоваться удобствами и излишествами, которых они лишили нижестоящих, это вызывает озлобление, не говоря уже о неминуемых газетных выпадах...

Он замолчал и посмотрел на меня. Не буду отрицать: особенного восторга я не ощутил. Идея Хамфри явно требовала, чтобы мы с ним показали личный пример. Экономия начинается дома, нельзя требовать от других того, чего мы сами не делаем, и так далее.

— Но большую ли это даст экономию?— с сомнением спросил я Хамфри.

— Прямо — нет, — сказал он. — Но как пример для подражания — неисчислимую.

И тут Фрэнк выдвинул неопровержимый довод в пользу этого плана, указав, какой благоприятный отклик подобный ход вызовет в прессе, какие блестящие мы получим заголовки: «Министр показывает путь», или «Хэкер показывает пример экономии», или даже по имени — «Не транжирь! — говорит Джим».

19 декабря. Утро воскресенья. Пишу это не на лондонской квартире, а дома, после некоторого перерыва, потому что благодаря кампании за экономию у меня появилось много лишней работы. Однако я убежден, что все окупится.

Домой в пятницу я вернулся за полночь. Энни уже легла. Ужин перестоялся и стал несъедобным.

Из министерства до вокзала я бы доехал на такси, но была гроза и найти такси не удалось. И я поехал на метро с тремя красными пятками — а они бывают очень тяжелыми, если битком набиты, — и опоздал на поезд. Так что до дома я добрался страшно усталым и промокшим насквозь. Я извинился перед Энни, что разбудил ее, и объяснил, почему вернулся так поздно.

— Но что случилось со служебной машиной? — встревожилась она.

— Я от нее избавился, — гордо объяснил я. — Кроме того, я избавился от шофера, от роскошной обстановки кабинета, от личного бара и от половины штата моей личной канцелярии.

— Тебя выгнали! — ахнула она.

Энни нередко приходят в голову самые нелепые паникерские мысли. Я объяснил, что идет кампания за экономию и я подаю пример того, как обходиться без излишеств, без удобств и без привилегий.

Но Энни просто не желала понимать.

— Совсем ополоумел! — взорвалась она. — Двадцать лет протирал штаны на скамьях оппозиции и скулил, что у тебя для работы нет ни оборудования, ни помощников, а теперь получил — и вот пожалуйста! Избавился!

Я попытался объяснить, но она не давала мне и слова вставить.

— Двадцать лет ты мечтал об успехе, а что в нем толку, если он дает ровно столько же, сколько и неудачи?

Я объяснил, что этот ход в перспективе обеспечит мне куда больше влияния. Но Энни только рукой махнула.

— А как ты будешь добираться домой, когда станешь премьером? Голосовать на шоссе?

Боюсь, Энни просто не способна улавливать политические нюансы.

20 декабря. Кампания за экономию продвигается гигантскими шагами. Канцелярский штат, уменьшенный на двенадцать единиц, начинает не справляться с работой. Бернард трудится сверхурочно, и я тоже, но тем не менее совершенно ясно, что нам абсолютно не были нужны все эти люди в приемной, которые читали мои письма, писали мои письма, назначали встречи, говорили по телефонам, составляли ответы на вопросы и по сути отгораживали меня от всего мира. Мне не требуется ограда из этих людей. Я представитель народа и должен быть доступен всем и каждому.

Тем не менее необходимо избегать кавардаков вроде утрешнего, когда я должен был открывать конференцию и опоздал на полтора часа. Тем более неприятно, что это была конференция по вопросам деловой эффективности!

А поскольку мы отменили ночную смену для уборщиц (вот это, на мой взгляд, настоящая экономия), у меня в кабинете ревел пылесос, и мы с Бернардом перекрикивались во весь голос. Однако я убежден, что подобные досадные пустяки мы изживем.

Завтра мне предстоит крайне важная встреча по вопросу сокращения штатов с мистером Броу, который ведает планированием занятости для северо-восточного района. Я с ним не знаком, но Бернард заверил меня, что он жаждет их сокращать.

Пока наибольшим успехом можно считать отклики прессы и телевидения на мое начинание. Статья на первой странице «Экспресс». Лучше не придумаешь.

Новый хэкеровский аскетизм исключает роскошные завтраки

«Экономия начинается у себя дома»,— сказал сегодня Джим Хэкер, держа бутерброд на бумажной тарелочке и подавая благой пример избалованной армии английских бюрократов в котелках.

Сэр Бернард Вулли вспоминает:[1] «Первая кампания за экономию, объявленная Джимом Хэкером, навеки врезалась в мою память. Как ни желторот я был тогда, меня не оставляло подозрение, что сэр Хамфри Эпплби создал ситуацию, чреватую гибельными последствиями.

Я был не в силах вести все дела личной канцелярии в одиночку, если не считать двух машинисток. Ошибки были неизбежны и не могли рано или поздно не привести к катастрофе.

Однако она произошла даже раньше, чем я опасался. Двадцать первого декабря, на следующий день после лестной статьи по адресу Хэкера, в министерство без предварительного согласования явился Рон Уотсон, секретарь профсоюза шоферов и других работников служебного транспорта.

Он потребовал немедленной встречи с министром по поводу, как он выразился, «тревожных» слухов о массовых сокращениях и увольнениях, которые затрагивают и членов его профсоюза. Слухи эти, несомненно, родились из газетной шумихи, которой Джим Хэкер так нелепо гордился.

Я сказал Уотсону, что министр никого не принимает без предварительной договоренности, и ушел в палату общин — наши штаты были сокращены настолько, что мне приходилось заменять и курьеров. Не будь они сокращены, Уотсон без предварительной договоренности не добрался бы даже до приемной Хэкера. Перед тем как уйти, я поручил одной из машинисток согласовать время, когда министр сможет принять Уотсона.

По-видимому, не успел я выйти, как позвонил Броу из планирования занятости и сообщил, что опоздал на поезд в Ньюкасле, а потому не смог прибыть в назначенный ему час. Уотсон услышал его разговор с машинисткой, сообразил, что Хэкер в данный момент один, и прямо пошел к нему в кабинет.

А поскольку из-за кампании за экономию других личных секретарей не осталось, его никто не остановил. И никто не предупредил министра, что вместо Броу к нему вошел Уотсон.

Ничего ужаснее и нарочно придумать было нельзя».

21 декабря. Сегодня все рухнуло. Полнейшая катастрофа. В три ноль-ноль я ожидал мистера Броу из планирования занятости. Ко мне в кабинет вошел какой-то мужчина, и я, естественно, принял его за Броу.

— Мистер Броу? — сказал я.

— Нет, — сказал он. — Я Рон Уотсон. Мистер Броу не смог приехать.

Естественно, я решил, что Уотсона прислал вместо себя Броу, а потому перебил его, поблагодарил, что он приехал, пригласил сесть и сказал:

— Послушайте, мистер Уотсон, с самого начала я хотел бы подчеркнуть одно: об этом никто ничего не должен знать. Если пронюхают профсоюзы, даже трудно себе представить, что произойдет.

— А-а! — говорит он.

— *Разумеется,* сокращений не избежать,— продолжал я.— Как можно ужать разбухший бюрократический аппарат без увольнений? И в конечном счете без очень значительных увольнений.

Он спросил, не намерен ли я сначала обсудить это с профсоюзами, и я продолжал беспечно рыть себе могилу.

— Конечно, мы сперва разыграем обычный фарс консультаций, — сказал я в блаженном неведении надвигающегося краха,— но вы же знаете профсоюзников. Упрямы и непробиваемо тупы.

Ну как, как я мог разговаривать подобным образом с абсолютно незнакомым человеком?

— Все без исключения? — спросил он вежливо.

Я удивился. Мне казалось, что уж он-то должен знать: как-никак ему приходилось вести с ними переговоры.

— Почти, — ответил я. — Они только и думают, как бы перетянуть друг у друга побольше членов или выступить по телику — глотку дерут, и больше ничего.

Я отчетливо помню каждое сказанное мной слово. Каждое из них неизгладимо запечатлено в моей душе. Кроме того, они лежат сейчас передо мной, запечатленные черным по белому, в интервью, которое Уотсон дал «Стандард», едва вышел из моего кабинета.

Тогда он спросил меня про шоферов и механиков.

— От них надо будет избавиться в первую очередь, — сказал я. — Мы тратим на машины и на шоферов колоссальные суммы.

Вот тут-то Уотсон и признался, что он вовсе не заместитель мистера Броу, а совсем наоборот — секретарь профессионального союза шоферов и других работников служебного транспорта, и пришел ко мне убедиться в безосновательности слухов об увольнении членов его профсоюза.

О господи!..

23 декабря. Шоферы служебных машин бастуют. Вчера утром я приехал в министерство, уже зная все подробности о забастовке из газет, которые наперебой цитировали Рона Уотсона, который цитировал меня: «Увольнений не избежать. Очень значительных увольнений».

Весь день я провел, играя в прятки с репортерами. Я хотел обсудить положение с сэром Хамфри, но он отсутствовал.

К восьми часам мы с Энни были приглашены на рождественский ужин во фран-

[1] В беседе с редакторами.

цузском посольстве. Я попросил Бернарда вызвать мою машину, но тут же вспомнил, что шоферов у нас больше нет, и сказал, чтобы он позвонил Энни — пусть заедет за мной на нашей машине.

Бернард, оказывается, уже позвонил ей, но Энни сказала, что машина весь день барахлила и она думает сдать ее в мастерскую. Я тут же позвонил ей и сказал, что мастерская подождет, — уж как-нибудь от Уайтхолла до Кенсингтона мы доедем.

Энни заехала за мной, и мы отправились в посольство, уже одетые для приема.

Но я вновь ошибся — проклятый драндулет сломался у Гайд-парка. В самый час пик. Под проливным дождем. Я залез в мотор. В смокинге. Я попросил Энни дать мне зонт. Она сказала, что зонт я взял с собой в министерство. Но я-то знал, что не брал. Мы начали кричать друг на друга, она вылезла из машины, хлопнула дверцей и ушла, а я остался посреди праздничного потока машин. Вопили клаксоны, и шоферы тоже вопили, обзывая меня всякими словами.

До французского посольства я добрался с опозданием на полтора часа, мокрый насквозь и весь в масле. А потому сразу выпил не то три, не то четыре бокала шампанского. Да всякий поступил бы на моем месте так же — надо же было согреться!

Когда я ушел — не то чтобы пьяный, но несколько переутомленный, не отрицаю, — я уронил ключи рядом с машиной.

Потом они провалились сквозь какую-то решетку, и мне пришлось лечь на мостовую, чтобы до них дотянуться, а рядом оказался сукин сын репортер.

Сегодня утром у меня голова раскалывается после вчерашнего. А газеты превзошли себя по поводу моего якобы алкоголизма. Их безответственность действительно переходит всякие пределы!

Мистер Экономия падает в канаву после ужина с шампанским

Другой заголовок гласил:

ПОСЛЕ ПРИЕМА В ПОСОЛЬСТВЕ ХЭКЕР УСТАЛ И РАСЧУВСТВОВАЛСЯ.

Сэр Хамфри прочел его вслух и сказал, что он, пожалуй, звучит несколько лучше, чем первый.

— Лучше? — переспросил я.

— Ну... во всяком случае, по-другому, — сказал сэр Хамфри. К этому моменту я твердо верил, что хуже быть уже не может. Но я ошибся. Сегодня Бернард обратил мое внимание на передовицу «Дейли телеграф», в которой, как ни странно и ни ужасно, утверждалось, что я — я! — расширяю штаты МАД.

Хэкер набирает 400 новых чиновников

Проводя так называемую кампанию за экономию, Джеймс Хэкер, министр административных дел, набрал в свое министерство еще четыреста чиновников.

Я потребовал объяснения у сэра Хамфри. И конечно, оно у него было наготове:

— Министр, эти четыреста человек взяты по вашему распоряжению. Вы потребовали полного обследования, исчерпывающих фактов и цифр. Сам собой такой доклад возникнуть не может. Если вы увеличиваете объем работы для ее выполнения нужно больше служащих. Простая логика.

Пока я оправлялся от этого прямого в челюсть, он вторым ударом достал меня по виску.

— А если вы твердо решили сохранить свое бюро по борьбе с бюрократией, понадобится еще по меньшей мере четыреста новых штатных единиц.

Я был сокрушен. Голова у меня болела, и я не сомневался, что моя политическая карьера кончена. Газеты выставили меня к позорному столбу, и я должен был отказаться от единственной моей идеи, которую мне удалось воплотить в жизнь на посту министра.

В кабинете наступило молчание. Я не понимал, куда девать четыреста новых единиц, предназначенных для планирования нашей кампании за экономию, и четыреста новых служащих бюро по борьбе с бюрократией. — я вообще ничего не понимал. Я просто сидел и надеялся, что у меня перестанет стучать в голове и что кто-нибудь в ближайшем будущем предложит хоть какой-нибудь выход.

Кто как не сэр Хамфри!

— Министр... если бы мы завершили кампанию за экономию и закрыли бюро по борьбе с бюрократией, мы могли бы немедленно сделать заявление для прессы, что вы сократили восемьсот рабочих мест. — Он явно обдумал все это заранее, потому что тут же достал из-под мышки тоненькую папку.—Если вы завизируете этот предварительный...

— Но ведь они же никем не заняты? — сказал я растерянно. — Мы же еще никого не взяли.

— Тем больше экономия, — отпарировал он. — Мы таким образом сберегли восемьсот выплат по увольнению.

— Но — попытался я объяснить, — это же одна видимость. Это мошенничество, жонглирование цифрами, втирание очков!

— Короче говоря, официальное заявление для прессы, — договорил Хамфри.

Встречал я циничных политиканов, но эти слова моего собственного постоянного заместителя меня прямо-таки ошарашили!

Я обессиленно кивнул. Да, конечно, чтобы избежать катастрофического расширения штатов на четыреста новых служащих, занятых наведением экономии, мне придется принести в жертву четыреста новых служащих моего возлюбленного бюро по борьбе с бюрократией. Неизбежное «я тебе, ты мне».

Тем не менее важнейший вопрос, тот вопрос, который был причиной всего этого краха, так и остался без ответа.

— Но, Хамфри, — сказал я, — какое сокращение штатов государственной службы мы все-таки могли бы провести?

Наступила пауза. Потом он сказал:

— Ну... пожалуй, мы могли бы расстаться с одной-двумя буфетчицами.

3. Право знать все

1 февраля. Сегодня мне пришлось заняться проблемой окружающей среды. Ко мне явилась с петицией депутация из нескольких сторонников ее охраны. Шесть толстых тетрадей, полных подписями — тысячи подписей, если не сотни тысяч.

Они возражали против предложенного мной законопроекта, назначение которого — привести в порядок нынешнюю систему, если можно назвать системой такой клубок несуразностей и интриг. Местные власти, управления по туризму, национальные парки, Национальный трест, Комиссия по охране и использованию природы, Совет по сохранению сельской Англии — все грызутся между собой, все мешают друг другу, и никто не знает, у кого какие права, так что никто ничего не делает.

Я объяснил депутации, что единственная цель законопроекта — навести какой-то порядок и вынудить эти злосчастные комиссии к плодотворному сотрудничеству.

— Вы же знаете, что такое комиссии, — сказал я. — Склоки, волокита и зряшная трата чужого времени.

— Мы тоже комиссия, — заявила очкастая тощая дама неопределенного возраста, но явно из высших кругов какого-то пригорода. Она как будто оскорбилась.

Я объяснил, что имел в виду совсем другие комиссии и просто пытаюсь создать новое управление с ясными, четкими правами. Это сэкономит общественные деньги — аргумент, на мой взгляд, неопровержимый. Однако эти представители пригородных высших кругов опасались за какую-то Хейуордскую рощу, которая по новому плану должна, как и еще два-три таких же местечка, утратить статус заповедника, поскольку надлежащая ее охрана попросту неэкономична.

Но тут выяснилось, что эти чокнутые считают Хейуордскую рощу важнейшей частью английской заповедной природы.

— Там из века в век обитали барсуки, — брызгая слюной, заявил аристократического вида старец.

— Откуда вы знаете? — спросил я из чистого любопытства.

— Так сообщалось в «Гардиан», — ответил молодой человек в тяжелых сапогах, подбитых гвоздями, и с фанатичным блеском в глазах.

Нашли чему верить!

Я даже засмеялся, но пожилая дама в бурой твидовой юбке, обтягивавшей мощные бедра, грозно спросила:

— Как бы вы себя чувствовали, если бы ваш сад принялись застраивать административными зданиями гигантские барсуки?

А еще один чокнутый возгласил тоном проповедника:

— Человек, мистер Хэкер, отнюдь не исключение. Мы не выше природы. Мы — ее часть. Люди ведь тоже животные, как вам известно.

Еще бы не известно! Я же только что из палаты общин.

Минут через десять Бернард помог мне от них избавиться. Я ничего им не обещал и только «накапал обычной валерьянки» — что на соответствующем этапе будут учтены все точки зрения. Но плохо другое: никто в министерстве не предупредил меня, что унификация мер по охране окружающей среды повлечет за собой лишение этих чертовых барсуков их привилегированного положения. Вообще-то плевать я хотел на барсуков, но мне же позволили заверить парламент и прессу, что природе никакого ущерба нанесено не будет!

Завтра же поговорю об этом с Хамфри. А кроме того, поставлю вопрос о том, с какой стати мое время тратится на бессмысленные встречи такого рода, когда оно требуется мне для знакомства с младшими сотрудниками министерства, чтобы установить, каким способом можно улучшить его работу.

(Нам удалось обнаружить чрезвычайно интересные служебные записки, которыми в ту неделю обменивались сэр Хамфри Эпльби и Бернард Вулли. — Ред.).

Б. В!

Мне стало известно, что министр устраивает безнадзорные встречи с младшими секретарями, заместителями младших секретарей и вплоть даже до начальников отделов. Будьте добры объяснить.

Х. Э. 1/II.

Сэр Хамфри.

Министр желает познакомиться с сотрудниками министерства на всех уровнях и разобраться в том, что они делают и зачем.

Б. В. 1-е февр.

Б. В.

Эти встречи необходимо пресечь немедленно. Разговаривая с сотрудниками, не принадлежащими к руководству, министр может узнать что-то, чего не знаем мы. И наше положение будет подорвано.

Х. Э. 2/II

Сэр Хамфри.

Министр считает, что подобные встречи расширяют информацию, которой мы располагаем. Кроме того, он выразил желание управлять министерством более эффективно, поскольку сейчас все идет хорошо.

Б. В. 2-е февр.

Б. В.

По-моему, вам следует быть очень осторожным. Ваши ответы вызывают недоумение, и я не уверен, что министр вполне откровенен.
Я вынужден указать, что вам необходимо незамедлительно и энергично обдумать положение и спросить себя, насколько вы взвесили все, чем оно может быть чревато. Розыски министра в этой области, несомненно, могут привести к нежелательным или даже печальным последствиям.

Х. Э. 3/II

(Перевод: «Насколько вы взвесили все, чем оно может быть чревато», означает «вы вляпались в хорошенькую историю»; «привести к нежелательным или даже печальным последствиям» означает «вам угрожает немедленный перевод в комиссию по армейским захоронениям».—Ред.).

Сэр Хамфри.

Я был бы благодарен за дальнейшие советы по этому вопросу.

Б. В. 3-е февр.

Б. В.

Будьте добры учесть следующие моменты:

1. Вы упомянули о расширении информации. Как ни желательно и ни похвально подобное стремление, не забывайте, что расширять свою информацию за счет своего авторитета — чистое безумие.

2. Когда министр действительно начинает управлять своим министерством, все не может идти хорошо. Все идет плохо. Не дело министра управлять министерством. Это мое дело, которому я учился и которым занимаюсь двадцать пять лет.

3. Если разрешить министрам управлять министерствами, нас ждут: а) хаос, б) нововведения, в) открытые дискуссии и г) вмешательства извне.

4. У министра есть три функции:
а) Защитника. Он в выгодном свете представляет деятельность министерства парламенту и общественному мнению.
б) Он наш человек в парламенте и проводит через него наши законопроекты (заметьте — наши, а не его).
в) Он наш кормилец. Его обязанность — вырывать у кабинета деньги, которые требуются нам для выполнения нашей работы.

Будьте добры учесть: в его функции НЕ входит обсуждение министерских процедур и методов с заместителями младших секретарей и начальниками отделов.

Х. Э. 4/II

Сэр Бернард Вулли вспоминает[1]:

«Будучи тогда еще относительно юным и желторотым, я не вполне понимал, как осуществить на практике советы сэра Хамфри, а потому попросил разрешения встретиться с ним и попытался объяснить, что не могу воспрепятствовать министру делать в свободное время то, чего ему хочется.

Сэр Хамфри пришел в бешенство. Он спросил меня, каким образом у министра появилось свободное время, и рекомендовал мне обеспечить такое положение, чтобы у министра никогда не было свободного времени, а если оно будет, значит, это случилось по моей вине. Моя обязанность — создавать атмосферу лихорадочной деятельности. Министр должен произносить речи, совершать официальные поездки, принимать делегации, перелопачивать горы красных папок, а также все время оказываться перед необходимостью искать выход из кризисов, катастрофических ситуаций и внезапных приступов паники.

Если министр оставляет в ежедневнике пустые места, я обязан их незамедлительно заполнять, а кроме того, предусматривать все необходимое для того, чтобы он подольше оставался там, где не будет путаться у нас под ногами и причинять ненужные хлопоты — например, в палате общин.

Однако, помнится, я сумел несколько подняться в его мнении, сообщив, что в настоящий момент, пока мы беседуем, министр занят абсолютно пустопорожним обсуждением, касающимся сохранения барсуков в Уорикшире.

Он был так этим доволен, что я даже предложил подыскать еще какие-нибудь угрожаемые виды животных, чтобы занять ими министра. Сэр Хамфри сказал, чтобы я не трудился искать: личные секретари, не способные занять своего министра, — вид весьма угрожаемый».

2 февраля. Сегодня утром я поднял вопрос об угрожаемых пушистых животных и о том, как я заверил палату, что никакого ущерба им нанесено не будет.

Сэр Хамфри объяснил, что ни в чем подобном я палату не заверял: в речи было

[1] В беседе с редакторами.

сказано — «никакого *существенного ущерба*».

Я возразил, что шесть толстых тетрадей с подписями нельзя считать несущественными, и Хамфри рекомендовал мне заглянуть в них. Я заглянул и, к полнейшему моему изумлению, обнаружил в каждой всего лишь десяток-другой подписей — в целом не больше сотни. Таким образом, проблема животного царства разрешилась благополучно, и я перешел к куда более животрепещущему вопросу: почему меня не ознакомили со всеми фактами до того, как я выступил с заявлением в палате?

Причина, на которую сослался Хамфри, поразительна, чтобы не сказать больше.

— Министр,— хладнокровно заявил он,— существует мнение, и весьма обоснованное мнение, что порой складываются такие обстоятельства, когда министру лучше не знать о тех или иных вещах.

Я просто ушам своим не поверил. Но это было еще не все!

— Министр, — продолжал он, — ваши ответы в палате общин и на пресс-конференции были бесподобны. Вы были убеждены, а потому убедительны. Могли бы вы говорить столь же авторитетно, если бы вас не оградили от наскоков защитников природы?

Меня просто потрясло это спокойное признание, что он считает, будто имеет право держать меня, народного представителя, в неведении. Чудовищно! Я так ему и сказал.

Он начал было втолковывать мне, что это в моих же собственных интересах, но я оборвал его, сказав, что ничего подобного не потерплю и чтобы этого больше не повторялось.

И я уж позабочусь, чтобы это не повторялось!

10 февраля. Всю прошлую неделю мы с Фрэнком Уизлом трудились над планом реорганизации министерства. А сегодня я попытался объяснить новую систему сэру Хамфри, который тут же перебил меня и объявил, что должен сказать мне нечто неприятное. Удивил!

Я не выключил диктофон, а потому его слова сохранились для потомства. Сказал же он мне следующее:

— Министр, традиционное разделение административной ответственности всегда строилось таким образом, чтобы не связывать лицо, занимающее министерский пост, административными мелочами и возлагать подобные функции на тех, кто благодаря своему опыту и квалификации более подготовлен выполнять указанные скромные функции и тем самым высвобождать своего политического главу для более важных обязанностей и глубочайших решений, неотъемлемых от его высокого положения.

Странно, почему он решил, что мне будет неприятно это слушать. Вероятно, ему казалось, что это меня огорчит, — но как может огорчить вас то, из чего вы не поняли ни слова? В который раз я попросил его говорить на нормальном языке. Эта просьба всегда его удивляет, потому что он пребывает в непонятном заблуждении, будто именно такой язык и нормален.

Но он все же задумался, а потом снизошел:

— Вы здесь не для того, чтобы управлять министерством.

Я несколько растерялся и сказал, что, по-моему, я здесь именно для этого.

Но он объяснил, что управлять министерством — это *его* дело, а мое дело — формулировать политику, проводить законопроекты, а главное, защищать в кабинете наш бюджет.

— Порой я подозреваю, — заметил я, — что, в сущности, вас только бюджет и интересует.

— Если никто не будет интересоваться бюджетом, — ответил он едко, — министерство в конце концов станет таким убогим, что даже министр сумеет им управлять.

Я убежден, что ему не положено так со мной разговаривать. Однако я сохранил хладнокровие, поскольку был уверен в своей позиции.

— Хамфри, — спросил я сурово, — мы, кажется, принципиально расходимся в понимании природы демократии?

Оказавшись под прицельным огнем, он, как всегда, сразу отступил:

— Нет, министр, — сказал он самым масленым своим голосом, — мы просто ведем демаркационный спор, и я лишь указал, что управление министерством — занятие для подчиненных, а вы предназначены для более высоких свершений.

Но меня лестью не проймешь! Хотя я с удовольствием оставлю Хамфри и его чиновникам возню со входящими и исходящими, с этих пор я намерен иметь прямой доступ ко всей информации. И в заключение я недвусмысленно дал понять, что больше не желаю слышать, будто «есть вещи, которых министру лучше не знать».

12 февраля. Сегодня суббота, и я провел ее дома, в своем избирательном округе.

Меня очень тревожит Люси *(дочь Хэкера, которой тогда исполнилось восемнадцать лет. — Ред.)*. Иногда она производит впечатление совершенно неуравновешенной. Вероятно, это моя вина. Все прошлые годы я уделял ей слишком мало времени — постоянно был занят и все такое прочее. Очевидно, тут есть какая-то закономерность, потому что буквально все мои преуспевающие коллеги в палате общин терпят от своих подросших детей одни неприятности.

Однако вряд ли вина все-таки только моя. *В чем-то* и она сама, видимо, виновата!

Как всегда, я быстро проглядел утренние газеты, и заголовок небольшой заметки в «Гардиан» неприятно меня задел: «Хэкер — истребитель барсуков». Содержание было подтасовано так, чтобы очернить меня и угодить сентиментальным бесхребетным либералам. Впрочем, это понятно: каждая газета подлизывается к своим постоянным читателям.

Хэкер был вынужден признать, что лишить Хейуордскую рощу статуса заповедника — значит погубить обитающих в ней барсуков.

Представитель Общества сохранения английской дикой природы заявил: «Хэкер подписал смертный приговор этим барсукам».

Тут, наконец, Люси соблаговолила спуститься к завтраку, и я благородно удержался от того, чтобы пожелать ей доброго вечера, но тем не менее спросил, почему вчера она явилась домой ночью, на что она довольно напыщенно ответила:

— Есть вещи, которых отцам лучше не знать.

— И ты туда же! — вспылил я, что несколько сбило ее с толку. И неудивительно.

Люси сказала, что ей с троцами не до сна. Мне стало ее жалко, и я посоветовал ей сходить к врачу. Но тут выяснилось, что она имела в виду троцкистов. Я сообразил не сразу, так как не знал, что она троцкистка. В прошлый раз, когда мы разговаривали, она была маоисткой.

— Питер — убежденный троц, — добавила она.

— Питер? — Это имя мне ничего не сказало.

— Ну, естественно: я же тебя с ним знакомила только пятнадцать раз, — произнесла она со жгучей язвительностью, а потом потянулась через меня за вареньем и закапала протоколы заседания кабинета. Я попытался счистить с них варенье, но только еще их и замаслил.

Я попросил Люси сбегать за чистой тряпочкой — казалось бы, нормальная просьба? И был ошарашен последовавшим взрывом.

— Сам бегай! — огрызнулась она. — Ты ведь не у себя в министерстве... «Да, министр... Чего изволите, министр?.. Не разрешите ли облизать вам ботинки, министр?»

Я онемел. Энни заступилась за меня, хотя и не так энергично, как могла бы.

— Люси, деточка, — сказала она тоном мягкого упрека, — это несправедливо. Министерские чиновники делают папочке реверансы, но в остальном никакого внимания на него не обращают.

Это уж слишком! Я поставил Энни в известность, что всего лишь два дня назад одержал в министерстве решающую победу, и в доказательство показал пять битком набитых бумагами красных папок.

Она объявила, что это ровным счетом ничего не доказывает.

Нет, она ничего не поняла! Я объяснил ей ход моих рассуждений: Хамфри мне прямо и недвусмысленно заявил, что есть вещи, которых министрам лучше не знать. Следовательно, он от меня что-то скрывает. Возможно, что-то очень важное. И я настоял, чтобы теперь меня информировали *обо всем*, что делается в министерстве.

Однако ее ответ заставил меня задуматься. Улыбнувшись мне с самой нежной любовью, она сказала:

— Милый, ну как ты пролез в министры? Ты же такой олух!

Я снова онемел, а Энни продолжала:

— Как ты не понимаешь, что сыграл ему на руку? Он только обрадовался. Ты сам напросился, чтобы он утопил тебя в бесполезной информации.

Я внезапно увидел все в новом свете и кинулся к папкам. Они были набиты предварительными оценками, заключениями по техническим вопросам, старыми протоколами всевозможных комиссий, заявками на канцелярские принадлежности... Сплошная макулатура!

Это уж слишком! Сукины дети! Либо дают тебе так мало информации, что ты представления не имеешь о существенных фактах, либо дают столько информации, что докопаться до таких фактов нет никакой возможности.

И никак не поставишь их на место. Вертят тобой как хотят.

13 февраля. Когда я после буквально бессонной ночи, проведенной в размышлениях о том, что сказала Энни, пошатываясь, спустился к завтраку, там, к полному моему удивлению, меня в самом воинственном настроении поджидала Люси. Она наткнулась на вчерашний номер «Гардиан» и прочла заметку про барсуков.

— Тут про тебя кое-что есть, папочка, — заявила она прокурорским тоном.

Я сказал, что читал. Но она все равно принялась читать заметку вслух.

— «Хэкер — истребитель барсуков»...

— Деточка, папа это уже читал, — заступилась за меня Энни, но Люси, словно глухая, продекламировала заметку до конца.

Я сказал, что это сплошная чушь, а когда она поглядела на меня с сильным сомнением, принялся объяснять по пунктам.

Во-первых, я не истребитель барсуков. Во-вторых, барсуки не угрожаемый вид. В-третьих, отмена статуса заповедника вовсе не означает, что барсуки обязательно будут перебиты. В-четвертых, если придется пожертвовать несколькими барсуками для установления нового порядка, который спасет дикую природу Англии, то...

Новый порядок — крайне неудачное сочетание слов, особенно когда имеешь дело с поколением, выросшим на фильмах о второй мировой войне.

— Дер новый порядок, майн фюрер! — кричит моя дочка и вскидывает руку в нацистском салюте. — Ди цель оправдывает дас средства, так, что ли?

Не говоря уж о том, что у сторонницы троцкизма-маоизма хватает наглости осуждать других за веру в цель, оправдывающую средства, — я, кстати, вовсе этой веры не разделяю, — она ведь раздувала слона из совершенно ничтожной мухи.

— И все потому, что барсуки не голосуют, да?

Этот дурацкий вопрос меня совсем ошарашил. Я абсолютно не понял, к чему она клонит.

— Будь барсуки избирателями, ты бы не стал их истреблять. Рыскал бы по этой Хейуордской роще, пожимал бы лапы направо и налево, целовал бы барсучат. По обыкновению, втирался бы в доверие. Брр!

Втереться в доверие к собственной дочери мне явно не удалось.

Тут опять вмешалась Энни.

— Люси, — сказала она (слишком мягко, на мой взгляд), — нехорошо так говорить.

— Но это же правда, разве нет? — заявила Люси.

— Да-а-а, пожалуй, правда, — сказала Энни. — Но папа занимается политикой и должен втираться людям в доверие.

Большое спасибо!

— Это надо прекратить, — сказала Люси.

Она кончила меня обличать и теперь предъявляла мне требования.

— Поздно! — Я злорадно улыбнулся. — Решение уже принято, милочка.

— Ну, так я сама это прекращу, — говорит она.

Дура девчонка.

— Великолепно, — говорю я. — И проще простого. Добейся, чтобы твою кандидатуру выдвинули на выборах, победи на них, выдвинься в парламенте, займи пост министра и отмени этот закон. Только и всего. Правда, барсуки к тому времени, возможно, несколько поизносятся.

Она гордо ушла и, слава богу, до вечера не возвращалась.

(Тем временем Бернарда Вулли все больше смущало требование держать министра в неведении, и в конце концов он обратился к сэру Хамфри с просьбой дополнительно объяснить, почему от министра следует скрывать то, что он хотел бы знать. Ответ приводится ниже. — Ред.).

МИНИСТЕРСТВО
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ

От постоянного заместителя министра
Б. В.

Наша страна управляется министрами, выносящими решения исходя из различных наших альтернативных предложений.

Будь в их распоряжении все факты, они могли бы обнаружить иные возможности, далеко не всегда отвечающие интересам страны. И разрабатывали бы собственные планы, а не выбирали бы из двух-трех, представляемых нами.

Пока формулируем предложения мы, нам удается подводить министров к верному решению.

Мы, руководители государственной службы, не настолько глупы, чтобы верить, будто у каждой проблемы есть только одно верное решение. Тем не менее наш долг перед обществом — направлять министра в сторону того, что принято называть «общей основой».

Для того чтобы направить министра к общей основе, в предложение вводятся ключевые слова, делающие его привлекательным.

Министры обычно принимают предложения, содержащие слова «просто», «быстро», «популярно» и «дешево».

Министры обычно отвергают предложения, содержащие слова «сложно», «длительно», «дорого» и «спорно».

И главное: если нужно, чтобы министр гарантированно отверг предложение, укажите, что его выполнение «требует мужества».

Помните — именно искусство руководить министрами сделало Англию тем, чем она стала теперь.

(Слова, рекомендуемые здесь сэром Хамфри, заслуживают рассмотрения. Выражение «общая основа», по-видимому, обозначает ту политику, которую государственная служба может проводить без помех, какая бы партия ни стояла у власти. «Требует мужества» в подобном контексте еще страшнее, чем «спорно»: «спорно» означает только — «из-за этого вы потеряете голоса», а «требует мужества» равно «это приведет к поражению на выборах». — Ред.).

«14 февраля, воскресенье.

Дорогой папочка.

Завтра я и мой сокурсник, а также любовник Пит намерены провести в Хейуордской роще бдение протеста в помощь барсукам.

Бдение во спасение барсуков в честь дня святого Валентина, на который оно приходится, будет вестись в полной наготе.

Если к пяти часам вечера в понедельник барсукам не будет обеспечена прежняя защита или если мы не получим достаточных гарантий ее возвращения, мы сообщим о бдении прессе и телевидению.

В 6 часов вечера мы проведем пресс-конференцию в нагом виде.

Люси Хэкер».

(Это письмо было обнаружено Бернардом Вулли утром в понедельник 14 февраля. Конверт был надписан «Папочке», но по правилам личные секретари вскрывают письма всех категорий, включая и строго секретные, если только на них нет пометки «лично». На этом конверте пометки «лично» не было. Далее следует дневник Хэкера. — Ред.).

Этот день тянулся как вечность. Пожалуй, я более или менее выдержал пращи и стрелы яростной судьбы, однако дня хуже за всю мою политическую карьеру у меня, вероятно, не бывало. Но по порядку. Для начала — грубая карикатура в «Стандард».

Затем, когда я после завтрака вернулся с заседания кабинета, Бернард и Хамфри встретили меня крайне встревоженными взглядами. Я спросил, не случилось ли чего-нибудь. И следующие четыре минуты они говорили исключительно загадками.

— Ну... возникло легкое затруднение, — объяснил сэр Хамфри.

— Насколько легкое? — спросил я.

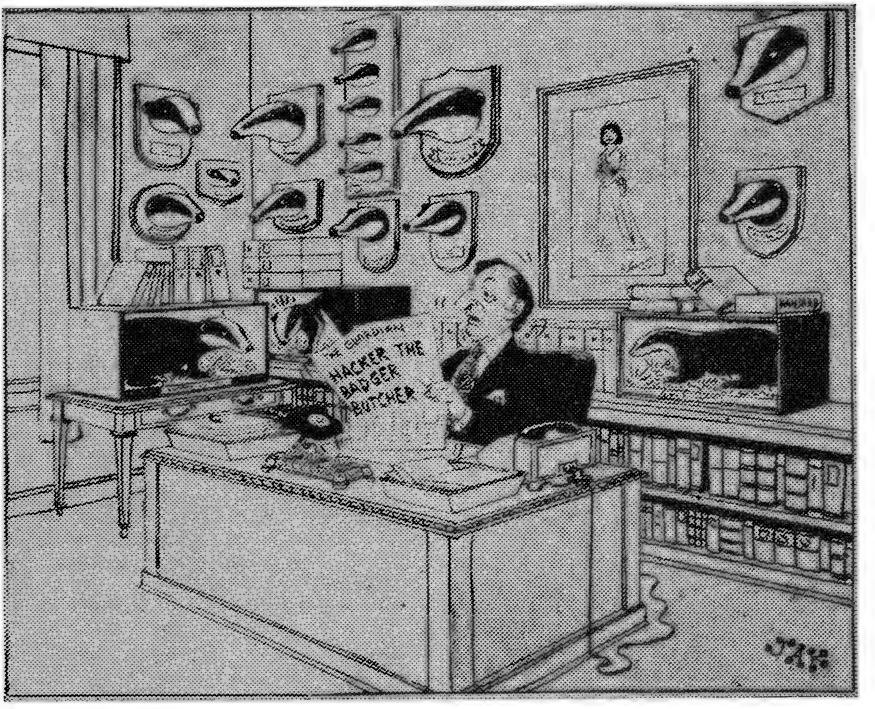
Тут он начал распространяться о том, что не хотел бы придавать излишнего значения или подавать повод для неоправданной тревоги, но тем не менее и так далее в том же духе. Я сказал, чтобы он, наконец, перешел к делу, он продолжал ходить вокруг да около, и я попросил его ограничиться голыми фактами.

— В данных обстоятельствах эпитет не самый удачный, — ответил он таинственно.

Нет, Хамфри никак не мог найти способ сообщить мне скверную новость. Поразительно. Сначала он сказал, что в Хейуордской роще намечено двадцатичетырехчасовое бдение, которое намереваются провести одна студентка и ее приятель.

Безответственные бездельница и бездельник попробуют — и тщетно — привлечь к себе внимание. В чем же тут проблема?

И я как идиот сказал то же самое вслух. (Во всяком случае, сегодня я усвоил одно: не стреляй с бедра. Помалкивай, пока не



узнаешь все факты, не то можешь свалять редкостного дурака.) Меня понесло.

— Ерунда, — сказал я. — Все по горло сыты этими полоумными студентами. Любят выставлять себя напоказ, и больше ничего.

— В данном случае, — ответил сэр Хамфри, — им есть что выставить. Бдеть они намерены в нагом виде.

Да уж! Это, конечно, прессу заинтересует. К сожалению, Хамфри ввел меня в курс не полностью, а потому я продолжал вещать и с каждым словом ставил себя во все более идиотское положение:

— И что этим студентам неймется? Возмутительно! Ни стыда ни совести. А виноваты родители. Не воспитывают, дают им полную волю и пичкают всякой интеллигентской ерундой о засилии властей.

И я подчеркнул, что нынешние бесчинства анархиствующих студентов в первую очередь обличают вопиющее отсутствие родительского авторитета.

Тут Хамфри любезно сообщил мне, что студентку зовут мисс Хэкер. Я еще успел подумать: «Какое совпадение!» — и бац! В жизни не чувствовал себя таким дураком!

Отдышавшись, я выразил надежду, что репортерам лень будет забираться в Уорикшир. Но я понимал, что несу чушь: ради такой сенсации репортеры хоть на Северный полюс поскачут.

Хамфри и Бернард только поглядели на меня с жалостью и дали мне прочесть письмо. Я отметил про себя, что Люси назначила пресс-конференцию на шесть вечера. Очень профессионально. Слишком поздно для вечерних газет, которые мало кто читает, и гарантированные шапки во всех утренних. Чему-то все-таки она у меня научилась!

Я спросил, как мы могли бы избежать гласности. Оба промолчали.

— Посоветуйте мне что-нибудь, — сказал я.

— Может быть, прибегнуть к родительскому авторитету? — предложил сэр Хамфри, но я попросил его не говорить глупостей. Не позвонить ли в полицию? Хамфри покачал головой и тут же продекламировал наиболее вероятный газетный заголовок: «Министр натравливает полицию на собственную нагую дочь».

Мы погрузились в трагическое молчание, время от времени прерывавшееся вздохами. Потом Хамфри вдруг оживился:

— А что, если... — сказал он.

— Ну? — спросил я с надеждой.

— Что, если... — повторил он, — я порюсь в папках?

Стыдно признаться, но я на него накричал.

— Замечательно! И за это вы получаете тридцать тысяч в год! Первые страницы газет вот-вот запестреют фотографиями моей дочери, а вы хотите рыться в папках! Поразительно!

Он выждал, пока я не кончил вопить.

— Тем не менее... — сказал он.

— Они все там, — поспешно вставил Бернард, указывая на свой кабинет, и Хамфри скрылся за дверью, прежде чем я успел еще раз на него накричать. Мы с Бернардом поглядели друг на друга с отчаянием.

Я живо представил себе, как будет развлекаться оппозиция в следующий раз, когда мне придется отвечать на вопросы в палате общин: «Не хочет ли гордый отец сделать заявление?», и «Не проявляет ли пресса слишком обнаженный интерес к семье министра?», и даже: «Справляется ли министр с административными делами на том же уровне, что и с семейными?»

В этот момент позвонила Люси. По телефону-автомату. Я схватил трубку и для начала попытался свести все к шутке.

— Я получил твою записочку. И знаешь, на секунду даже поверил, что ты это серьезно.

— Вполне серьезно, — ответила она холодно. — Мы с Питом сейчас же позвоним в пресс-агентство, а затем отправимся в рощу.

Тут я принялся ее умолять. Подумала ли она, какой вред причинит мне? Она ответила, что истребление грозит барсукам, а не мне. И ошиблась. Это от меня мокрого места не останется.

Стало ясно, что она осуществит свой жуткий план,— ведь менять свою политику ради нее я не мог. Но тут в дверь вбежал Хамфри, размахивая папкой. Я впервые увидел, как он бегает.

Бормоча что-то о новых фактах, он попросил разрешения поговорить с Люси и взял трубку. Папку он держал открытой.

— Я только что нашел последний доклад инспекторов по охране дикой природы. Он бросает совершенно новый свет на всю проблему.

Оказывается, в Хейуордской роще никаких барсуков нет! В докладе сказано: «В последний раз о следах обитания там барсуков — помете, взрыхленной земле и т. п. — сообщалось одиннадцать лет назад».

Люси удивилась не меньше Бернарда и меня. Я слушал по моему собственному аппарату. А Бернард — по своему. Она спросила, почему же газеты утверждают, что барсуки там водятся. Хамфри объяснил, что эти сведения (ложные) подсунул репортерам местный подрядчик.

Люси сразу же поверила Хамфри. Для троцов подрядчики — это эмиссары сатаны на земле. Она спросила, зачем он это сделал.

— Муниципалитет намерен построить в роще колледж усовершенствования учителей, а подрядчик собирается пустить ее под конторы и квартиры для богатых людей.

— Но если роща останется заповедной, — перебила Люси, — у него же ничего не выйдет.

— Да, — согласился Хамфри. — Но это связывает руки и муниципалитету. А подрядчик знает, что в таком случае фонды будут истрачены на что-нибудь другое. Год спустя он докажет, что барсуков в роще нет, добьется отмены статуса заповедника и начнет застройку.

Люси спросила, есть ли в роще другие дикие животные.

— Кое-какие есть, — ответил Хамфри, заглядывая в папку. — По-видимому, бирмингемские мусорщики используют ее под свалку, а потому там во множестве водятся крысы.

— Крысы... — тихо повторила Люси. Она терпеть не может крыс.

— Тысячи и тысячи, — сказал Хамфри и добавил снисходительно: — Тем не менее они по-своему дикие животные. — Помолчав, он сказал: — Было бы грустно сыграть на руку подрядчику, не правда ли?

— Пожалуй, — ответила она и повесила трубку, не пожелав больше говорить со мной. Бдение во спасение барсуков не состоится! Кризис кончился так же внезапно, как и возник. Она ни за что не станет протестовать в голом виде, если рядом кишат крысы, то есть четвероногие крысы, а не только репортеры.

Я горячо поздравил Хамфри.

— Все это было в папке, министр, — ответил он скромно.

Я был заинтригован. Этот подрядчик, видимо, ловкий парень! Я попросил Хамфри показать мне доклад инспекторов.

Внезапно к нему вернулась вся его уклончивость. Он сказал, что доклад совершенно неинтересен. Я снова потребовал доклад, и он спрятал его за спиной, как нашкодивший мальчишка.

И тут меня озарило. Я спросил, было ли хоть слово правды в столь уместной истории, которую он рассказал Люси.

Он посмотрел на меня и произнес медленно и внятно:

— Министр, надо ли мне отвечать на ваш вопрос?

В самую точку! Пользы от того, что я узнаю правду, никакой не будет. Если же мои подозрения верны, мне придется лгать Люси — а этого я никогда не делал и делать не собираюсь.

— Нет... — ответил я после паузы, — не трудитесь отвечать.

— Как угодно, — ответил он с обычным самодовольством.— Быть может, вы согласитесь, что бывают вещи, которых министрам лучше не знать?

4. Теплые местечки для своих ребят

21 февраля. Сегодня я приехал в министерство в хорошем настроении, просмотрев все папки. Вчера днем я неплохо ответил на вопросы в парламенте, вечером произнес отличную речь на банкете, а завтра участвую в радиодиспуте. Все это — прекрасная реклама, и люди, наконец, получают обо мне приличное представление.

Я спросил Бернарда, о чем будет диспут. О НАТО? Он сказал, что тема, собственно, сотрудничество правительства и промышленности. Мне так и казалось. Что-то о каком-то сотрудничестве.

Стряпается диспут по неизменному рецепту Би-Би-Си — один политик, один наниматель и один профсоюзник.

Профсоюзником на этот раз будет Джо Морган, представлявший конгресс тред-юнионов при обсуждении проекта «Соли-

хулл». Очень удачно! Значит, в диспуте можно будет коснуться этого проекта. Что я и сказал. К моему удивлению, такая, собственно говоря, простая констатация факта вызвала у сэра Хамфри явную тревогу.

— Министр, вы же не собираетесь упоминать про «Солихулл» по радио?

— Конечно, собираюсь, — сказал я. — Это блестящий пример успешного сотрудничества между правительством и частным капиталом.

— Почему вы так считаете?—спросил он.

Да, действительно, почему? Но тут я вспомнил.

— Потому что вы это сказали. А что? Вы изменили мнение?

— Нет, — ответил он осторожно, — но... мне было бы спокойнее, если бы в передаче вы воздержались от таких ссылок.

— Почему? — спросил я.

Он ответил, что это преждевременно. Я указал, что строительство в Солихулле началось полгода назад, так что «преждевременно» — явно не то слово.

— Вот именно, — сказал он. — Это не злободневно.

Поразительно! И преждевременно и не злободневно!

Хамфри сразу поправился. Он имел в виду — несвоевременно, сказал он. Ну, и я снова спросил почему. Это же наглядный пример сотрудничества, осуществляемый в настоящий момент. Вот сейчас. А потому крайне интересный. Я так и сказал.

Хамфри явно заметался

— Совершенно верно, министр, — сказал он. — Настолько интересный, что может затемнить в диспуте ваш главный тезис.

— А какой мой главный тезис? — спросил я, потому что вдруг забыл.

Сэр Хамфри, по-видимому, тоже никак не мог вспомнить.

— Бернард, какой у министра главный тезис?

Бернард нам напомнил:

— Правительственные субсидии делают частные проекты более социально ответственными, а частные капиталовложения делают правительственные проекты более эффективными.

Это действительно был мой главный тезис. И ссылка на «Солихулл» прекрасно его подтверждала. Но Хамфри не отступал.

— Министр, — заявил он, — я обязан со всей серьезностью рекомендовать вам не упоминать в диспуте «Солихулл».

Но я уже все понял и спросил холодно:

— Не в том ли дело, что в будущем месяце на европейской конференции по вопросам деятельности государственных аппаратов вы намерены присвоить себе всю честь этого проекта?

Хамфри сказал: «Прошу прощения?» — то есть не стал отрицать. Значит, я не ошибся! И тут уж я поставил его на место:

— Позвольте объяснить вам, Хамфри, что перед народом в конечном счете ответственны политики, и потому вся честь принадлежит нам, а не чиновникам.

Хамфри тут же заверил, что будет счастлив, если вся честь за этот проект достанется мне, но только не завтра. Лжец!

— Хамфри, — сказал я твердо. — Я на этот крючок не попадусь и намерен нажить на «Солихулле» весь политический капитал, какой смогу. Не упускать же такой случай!

(Хэкер ошибался: у сэра Хамфри были веские основания избегать упоминаний проекта «Солихулл». — Ред.).

Сэр Бернард Вулли вспоминает[1]:

«Мне было ясно, что сэр Хамфри Эплби пытается что-то скрыть, но даже ему не под силу окружить дымовой завесой строительство на участке в девять акров посреди одного из крупнейших наших городов и со сметой в 74 миллиона фунтов.

Сэр Хамфри сказал мне, что попробует прибегнуть к закону о государственной тайне. Я сказал, что не вижу, каким образом можно сохранить в тайне такой огромный проект.

— Ну, и тайна большая, — заметил сэр Хамфри.

Я был тогда зелен и не вполне понимал, что назначение закона о государственной тайне — охранять не тайны, а официальных лиц. Собравшись с духом, я дал понять, что, по моему мнению, с проектом «Солихулл» связан какой-то скандал и мне придется намекнуть об этом министру, чего, конечно, можно будет избежать, если меня более полно ознакомят с истинным положением вещей.

Тут сэр Хамфри с большой неохотой признался во всем. Проект этот предложил он сам как представитель МАД в сотрудничестве с Майклом Брэдли из «Слоун энтерпрайзиз». Произошло это задолго до того, как я стал личным секретарем.

Затем поступил доклад с оценкой проекта, содержавший абзац, который подвергал сомнению финансовую надежность «Слоун энтерпрайзиз» и мистера Брэдли. *(Эта формула означает, что Брэдли находился на краю банкротства.— Ред.)*

Однако к этому времени сэр Хамфри был уже настолько связан с Брэдли, что решил рискнуть и дать проекту ход.

Я оказался перед тяжелой дилеммой. Естественно я не мог сообщить министру то, что узнал от его постоянного секретаря частным образом. Но, с другой стороны, мой долг требовал, чтобы я не дал моему министру скомпрометировать себя. Я попытался убедить сэра Хамфри. Если сообщить министру все факты, он, конечно, не станет кричать о них по радио. Но сэр Хамфри твердо сказал, что тут на карту поставлен принцип — министрам ни в коем случае не следует знать больше самого необходимого. Как и агентам разведки. Поскольку их могут схватить и пытать.

— Террористы? — спросил я.

— Би-Би-Си! — ответил он и объяснил, что еще не все потеряно. Если банк предъявит векселя ко взысканию, это будет непоправимой катастрофой, но на следующей неделе он обедает с председателем правления банка сэром Десмондом Глейзбруком. А пока о «Солихулле» нельзя упоминать ни по радио, ни в печати.

Я все больше тревожился — по сути дела, мне предстояло покрывать... но сэр Хамфри категорически заявил, что речь идет не о покрывании, а об ответственной сдержан-

[1] В беседе с редакторами.

ности, поскольку интересы нации требуют воспрепятствовать бесцельному разглашению абсолютно оправданных процедур, несвоевременное освещение которых нанесет серьезный ущерб общественному доверию.

Это выглядело даже хуже, чем я опасался,— прямо Уотергейт! Однако сэр Хамфри объяснил мне, что Уотергейт — это совсем другое. Уотергейт был в Америке».

22 февраля. Сегодня в радиодиспуте я говорил о проекте «Солихулл» и что-то начинаю тревожиться.

По дороге на радиостудию я спросил у Бернарда, верно ли я определил, почему сэр Хамфри не хотел, чтобы я упоминал про «Солихулл» по радио. Этот вопрос словно бы причинил Бернарду значительные душевные муки, но он только грустно покачал головой. А потому я спросил:

— Так почему же Хамфри не хочет, чтобы я об этом упоминал?

Он опять увернулся от ответа, сказав уклончиво:

— Несомненно, сэр Хамфри знает, что делает.

Про себя я с ним согласился. Жаль только, я не знаю, что делает сэр Хамфри!

Я решил подойти к проблеме иначе и спросил Бернарда, что посоветовал бы мне он. Этот вопрос совершенно его доконал.

— Ну,— сказал он испуганно,— советовать, министр, *не мое* дело, но если бы это было моё дело, я был бы вынужден посоветовать вам последовать совету сэра Хамфри.

— Почему? — спросил я.

— Ну,— замялся он,— только потому, что, ну, определенные, гм, проекты имеют определенные аспекты, которые при известном такте и разумной сдержанности, если положение позволит, то на первый взгляд как бы нет причин, при разумном компромиссе, если все идет хорошо, в надлежащее время, гм, когда момент созреет, гм, гм...

— Бернард! — перебил я.— Вы толчете воду в ступе, Бернард.

— Да, министр,— согласился он уныло.

— А зачем вы толчете воду в ступе, Бернард? — осведомился я.

— Это моя обязанность, министр,— ответил он, понурив голову.

Он явно что-то от меня скрывает. Но что? И опрометчиво, просто назло, я решил упомянуть о проекте по радио, чтобы дело — в чем бы оно ни заключалось — наконец прояснилось.

Но теперь я начинаю опасаться, не было ли это ошибкой. Ну, во всяком случае, мы записали передачу, в которой я довольно долго и с определенным энтузиазмом говорил о проекте «Солихулл».

Когда я собрался уходить, меня взял за пуговицу Джо Морган.

— А! — сказал он, словно его только сейчас осенило.— Вы меня извините, мистер Хэкер, но не могли бы вы поддержать кандидатуру моего профсоюза на бирмингемскую субсидию?

Я, естественно, указал ему, что не могу вести переговоры с профсоюзами в студии Би-Би-Си. И вообще это компетенция министерства по вопросам занятости. Но тут он сказал странную вещь:

— Видите ли, мне пришло в голову, что после этой передачи люди могут заинтересоваться проектом «Солихулл» и захотят узнать о нем побольше. Вы меня понимаете?

— Я буду только рад,— сказал я упрямо. Я буду рад!

А он сказал:

— Ну как нам с вами известно... — и подмигнул, — тут есть кое-что... — и снова подмигнул, — чего лучше на свет не вытаскивать. — Потом он приложил палец к губам и подмигнул в третий раз. — Ну, мы же с вами друг друга понимаем.

Ухмыльнулся до ушей и снова подмигнул. Я заподозрил, что он на что-то намекает. Но на что? И тут меня осенило: он что-то знает *и думает, будто я тоже это знаю.* Но что?

Вид у меня, наверное, был совсем растерянный, но он, конечно, решил, что я хороший актер. И продолжал:

— Да ладно вам, Хэкер! Мы вас держим за горло. Я ведь прошу на десять процентов ниже лондонской субсидии, а сторгуемся на тридцати. И очко в вашу пользу, что вы нас поприжали.

— Никакой бирмингемской субсидии не будет,— сказал я рассеянно, стараясь понять, в чем дело.— И вообще что вы имеете в виду?

— «Солихулл», что же еще? Я ушам своим не поверил, когда вы сказали, что берете на себя всю ответственность за него. Мужества, бесспорно, это потребовало большого. (Мужества? Откуда вдруг возникло это жуткое слово?) Но что все-таки на вас нашло?

Я ничего не понял, а он бодро продекламировал из Теннисона:

> Пушки справа от него,
> Пушки слева от него.
> В долину смерти въехал мистер Хэкер.

Ну, не понимаю, о чем он говорит! И очень тревожусь.

(Как удалось установить, в тот день, когда Хэкер выступал по радио, сэр Хамфри Эплби обедал в клубе с сэром Десмондом Глейзбруком. Против обыкновения сэр Хамфри не сделал никаких записей ни об обеде, ни о его результатах. Такое отступление от привычек, воспитанных всей жизнью в Уайтхолле, показывает, насколько сэр Хамфри боялся, что эта встреча может стать достоянием гласности. К счастью, нам удалось разыскать письмо, которое Десмонд послал на следующий день своей супруге, проводившей зиму на Барбадосе.— Ред.).

«Пупсик-Вупсик! *(Леди Глейзбрук. — Ред.).*

Надеюсь, ты приятно отдыхаешь, загораешь и не слишком налегаешь на ромовые пунши.

Дела тут идут прекрасно. Вчера, обедая со старичком Хамфри Эплби из МАД, я практически обеспечил себе для ухода на пенсию парочку неплохих кванго. *(КВАНГО — сокращение, расшифровывающееся как «Квазиавтономная негосударственная организация».— Ред.)*

Он попал в переплет. Завел роман с безмозглым финансистом-вундеркиндом по фамилии Брэдли, и они родили строительный проект в Солихулле. По-видимому, вундеркинд смылся с кассой, предоставив расхле-

бывать дело старику Хамфри. Честно говоря, подробности остались для меня неясны, так как я перебрал кларета, но, в общем, Хамфри хотел бы, чтобы наш банк взял исполнение контракта на себя. Он заверил меня, что правительство ее величества гарантирует успех и прибыльность этого начинания и прочее, и прочее. Кто когда слышал, чтобы правительство приложило руку к успешному и доходному начинанию? Он что, думает, я вчера родился?

Естественно, я с удовольствием помог бы старику Хамфри выбраться из лужи — мне это не будет стоить ни гроша, так как я в будущем году ухожу на пенсию. Но ему я сказал, что все зависит от правления. Он поверил или сделал вид, а я, естественно, тут же упомянул про новую комиссию по сотрудничеству при их министерстве. Я облюбовал себе должность ее председателя — восемь тысяч фунтов в год за несколько часов в неделю были бы полезным добавлением к моей скудной пенсии, а, Пупсик?

К моему изумлению, он сказал, что моя фамилия значится в списке возможных кандидатур на парочку кванго. Возможных! Нет, ты подумай! Это же плевок в физиономию. Не могли же кванго вдруг стать дефицитом. Любое правительство сокращает число кванго, только чтобы тут же заменить их новыми. *(В то время в распоряжении министров было около 8 тысяч оплачиваемых постов в кванго, обходившихся налогоплательщикам в 5 миллионов фунтов ежегодно. — Ред.)*.

Хамфри, естественно, делал вид, что изыскать для меня кванго очень трудно — примерно так же, как я делал вид, что банку трудно изыскать для него деньги.

Выбрал он просто на редкость кружной путь. Упомянул про консультативный комитет по зубоврачебным клиникам и спросил, знаю ли я что-нибудь о зубах. Я указал, что я банкир. Поскольку о зубах я ничего не знаю, он отбросил и комиссию по рыночной продаже молока. Честно говоря, я как-то не уловил связи.

Потом предложил группу по предотвращению загрязнения моря и спросил, не живу ли я близко от моря. А я спросил: Вест-Энд — это достаточно близко? Оказалось, что нет, а потому я не гожусь и в члены совета по очистке реки Клайд.

Каждое новое блюдо подсказывало Хамфри новую идею. Бифштекс — комиссию по рыночной продаже мяса; но о мясе я не знаю ни черта. Тот факт, что я его ем, не может послужить достаточной рекомендацией. А потому вылетела и комиссия по мясному скоту. Я заказал треску по-дуврски, и Х. тут же вспомнил надзор за рыбным промыслом. Когда подали овощи, он перечислил комиссию по рыночной продаже картофеля, попечителей национального научно-исследовательского овощного центра, комиссию по национальным биологическим стандартам и комиссию по ирригации и кормовым травам.

Вино подсказало ему совещательную комиссию по пищевым продуктам и алкогольным напиткам. Я попросил передать мне горчицу, и он упомянул комитет по пищевым присадкам и фальсификациям, а когда официант зажег на соседнем столике мороженое «сюрприз», он предложил инспекционный совет пожарной службы, совет по британской безопасности и «Бригаду скорой помощи св. Иоанна».

Конечно, таким способом он давал понять, что тоже хочет с этого что-то иметь. А под конец он довольно оскорбительно спросил: раз я ничего не знаю ни про одно из этих кванго, то про что я все-таки хоть что-то знаю? И я был вынужден объяснить, что специально ни о чем ничего не знаю — ведь я банкир. И нам этого не требуется.

Тогда он спросил, не могу ли я стать представителем какого-нибудь меньшинства в стране. Я сказал — банкиров. Ведь нас не так уж много. Но это его не удовлетворило.

Все это пустозвонство практически сводилось к тому, что мои шансы на получение кванго исчерпываются комиссией по сотрудничеству с промышленностью, председателя которой назначает его министр. Пост идеальный. Довольно много всяких бумаженций, но старина Хамфри дал мне понять, что читать их не так уж обязательно; собственно говоря, его вполне устроит, чтобы я не утруждал себя и помалкивал на ежемесячных совещаниях.

Так что, похоже, рука руку моет. Я поговорю с моим правлением, он поговорит со своим министром, и на следующей неделе я увижусь с тобой на пляже.

Твой любящий Дэзи-Пупс».

23 февраля. Меня крайне встревожил сегодняшний разговор с Роем, моим шофером. Вчера я его не видел — на радиостудию меня возил сменный шофер. Рой спросил, как прошла запись. Я сказал, что очень хорошо, что я говорил о сотрудничестве правительства с промышленностью и о крайне интересном строительстве в Центральных графствах.

Я думал, он ничего об этом не знает. Но я ошибся.

— Неужто о проекте «Солихулл», сэр?

— Да,— ответил я, изумившись.— Вы о нем слышали?

Рой хихикнул. Я подождал, но он ничего не сказал.

— Чему вы смеетесь? — спросил я.

— Да так.

В зеркале мне было видно его лицо. Он улыбался. Мне это не понравилось. Почему-то «Солихулл» казался ему смешным. Но почему? Я почувствовал, что должен встать на защиту проекта. Перед собственным шофером? Нет, я свихнулся! Тем не менее я сказал:

— Мы считаем его блистательным примером успешного сотрудничества между правительством и частным капиталом.

Рой снова хихикнул. Это начинало действовать мне на нервы.

— Рой, что тут смешного?—твердо спросил я. — Что вы об этом знаете?

— Не больше, чем можно услышать за тридцать поездок между МАД, конторой мистера Брэдли и Солихуллом, — ответил он.

— За тридцать поездок? — Меня это удивило. — С кем же?

— Так с вашим предшественником, сэр,— сказал Рой весело. — И еще с сэром Хамфри. — Он снова хихикнул. Так бы его и убил! Что тут смешного, хотел бы я знать? — Сначала они были очень веселыми. Го-

ворили о блистательных примерах успешного сотрудничества и всяком таком. Ну а потом... — Он для эффекта помолчал.— Потом, сэр, они вроде бы помрачнели.

— Помрачнели? То есть как помрачнели?

— Ну, не то чтоб помрачнели, — пояснил Рой, и я было воспрял духом, — а вернее сказать, впали в отчаяние.

Я обнаружил, что сам все больше впадаю в отчаяние.

— Вообще-то, — сочувственно продолжал Рой, — я же ничего толком не знаю, верно? Может, мистер Брэдли и вполне на высоте, как бы там ни называл его сэр Хамфри. Да вы же, сэр, про все это знаете куда больше меня. Я что — просто шофер.

«Знаю, как бы не так! — подумал я с горечью. — Я что — просто министр, черт бы их всех побрал!»

25 февраля. Что, собственно, я узнал почти за полгода пребывания на своем посту? Выходит, только одно: что я бессилен перед лицом могучей безликой бюрократии. Но раз я это понимаю, значит, им не удалось меня выдрессировать. Будь я выдрессирован, я сейчас твердо верил бы, что а) обладаю огромной властью и б) мои подчиненные заняты только выполнением моих указаний.

Значит, еще есть надежда! И значит, я не уйду из кабинета, пока не доберусь до разгадки странной тайны, которая окружает «Солихулл». Ведь должен же существовать способ, как обнаружить, что происходит на самом деле!

26 февраля. Я уже несколько дней не видел сэра Хамфри, и сегодня мы встретились по моей просьбе, чтобы обсудить проект «Солихулл». Я объяснил, что говорил о нем по радио не без энтузиазма, но теперь у меня возникают некоторые сомнения.

— По какой-нибудь конкретной причине? — вежливо осведомился сэр Хамфри.

Я не стал ходить вокруг да около.

— Хамфри, — сказал я, — с «Солихуллом» все обстоит нормально?

— Насколько мне известно, строительные работы продвигаются вполне удовлетворительно, — прожурчал он.

Я терпеливо объяснил, что имел в виду не совсем это.

— Что там происходит? — спросил я.

— Там строят, министр, — доложил он.

— Да, — сказал я, сдерживаясь, — но... к чему идет дело?

— К третьему этажу, — сказал Хамфри. — Второй почти кончен.

Мое раздражение начало пробиваться наружу.

— Хамфри! Я имею в виду самое основание проекта.

— А-а! — ответил мой постоянный заместитель. — Понимаю.

— Ну и что же вы мне можете о нем сказать?

— Насколько мне известно, министр («Вот наконец правда!» — подумал я), основание его представляет собой смесь гравия и цемента на шести футах лучшей забутовки.

Он что — считает меня совсем уж круглым дураком?

— Хамфри, мне кажется, — сказал я сурово, — вы понимаете, что я говорю о финансовой стороне.

Тут он принялся юлить: наш контракт со строительной компанией, поэтапные выплаты и еще множество всякой бесполезной ерунды. Я его перебил.

— Что — то, чего я не знаю? — спросил я категорично.

— Что вы конкретно имеете в виду? — ответил он уклончиво.

Уже почти в истерике я попытался объяснить:

— Я не знаю. Ну, просто... есть что-то, чего я не знаю, а не знаю я потому, что не знаю, какой точно задать вам вопрос, потому что не знаю, что спросить. Что — то, чего я не знаю?

Сэр Хамфри сыграл в наивность.

— Министр, — сказал он, — я же не знаю, чего вы не знаете. Это ведь может быть практически что угодно.

— Но, — не отступал я, — вы от меня что-то скрываете, так?

Он кивнул.

Что?? — я буквально закипал, а он снисходительно мне улыбнулся. Невыносимо! А он объяснил, что долг министерства — оберегать министра от гигантских волн бесполезной информации, которые день за днем разбиваются о стены министерства.

Это был не тот ответ, которого я добивался. Я встал и в последний раз попытался объяснить — на тот случай, если он не вполне понял, чего я хочу.

— Послушайте, Хамфри, — начал я, — в связи с проектом «Солихулл» есть что-то, о чем я знаю, что не знаю, и знаю, что *вы* знаете. Я знаю, что *Бернард* знает, *Джо Морган* знает. Даже мой *шофер* знает! И только тот бедняга, который обязан отвечать на вопросы в парламенте, не имеет никакого представления, что происходит.

Хамфри только смотрел на меня. И молчал.

— Хамфри, — сказал я, подавляя желание рвать на себе волосы. Или на нем. — Можете вы мне ответить на один простой вопрос?

— Разумеется, министр, — сказал он. — На какой же?

— *Я НЕ ЗНАЮ!* — взвыл я. — Скажите, и я вам его задам!

28 февраля. Казалось, этот день никогда не кончится. Я был на краю гибели.

Еще одна встреча с Хамфри. Атмосфера была, мягко говоря, ледяной. Пришел и Фрэнк Уизл, чтобы обсудить свой доклад о кванго, который меня не интересовал, потому что вроде бы не имел никакого отношения к моим текущим проблемам, хотя и был полон всякими «покончить со скандальными министерскими подачками и теплыми местечками для своих ребят». Хамфри назвал его «полным воображения», и Фрэнк счел это похвалой. Он все еще не разобрался, что «оригинальный» и «полный воображения» в устах Хамфри равносильно самой уничтожающей критике.

Фрэнк предлагает передать все назначения в кванго специальному парламентскому комитету.

— Чтобы выбирались наиболее подходящие кандидаты, а не старые приятели, нужные люди и прочие «я тебе, ты мне», — объяснил Фрэнк с обычным своим обаянием.

— Это, безусловно, нечто новое! — заметил Хамфри («новое» — еще одно его бранное слово) и объяснил, что не видит оснований менять существующую вполне адекватную систему.

Адекватную! Чушь! Как раз сегодня мне предложили кандидата на пост председателя только что созданного кванго — комиссии по сотрудничеству с промышленностью. И кого же? Сэра Десмонда Глейзбрука!

— Он никогда не имел дела с промышленностью,— сказал я Хамфри,— он в жизни не разговаривал ни с одним профсоюзником и не скупился на гадости по адресу нашего правительства. Это такие кандидатуры выдвигает адекватная система?

— Но он будет прекрасным председателем,— сказал сэр Хамфри.

— Он невежда и пустобрех,— старательно объяснил я.

— И все же,— сказал сэр Хамфри,— прекрасный председатель.

Я повторил, что Глейзбрук — это слишком. И наотрез отказался назначить его. Только через мой труп, объявил я.

Наступило молчание. Затем сэр Хамфри сказал:

— Министр, прежде чем вы придете к *окончательному* решению, вам, вероятно, следует кое с чем ознакомиться.

И он протянул мне папку с надписью: «ПРОЕКТ «СОЛИХУЛЛ», СТРОГО СЕКРЕТНО». Почему строго секретно? Я открыл ее и понял почему. Брэдли, партнер нашего министерства, задолжал 7,5 миллиона фунтов, и проекту грозит неминуемый крах.

Я был потрясен. До глубины души. Я спросил Хамфри, почему меня не поставили в известность, а он завел дурацкую канитель о том, как глубоко он сознает, насколько тяжко бремя моего поста. По-моему, за последние дни он сделал это бремя куда тяжелее.

— Если это выйдет наружу,— сказал я тупо — все газеты запестреют заголовками. Политический скандал. Катастрофа.

— Ужасно! — добавил Бернард. У него всегда готово утешение!

Затем на секунду Фрэнк подарил мне проблеск надежды.

— Погодите-ка, Джим! — крикнул он, хватая папку.— Доклад был подан еще до выборов. Вы тут ни при чем!

— К сожалению,— прожурчал Хамфри,— согласно установлению об ответственности министерств, вина ложится...

— Но ведь все знают, что это было до Джима! — перебил его Фрэнк.— Ему стоит только указать на даты!

— Ну что же! — Сэр Хамфри впал в самый благочестивый свой тон.— Человек мелкого калибра, конечно, попытался бы как-нибудь выкрутиться. Но есть лишь один достойный путь. Не правда ли, министр? — Он устремил на меня скорбный взгляд и покачал головой. Я почувствовал себя как на собственных похоронах.

— Не кажется ли вам, что Фрэнк все-таки в чем-то прав? — спросил я, полный решимости бороться до конца.

— Да,— сказал Бернард,— если бы в передаче, которая идет в эфир («Сегодня»,— вставил я) сегодня,— продолжал Бернард,— вы не взяли бы на себя ответственность за успех проекта. А передача вот-вот начнется.

Мы все уставились друг на друга. Потом Бернард кинулся за приемником. Я крикнул ему вслед:

— Бернард, позвоните на Би-Би-Си и остановите ее.

— От всей души желаю вам удачи, министр,— сказал Хамфри,— но... вы ведь знаете, что такое Би-Би-Си.

— Конечно,— согласился я,— но в подобном экстренном случае, чтобы предотвратить кризис, национальный скандал...

— О да,— кивнул он,— если вы сформулируете это подобным образом, они перенесут передачу на самый популярный час. А потом повторят ее. А потом дадут по телевидению в «Панораме».

— Я прикажу им снять ее,— сказал я.

— «Министр подвергает Би-Би-Си цензуре»,— сказал Хамфри, вновь мрачно предаваясь сочинению газетных заголовков.

Возражение было, безусловно, веским, и я хотел сказать, что мы очень мягко, очень вежливо попросим их... но тут в кабинет вбежал Бернард с транзистором, который моим голосом говорил жуткие вещи о государственных средствах и частном капитале, объединяющихся для плодотворного сотрудничества, и о том, что я с огромным личным интересом отношусь к проекту «Солихулл», так как он символически воплощает все, к чему стремится наше правительство, и служит практическим доказательством жизненности нашей политики.

Я выключил транзистор. Мы с холодным отчаянием смотрели друг на друга. Я ждал. Но все молчали. Наконец заговорил я сам.

— Хамфри,— спросил я негромко,— почему вы позволили мне сказать все это?

— Министр,— он вновь принял тон «я всего лишь скромный сотрудник государственной службы»,— я могу только советовать. И я советовал. Я советовал весьма настоятельно. Но когда совет советника раздается втуне...— Он скис, понимая, что скрыл от меня жизненно важную информацию.

— Ну, так дайте мне совет сейчас,— сказал я холодно.

— Ну конечно, министр.— Он на секунду задумался.— Вполне возможно, что банк Бартлета возьмет на себя обязательства «Слоун энтерпрайзиз», и все будет хорошо.

Банк! А мне и в голову не пришло. Даже не верится!

— Но...—сказал Хамфри.

И правильно, что не верилось!

— Но... банк колеблется. Однако его директор в будущем году уходит на пенсию и хотел бы получить какое-нибудь назначение. Например, на пост председателя того или иного кванго.

Так просто!

— Ну так подберите для него что-нибудь,— тут же сказал я.— Дайте ему пост, на который вы предлагали этого идиота Десмонда Глейзбрука. А кстати, кто директор банка?

— Десмонд Глейзбрук,— сообщил Хамфри, и все стало ясно.

Я счел нужным выдержать приличную паузу, прежде чем сказал, что, в сущности, он даже очень неплохой человек.

Но Фрэнк не сумел уловить нюанс.

— Он же всегда нападает на правительство,— сказал он сердито.

Я объяснил Фрэнку, что иногда бывает полезно давать назначения нашим противникам. Вполне демократично. И вполне по-государственному. Но Фрэнк эту точку зрения не принял и спорил, пока я наконец не попросил его заткнуться, а сам спросил у Хамфри, кто еще знает про этот чертов доклад о «Солихулле». Только Джо Морган, сказал Хамфри, и мне стало ясно, почему он с такой нахальной уверенностью требовал бирмингемскую субсидию. Шантажист!

И тут я подумал, что Десмонду Глейзбруку нужен вице-председатель, хорошо знакомый с проблемами промышленности. Например, какой-нибудь профсоюзник. Я высказал эту мысль Хамфри, который ответил, что находит ее чрезвычайно удачной, и предложил кандидатуру Джо Моргана. Тут уж я нашел эту мысль чрезвычайно удачной, и мы немедленно позвонили им обоим.

Фрэнк молча смотрел на нас, пока мы коротко побеседовали с Десмондом и Джо, а потом вдруг как с цепи сорвался.

— Как раз об этом я и говорил! — кричал он даже громче обычного.— Вот в чем порок данной системы! Теплые местечки для своих ребят! Я тебе, ты мне! Коррупция!

Я ушам своим не поверил. Фрэнк обвиняет в коррупции *меня*. Меня! Подумать только! Он явно понемножку свихивается.

— Ну а как же мой доклад о кванго? — вопил он, багровея.

— Отличный доклад, Фрэнк,— прожурчал я.— Полный воображения. Находчивости.

— Оригинальный,— добавил Хамфри.

Тут Фрэнк заявил, что не даст мне положить его под сукно. Будто я на это способен! Чтобы я — и клал доклады под сукно? Я демократ и верю в Открытое Правительство. Нет, Фрэнк явно сошел с ума.

— Я все равно передам его в кабинет,— пригрозил он во весь свой зычный голос и пошел к двери, но вдруг остановился.— Пресса! — сказал он ласково.— Если это попадет в газеты...

И тут меня осенило.

— Фрэнк,— сказал я мягко.— Мне кое-что пришло в голову. Конечно, к теме это отношения не имеет, но *сами вы* никогда не думали о месте в каком-нибудь кванго?

— Ну нет! — ответил он, улыбаясь самой вредной своей улыбкой.—Меня вам коррумпировать не удастся!

Я терпеливо объяснил, что даже и не думал об этом. А просто мне кажется, что лучше не упразднять систему кванго, а добиться, чтобы она действовала эффективно. Для чего следует создать комиссию, которая инспектировала бы все кванго и подавала бы соответствующие доклады. В ее состав войдут действительно высокопоставленные лица — в основном члены Тайного совета. Я знал, что Фрэнк всегда мечтал вращаться среди членов Тайного совета. Я объяснил, что для такой комиссии потребуются действительно незаурядные люди — люди, которые изучали кванго, люди, которые знают все пороки системы.

— И, учитывая ваши знания, ваш живой интерес,— закончил я,— Хамфри предложил вашу кандидатуру.

— Члены Тайного совета,— повторил Фрэнк зачарованно.

— Конечно, как вы сочтете нужным,— добавил я,— но это будет истинная услуга стране. Ну и...

— Моих убеждений вам не изменить,— сказал Фрэнк задумчиво.— Существует такая вещь, как принципиальность.

Мы с Хамфри поспешили согласиться с Фрэнком относительно принципиальности и указали, что именно его принципиальность и сделает его столь бесценным членом данного кванго.

— И учтите,— сказал Хамфри, инстинктивно угадав, что Фрэнк страдает пристрастием к пуританской этике и чувствительной совестью, которая постоянно нуждается в разуверениях и поощрениях,— учтите, работа будет крайне тяжелой. Служба в этом суперкванго, несомненно, потребует частых обременительных командировок за границу для изучения того, как подобные проблемы разрешаются в других важных правительственных центрах — в Японии, в Австралии, в Калифорнии, в Вест-Индии...

— На Таити,— подсказал я.

— На Таити,— согласился сэр Хамфри.

— Да,— сказал Фрэнк с выражением глубокой душевной муки на лице.— Это будет тяжело и обременительно, ведь так?

— Очень-очень тяжело,— сказали мы хором. Несколько раз.

— Но все ради общего блага, ведь так? — спросил Фрэнк, немного ободрившись.

Мы с Хамфри раза два прожурчали: «Да-да, для общего блага».

— Ну а мой доклад о кванго? — спросил тогда Фрэнк.

Я заверил его, что доклад неоценим, а потому он должен обязательно взять его с собой.

А Хамфри предложил сохранить копию в архиве — вместе с докладом о проекте «Солихулл».

◆

Антирубрика

ИОН БЭИЕШУ

ЮМОРЕСКИ

Перевод с румынского ЯНА ИРИНЬША

Последний треп

До недавнего времени я был (немного терпения — и вы узнаете, почему «был») служащим одного из отделений комбината по производству товаров широкого потребления. Наше отделение занималось (немного терпения — и вы узнаете, почему больше не занимается) приемом, сортировкой и мытьем банок. Конечно, то, ради чего трудится наше отделение, может показаться незначительным, а кое-кому даже и смехотворно ничтожным, но в действительности мы были предприятием вполне солидным, выполнявшим полезную работу, и, больше того, предприятием с небольшим, но на редкость сплоченным коллективом. Я отношусь к тем, кто работал в административном секторе. Десять человек занимались непосредственно сортировкой и мытьем банок а мы, тоже в количестве десяти человек, или, как нас обычно именовали, «товарищи из управления» — работники, которые вели учет поступления и отгрузки банок, учет банок треснувших или просто-напросто разбитых (случалось и такое), составляли табели выхода на работу, штатное расписание, распределяли зарплату, премии, отпускные, пособия в связи с болезнью, рождением или похоронами (и такое бывало), разрабатывали инструкции по технике безопасности, чтобы предупредить трудовые травмы (были случаи) и т. д. Все эти обязанности мы, сотрудники управления, успешно выполняли, а если кто сомневается — может убедиться в этом, взглянув на приказы о премиях, ибо не было месяца или квартала, когда хоть один из нас не был бы отмечен премией. Однако самые радужные мои воспоминания связаны отнюдь не с производственными успехами, а с теми приятными и дружескими отношениями, которые установились между нами. Для меня даже сам приход на работу был радостным событием. Стоит мне провести один день дома — и я погибаю от скуки. Иное дело — на работе. Почему?

Ну, первым делом являешься к 8 часам на работу, первые рукопожатия, первый обмен впечатлениями между 8 и 8.30 — пока достаем из стола бумаги, точим карандаши, готовим резинки, рассказываем о давке в трамвае и автобусе, а если дело происходило в понедельник, обмениваемся замечаниями по поводу футбольного матча, в остальные дни недели ограничиваемся ироническими замечаниями в адрес болельщиков «Рапида» или поклонников других команд; одним словом, когда в 8.30 мы приступаем к работе, настроение у всех отличное. В 10.30 мы устраиваем получасовой перерыв на завтрак, который продолжается до 12.00, пока не наступает время готовить глазунью либо омлет (учитывая вкус каждого из нас) в каморке мадам Мэндики, нашей уборщицы, пока она не придет с рынка с купленными для нас сырами и овощами, а как только она объявится — глядишь, уже время обеда настало. Ей-богу, какая-то удивительная, неповторимая атмосфера создавалась вокруг наших совместных трапез, к которым мы приступали, каждый со своей тарелкой на столе каждый со своим прибором, и как-то интимно и по-семейному уютно звучали наши взаимные пожелания приятного аппетита и просьбы передать то огурчик, то помидор. Случалось, правда, что иногда в разгар трапезы вдруг появлялся кто-нибудь из работников производственного сектора, но, не успев переступить порог, он тут же ретировался, так как мы сумели привить им один из принципов цивилизации: не беспокоить человека во время еды.

Закончив обед, мы в прекрасном настроении приступали к работе и к часу дня за-

вершали все дела, так как, между нами говоря, работа была очень простая — то есть не то чтобы сама по себе простая и легкая, нет, мы достигли прямо-таки совершенства в быстром и точном решении проблем, связанных с получением, отгрузкой и боем стеклотары.

В час дня, а бывало и без четверти час, мадам Мэндика готовила кофе, не для всех, правда, ибо некоторые из нас предпочитали все делать сами. Так что примерно в час — час десять мы выходили либо в холл, либо на балкон и принимались за кофе. Скажу откровенно, это были самые сладостные минуты из тех, что составляли восьмичасовой рабочий день,— с одним уточнением: не в кофе была их сладость, а в тех беседах, которые при этом велись. Наш шеф возвещал о своем желании пообщаться с нами всегда одной и той же фразой: «Давайте, детки, потреплемся». Здесь самое время объяснить подробно, как протекал наш треп.

Начинали всегда с какой-нибудь проблемы самого общего свойства, например, с проблемы внешнеполитической. Каждый сообщал о том или ином моменте, той или иной подробности, неизвестной другим: новую подробность о Марлоне Брандо или Софи Лорен, о туалетах участников кинофестиваля в Канне, одним словом, что-нибудь из набора пикантностей, публикуемых под рубриками «Всем обо всем» или «Со всего света» и могущих вызвать интерес у остальных. Затем переходили к проблемам внутренним, начиная с чемпионата страны по футболу и кончая новостями из мира искусства, и этим завершалась, так сказать, культурная часть трепа. Затем наступала очередь личных проблем сотрудников нашего отделения — они никогда не оставались без внимания коллектива. Эта часть трепа также имела свою особую прелесть, заключавшуюся в том, что почти каждый день хоть один из нас да отсутствовал: болел, был в отпуске, в отгуле — да мало ли есть причин, по которым человек отсутствует на работе. Вот тут-то и начинали обсуждать отсутствующего, или, как выражался шеф, перемывать ему косточки,— и купно, и поврозь, один за другим вытаскивали на свет божий все его недостатки; но самыми интересными бывали, разумеется, те дни, когда отсутствовал сам шеф: надо было слышать, как мы ему перемывали косточки и смеялись до изнеможения!

Что и говорить, посмеяться у нас любили — тот самый случай, когда «ради красного словца не пожалеешь и отца»; и, признаться, не все, попавшие в «переплет», с честью из него выходили: как-то после трепа я получил от одного из сотрудников две пощечины (правда, при этом меня утешала мысль, что шеф получил их на одну больше); в другой раз подвергшийся «горячей обработке» коллега вообще подал заявление об уходе... Вот почему я приложил все усилия, чтобы ни разу не отсутствовать на работе, и потому был, пожалуй, единственным из сослуживцев, ни разу не ставшим объектом трепа.

Но, как бы там ни было, любой наш треп кончался весело — последними анекдотами из жизни города или гаданием на кофейной гуще. В два часа мы возобновляли работу, а в четверть пятого начинали готовиться к уходу. Теперь, надеюсь, вы убедились в справедливости сказанного мною вначале, а именно, что рабочее время в нашем отделении протекало исключительно приятно. Я говорю «протекало», потому что уже не протекает. Нас расформировали.

Затесался среди сотрудников нашего предприятия один тип, который давно замыслил покончить с нами. Знаете, как он пустил нас на дно? Очень просто: изобрел машину, которая сама сортировала банки, мыла их и складывала. Все это цветочки, да вот беда: машина одновременно вела учет банок входящих, банок исходящих и банок поврежденных, то есть делала в точности то, чем мы занимались. В нас больше не было нужды.

Торпедировавший наше уютное судно тип имел нахальство оповестить нас об этом во время очередного трепа, как раз в тот момент, когда мадам Мэндика гадала на кофейной гуще. Выбрал ли он этот момент нарочно? Не исключено.

На следующий день состоялся наш последний треп. Как, по вашему, чьи косточки мы перемывали на прощанье?

Вор

Как-то ночью, воспользовавшись открытым окном и балконом мезонина, в дом Бартоломеу Капрэ, бывшего служащего судебного ведомства, проник вор. Под покровом царившей в помещении полутьмы он начал хватать и бросать в свою сумку все, что попадало под руку. Но Бартоломеу Капрэ был начеку:

— Стоять на месте! — рявкнул он, неожиданно появляясь из-за спинки кресла.— Не двигаться! Если пошевелишься — стреляю без предупреждения! Я вооружен!

Бедняга вор, дрожа от страха, поднял руки и залепетал:

— Не стреляйте, господин, я не буду шевелиться!

И действительно, он не шелохнулся до тех пор, пока хозяин дома не вышел окончательно из-за спинки кресла и не приблизился к нему.

— Повернись ко мне! — приказал Бартоломеу, после чего зажег свет. Перед ним стоял довольно молодой, невзрачного вида мужчина.

— Садись! — разрешил Бартоломеу.

Вор сел в кресло напротив хозяина и обратил испуганный взор к потерпевшему, пока что проявлявшему к нему такую гуманность.

— Покажи, что украл?

— Да почти что ничего,— ответил вор, вываливая из сумки ее содержимое: несколько рубашек, носки, пару висевших на балконе для просушки колбасок. Бартоломеу посмотрел на вора долгим пронзительным взглядом, в котором сквозила смесь презрения, жалости и осуждения.

— Итак, во всем моем доме ты нашел лишь это достойным твоего внимания?

— Нашел лишь это,— как эхо, повторил упавшим голосом вор.

— Ради этого, значит, ты карабкался по стене, прыгал на балкон и ставил на карту

свою свободу? Из-за рубашки и колбасок?

— А носки? — произнес обвиняемый.

— Ах да, и из-за пары носков. К тому же поношенных. А если бы я тебя застрелил? Взял бы вот и выстрелил без предупреждения? Ты-то сам по крайней мере вооружен? Есть ли у тебя чем защититься в случае чего?

— Есть пистолет,— ответил вор.— Но не настоящий, пистонный.

И он протянул Бартоломеу старый, заржавленный игрушечный пистолет. Бартоломеу попытался произвести из него выстрел, но лишь после того как он пять раз подряд вхолостую щелкнул курком, раздался слабенький звук «плик» и появился дымок.

— И это ты называешь пистолетом?! — удивился Бартоломеу.— Взгляни-ка, мой тоже пистонный, но стреляет хоть куда.

— Он у вас новый,— сказал вор, с интересом взглянув на пистолет хозяина.— Похоже, импортный. Я свой украл у одного малыша. Обычно пользуюсь им, работая на свежем воздухе,—приставляю к спине прохожего и говорю: «Стой!», после чего шарю у него по карманам.

— Так, значит, ты не взломщик, ты карманник?!

— Некогда совершал крупные кражи со взломом, но в последнее время бросил. Теперь, забравшись в дом, беру поскорее все что ни попадя и исчезаю. Я не жадный.

— Какое ничтожество! — произнес вконец разочарованный Бартоломеу, после чего закурил. Вор, не спрашивая разрешения хозяина, протянул руку, взял сигарету из его пачки и, воспользовавшись хозяйской же зажигалкой, закурил.

— Дело в том,— сказал он,— что кража со взломом карается весьма сурово, тогда как за мелочь человек тебя, как правило, прощает. Как-то на днях застукал меня хозяин во дворе в тот момент, когда я стащил у него белье. Он отругал меня и простил, дав на прощанье пару затрещин. Правда, я расплакался по-настоящему. Ну а вы, как я посмотрю, человек серьезный и начитанный, вы-то сами простите меня, если я попрошу у вас прощения?

— Дорогой мой,— произнес Бартоломеу задумчиво,— не о том сейчас речь. Дело не в том, прощу я тебя или нет. Скорбные мысли одолевают меня совсем по другой причине. Я ведь жду тебя вот уже полстолетия! — заорал он неожиданно с такой силой, что вор подскочил.

— Полстолетия? — робко переспросил он.

— Да, целых пять десятков лет как один день!

— Но ведь мне еще и сорока нет...

— Речь идет не о тебе лично. Речь идет о воре вообще. До войны я служил в магистрате, по судебному ведомству. Хотя лавров особых и не снискал, но в суде заседал не однажды. Передо мной прошла череда выдающихся воров, включая Флорикэ Флореску. Некоторых из них я даже допрашивал. Они покорили меня величием, подчеркнутым достоинством и той гордостью, которую испытывали к своей профессии, демонстративным презрением по отношению к суду. Иначе говоря, милый мой, я был тайным поклонником выдающихся гангстеров, смотрел фильмы о гангстерах, читал книги о гангстерах, знал наизусть всю жизнь Аль Капоне, секретарь которого, да будет тебе известно, был нашим согражданином! Иногда, не скрою, меня так и подмывало самому стать гангстером, то есть послать куда подальше службу и ограбить банк — из одного только уважения к этому жуткому ремеслу. Выйдя на пенсию, я уже не мог позволить себе пуститься на такую авантюру — силы не те, но я мечтал по крайней мере оказаться лицом к лицу со взломщиком в момент его работы... Так узнай же, молодой человек, что я специально оставил окно открытым... Днем и ночью, зимой и летом оно у меня открыто в ожидании вора... С лихорадочным нетерпением ждал я его... Я жаждал выследить вора — и сразиться с ним! Ради этого я готов был пожертвовать всем... Я-то думал, ты будешь сопротивляться, попытаешься задушить меня, что ли... А ты... тьфу! Противно выговорить, схватил колбасу — и дёру! Видишь этот выдвижной ящик стола? Он не заперт и набит деньгами, моими сбережениями, набит фамильными драгоценностями... Почему ты их не взял?

— Я их не видел,— извиняющимся тоном произнес вор, на этот раз искренне, так как последние слова Бартоломеу произвели на него сильное впечатление.

— А не хочешь ли ты поучиться тому, как действует настоящий грабитель, не проделать ли нам этот эксперимент сейчас? — с неожиданной мольбой в голосе произнес Бартоломеу.

— Какой еще такой эксперимент?

— То есть проделаем все с самого начала, но по-другому. Я погашу свет, спрячусь за кресло, а ты вернешься на улицу и вновь взберешься на балкон, проникнешь в дом и похитишь деньги и драгоценности. В этот момент я неожиданно появлюсь из укрытия — и начнется у нас борьба не на жизнь, а на смерть... Я тебя умоляю! Это ничем тебе не грозит, просто своего рода инсценировка, игра, детская забава... Прошу тебя! Будь настолько любезен! А потом мы обсудим детально все наши действия...

Вор, хотя и не уяснил себе смысла инсценировки, но будучи человеком вежливым, подчинился желанию хозяина: спустился на улицу, вновь вскарабкался на балкон, проник в помещение, наполнил сумку деньгами и драгоценностями, и в этот момент хозяин крикнул: «Стой!». Вор вынул пистолет и нажал курок, однако выстрела не последовало Тогда Бартоломеу спустил курок своего пистолета, но и на этот раз выстрела не последовало, после чего вор перемахнул через подоконник прямо на улицу.

— Неудачно получилось,— сказал Бартоломеу.— А все потому, что, во-первых, пистолеты дали осечку. А во-вторых, почему ты, видя такое дело, не набросился на меня и не схватился со мной врукопашную? Почему?

Но его вопрос остался без ответа. Свесившись с балкона, Бартоломеу констатировал, что вор исчез. Просто-напросто исчез — и все тут!

— Трус! — почти плача, закричал по-

клонник Аль Капоне и Флорикэ Флореску.— Ничтожество! Жулик! Я хотел всего лишь проделать эксперимент! Чтоб тебя черти взяли! Почему ты удра-а-аал!

Коза

Да не побоимся же признать за козой присущие ей достоинства! Эта «бедняцкая корова» мало того что дает вдоволь молока и что ее легко содержать (нет травы — удовольствуется и репейником!), так она еще ухитрилась войти в румынскую литературу в качестве положительного, достойного всяческого подражания персонажа, являясь для многих поколений детей и юношества примером сообразительности, спокойствия, совершенства, чувства собственного достоинства и непоколебимого духа возмездия, когда зло надо одолеть злом. Нужны доказательства? Пожалуйста: слышали ли вы, чтобы в наши дни какому-нибудь переодетому волку удалось проникнуть в дом какой-нибудь козы и съесть ее козлят? Лично я не слыхал ничего подобного.

Вот почему я решил ввести козу в качестве персонажа одной из последних написанных мною пьес. О чем там вкратце речь? На одной из башен средневековой крепости сидит дозорный по имени Георге и ест брынзу из козьего молока с луком. В это время к крепости приближается вооруженное до зубов иноземное войско численностью в десять тысяч человек. Командующий неприятельским войском в ультимативной форме требует у Георге немедленно сдать крепость со всеми продовольственными запасами и фуражом, на что Георге с присущим ему юмором и вместе с тем с достоинством советует командующему уносить ноги подобру-поздорову, если он не хочет иметь дело с пятью тысячами обороняющих крепость стрелков из лука и копьеметателей, которые вот уже четыре месяца как расквартированы здесь и у которых прямо-таки руки чешутся с кем-нибудь схватиться, плюс старики, женщины и дети, готовые скидывать камни на противника и лить ему на голову кипяток. И хотя Георге за три дня переговоров напрочь заморочил их своими речами, чужеземные завоеватели в конце концов направили орудия на крепость и дали несколько залпов по ее ветхим стенам.

— Ладно-ладно, будет вам,— крикнул Георге,— не нервничайте, сдаю вам крепость, дозвольте только мне с моим войском выйти и направиться куда глаза глядят, с вами, вижу, не договоришься!

Открываются крепостные ворота — и кто же выходит из них? Выходит Георге, за ним следом жена и трое детей, мал мала меньше, последний из них тащит на привязи козу. Чужеземцы застывают в изумлении: как, вот это и есть тот самый гарнизон, который в течение трех суток держал десятитысячное войско под стенами крепости?! Мыслимое ли дело, чтобы этот болтун Георге ухитрился обвести их вокруг пальца?! На что Георге, обладавший острым как бритва умом, отвечает:

— Мы не располагаем, конечно, таким оружием, как ваше, но в том, что касается политики, мы вас за пояс заткнем!

Руководство театра, которому я передал свою пьесу, было ею очаровано, директор назвал меня великим, давно, сказал он, ощущается необходимость в исторической комедии, в которой была бы обрисована (прошу прощения, но я прямо-таки впадаю в бешенство, когда слышу слово «обрисован», так как сразу вспоминаю двух халтурщиков, безнадежно испортивших мне ковер!) сообразительность наших предков, их политический гений, их чудесное умение спасать страну от чужеземных сил, одна за другой волнами накатывавших на нее. Я, правда, пытался им объяснить, что идея эта принадлежит не мне, а исходит от Негруцци, но они и слышать не хотели, настаивали лишь, чтобы я об этом больше никому не говорил, в особенности артистам, которые начнут распускать обо мне сплетни по кабакам.

— Господин автор, а как же быть с козой? — спросил заместитель директора по хозяйственной части.— Надеюсь, вы не имеете в виду присутствие на сцене живой козы?

— Напротив, я имею в виду именно живую козу, в противном случае я заберу у вас пьесу и отнесу ее в Национальный театр, где материальные возможности практически неограниченны.

— Если автор желает живую козу,— поспешно вмешивается директор,— дадим ему живую козу, здесь вопросов нет. Вопрос в другом: не обвинят ли нас в таком случае в натурализме, в псевдореализме и вообще черт знает в чем?

— Господин директор, меня не интересует, что скажет критика, я хочу, чтобы зритель видел на сцене живую козу, а не картонный муляж на колесиках! Не желаете — верните мне пьесу!

Директор немедленно вызвал помощника режиссера и распорядился раздобыть козу.

— Требую, чтобы коза была за десять дней до премьеры, иначе она не успеет привыкнуть к сцене! — крикнул я, почувствовав себя хозяином положения.

Разумеется, немедленно началось крючкотворство. Явился представитель финансовой службы со своими вопросами: для того чтобы ангажировать козу на вечер, надо ангажировать и ее хозяина, которому, как участнику представления, надо в соответствии с существующими расценками платить по пятьдесят лей за спектакль плюс двадцать пять лей за козу. Кроме того, где найти в Бухаресте козовладельца? Коз выращивают лишь в пригородных хозяйствах, поэтому встает вопрос транспортировки козы в театр и оплаты этого мероприятия. Больше того, если спектакль выдержит сто представлений, театру придется выложить за козу 7500 лей, в то время как стоимость козы не превышает 300—400 лей.

Просвещенное таким манером руководство приняло решение купить козу, поставить ей клетку во дворе, закупить корма и всего, что еще полагается, так чтобы она в любой момент была готова к выходу на сцену... Вы, конечно, думаете, что купить козу — это пара пустяков? Как бы не так! Два представителя театра, получив подъ-

емные и суточные, направились в горное селение. Крестьяне о продаже козы и слышать не хотели, пришлось отправиться на кооперативную овчарню, где как на грех оказались лишь овцы да несколько козлов. Запросили телеграммой театр, не согласится ли автор на козла, на что получили ответ, что козла автор не желает, желает козу, причем, если можно, белую козу, а не рыжую. Искали они, искали — все напрасно, пришлось обратиться к окружному сельскохозяйственному руководству, и в конце концов нашлась нужная коза, которую погрузили в вагон и малой скоростью отправили по адресу театра.

Подсчитали: покупка козы обошлась в 835 лей. Оставалась еще нерешенной проблема корма. Один из механиков сцены сказал, что у него есть родственник, работающий в тресте озеленения на подстрижке газонов, и он мог бы поговорить с ним на предмет ежедневной поставки свежей травы, но кто будет это оплачивать? Произвели сбор среди артистов, каждый дал по десятке, за исключением исполнителя главной роли — самого скупого артиста во всем Бухаресте: снимается во всех фильмах, занят в радио- и телеспектаклях, имеет дом в Бухаресте, дом в Буфтя и две машины, бездетный. Обратились и ко мне как автору, попросили 100 лей, я дал: требовал козу — корми ее!

Премьера, скажу скромно, прошла с успехом. С большим успехом. Финал с козой вызвал бурю аплодисментов, хлопали и смеялись до изнеможения, особенно тогда, когда животина, вероятно напуганная таким шумом, коротко проблеяла, а уходя со сцены, обозначила свой путь цепочкой маслин. Чего греха таить, наплывом зрителей во все последующие дни спектакль в значительной мере был обязан Марице (так звали козу), о ней стало известно всему городу, люди говорили друг другу: «Сходи в театр, взгляни на эту чертову козу!»

Когда готовились к первой гастрольной поездке по стране, кому-то не в добрый час пришла в голову идея не брать с собой Марицу, а воспользоваться услугами какой-нибудь местной козы. И что же? Ангажированная коза повела себя хуже дикой, не хотела идти на сцену, бодалась, истошно блеяла, короче говоря, самый выигрышный момент спектакля — его финал — был безнадежно испорчен. После этого случая Марица исколесила всю страну с театром. Со временем она стала любимицей всего коллектива, никто не мог пройти мимо нее, не приласкав или не сказав пары теплых слов. Сильнее всех к ней привязался директор, так как, будучи сыном крестьянина-горца, сам в детстве пас коз, и эта его привязанность дала повод одному артисту-неудачнику, которому за десять лет работы в театре не поручили сыграть ни одной главной роли, написать донос на директора с обвинением его в содомии. Была создана специальная комиссия, которая между делом установила, что у директора нет законченного образования, и если после этого его не отстранили от должности, то лишь потому, что делегация ведущих артистов театра посетила самое высокое начальство и упросила не увольнять его.

Короче говоря, спектакль играли в течение двух лет; за это время Марица произвела на свет двух козлят. Когда же пьеса сошла со сцены, общее собрание тружеников театра после бурного обсуждения дальнейшей судьбы козы приняло решение, что она вместе с козлятами должна обеспечить закусочную часть товарищеской пирушки, которую намечалось провести в клубе театра. Пригласили и меня. Мы пили до утра и рассказывали друг другу разные истории о Марице и ее козлятах (например, как один из них, выйдя однажды за козой на сцену, испугался и сиганул в зрительный зал, ну и переполох же был!), плакались пьяными слезами друг другу в жилетку, что, как варвары, употребили козлят на шашлык.

Через несколько дней явились ревизоры контрольно-финансового управления, которые оштрафовали директора театра на 5900 лей, что составляло стоимость козы, козлят и корма. Почему? Потому, что козу следовало либо реализовать через сектор государственной торговли, либо продолжать хранить как имущество театра, в качестве одного из предметов реквизита.

Директор позвонил мне и со слезой в голосе говорил что-то о своих трех малолетних детях, о неработающей жене и парализованной теще, почему, восклицал он, за козу должен был выложить такую пропасть денег именно он, не взявший в рот ни кусочка мяса из-за больного желудка? Я прикинулся, что никак не возьму в толк, о чем речь, даже когда он намекнул на недурненький куш, сорванный мной за пьесу.

— Какая связь существует между мной, вашими детьми и тещей? Все это ваше личное дело! — прокричал я ему в трубку и дал отбой.

Я только что закончил пьесу, в которой по ходу действия появляется корова и парочка молочных поросят. Надо подумать, какому театру ее предложить.

На прием

Лет десять назад попросил я и мою фамилию включить в некий список. Дело в том, что я тогда хотел попасть на прием к имярек с какой-то просьбой, и мне было сказано, что для этого надо внести мое имя в список очередников — соискателей аудиенции, оставить номер своего телефона и ждать. И вот в один прекрасный день звонит телефон, и голос с французским прононсом сообщает:

— Завтра в десять утра с а м примет вас.

— Простите, кто примет?

— Разве вы не просили о приеме?

— Просил, десять лет назад.

— Вы будете приняты завтра утром.

На следующий день в девять тридцать я был уже у входа в учреждение. Вахтер принялся оформлять мой пропуск. Человек он был добродушный и к работе относился добросовестно, но по части грамоты сплоховал: начальную школу, верно, кончил, но, как правило, уроки во время учебы прогуливал. И вот он выписывает мне про-

пуск, затрачивая на каждую вписываемую в него букву не менее пяти минут.

— Не помочь ли вам? — предлагаю.

— Мой почерк знают,— отвечает он.

В десять тридцать пропуск был выписан. Единым духом взлетел я по маршам лестницы. В приемной сидела секретарша и вязала тишлайфер — дорожку для стола. Спицы у нее в руках мелькали с невероятной быстротой. Такое проворство я до сих пор наблюдал лишь однажды у одной лифтерши.

— Можно войти? — спрашиваю.

— Нет,— отвечает она,— шеф занят. Пьет кофе.

— Ради бога. Не буду его беспокоить.

— А пока заполните вот этот формуляр.

— Это обязательно?

— Обязательно, но учтите, что вы это делаете добровольно.

25-страничный формуляр содержал в себе 85 вопросов типа: «Фамилия, имя, отчество», «Какому цвету отдаете предпочтение?», «Занимались ли ваши родители конькобежным спортом и до какого возраста?», «Какие недостатки наблюдались у них во время этих занятий и какие появились после?» и т. д.

По мере моего знакомства с содержанием формуляра он казался мне все более и более привлекательным, так что я с удовольствием заполнял одну графу за другой. Да и времени ушло на это всего ничего, каких-нибудь шесть месяцев.

— Сейчас можно? — спросил я у секретарши, которая, пока я был занят делом, нет-нет да и посматривала на меня.

— Сейчас,— отвечает,— нельзя. Он курит.

Я сам курильщик и знаю, какое это удовольствие — спокойно выкурить сигарету. Так что месячишко пришлось переждать: шеф курил цельносвернутые сигары.

— Сейчас можно?

Секретарша подошла к двери кабинета, заглянула в замочную скважину и отрицательно покачала головой:

— Сейчас нельзя: дремлет.

— Ну, раз дремлет, не станем его беспокоить. Мне ли не знать, что, когда за письменным столом внезапно одолевает тебя приятная дрема, хочешь не хочешь, а прикорнешь на десяток-другой минут...

И я принялся терпеливо ждать дальше. Проходили дни, месяцы годы. И все же настал момент, когда терпение мое слегка прохудилось и я загрустил. Секретарша в это время вязала очередной тишлайфер.

— В том, что касается рукоделия,— говорю ей,— я с младых ногтей проявлял чрезвычайные способности. Так что, если желаете, могу составить компанию.

— С удовольствием!— сказала она.— Вот этот экземпляр,— и она указала на великолепный тишлайфер,— тоже изготовлен одним ждавшим приема искусником.

Через неделю, в совершенстве овладев тишлайфероделием, я принялся за работу. Когда первая партия изделий в количестве десяти штук была готова, я поинтересовался:

— Сейчас можно?

Секретарша на миг прильнула к источнику информации и сказала:

— Сейчас — нельзя: зева-а-а-аа-ааа-ет! — и прикрыла ладошкой отверстый ротик.

«Ага,— мыслю себе,— зевает, значит, не выспался, следовательно, не в духе. Так что лучше переждать». Когда я завершил очередной тишлайфер, секретарша зыркнула в пресловутую скважину:

— Нельзя,— говорит,— входить: шеф в зубах ковыряет.

Так незаметно еще пяток годков в лету канул. Тем временем выяснилось, что, невзирая на некоторые отрицательные черты характера и упорное нежелание идти в ногу с передовыми методами организации труда, секретарша все больше и больше нравилась мне. Кроме того, симпатия оказалась взаимной, и мы поженились. Скромную свадебку с кофе и пепси-колой справили здесь же, в приемной.

Как-то, после медового месяца, я неожиданно распсиховался и влепил (прошу прощения за это слово) ей пару пощечин — как это делали мужья в далеком прошлом.

— Ответь мне наконец, пустишь ты меня к шефу или нет?! Не доводи меня до крайностей! Хоть ты и жена мне, я за себя не ручаюсь!

Она заплакала, и вперемежку со слезами, лившимися из глаз, из уст ее полилось эпико-романтическое повествование:

— Прости меня, любимый, поведаю тебе всю правду. Моего шефа нет в живых. Помер он. Семья забрала тело усопшего и предала земле. Но я так привязалась к своему рабочему месту, что не захотела расставаться с ним, поэтому никому не сказала о его смерти. Зарплата, правда, невелика, зато работа приятная, комната светлая и теплая. Оставайся и ты здесь, и проживем мы тихо-мирно до глубокой старости.

Остались мы с ней в приемной, где основали свой семейный очаг. Никто нас не тревожил, разве что иногда нет-нет да и звякнет телефон. А моя отвечает:

— В данный момент шеф занят. Перезвоните попозже или оставьте номер своего телефона, вам позвонят.

В другой раз приходит некто с какой-то бумагой. Честь по чести расписываемся мы в получении, проставляем входящий номер и заверяем, что ответ воспоследует своевременно. Или, к примеру, заявляется один тип и просится на прием.

— В данный момент,— объясняем ему,— шеф занят. Оставьте номер своего телефона, вам сообщат.

Ну а если попадался очень уж настырный соискатель аудиенции, мы подвергали его испытанию в виде ответов на вопросы известного уже вам формуляра. Обычно на 67-м вопросе противник признавал себя побежденным (как выяснилось, я оказался исключением!).

Шли годы. Шла зарплата. Постепенно нас вообще перестали беспокоить, никто больше не являлся с бумагами, и никто больше не домогался аудиенции. В бурном натиске жизненных шквалов и бурь люди напрочь позабыли о нашем существовании. Скоро мы выходим на пенсию. Впереди — спокойная, безмятежная старость.

Часто по ночам, в бессонницу, один и тот же вопрос неотвязно бередит мне душу: «Для чего же я все-таки добивался тогда приема у с а м о г о?»

Наследие Рафаэля и русская культура

Творчество Рафаэля, пришедшееся на чрезвычайно короткий отрезок времени, но необычайно плодотворное и явившее образцы художественного совершенства, признанные во всем мире, оказало уникальное по силе воздействие на сознание современников и потомков. «Золотой век» Высокого Возрождения — 1510—1520 гг.— вобрал в себя наиболее значительные создания Рафаэля и вместе с Рафаэлем закончился. С тех пор апогей итальянского искусства отождествляется прежде всего с именем этого мастера.

Природа творческого гения всегда обладает некоей двухмерностью: собственно наследие его, навечно включенное в фонд мировых культурных ценностей, и тот след в истории, который он оставил не только своим искусством, но и жизнью, легендой. Европейские художественные академии столетиями культивировали неколебимый авторитет великого мастера. Один только XIX век осыпал его пышными эпитетами, сверкающими уподоблениями, наивысочайшими оценками. Для западноевропейского и русского сознания они были универсальны. И все же для русского художественно-эстетического мышления искусство Рафаэля имело гораздо более сокровенный, жизненно важный смысл.

XIX век — время серьезного изучения искусства Рафаэля, активного освоения его наследия ведущими деятелями русской культуры. Борьба и преемственность художественных направлений: сентиментализма и романтизма, реализма и академизма, символизма и неоклассицизма, кристаллизация новых эстетических доктрин, поиск и утверждение творческих и нравственных идеалов — все это заставляло художников вновь и вновь всматриваться и в творчество гениального урбинца, отказываться от хрестоматийно-догматического его толкования, искать иные критерии, оценки.

По-разному входил Рафаэль в сознание представителей русской культуры XIX века. Для художников он становился образцом и источником вдохновения уже в стенах Академии. Правда, это был еще не подлинный, а «гравюрно-репродукционный» Рафаэль, пропущенный к тому же через каноны школы болонского академизма. Начинающие художники воспринимали его сквозь призму отточенного по форме, но холодно-рассудочного искусства его последователей — братьев Карраччи, Доменикино, Гверчино, которые в тогдашней академической «табели о рангах» стояли едва ли не выше самого Рафаэля. Однако некоторым судьба давала возможность видеть и изучать и оригиналы его творений во время пенсионерских поездок в Италию.

Для многих русских художников XIX века — С. Щедрина, Ф. Матвеева, О. Кипренского, А. Иванова, К. Брюллова — Италия становится второй родиной, где они подолгу живут, а иные даже остаются навсегда. В сознании таких выдающихся поэтов и писателей, как В. Жуковский, К. Батюшков, Д. Веневитинов, Н. Гоголь, А. Герцен, Италия — «страна искусств», «край вдохновений» — тоже воплощает идеал общества, где царствуют музы.

На художников, приезжавших в Италию, искусство Рафаэля производило сильное и порой неожиданное впечатление. О. Кипренский, попавший в Рим сложившимся и признанным мастером, воскликнул: «Ах, Рафаэль! Рафаэль между живописцами — Альфа и Омега». Радость истинного открытия его искусства испытали многие русские живописцы: от Кипренского и Иванова до Врубеля, Нестерова, Петрова-Водкина и Фалька. Изучение творчества Рафаэля включало и внимательную «наглядку» на его произведения, зачастую копирование наиболее значительных из них.

В творениях Рафаэля крупнейшие русские художники искали, по словам И. Канта, пример не для подражания, а для преемственности со стороны другого гения. Оно пробуждало чувство собственной оригинальности. Рафаэлевы станцы, «Сикстинская мадонна», «Преображение» оказали очевидное воздействие

на философское и эстетическое содержание картины А. Иванова «Явление Христа народу». Образы и мотивы, сам катастрофически бурный дух ватиканских фресок «Пожар в Борго» и «Изгнание Элиодора» отзываются и в других знаменитых русских картинах первой половины века — «Последнем дне Помпеи» Брюллова и «Медном змие» Бруни.

Разумеется, ни для Брюллова, ни для Иванова, ни для других наших мастеров Рафаэль не был единственной путеводной звездой. Брюллов, например, поклонялся Рубенсу и Ван Дейку, а Иванова восхищала величественная простота и безыскусная искренность художников раннего Возрождения или колористическое новаторство великих венецианцев — Тициана и Тинторетто. Но Рафаэль входил в художественное сознание почти каждого крупного русского живописца, оказывая воздействие глубокое, принципиальное и благотворное. Если для кого-то творчество Рафаэля — одна из вершин итальянского Возрождения — было лишь недосягаемым образцом, объектом ученического копирования, то для Иванова, например, оно стало одним из краеугольных камней собственной эстетики. Русский мастер убежден, что искусство всегда будет верно идеям красоты, которым служили Рафаэль и его современники — итальянцы. Задачу же искусства для своего времени видел в том, чтобы соединить Рафаэлеву технику с идеями новой цивилизации. Причем в понятие «Рафаэлева техника» художник включал не только изобразительные средства живописи, но прежде всего воплощенные Рафаэлем высокие идеалы добра и красоты, его вечное стремление к истине. Надо сказать, что такой дальновидный и чуткий современник Иванова, как Чернышевский, несмотря на резко неприязненное отношение к академической живописи, этот взгляд художника полностью разделял.

Кстати, и в этом сказалось своеобразие восприятия Рафаэля в России. Его творчество не осталось объектом профессионального интереса узкого круга мастеров изобразительного искусства. Оно стало явлением культурной жизни для всего образованного общества. В 20-е годы прошлого века, когда благодаря немецким романтикам, в частности В. Г. Ваккенродеру, культ Рафаэля достиг почти апогея, для многих деятелей русской культуры отношение к его творчеству стало своего рода пробным камнем, на котором проверялись не только эстетические воззрения, но и общественно-политические убеждения. В. Жуковский публикует в эти годы статью о «Сикстинской мадонне», замечательную во многих отношениях. Четверть века она вызывала жаркие споры среди искусствоведов, эстетиков, поэтов, художников. В своем понимании шедевра Рафаэля Жуковский основывался на романтико-идеалистическом представлении о художественном творчестве — толковал его как некое таинство, ясновидение. Тем не менее многие его принципиальные суждения не утратили интереса и по сей день. Например, размышления о диалектической природе художественного образа, о переплетении в нем таких, казалось бы, противоположных понятий, как бесконечная глубина идеи («чего нельзя истощить мыслью») — и конечность физической данности произведения, движение — и статика, спокойное величие — и «чудесная темнота». В статье затронуты и такие важные практические проблемы, как условия хранения и экспонирования картин Рафаэля, неудовлетворительное качество репродуцирования, и другие.

Гений Пушкина, чутко восприняв мысль Жуковского, сделал искусство Рафаэля живым явлением собственного поэтического мира. Причем в поэтическом арсенале Пушкина Рафаэлевы реминисценции не были данью светской образованности. Пушкин проник в гуманистическую суть искусства Рафаэля, который, как писал один известный немецкий эстетик, свел на землю божество, чтобы воплотить его в человеческом облике. Знаменательно сравнение Пушкина с Рафаэлем, сделанное Белинским: «...то же благородство, та же грация выражения, при той же верности и строгости очертаний». «Недаром Пушкин,— добавляет он,— так любил Рафаэля: он родня ему по натуре».

Гоголь, в отличие от Пушкина, стремившегося, но не попавшего в Италию, подолгу жил в Риме, в который влюблялся медленно, понемногу — и уже на всю жизнь. Он становится незаменимым чичероне для приезжавших из России знакомых, умно и оригинально вводит их в пропилеи искусств, помогая постигать Рафаэля, в котором видел не только великого живописца, но и великого архитектора.

Эхо романтической легенды о Рафаэле — «вестнике бога», о его чудесных снах удержалось до 60-х годов XIX века (оно явственно ощущается, например, в сонете Фета, посвященном «Сикстинской мадонне»), хотя уже в 40—50-е годы было сделано немало для ее развенчания. Белинский, незадолго до смерти увидевший в Дрездене шедевр Рафаэля, сердито отзывается о давней статье Жуковского как о «чепухе». Сам он находит мадонну «фигурой строго классической и нисколько не романтической». Той же точки зрения придерживается и Герцен.

К ужасу Иванова и Тургенева, бывших в Риме в конце 50-х годов, молодое поколение русских художников-брюлловцев хулит Рафаэля. Да, становление поэтики и эстетики русского демократического реализма в творчестве Венецианова, Федотова, Перова, жанристов-шестидесятников и, наконец, передвижников, а также критическая деятельность Писарева, Чернышевского, Стасова — все это, естественно, приводило к столкновению с академическими догмами. Но, отвергая догму, иные огульно отрицали всех классиков старого искусства, представ-

лявшихся им «наивными великанами». В азарте полемики порой не щадили и Рафаэля, как одного из столпов Академии художеств.

Пожалуй, лишь для Достоевского и в то переломное время искусство великого итальянца оставалось недосягаемой вершиной человеческого духа, вечно живым символом и образцом. В эпоху глубочайшей общественной, нравственной и эстетической дисгармонии он с надеждой искал свой гуманистический идеал в гармоничном художественном мире Рафаэля. На многих страницах романов Достоевского — «Преступления и наказания», «Подростка», «Бесов» — появляется лик Сикстинской мадонны, «царицы цариц», в котором писатель увидел глубочайшее воплощение согласия, добра, любви и красоты.

В 70—80-е годы новое поколение художников, воспитанников чистяковской мастерской — Поленов, Суриков, вновь восхищаются искусством Рафаэля. В безупречной архитектонике его росписей они находят важные для себя откровения. Врубель открывает Рафаэля и задыхается от радости перед таким открытием, ибо, по его словам, оно населяет прежнее какое-то форменное, деревянное благоговение перед Санцио живой и осмысленной любовью. «Культ глубокой натуры», свойственный гению итальянского Возрождения, вдохновляет его и Серова на усиленные занятия техникой живописи, понятой в духе концепции А. Иванова о Рафаэлевой технике. Недаром Петров-Водкин, побывав на выставке Врубеля, воскликнул: «Пробел от Иванова до нас заполнился!» В живописи самого Петрова-Водкина, как и в картинах позднего Серова, отсвет искусства Рафаэля вспыхивает притягательным маяком.

Много позже, после всех бурь и потрясений, которые пережило русское и мировое искусство, в 30-е годы нового, XX века Фальк — тончайший колорист и бывший ниспровергатель признанных эстетических авторитетов, — попав в Лувр, сознался, что только в тот момент Рафаэль «стал ему по-настоящему доступен». А в 1956 году он назовет потрясением свое впечатление от «Сикстинской мадонны».

Видимо, великому и вечно юному искусству Рафаэля суждено такое вот «вечное возвращение» в мир сегодняшних устремлений, поисков и достижений.

В. ПОЛИКАРОВ

■

Среди книг

Издано в СССР

ЧЕТВЕРО ПОД ЗЕЛЕНОЙ ОБЛОЖКОЙ

Современная венгерская проза. Перевод с венгерского. Статьи об авторах Е. Малыхиной. Москва, «Художественная литература», 1982.

Четверых поместили под одной крышей. Точнее — под одной обложкой. Под зеленой обложкой «Современной венгерской прозы».

Когда поселяются под одной крышей, так или иначе сталкиваются с проблемой психологической совместимости. Составителям, помешавшим под одной обложкой четырех авторов, приходится решать проблему «совместимости эстетической». Книга получилась цельной: роман и три повести в процессе чтения как бы оттеняют, дополняют друг друга. При этом они, конечно, остаются совершенно самостоятельными. Как в крупной музыкальной форме — сонате, симфонии,— каждая «часть» книги имеет свою тональность, свой темпо-ритм, индивидуальность интонации, свой круг тем. И естественно, своих героев — сборник населяют люди разные и по характерам, и по социальной и профессиональной принадлежности.

Роман «Пилат» справедливо открывает книгу — как фундамент ее, как наиболее емкое полотно, на котором изображение развертывается, однако, не столько вширь, сколько вглубь — в глубь характеров, психологии и времени. Кажется, очень неторопливо ведет повествование Магда Сабо, не богата событиями фабула — почему же впечатление такой насыщенности, плотности от ее прозы? Верно, потому, что настоящее время — движение «главного сюжета» — занимает, пожалуй, наименьшее пространство романа: в основном он соткан из ретроспекций, в прошлое уходят корни характеров и событий, и эти корни старательно и бережно обнажает автор. Умирает от тяжкой болезни старый адвокат Венци Сёч. Его жена (в романе она зовется просто Старая, что по-русски звучит не очень хорошо) перебирается из опустевшего дома на жительство к дочери в столицу. Чтобы вскоре бежать от нее и отправиться в последний путь — догонять своего Венци. А за это короткое время перед нами проходит почти вся жизнь супругов Сёч, их дочери Изы и ее бывшего мужа Антала.

Сабо почти не прибегает к развернутым описаниям прошлого — чаще всего это небольшие эпизодики, абзацы, фразы. Переходы из одного времени в другое мягки и незаметны — постоянные зондирования прошедшего существуют не сами по себе, а органично привязаны к настоящему, к каждому его конкретному моменту. И цельная картина вырисовывается постепенно — из мельчайших деталей, отдельных зарисовок, локальных ситуаций, поступков, слов, мыслей, жестов. Важно не само прошлое, а то, что каждый взгляд в его сторону, каждый его «кусочек», будучи высвечен, моментально заполняет какую-то из пустот в настоящем, и яснее, яснее проступает, складывается главный итог, к которому герои приходят сегодня. Все острее перед нами развертывается непримиримое столкновение между разумной практичностью и «глупой неразумностью» сердца. Старая бродит в ночном тумане в поисках ускользающего былого, в поисках «следов» Венци — и тут постигает до конца правду: она — обуза для дочери, для доброй, хоро-

шей, умной Изы. (К этому эпизоду будто стремится весь роман.)

Старая решает уйти из жизни — к своему Венци. Трагично. Но это победа сердца. Не столько акт отчаяния, сколько — добра: нужно освободить дочь от «непосильного груза» — от дряхлой, капризной старухи. Сердце матери — сильнее разумности дочери. (Сколько мы знаем примеров в литературе, когда «добро» побеждает «зло»... погибая. Но, увы, в таких решениях не так уж мало от жизни...)

Надо сказать, что сама Сабо не ставит впрямую точек над «i». Она старательно прячет свой авторский голос, она будто лишь фиксирует поступки, мысли, оценки, реакции своих персонажей; вот их голоса мы и слышим в настоящем и в прошлом, и само прошлое возникает не по воле автора, а по естественному течению мыслей Старой — прежде всего,— но и Антала, Изы тоже. Отсюда — подчеркнуто спокойная интонация. Эмоциональный и смысловой результат, неоднозначный, но отнюдь не двойственный, возникает без авторских подсказок — от точной прорисовки конкретной картины. Никаких комментариев, формулировок. Лишь в заключительной фразе позволила себе писательница скрытый укор в ответ на отчаянные призывы Изы: «Мама! Мама! Отец! — Мертвые не отвечали». (Да и тут, как видим, в форме скупой констатации факта.)

После несколько отстраненной прозы Сабо контрастно звучит сбивчивый, темпераментный, идущий от устной речи рассказ юной Магдики, героини повести Ракоши «Сальто-мортале».

Герой Ракоши тоже «спрятался», но иначе: укрылся за маской не рассказчика — рассказчицы. (Чтоб совсем уж было не отыскать.) И рассказчица его горячо пристрастна, она и не претендует на объективность — в свои-то двадцать с чем-нибудь лет! Пока что нет у нее «золотой середины» в отношениях к миру, к людям, и диалектику жизни только начинает она постигать. Пока Магдика или яростно защищает, или с ненавистью отвергает. Не вглубь ее рассказ идет, а вширь, мелькают в нем многочисленные лица, очерченные ярко, но бегло. В основном это эпизоды, зарисовки: будто захлебывается Магдика, спешит выложить свои мысли о жизни, свои первые «итоги».

И время у Ракоши тоже скачет — но по-своему, по-иному, чем у Сабо: скачет резко, произвольно, хаотично. Магдика, завершив один эпизод (но — завершив!), каждый раз перескакивает в другое время (и в другое место). Даже чисто ассоциативные связи трудно уловить в этих крутых поворотах. Оправданность их — в темпераменте рассказчицы, в ее нетерпении; в страстности, искренности, эмоциональности «исповеди».

И все же Ракоши (не Магдика) «обманывает» нас: хаотичность повести... хорошо продумана. Во-первых, все время ощущается отправная временная точка — настоящее: момент произнесения монолога (которым, по сути, и является повесть) — момент кульминационный, переломный в жизни Магдики. Момент, когда в главном ее деле «лед тронулся»: кое-чего они с Дюлой (ее муж, ее любовь) достигли в своей лаборатории, и самый ярый их противник в деревне первый защищает их от нападок односельчан. Это начало признания — начало веры в себя.

Сейчас, как никогда, может Магдика без страха смотреть в будущее — отсюда и лихорадочное желание «перетряхнуть» свое прошлое, выговориться, вышвырнуть мусор и забрать с собой все, что стоит забирать. Отсюда основная интонация — будто не о себе, а о другой Магдике говорит рассказчица, о той, которая в прошлом, ушла, исчезла, а сейчас есть уже новая.

А начинается повесть (это уже во-вторых) будто бы «с середины», но на самом-то деле приезд Магдики с Дюлой в деревню есть для нее начало «новой Магдики». И дальше, при всей разбросанности и непоследовательности зарисовок из прошлой городской жизни — там, Магдика методично (если о ней можно так сказать) возвращается к жизни здесь, на старой мельнице, где они устроили и жилье, и лабораторию, и эти эпизоды располагаются во времени вполне последовательно. И потому остаются в сознании как прочный «ствол» монолога, от которого отходят «ветви» в разные прошлые времена. И остается эмоциональное ощущение: метания Магдики по эпизодам своей жизни сродни действительным ее метаниям и мотаниям по житейскому морю до приезда на мельницу. Теперь же мы можем не беспокоиться за Магдику — она стоит на твердой почве. И не потому, что сменила «грязный город» на «чистую деревню» (и, кстати, действительно копается там в почве как биолог-селекционер). А потому, что есть у нее сегодня и дело по сердцу, и человек рядом — по-настоящему родной и близкий. А последнее ничуть не менее важно, чем первое. И чтобы подчеркнуть это, Ракоши идет еще на одну «хитрость» в композиции повести: финальная точка монолога Магдики неожиданна — начальный исток ее «главной истории», подлинные корни ствола: ее встреча с Дюлой (благодаря которому и попала она на мельницу!), момент зарождения их любви, их творческого дружества. Вот и выходит: не слово и не дело — вначале была любовь. Любовь как творческая сила. В этом легко увидеть внутреннюю связь с предыдущим романом, продление главной его мысли: долг без любви, без сердца ничто.

Следующая повесть — и снова контраст: действие локально и по времени, и по месту. Несколько ночных часов в тесной квартирке. Три персонажа в поисках истины. Будто рассказали нам подробнейшим образом одну из тех «городских историй», которые бегло и торопливо мелькали в монологе Магдики.

Ситуация взята автором буквально анекдотичная: пришел муж домой, а в постели у жены — любовник. Банально до пошлости. Но вот чего нет в повести Кертеса «Кто смел, тот и съел» — так это пошлости. Никаких особых событий не происходит, сидят трое — выясняют, как говорится, отношения. Но столько при этом — кроме «отношений» — выясняется глубинного: и страшное, и смешное, и печальное, и жалкое. Кертес не прячется от нас, напро-

тив — голос рассказчика насыщен, как электричеством, самым живым, активным, можно сказать, яростным отношением к происходящему. В его интонации откровенно, явно звучат улыбка, ухмылка, сарказм, гнев, сочувствие, понимание, сожаление, брезгливость — масса оттенков, естественных для человека заинтересованного, воспринимающего события непосредственно (и близко к сердцу). В чем же Кертес-рассказчик заинтересован? Ведь, не скрывая своего отношения, он все же остается «в стороне», не допускает авторского вмешательства в ночное бдение — его и беседой не назовешь. Это тройной бой, бой между тремя, каждого — с двумя остальными. И рассказчик никого не щадит, никому не отдает предпочтения — ни трудяге-шоферу, добродушному, дубоватому Хайдику, ни его жене, пышнотелой буфетчице Йолан, ни юркому проходимцу Вуковичу. Он показывает их такими, какие они есть, далекими от идеала и частенько довольно неприглядными. Но в намерения автора и входит как раз дать своим героям возможность свободно раскрыться, вывернуться наизнанку. Автор сдерживает нетерпение, ни одной минуты не пропускает в течение действия, ни слова, ни жеста, ни мельчайшего психологического поворота, нюанса. Но нетерпение есть, и причины его становятся понятны в финале — когда после дикой сцены карточной игры «на Йолан» пудовый кулак Хайдика обрушивается наконец-таки на воющего по-звериному Вуковича. Будто наваждение кончается, все трое приходят в себя и становятся — нет, не ангелами, но людьми, соскоблившими с себя в эту кошмарную ночь многолетние наслоения грязи, лжи, малодушия, черствости. Автор этого ждал, в это верил: не все еще потеряно, есть надежда. Но никакой идиллии, никакой патоки. И юмора автор не теряет ни на секунду даже в таком умиротворенном финале: Йолан укладывает пострадавшего Вуковича обратно в супружескую постель — как мать укладывает больного ребенка — и уходит с притихшим Хайдиком на работу.

В «Церковь святого Христофора» [1] — повесть, завершающую сборник,— входишь, как входят, вероятно, в тихую лагуну после длительного путешествия по бурному морю: позади масса ярких впечатлений, но самое время уже, после гроз и водоворотов, бросить якорь, увидеть вокруг спокойные воды, над головою — ясное небо и, наконец, ступить на твердую землю.

Нет, на самом деле не все так уж безоблачно в повести Эржебет Галгоци. Жофия, молодая художница, бежит из столицы — от суеты, от незадавшейся любви. Бежит в «тихий уголок», в деревню. Но от себя убежать труднее — не уходит из памяти прошлое. (Опять — перемена времен. Но уже не так глобально, как у Сабо: важнее оказывается настоящее и будущее, прошлое — истаивает, исчезает.) И приходится бороться с искушением плюнуть на все и вернуться обратно. И бывают черные дни, когда Жофия опорожняет больше банок пива и рюмок коньяка, чем следовало бы. Да и «уголок» этот не такой уж «тихий» — не может она не видеть: свои проблемы, горести, конфликты.

И все же основная тональность повести — мирная, спокойная, лирическая, и печаль, если случается в ней,— светлая. Тревожность, нервность уходят к концу вовсе. Реставратор Жофия снимает копоть и грязь — наслоения веков — с иконы, и вместе с ликом святого будто очищается от накипи душа Жофии, выздоравливает и крепнет. И немало тому способствуют не только дело, которое увлекло Жофию, и обстановка, атмосфера вокруг нее, но и (может быть главным образом) люди, с которыми столкнулась она. Прежде всего старый священник, человек простой и мудрой души. В финале они оба — нужные друг другу, сумевшие помочь друг другу ненавязчиво и будто невзначай, каждый сбрасывает с души свое бремя. Теперь Жофия свободна от рабства унизительных отношений с Миланом — свободна внутренне и прочно.

Четыре части романа «Пилат» носят символические названия: «Земля», «Огонь», «Вода» и «Воздух». Книга современной венгерской прозы составлена так удачно, что без особой натяжки можно отнести эти названия к составившим ее произведениям: простая, плотная, тяжеловатая и плодоносная, как земля, проза Сабо; переменчивая, стремительная, капризная и звонкая, как вешний ручей, речь Магдики в «Сальтомортале»; жаркая, наполненная гулом внутреннего напряжения, как разгорающийся постепенно костер, в пламени которого прокаливается, очищается от скверны душа человеческая,— фактура повести Кертеса; наконец, пронизанная воздухом и светом «Церковь святого Христофора». Хочется подчеркнуть не только индивидуальность каждого писателя, но и художественную цельность книги: по старинной легенде из четырех стихий был слеплен человек. И человек (чего в нем не намешано!) для всех авторов сборника — главный объект их внимания, требовательности, любви и веры.

ВАДИМ КЛИМОВСКИЙ

[1] Эта повесть впервые была опубликована в «ИЛ», 1981, № 8.

«ВЕРЮ В ТАИНСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ СЛОВ»

Леонардо Шаша. Винного цвета море. Романы, повести, рассказы. Перевод с итальянского. Москва, «Прогресс», 1982.

Выход этой книги — первое обстоятельное знакомство советского читателя с произведениями крупного итальянского прозаика, одного из немногих среди своих коллег-соотечественников, кто пользуется европейской и мировой известностью [1].

В сборник, составленный Цецилией Кин, вошли романы, повести и рассказы разных лет — от начала шестидесятых годов до середины семидесятых. Леонардо Шаша пред-

[1] В «ИЛ» публиковались его повести «Сова появляется днем» (1962, № 4), «Каждому свое» (эта повесть включена в рецензируемый сборник) и «Американская тетушка» (1967, № 1). В библиотеке «ИЛ» вышла также его повесть «Палермские убийцы».

стает в них как писатель своеобразной творческой манеры, своей особой темы.

Тема Шаши — его родная Сицилия. Какие бы сюжеты его ни волновали, они непременно оказываются либо прямо взятыми из сицилийской жизни, либо так или иначе к ней «привязанными». Даже в тех случаях, когда действие происходит далеко от Сицилии — как, например, в повести «Антимоний», где местом действия служит Испания времен гражданской войны,— даже там речь идет все-таки о сицилийцах.

Вот что говорит герой «Антимония», простой рабочий: «Я верю в таинственную власть слов и в то, что слова могут изменить целую жизнь, судьбу...». Можно посчитать эту фразу за кредо самого писателя, уточнив только, что его вера относится к тем словам, что несут в себе свет разума. Недаром в Италии Шашу считают наследником века Просвещения, да и сам он называет себя «учеником Вольтера».

А это очень непросто — быть «учеником Вольтера» в Сицилии. Вследствие исторических причин здесь особенно сильна власть закоренелых предрассудков и косных традиций. Все мы знаем об этом хотя бы по фильмам о мафии. Она как бы концентрирует в себе заскорузлость, «непробиваемость» дурных, жестоких обычаев: какие бы усилия ни прилагались ради ее искоренения, все они оказываются тщетными. Коррупция, круговая порука, «омерта» (обет молчания) сильнее любых административных и полицейских мер.

Более того, мафия выступает как модель образа жизни далеко за пределами Сицилии. «Мафизация» той или иной части господствующего класса в капиталистических странах означает, что отношения внутри нее строятся по принципу отношений внутри криминальной банды, со всеми вытекающими отсюда последствиями — такова одна из гримас «позднего капитализма». В некоторые страны мафия «вывезена» непосредственно из Сицилии; впрочем, значение такого рода «импорта», похоже, зачастую преувеличивается [1].

Сразу оговорюсь: Сицилия не только родина мафии, она служила очагом неоднократных народных восстаний, пристанищем для гарибальдийцев, она дала миру Пиранделло и Лампедузу, Антонелло да Мессину и безвестных создателей «поэм из камня», памятников живых и угасших культур (их на этом историческом перекрестке сменилось, наверное, больше, чем где-либо еще в Европе).

Стоит отметить, что сборник впервые знакомит советского читателя с Шашей — историческим романистом. В романе «Египетская хартия» повествуется о действительных событиях конца XVIII века: заговоре так называемых «якобинцев» во главе с Франческо Ди Блази. В еще более тщательно документированных «Палермских убийцах» речь идет, напротив, о реакционном заговоре 1862 года. Если поставить рядом с ними, например, повесть «Каждому свое», где действие происходит в наше время и где речь идет о преступлениях мафии, откроется некая перспектива «успехов просвещения» в Сицилии за минувшие два столетия.

Перспектива, казалось бы, обескураживающая. Как два столетия назад, так и теперь силы, представляющие разум, добро, справедливость, пасуют в столкновении с силами зла. Гибнет на плахе адвокат Ди Блази, попытавшийся осуществить идеалы Вольтера и Дидро в своем сицилийском захолустье. Ретируется к себе на Север прокурор Джакоза, отчаявшись «припереть к стенке» заговорщиков, сторонников свергнутых Бурбонов. Находит смерть на дне заброшенной серной шахты учитель Лаурана, вознамерившийся установить правду хотя бы в одном только частном случае. Все честное оказывается равно беспомощным, опирается ли оно только на само себя или выступает под эгидой правосудия.

А ведь никак не скажешь, что за два века в Сицилии ничего не изменилось. Очень многое изменилось. Но столь уж многое ли — к лучшему? Ушли, например, князья и маркизы, но на их место пришла, как пишет Шаша, «мафиозная буржуазия», «гораздо более алчная и жестокая, чем феодальная аристократия» («Палермские убийцы»). Похоже, что исполнился замысел героя романа Томази ди Лампедузы «Леопард» (пленившего нас лет двадцать назад): надо, чтобы все изменилось, для того, чтобы все осталось по-прежнему — так он перефразировал известную французскую поговорку. (Время действия в «Леопарде» примерно то же, что и в «Палермских убийцах» — Рисорджименто, эпоха буржуазных преобразований.)

Не остров — трясина, засасывающая любой идеализм в хорошем смысле этого понятия. Или, говоря словами самого Шаши, «пустыня, где сыпучими песками неразумных традиций тут же припорашивает след любого дерзания» («Египетская хартия»).

Впору стать глубоким пессимистом, во всяком случае если видеть вещи в том аспекте, какой представлен у Шаши. И нельзя сказать, что Шаша устоял перед настроениями безнадежности — не вполне устоял, если судить по некоторым его высказываниям. Но, каковы бы они ни были, эти отдельные высказывания, вера в разум, о которой говорилось выше, все равно светится в его произведениях. Она того рода, что живет в самой ткани повествования. За отточенными фразами, за изящными, по-вольтеровски, пассажами — упрямство, гнев. Кажется, что зло — гидра, у которой головы отрастают по мере того, как их отсекают? Пусть так. И все равно придут новые Ди Блази и новые Лаураны и станут на место поверженных. Нельзя переделать человечество так скоро, как это казалось осуществимым во времена Энциклопедии, но переделать все-таки можно и должно — такие мысли внушает чтение Шаши.

Но вот еще что нельзя не заметить: вера в разум у Шаши сочетается с известной опасливостью в отношении сугубо утилитарной, прикладной рациональности. Опасливостью, незнаемой во времена Энциклопедии — если уж вести от них от-

[1] По мнению авторитетных американских экспертов, в системе организованной преступности в США сицилийская мафия не занимает того исключительного места, какое ей приписывают средства массовой информации. В любом случае организованная преступность в США является американской по происхождению, а не «импортированной» из-за границы.

счет,— но очень понятной во второй половине XX века. В рассказе «Винного цвета море», давшем название сборнику, проходит, например, такая мысль: в сфере семейных отношений, и прежде всего отношений между родителями и детьми, всякого рода теории и методики неуместны; решающий голос в этой сфере должны иметь культурные традиции, интуиция. Утверждение если не бесспорное, то во всяком случае не лишенное оснований.

Да, будучи «вольтерьянцем», Шаша в чем-то и «почвенник». В неподатливости, какую обнаруживает «зловредный остров» в отношении различных чужеземных влияний, он находит и нечто позитивное. Конечно, теоретически этот вопрос решить легко, сказав, что в Сицилии, как и повсюду, есть традиции хорошие и дурные, что первые надо поддерживать, а вторые искоренять. На практике, однако, далеко не всегда оказывается просто отделить хорошие традиции от дурных; зачастую те и другие как бы сцепляются корнями — наподобие того, как это бывает у растений. С этой точки зрения даже мафия, при всей ее одиозности, отнюдь не представляет собой некое ядовитое древо, растущее особняком.

Между прочим, итальянские историки, и вслед за ними Шаша, различают мафию как организацию и «дух мафии». Первая возникла в эпоху, когда Италия становилась на капиталистический путь развития. Второй, исторически предшествовавший первой, уходит корнями чуть ли не в античность и представляет собой не что иное, как своеобразную традицию крестьянской самозащиты. Рискну для наглядности провести такую аналогию: психологии старозаветного сицилийского крестьянина и современного «мафиозо» до некоторой степени так же соотносятся друг с другом, как в иных краях психологии крестьянина-общинника и кулака-мироеда. В обоих случаях речь идет о вещах принципиально разных и тем не менее друг с другом связанных.

Все это говорит о том, какими терниями покрыт путь прогресса в Сицилии. Но как политическая борьба, так и пробуждение «чувств добрых», чему посвящает себя художественная литература (во всяком случае, та, что достойна этого имени), имеет мало общего с евангельскими чудесами: некто прочел или услышал — и тотчас прозрел.

В «Египетской хартии» есть такой эпизод. Уже приговоренного к смерти Ди Блази продолжают подвергать жесточайшим пыткам. Полуживой, с телом, превращенным в почти бесчувственный комок мяса, он, однако, сохранил полную ясность ума. «Этого с человеком быть не должно,— подумал он. — В мире, освещенном светом разума, этого не будет». И тут же автор добавляет в скобках: «В каком отчаянии прожил бы он последние часы своей жизни, если бы только мог предугадать, что в том самом будущем, которое виделось ему освещенным светом разума, целые народы поставят своей целью истязать другие народы; что вполне культурные люди, ценители музыки, примерные семьянины, любители животных, будут неумолимо и методично мучить себе подобных и уничтожат миллионы человеческих жизней; что пытки возродят те, кто объявят себя преемниками разумного начала — уже не под видом неотъемлемого элемента права, как то было, когда пытали его, Ди Блази, а буднично, как заурядное житейское дело».

Да, Франческо Ди Блази не мог знать, какие «сюрпризы» ждут человечество в XX веке. Но Леонардо Шаша знает о них — и не впадает в отчаяние, не складывает своего оружия.

Ю. КАГРАМАНОВ

«ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» ЗИГФРИДА ЛЕНЦА

Зигфрид Ленц. Эйнштейн пересекает Эльбу близ Гамбурга. Рассказы. Перевод с немецкого. Составление Н. Павловой. Москва, «Художественная литература», 1982.

Сборнику рассказов известного западногерманского писателя Зигфрида Ленца дано название «Эйнштейн пересекает Эльбу близ Гамбурга». Так озаглавлен один из рассказов, вошедших в русское издание произведений Ленца, с подзаголовком «История в трех предложениях», с самого начала предлагающий нам некую стилистическую игру. Ленц сразу открывает карты — он уважает читателя и не пытается подкупить его загадочностью названия — с первой строчки автор сообщает, что речь идет о старой фотографии, где изображена переправа на пароме, и в числе других пассажиров автор заметил великого ученого Альберта Эйнштейна.

Ленц как бы со стороны смотрит на прошлое, запечатленное на фото, но затем в ходе изложения грани времен размываются, а сам созерцатель превращается в участника давних событий. Он смотрит на эти события уже изнутри, прошлое оказывается настоящим, застывшим перед глазом объектива. Затем автор снова глядит на переправу со стороны, прошлое поглощает будущее, становясь настоящим. Происходит снятие, отстранение восприятия, и автор вновь превращается в повествователя и комментатора в последнем, третьем, «предложении». Немецкое слово «Aufhebung» достаточно емко и противоречиво, оно означает одновременно уничтожение и сохранение, падение и возрождение, иными словами, снятие, то, что Гегель заложил в основу своей философии. Правда, Ленц не очень-то жалует великого классика диалектики — опыт превращения Германии в фашистское государство никак не располагает к принятию философии абсолютного духа в истории. Ленц здесь, в этом рассказе, прибегает к категории снятия времени не в философском, а в художественном плане.

В своих воспоминаниях о детстве Альберт Эйнштейн писал, что «за вещами должно быть что-то еще, глубоко скрытое». Следуя этой традиции, Ленц вскрывает за случайностями законы человеческого и социального бытия. Он создает удивительно

объемный, подвижный образ происходящего события, с пристальностью естествоиспытателя вглядывается в человеческие души. Пройдя в трех предложениях весь путь с героями рассказа, писатель передает нам ощущение того, что время и пространство в рассказе неразрывно слиты с инертной материей — словесным материалом, который под воздействием уже художественного пространства-времени активизируется и созданным полем тяготения воздействует в свою очередь на них.

В рассказе сначала все в движении — паром, пассажиры, проходящие мимо суда. Но вот взор автора обращается к сидящему в долгополом пальто старику — гениальному физику,— и мир в своей текучести и подвижности вдруг застывает; есть только движение света. Структура символики обретает плоть и кровь в умело найденных деталях, тонах и описании внутреннего состояния людей. Как бы ненароком Ленц бросает замечание, что «неопределенность, в которую вдруг все погрузилось — и наш бело-зеленый паром, и пассажиры на нем, и река, и все, что по ней плывет,— эта неопределенность может быть великим избавлением от рутины, и потому невольно задаешься вопросом, как долго это может продлиться...»

Обращение писателя к образу Эйнштейна закономерно: фашизм предал анафеме теорию относительности и ее творца. Взгляды Эйнштейна были объявлены антинародными и реакционными, великий физик эмигрировал в Америку.

Эйнштейн был не только гениальным ученым, но и великолепным психологом. Зная натуру обывателя, он писал: «Мало кто способен невозмутимо высказывать мнения, идущие вразрез с предрассудками среды. Большинство даже не способно вообще прийти к таким мнениям».

Ленц понимает, что истина в искусстве не однозначна, она многослойна, изменчива, образ ее неопределенен, как неопределенно понятие фотона: когда фотон пытаются определить как частицу, он начинает себя вести как волна, а когда его определяют как волну, он начинает вести себя как частица. Говоря языком физики, у Ленца свой «принцип неопределенности». Это вовсе не значит, что позиция Ленца аморфна и расплывчата. Наоборот, он не боится выступать против власть имущих. Ленц в своих произведениях показывает и убедительно доказывает, что художественная модель человеческого бытия не может быть одинаковой у всех: сколько художников, столько и моделей.

В любой истории — как одного человека, так и социальной группы или целого государства,— есть Vorgeschichte, Предыстория, вот почему во всех своих вещах — в том числе и романе «Урок немецкого» — Ленц постоянно возвращается к теме личной ответственности за содеянное в жизни.

Споры с теми критиками, которые пытаются увидеть в творчестве Ленца два русла — социального бытописания и символической структуры,— думается, бесполезны. Ленц — писатель многоплановый, далекий от раз и навсегда заданной схемы.

В рассказе «Фантазия» он показал, что самая фантастическая модель может быть ближе к реальности, нежели самый реалистический рассказ, а самая замкнутая структура — более открытой, нежели жизнелюбивая формула «дважды два — четыре». Познание жизни, работающее в застывших категориях формальной логики, приводит к пустоте и неподвижности. Право на поиск истины художник оплачивает собственной жизнью — такова главная мысль «Фантазии». После конференции герой рассказа встречается со своим коллегой писателем Грегором Броммом; в ресторанчике, куда они зашли, они случайно сталкиваются еще с одним участником писательской конференции Дитером Климке, автором фантастических произведений, которые активно не приемлет Грегор Бромм. Возникает спор о писательском ремесле. Дитер Климке, которого все время атакует Грегор, понимающе отвечает: «Поверьте, если бы сегодня (то есть на конференции. — А. С.) читали Кафка или Достоевский, им досталось бы не меньше вашего». Грегор считает: главное, что определяет структуру произведения, это реальность, его словами — «сила тяготения».

Роман «Урок немецкого» вышел в 1968 году. Одного из героев его, художника Макса Нансена, власти преследуют за то, что он пишет картины не как все художники — реальность в них «искажена», персонажи его картин могут легко ходить вверх ногами или танцевать на морских волнах, не считаясь с «силою тяготения». «Фантазия» вышла в 1974 году. Значит, понятию «сила тяготения» Ленц придает особое значение. Для него это символ бескрылости, заземленности воображения, то, что мешает одухотворенности художественного образа.

Фантазия и реальность — антиподы, утверждает Грегор Бромм. «Реальность фантазии коренится в самой жизни»,— отвечает его оппонент Дитер Климке. Игровая ситуация завершается, как почти всегда у Ленца, проверкой на прочность — трое коллег, ведущих отнюдь не элитарный спор, видят в ресторанчике мужчину и женщину, сидящих неподалеку. Писатели предлагают друг другу задачу — рассказать о судьбах этих двух людей.

Итак, три человека — три модели человеческой истории. Одна из них — конечно, автор ее Грегор Бромм — сентиментальна и нравоучительна. Вторая — жизнеподобна. Третья — невероятна. Дитер Климке преодолел «силу тяготения» и начал фантазировать. В рассказе о женщине, сидящей рядом, перед которой на столике стоит рюмка и лежат разбросанные вещи из сумочки, в том числе и птичье перо, Климке вводит единственный фантастический элемент: прикасаясь к стене или любому другому твердому предмету, героиня рассказа превращает непроницаемую структуру в ничто — птичьим пером она расплавляет стены в любых домах. Сквозь проделанные отверстия она может наблюдать за жизнью людей, которые не подозревают, что за ними следят. Финал рассказа прост: женщина пытается избавиться от волшебного пера — волшебного только в ее руках: она сжигает его.

Вся соль композиции рассказа — рассказа Ленца, а не Дитера Климке — в том, что три писателя не обращают внимания на то,

как реальная женщина, сидящая перед ними, после фантазии Климке подносит зажженную спичку к перу и на самом деле сжигает его.

Последняя реплика Дитера Климке ставит точку в споре о том, что же он хотел этой фантастической историей сказать: «Вы спрашиваете, какую цель я преследовал... ради чего рассказал эту историю... А мысль моя между тем очень проста: нам, каждому из нас, нужны стены».

Отвлечемся от «Фантазии» и вернемся к Предыстории, вспомним о романе «Урок немецкого», принесшем Ленцу мировую известность.

В конфликте «Искусство — Власть» страшно не только то, что полиция запретила Максу Нансену писать картины, называя его произведения антинародными и реакционными, но и отношение к нему родителей Зигги: его отец и особенно мать не по приказу, а по убеждению считают всерьез, что Макс — вырожденец. Мать Зигги возмущается: «Ты только посмотри, что он рисует: какие-то зеленые рожи, раскосые глаза, горбунов, скрюченных уродов, страсть, да и только! Разве это наше, родное? Так может рисовать только психопат. Попробуй сыщи у него хоть одно немецкое лицо». Такой обыватель, вспомним слова Эйнштейна, хоть и не борется против истины, но признает ее только тогда, когда ее признают все. Отец Зигги, участковый инспектор, которому поручено следить за своим старым приятелем, не только следит за соблюдением запрета, но еще и сам сжигает картины художника, которые он обнаруживает в тайнике. И все это он делает с сознанием выполненного долга. А после окончания войны, когда Макс Нансен получает признание и у себя на родине, Зигги узнает, что фашисты запрещенные картины художника продавали за границу на валюту. Генрих Гейне в подобных случаях о таких патриотах говорил: «Соловей, я слышу стук твоих копыт»...

«Каждому из нас нужны стены». Это в рассказе о последнем десятилетии отзвук прошлого: в полицейском государстве, где все стены имели уши и глаза, человек никогда не мог без опаски остаться наедине с собой.

Зигфрид Ленц нигде не сбивается на памфлетно-разоблачительный тон. Прямых разговоров о политике его герои не ведут, как, например, не ведут их в рассказе «Восемнадцать диапозитивов». Встречаются два приятеля, сидят у героя рассказа дома, тот показывает диапозитивы с видами Лондона. Приятели вспоминают о том, что они почти в одно и то же время находились в Лондоне, только хозяин в качестве эмигранта, а его гость в качестве корреспондента фашистской газеты. Это было время, когда слова «патриот» и «доносчик» звучали как синонимы. Хозяин дает к диапозитивам комментарии и случайно рассказывает о том, как в Лондоне были выкрадены по чьему-то доносу списки эмигрантов, которым стали приходить угрожающие письма. Гость неожиданно чувствует себя обиженным и оскорбленным и спешит распрощаться. Хозяин недоумевает, но читатель-то понимает, почему бывший корреспондент газеты времен третьего рейха «обиделся» — ведь он тоже исполнял свой долг.

Будничный, спокойный тон рассказа, в котором нет внешнего действия, лишний раз подчеркивает ту страшную будничность, с какой люди во имя «высшего долга» продавали свои души фашистскому мамоне.

Рассказы сборника подобраны так, что мы видим становление писательского мастерства на протяжении более чем за четверть века. Писатель прошел литературную школу, испытывая влияние таких учителей, как Брехт, Кафка, Камю и Хемингуэй. Последние рассказы заставляют думать, что точности и сжатости фразы, пристальному анализу человеческих отношений Ленц научился у Чехова.

Несколько особняком стоит в сборнике повесть «Плавучий маяк». Сближать ее с экзистенциалистской эстетикой было бы натяжкой. Аналогичную структуру имеет, например, «Джан» Платонова.

Ленц не налагает схему на живую жизнь, он пытается постигнуть бытие в разных формах, которые также равноправны в его творчестве, когда мы говорим о писательском проникновении в проблемы действительности.

Герои «Плавучего маяка» изолированы от внешнего мира не в силу символической структуры повествования — они оторваны от земли в буквальном смысле, поскольку плавучий маяк находится на судне, прикованном якорной цепью далеко в море. Герой повести капитан Фрайтаг и его команда, включая и его сына, которого он в первый раз в жизни взял на плавучий маяк, несут последнюю вахту — старое судно должно после вахты сняться с якоря и пойти на слом. Моряки спасают шлюпку, уносимую в море с тремя мужчинами — двое из них оказываются убийцами-рецидивистами, а их главарь — бывшим адвокатом доктором Каспари. Команда делает все, чтобы задержать убийц, не дать им уйти на землю. Член команды Ретхорн убеждает капитана: «Мы обязаны что-то предпринять, это наш долг». То есть предлагает схватить убийц.

«Фрайтаг устало приподнял плечи. — Перестань,— сказал он,— меня от этого слова с души воротит».

Фрайтаг, как и Макс Нансен, знает истинную цену рассуждениям об абстрактном долге. Конечно, можно здесь говорить и о влиянии экзистенциалистской эстетики. Но больше, чем все другие литературные влияния, сыграла роль гражданская позиция Ленца, его опыт, то время, когда в молодости он жил в обстановке фашистской демагогии, а после войны — и реваншизма германской военщины. Писатель имеет право строить форму в русле традиции или открывать новые приемы. В повести Ленц также выступает против рутины и шаблона в человеческих представлениях о долге и героизме, насилии и справедливости.

Доктор Каспари и капитан Фрайтаг — антиподы.

Позиция доктора Каспари иезуитски цинична — это результат его социального поведения: «...как адвокат я вскоре пришел

к убеждению, что всякого человека, если только захотеть, можно уличить в какомнибудь подсудном поступке... возьмите любого человека, и я вам гарантирую, что по существующим законам всегда найдется повод упрятать его в тюрьму на два года, и это при отнюдь не драконовском определении степени наказания... Так я нашел новую жизнь: я хотел разгадать, в чем разница между теми, кто, будучи обвиняемыми, разгуливают на свободе... Итак, наряду со своей жизнью адвоката я стал вести жизнь — да, прямо скажем, свободного каторжника».

Духовный сын нацистского режима, он рассуждает точно так же, как и те, кто стоял у власти при Гитлере, кто мечтал превратить весь мир в цивилизацию тюремщиков. Доктор Каспари видит пороки современного общества потребления, но он использует социальные грехи, чтобы разбогатеть на них. Жизнь его заполнена до краев, его энергии хватило бы и еще на три жизни. Внешне динамичная, его жизнь тем не менее пуста, и эту-то пустоту он прячет паче остального. О такой пустоте писал Ф. С. Фицджеральд: «Крепче всего запирают ворота, которые никуда не ведут... Потому, наверно, что пустота слишком неприглядна». Приди доктор Каспари к власти в теперешней Германии, он снова превратит ее в концлагерь.

Конфликт между насилием и личной ответственностью — один аспект повести. Другой, не менее важный поединок, а где-то и более серьезный,— между Фрайтагом и командой на плавучем маяке. Шаблонному, заскорузлому понятию «долг», владеющему представлениями команды, Фрайтаг противопоставляет свое понятие о долге, даже несмотря на то, что все они — в том числе и его родной сын — считают его трусом. Концепция героизма с закрытыми глазами разоблачается им перед сыном. Ленц раскрывает нам полуправду общественного мнения на конкретном поступке своего героя, зная, что такая полуправда всегда покоится на лености и трусости мысли: «...Пока ты считаешь, что единственная возможность обезоружить человека — это подставлять лоб под пулю, всем твоим знаниям грош цена. Я вот что тебе, мальчик, скажу: я никогда не был героем и вовсе не стремлюсь стать мучеником; и то и другое было мне всегда подозрительно: уж слишком просто они умирают, даже в смерти уверенные в своей правоте — слишком уверенные, на мой взгляд, а это не выход...»

Ленц анализирует духовные и физические силы человека в экстремальных условиях не абстрактно, а опираясь на социальный опыт того общества, в котором он живет. Насколько его модель основательна и первична, покажет время. Во всяком случае, и социальное бытописание, и мягкий гротеск, и сочный юмор (вспомним великолепную серию рассказов «Запах мирабели» [1]) и притчевый символизм («Повязка на глаза») — все это лежит в едином русле поиска писателя.

А. СОЛЯНОВ

[1] «ИЛ», 1977, № 1.

Издано за рубежом

КНИГА, ПРОНИКНУТАЯ ДОБРОТОЙ

Jesús Torbado. La ballena. Barcelona, Planeta, 1982.

Хесус Торбадо. Кит. 1982.

Имя Хесуса Торбадо, писателя сформировавшегося и уже известного, в Испании привычно ассоциируется с молодежной темой. Проблемам молодежи, сложному процессу обретения человеком своего места в жизни посвящены рассказы и романы Торбадо 60—70-х годов. Эта тема интересует его и как журналиста — одним из результатов его пребывания в качестве корреспондента испанских газет в западноевропейских странах стали публицистические книги «Мы, молодые» и «Европа молодых», в которых рассматриваются причины и формы молодежного бунта конца 60-х годов, его эволюция. Отдал писатель дань и политической фантастике, взрыв которой пришелся в Испании на вторую половину 70-х годов. Одна за другой стали публиковаться книги, авторы которых исходили из посылки «что было бы, если...» — если бы, например, Гарсиа Лорка не поехал в Гранаду, а остался, как ему советовали друзья, в республиканском Мадриде (Карлос Рохас «Хитроумный идальго Федерико Гарсиа Лорка возносится в ад»), если бы Франко вдруг каким-то чудом ожил (Фернандо Вискаино Касас «И на третий год он воскрес...»), если бы первого апреля 1939 года не Франко, а президент победившей Испанской республики Мануэль Асанья объявил стране об окончании войны — Хесус Торбадо «Сегодня...». Книга эта, изданная буквально месяц спустя после смерти каудильо и получившая крупнейшую коммерческую премию «Планета», пользовалась большим успехом, но объяснялся он в значительной мере не ее художественными достоинствами, а чисто спекулятивными причинами. Как будто почувствовав это, писатель надолго замолчал: за шесть лет он публикует только одну публицистическую книгу «Кроты» — результат длительных расследований, проделанных Торбадо совместно с журналистом М. Легинечем, о судьбах республиканцев, долгое время после победы франкизма прятавшихся у своих родных или близких. Таких случаев в Испании было довольно много — один из них рассказан в переводившемся в нашей стране романе Франсиско Гарсиа Павона «Рыжие сестры» [1],— и внимание к ним обеспечило писателю уважение самых широких кругов испанской общественности, а книге — девять изданий.

И вот наконец новый роман — «Кит», где Торбадо отказывается от молодежной те-

[1] «ИЛ», 1976, № 3.

матики и рассказывает о человеке среднего поколения, добрая половина жизни которого уже позади, о его внутренних проблемах и противоречиях. Книга эта резко отличается от предыдущих произведений писателя и по стилю — мягкая, неспешная манера повествования, добрый юмор, отсутствие сиюминутной злободневности. Действие книги происходит в наши дни на юге страны в небольшом поселке Кадима, основное население которого составляют рыбаки и рабочие расположенного неподалеку завода по переработке помидоров. Но героями книги по воле автора становятся люди, случайно заброшенные в Кадиму судьбой. Это Серафин Эрнандес, композитор с несложившейся личной и творческой биографией, шотландец Фрэнк, хозяин единственной в поселке таверны, и несостоявшийся священник Дарио Виктор Уго Москосо Эрнандес, которого все зовут попросту «поп». Каждого привели в Кадиму сложные жизненные обстоятельства, каждый из них в прошлом потерпел поражение. Фрэнк, тоскующий по родине — многие детали в интерьере его заведения напоминают о ней, — надеется забыть здесь изменявшую ему жену. Дарио Виктор, сменивший несколько вероисповеданий, всю жизнь скитавшийся по разным странам — по причинам политического характера он не может жить в родной Гватемале,— пытается обрести здесь покой и душевное равновесие. Серафину — это центральный образ книги,— подававшему большие надежды в консерватории, не удалось пробиться в профессиональном мире. Поклонник лиризма и мелодичности в музыке, он не может приспособиться к вкусам современной молодежи: не находит применения и его страстное увлечение историей музыки, биографиями великих композиторов прошлого — разве что при сочинении текстов для конвертов с пластинками классической музыки. Зашли в тупик и отношения с женой, и, чтобы не тянуть ставшее мучительным для обоих совместное существование, он уезжает из Мадрида «на край света». Таким «краем» оказывается Кадима.

Эти занесенные сюда судьбой люди давно стали своими для жителей Кадимы, легко вписались в еще мало испорченный цивилизацией мир, где определяющими являются простые человеческие ценности — доброта, честность, умение вовремя прийти на помощь. Серафина, Фрэнка и Дарио Виктора связывает трогательная и преданная дружба; отношения героев не раз заставляют вспомнить ремарковских трех товарищей. Вечно подтрунивающие друг над другом, скупые на проявления чувств, они всегда оказываются рядом, когда другому трудно. «Я бы хотел,— говорит Серафин Карлосу, своему пятнадцатилетнему сыну,— чтобы тебе в жизни встретились такие люди. Хотя бы один. Это лучшее, что может выпасть на долю человека».

Серафин, антигерой, как он сам себя называет, вызывает нашу безусловную симпатию, потому что, несмотря на все трудности судьбы, на мучительную неуверенность в своих силах, он сохраняет мужество смотреть правде в глаза, трезво оценивать самого себя, сохраняет внутреннюю свободу и независимость. Когда прежняя жизнь стала для него невыносимой, у него хватило сил «все проиграть и все начать сначала, не пожалев того, что приобрел», остаться верным самому себе. Его внутреннее достоинство и его доброта — именно они определяют отношения Серафина с миром — привлекают к нему людей. Даже алькальд Кадимы в трудную минуту приходит за помощью именно к Серафину.

Самыми болезненными для Серафина являются не мысли о собственных неудачах, а воспоминания об отце. Встреча в Кадиме с человеком, в юности знавшим его отца, особенно разбередила рану. Антонио Тарраль — так зовут этого человека — когда-то воевал вместе с отцом Серафина на стороне франкистов, и у них на совести немало зверств. Тот начинает хвастаться прошлыми «заслугами» — безобразными по своей жестокости и бессмысленности расправами. С особой горечью и стыдом отзывается в душе Серафина прошлое, то прошлое, из-за которого он давно покинул отчий дом. От этого прошлого он старается уберечь своего сына, отвечая на его вопросы: «Лучше бы тебе никогда не знать об этом, мальчик. Ты живешь в другом мире, и не надо, чтобы тебя пачкали воспоминания старших». Но в его собственной душе эти воспоминания — постоянно кровоточащая рана. Более того, свою несложившуюся судьбу он склонен рассматривать как некое возмездие за преступления отца. «Может быть, сын озверевшего убийцы и не заслуживал ничего, кроме подобного поражения. Смутно он чувствовал это еще раньше. Карлосу повезло больше: ему, по крайней мере, никто никогда не будет рассказывать подобных историй».

Основу сюжета составляет довольно странный случай: однажды о прибрежные скалы разбивается кит, животное в этих краях чрезвычайно редкое. Свидетелем происшествия случайно оказывается Серафин. На его глазах стая китов подплывает к берегу, и одно животное, отделившись от товарищей, несмотря на отчетливо предупреждающие звуки, издаваемые остальными, как будто намеренно приблизилось к берегу, где и нашло свою смерть. Странное поведение кита не дает покоя Серафину, которому в криках животных чудится не то прекрасная песнь, которую он должен понять и воспроизвести в музыке, не то предупреждение — но о чем? Как вызов своим профессиональным способностям воспринимает Серафин эту загадку, невозможность разгадать которую становится для него еще одним жизненным поражением.

Перед жителями Кадимы встает вопрос: что же делать с животным, которое волны выбросили на берег? Первоначальная идея использовать китовое мясо в пищу скоро оказывается несостоятельной — оно слишком быстро портится. Неудачей кончается и попытка отбуксировать тушу животного в открытое море — ее снова прибивает к берегу. Туша начинает разлагаться, распространяя ужасное зловоние, и положение становится действительно серьезным. Настолько серьезным, что привлекает внимание прессы — в поселок приезжают журналисты и представители телевидения, а вскоре прибывает и министр по охране окружающей среды. Но ничего, кроме шума и

суеты, они не вносят. Решение проблемы — сжечь тушу подальше от берега в открытом море (благодаря жиру она горит очень хорошо) — предлагает приехавший из Мадрида сын Серафина. И когда уже все позади, Серафин садится в лодку и плывет туда, где рыбаки подожгли тушу животного. «Он хотел еще раз сказать киту, что по-прежнему ждет, когда из Мадрида привезут пианино, что, может быть, стоит вести себя так, как будто каждый день жизнь начинается снова, что когда-нибудь он сумеет понять и воплотить в музыке издаваемые им звуки и что это будет прекрасная песня о пепле и горении его сердца». На этой щемяще-грустной ноте и заканчивается книга.

Но у читателя она оставляет светлое чувство, потому что герои ее — сильные, а главное, добрые люди; и это ощущение доброты и человечности, которым проникнута вся книга, пожалуй, основная заслуга Х. Торбадо, то, что выделяет его новый роман в потоке испанской литературной продукции последнего времени.

Н. МАТЯШ

ТРАВЕНИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

B. Traven. Werkausgabe in Einzelbänden. Eine Edition der Büchergilde Gutenberg im Diogenes Verlag, 1982.
B. Traven — Ret Marut. Das Frühwerk. Vorwort: Rolf Recknagel. Berlin, Klaus Guhl, 1977.

Б. Травен. Собрание сочинений в отдельных томах. 1982.
Б. Травен — Рет Марут. Ранние произведения. Предисловие: Рольф Рекнагель. 1977.

Не так давно минуло десять лет, как над тропическим лесом в мексиканском штате Чьапас был рассеян с самолета пепел тела писателя Б. Травена — такова была его воля. Вскоре после смерти всемирно известного «неизвестного», как его называли, вдова писателя Роса Элен Лухан выступила с интервью и рассказала о жизни этого человека, который был революционером и антифашистом, выступал против несправедливости, за переустройство мира, сочувствовал тем, кто боролся за свободу: народному герою Никарагуа Сандино и патриотам этой страны, восставшим против американских интервентов, испанским республиканцам, мексиканским индейцам, которых нещадно эксплуатировали на нефтепромыслах и лесоразработках. Им было написано около двадцати романов и многие рассказы. Однако их автор избегал встреч, интервью и бежал от славы с тем же рвением, с каким буржуазные писатели порой ее добиваются. Это казалось неправдоподобным в мире бизнеса.

В тридцатые годы Травен широко издавался во многих странах. У нас на русском языке вышли его романы «Проклятье золота» (1928), «Сборщики хлопка» (1931), «Восстание повешенных» (1938), «Поход в страну Каоба» (1958), сборник рассказов «Рождение божества» (1972) и другие произведения.

Почти все творчество Травена связано с Мексикой, исключение составляет, пожалуй, лишь роман «Корабль смерти», по словам еженедельного журнала «Нью мэссиз», своеобразный «Моби Дик» — «мастерское сочинение, которым может гордиться Америка». Роман этот открывает семнадцатитомное собрание сочинений писателя, выпущенное в прошлом году издательством «Бюхергильде Гутенберг». В этой книге, преисполненной боли и горечи за судьбы людей, которых обрекают на гибель ради того, чтобы дельцы получили страховку за корабль, судно терпит аварию, экипаж поглощают волны и сам герой, чудом уцелевший, пережив своеобразную робинзонаду на полузатонувшем корабле, в конце концов тоже погибает в пучине. В собрание вошли также «Сборщики хлопка», «Клад Сьерра-Мадре» и другие известные произведения писателя. Перечитывая их, вновь убеждаешься, что в книгах Б. Травена резко противопоставлены «любовь автора к простому народу и отвращение к колонизаторам», его сочинения — это «эпопея жизни простых мексиканцев». Джозеф Линкольн Стеффенс, «величайший репортер Америки», в свое время посетивший революционную Мексику, не раз приезжавший и в нашу страну, где встречался с В. И. Лениным, сказал о Б. Травене незадолго до своей кончины: «этот человек выразил подлинную душу Мексики».

Не раз в газетах Запада появлялись сенсационные сообщения о том, что «загадка века» разгадана. Страницы солидных буржуазных изданий пестрели броскими заголовками: «Жизнь Травена скрывается во тьме», «Писатель, книги которого изданы миллионными тиражами, остается неизвестным». Почему же Б. Травен бежал от славы? Однажды, отвечая на подобный вопрос, заданный ему в печати, Б. Травен сказал, что, по его мнению, биография творческой личности не имеет никакого значения, если автора нельзя узнать по его книгам. «У писателя,— говорил он,— не должно быть иной биографии, кроме его произведений». А еще через несколько лет на вопрос, как он относится к небылицам, которые писали о нем, Б. Травен ответил: «Все это дело рук журналистов. Они сделали меня мифической личностью. Я же, избегая встречи с ними, оберегал лишь свой покой и уединение. Я ненавижу рекламную шумиху вокруг моих книг».

После смерти писателя в 1969 году интерес к нему не угас. По-прежнему в разных странах издаются его произведения, выходят посвященные его творчеству исследования — в ГДР, ФРГ, США, Англии. Из последних работ такого рода можно назвать книги американских авторов М. Бауманна «Б. Травен. К вопросу его личности и творчества» и Д. Стоун «Тайна Б. Травена». Автору последней удалось еще при жизни писателя встретиться и беседовать с ним.

Посетил дом Б. Травена (после его смерти) и литературовед из Лейпцига Р. Рекнагель, многие годы изучавший его жизнь и творчество и познакомившийся с архивом писателя. Ему принадлежит книга-исследо-

вание «Б. Травен. Материалы к одной биографии», выпущенная лейпцигским издательством «Филипп реклам». Как писала газета «Лейпцигер фольксцайтунг», автор был удостоен премии имени Генриха Гейне за свои разыскания, свидетельствующие, что литературоведение «может быть захватывающим и понятным каждому».

Недавно Р. Рекнагель подготовил и выпустил сборник «Б. Травен — Рет Марут. Ранние произведения». Подобное издание выходит впервые, в нем представлены рассказы, публиковавшиеся шестьдесят лет назад в мюнхенском журнале «Цигельбреннер» и подписанные «Рет Марут» — под этим псевдонимом выступал тот, кто позже назовется Травеном. (Рекнагель собрал также и опубликовал в одном томе все номера «Цигельбреннера» за пять лет издания: 1917—1921 гг.)

Однако что дало возможность Р. Рекнагелю считать, что Рет Марут и Б. Травен — одно лицо? Изучая стиль книг Травена, он обратил внимание на их поразительное сходство с произведениями забытого немецкого литератора Рет Марута. Разрабатывая свою версию, Рекнагель прежде всего познакомился с содержанием «Цигельбреннера», что в переводе звучит как «обжигающий кирпичи». И ему открылось многое. Под огненно-оранжевыми обложками, имеющими формат кирпича, Рет Марут публиковал исполненные яростного гнева статьи, в которых с негодованием бичевал милитаризм, буржуазную печать и религию. В одном лице Рет Марут совмещал автора и редактора, сотрудника и издателя.

Рассказы печатались без подписи или под псевдонимами — Рет Марут, Фред Марут, Рихард Марут, затем, собранные в книгу, выходили в издательстве «Цигельбреннерферлаг», которое, как и журнал, не было соответствующим образом зарегистрировано. Так, в 1919 году появился без указания имени автора сборник его рассказов, очерков и рецензий «Сине-крапчатый воробей». Многие из них сегодня вошли в сборник «Ранние произведения». Рассказ «Индивидуальность» — это сатира на буржуазную прессу, о которой Рет Марут говорил, что «журнализм, служащий капитализму,— это чума» и до тех пор, пока печать находится в руках людей, заботящихся прежде всего о своем обогащении, невозможно достичь подлинной демократии. В этом рассказе, как и в новелле «Находчивый писатель», показана зависимость художника в буржуазном мире от воли антрепренера и издателя.

В публицистике Рет Марута нашли отражение социал-демократические идеи. Однако задолго до ноябрьской революции 1918 года он предсказал, что почтенные правые социал-демократы, если только придут к власти, предадут дело рабочего класса. Когда началась война, мало кто отважился бросить «нет» мировой бойне, как это сделал, скажем, Карл Либкнехт, неустрашимо выступивший против опьяненного шовинистическим угаром отечества. Вызывала отвращение война и у Рет Марута. Как публицист он пытается оказать влияние на общественное мнение. С этой целью был написан небольшой рассказ «Неизвестный солдат», который, как отмечает Рекнагель, «подкладывает мину под милитаризм». В те же годы написана и новелла «Письма к фрейлейн С.», также отразившая антивоенные настроения автора.

Когда в ноябре 1918 года в Киле вспыхнуло восстание матросов, ставшее «искрой, зажегшей революционный пожар в стране», а вслед за тем произошли выступления рабочих и солдат в других городах, Рет Марут объявляет себя сторонником диктатуры пролетариата, которая является, по его мнению, единственной предпосылкой свободы.

Реакционная пресса обрушилась на Рет Марута с нападками, началась кампания клеветы. Его обвиняли в измене «делу нации», в приверженности большевизму. В апреле 1919 года «Зальцбургер кроник» прямо назвала его «пламенным большевиком». Его статьи в «Цигельбреннере» в дни существования Баварской Советской республики полны горячих призывов. Популярность его росла. На одном из собраний фабзавкомов рабочие единогласно избирают его в комитет пропаганды. Он становится правой рукой своего давнего товарища Густава Ландауэра — активного участника революции, впоследствии убитого контрреволюционерами. Но, как и предсказывал Рет Марут, правые социал-демократы, пришедшие к власти в итоге ноябрьской революции, во главе с тогдашним премьером Эбертом предали дело рабочего класса. Роль «кровавого усмирителя» исполнил министр и одновременно главнокомандующий Носке. Республика пала, начались кровавые дни весны 1919 года.

Как и многие, в том числе Густав Ландауэр, Эрих Мюзам и другие, был схвачен и Рет Марут. Его предали военному суду, обвинили в государственной измене и приговорили к смертной казни. Но ему удалось бежать. Скрывшись, он продолжал некоторое время нелегально издавать «Цигельбреннер». Вскоре, однако, Рет Марут исчез.

Поиски загадочного издателя и автора «Цигельбреннера» привели Р. Рекнагеля в Мюнхен на Клеменсштрассе. В старом доме № 84 некогда жил тот, кто называл себя Рет Марутом. Здесь, на третьем этаже, он изготовлял свои горячие «кирпичи». Отсюда и начал свой поиск Р. Рекнагель. Ему удалось установить, что впервые имя Рет Марута упоминалось в 1908 году: он появился в Эссене как актер и член товарищества немецких работников сцены. По скупым данным Рекнагель сумел восстановить жизнь Рет Марута в тот период, этапы его деятельности как актера вплоть до 1915 года, когда он поселился в Мюнхене и всецело посвятил себя литературе.

Следует, однако, сказать, что еще до Р. Рекнагеля высказывались предположения о том, что Травен и Рет Марут—одно лицо. И Рекнагель обратился за помощью к тем ветеранам революционного движения, которые еще были живы и могли знать Рет Марута. Среди других писем пришло письмо с воспоминаниями и от Эрнста Никиша, бывшего председателя Центрального Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Помнил Рет Марута и такой известный писатель, как Оскар Мария Граф, живший со времен антифашистской эмиграции в США.

Со временем в руках Р. Рекнагеля оказалось столько фактов, скопилось столько документов, подтверждающих тождество «Рет Марут — Б. Травен», что сомнений больше не оставалось. Он сличил и опубликовал фотографии Рет Марута и Б. Травена и убедительно доказал, что это снимки одного и того же человека. Наконец, вдова писателя подтвердила, что в период первой мировой войны Б. Травен жил в Германии (родился он в Чикаго), печатался под псевдонимом Рет Марут и издавал журнал. Мексика, куда он перебрался в начале двадцатых годов, стала его второй родиной.

Так закончился этот увлекательный и трудный поиск литературоведа. А издание забытых ранних рассказов Б. Травена — Рет Марута, собранных под одной обложкой, стало новым вкладом в травениаду.

РОМАН БЕЛОУСОВ

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОНСТРОВ

Le Monstre. Revue des sciences humaines, 1982, n. 4.

Чудовище. Обозрение гуманитарных наук. 1982, № 4.

Специальные тематические выпуски «Обозрения гуманитарных наук», издаваемые университетом французского города Лилля, давно привлекают внимание читателей (причем не обязательно профессионально занимающихся литературой или литературной критикой) разнообразием и оригинальностью отдельных сюжетов.

Судите сами: «Театральность вне театра» и «Гюстав Флобер», «Натурализм» и «Письменность, женственность, феминизм». Тем не менее название выпуска, которому будет посвящена эта рецензия, сразу озадачивает: «Чудовище». Не меньше озадачивает оглавление, а потом и содержание книги. Здесь и очерки о жертве компрачикосов — несчастном Гуинплене (роман Виктора Гюго «Человек, который смеется»), и о нравственных уродах — изощренных развратниках из книжек маркиза де Сада, и чудовищах из Дантова ада, и даже алчных вампирах, героях современной западной литературы, как элитарной, так и бульварной.

Но что свело под одну обложку эти столь несхожие друг с другом литературные создания, только ли их аномалии, только ли их отличие от нормальных людей?

Составитель выпуска, литературовед Макс Мильнер, явно стремится уйти от прямого ответа на этот явно напрашивающийся вопрос. Хотя в то же самое время он предусмотрительно парирует возможные недоумменные возгласы критиков: «Недостаточное тематическое единство? Чудовище многолико. Композиционная беспорядочность? Попробуйте упорядочить чудовище. Тяжело читается? А где это видано, чтобы чудовище имело приятную внешность? Единственное, чего никак нельзя простить этому сборнику, так это то, что его невозможно читать без интереса».

Последнее замечание, сделанное в свойственной Мильнеру иронической манере, действительно справедливо. Впрочем, о вещах необычных и сверхъестественных всегда интересно читать. Такова особенность читательского восприятия. Эту особенность, «тягу к сверхъестественному», тонко подметил еще Вальтер Скотт в своем известном очерке «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Тёодора Амадея Гофмана».

И все же Мильнер и другие члены редколлегии сборника пытались придать ему хоть какое-то идейное единство и композиционную стройность. Другое дело, что эти попытки оказались безуспешными.

В наше время стало модным обращаться за методологическим подспорьем к смежной науке. Точно так же решили поступить и составители «Чудовища». Только обратились они к далеко не смежной с литературоведением и к тому же не слишком современной науке — «тератологии», изучающей различные случаи и генезис уродства. Эта научная дисциплина довольно старого происхождения: первые труды появились в XVIII веке, хотя расцвет тератологии связывают с выходом в свет в 1832 году первого тома сочинений господина Изидора Сент-Илера, доктора медицины, профессора зоологии и общей анатомии, — «Трактата о тератологии».

Историк науки Патрик Тор подробно рассказывает в статье «Логика отклонения от нормы» о том, как изобретательно Сент-Илер расклассифицировал уродцев, разбил их на виды и подвиды. Составители «Чудовища» поставили эту статью, в которой ни слова не говорится о литературе и в которой нет даже ни одного литературного примера, первой, надеясь, очевидно, что авторы последующих очерков если и не воспользуются тератологией как путеводной методологической нитью, то во всяком случае постараются по примеру структуралистов наложить тератологическую схему на исследуемый материал.

К чести некоторых авторов сборника надо сказать, что этого не происходит. Преподаватель литературы из Дижонского университета Жан-Пьер Рейно в статье «Божественный карнавал», где рассказывается о теме уродства в творчестве Виктора Гюго, лишь мимоходом упоминает о «глубоком интересе великого писателя к «Трактату о тератологии» и тут же добавляет: в отличие от Сент-Илера, для которого человекообразное страшилище — феномен чисто анатомический, материальный, для Гюго уродец — это черная метафора, зловещий символ человеческой порочности. Рейно обозревает пестрое шествие уродцев по страницам романов Гюго и попутно делает довольно любопытные наблюдения, хотя основная идея очерка «лицо—маска» (красивое лицо прикрывает черную душу, а лицо уродливое — душу нежную, ранимую) не слишком оригинальна. Сам Гюго не раз писал об этом. Многие поколения французских писателей и философов обличали человеческие пороки, прикрытые «физиогномической маской». «На этом свете я не видел чудовища более диковинного, чем я сам»,— читаем мы в «Опытах» Монтеня.

Это изречение как нельзя более подходит для маркиза де Сада, автора эротических романов «120 дней Содома», «Жюстина», «Жюльетта», написанных в конце XVIII века и получивших вторую жизнь уже в наше время, когда буржуазная культура стала усиленно разрабатывать мифы, пронизанные насилием, жестокостью, эротикой.

В определениях, даваемых западным литературоведением романам де Сада, часто встречается слово «самый»: «Самая откровенная в выражении человеческой ярости книга» («120 дней Содома»); «самое разнузданное литературное произведение за все века» («Жюстина»). Герои де Сада — извращенцы, моральные монстры, скрывающие за пригожей, порой ослепительно красивой внешностью дьявольскую душу. Романы де Сада, выходящие огромными тиражами, представляют собой не столько литературный, сколько культурологический феномен: искусственно возрожденное «творческое» наследие безумного маркиза находится как бы на стыке двух культур — элитарной и массовой. Это тот случай, когда стираются всякие грани между двумя подотделами буржуазной художественной культуры. Жан-Люк Стейнмец, автор очерка «Садическое чудовище», пытается именно этой двойственностью «феномена де Сада» обосновать сопоставление экстравагантного аристократа с Рабле и Вольтером.

Пожалуй, такие сравнения больше шокируют читателя, нежели психоаналитические откровения, встречающиеся в очерке Стейнмеца в довольно большом количестве. Впрочем, к подобным откровениям западный читатель давно уже привык, они ему примелькались.

Вот и Макс Мильнер, выступивший уже в качестве автора очерка «О чем мечтают вампиры», делает дежурный реверанс в сторону психоанализа, когда объясняет причину литературного долголетия жутких кровососов: дескать, уход из жизни наших близких оставляет в нашем подсознании чувство вины перед ними, и чтобы погасить это чувство — слишком оно мучает, терзает, — мы приписываем мертвецам агрессивные наклонности: безобидные покойники обвиняются в том, что по ночам выходят из могил и нападают на людей.

Тема вампиризма в западной литературе и искусстве не так легковесна и преходяща, как это может показаться на первый взгляд. «Вампирный бум» в буржуазной культуре — не менее любопытное явление, нежели «садический бум», с которым, кстати сказать, он совпадает по временной фазе. Подобно героям де Сада, упыри вошли в моду сравнительно недавно, получив новое рождение в середине 70-х годов.

В конце прошлого столетия, в 1897 году, англичанин Брэм Стокер издал книгу под названием «Дракула». Это был авантюрно-фантастический роман о гнусном вампире, который из своего замка, расположенного в глухом уголке Карпатских гор, перебрался на жительство в викторианский Лондон и начал войну с родом человеческим за жизненное пространство. Дракула мечтал заселить освободившееся пространство братьями-упырями. Роман почитали, поахали... и забыли. Много лет никто не вспоминал о Дракуле. Но деловым людям, подвизающимся на ниве бульварной беллетристики, необходимо постоянно поддерживать в публике «тягу к сверхъестественному». До 70-х годов эту тягу эффективно поддерживали научно-фантастические мифы. Потом они начали приедаться читателям: слишком однообразными были истории о далеком будущем. А читателям захотелось перемены, захотелось в прошлое, в кошмарную сказку. Спрос был учтен немедленно. Оперативнее всех оказался американец Роберт Лори. В середине 70-х годов он выкинул на книжный рынок роман с символичным названием: «Дракула возвращается». За первым романом последовали: «Рука Дракулы», «Брат Дракулы», «Ученик Дракулы»... Разумеется, в большинстве своем это были образчики откровенно коммерческого искусства, но образчики довольно ходкие.

Однако в 1975 г. в США появилась книга, которую трудно отнести к разряду рыночной литературы, хотя в ней есть вампиры и действует все тот же бессмертный Дракула. И не случайно Макс Мильнер относится к роману Фреда Зэберхагена «Магнитофонная лента Дракулы» как к вполне серьезному литературному произведению, ставящему проблемы философского плана, что звучит явным преувеличением, однако надо признать, что вампирный роман Зэберхагена — явление в своем роде незаурядное. Писатель задался целью реабилитировать Дракулу и заодно защитить вампиризм и уродство от викторианского ханжества, которым пропитан роман Стокера. В руки автора-рассказчика попадает магнитофонная лента с исповедью Дракулы. Вампир на чем свет стоит поносит Стокера и его роман — некоторые страницы цитируются полностью — и жалуется на то, что его оклеветали. Он, благородный граф Дракула, поплатился за свою привязанность к жизненным радостям. Он купил бессмертие столь ужасной ценой ради одного — наслаждения, наслаждения всем тем, что господь бог так скупо отпускает простым смертным.

Анализируя в своем очерке «тему Дракулы», проходящую сквозь современные романы (в том числе и те, которые насыщены философской проблематикой) и фильмы о вампирах, Макс Мильнер придерживается иронического тона. Однако он предпочитает уклоняться от полемики с теми своими коллегами, которые утверждают, будто вампиризм как таковой, а не вампирная метафора должен стать объектом серьезного и углубленного научного исследования. Конкретно — исследования психоаналитического [1].

Традиционную дань психоанализу отдают и некоторые другие авторы сборника «Чудовище». Джозеф Вентурини скрупулезно перечисляет жутких страшилищ из «Божественной комедии» Данте и одновременно сексуализирует их, наделяя такими эротическими свойствами, о которых, вероятно, сам Данте и понятия не имел. Более сдержан Пьер Ласло, автор короткой, но достаточно емкой статьи о романе Мэри

[1] См., например: Rosemary Jackson, Fantasy: the Literature of Subversion. London, Methueu and Co., 1981.

Шелли «Франкенштейн». «Сублимированный экстаз» гениального изобретателя — героя романа, вылившийся в создание искусственного существа, которое мы сегодня назвали бы «биоробот», Пьер Ласло сопоставляет с психологическими особенностями художественного творчества самой английской писательницы.

И все же надо признать — Пьер Ласло не слишком, во всяком случае не в пример иным своим коллегам, злоупотребляет психоаналитическими толкованиями художественных процессов и образов. Но объясняется подобная научная скромность скорее всего тем, что популярность психоаналитического литературоведения и критики неуклонно падает. В свое время, в двадцатые — тридцатые годы нашего столетия, психоанализ сулил заманчивые перспективы. Психоаналитическое литературоведение обещало открыть тайны творчества, тайны таланта. И хотя это обещание так и осталось обещанием, многие западные литературоведы и критики пережили полосу увлечения фрейдизмом или даже навсегда перешли под его знамена, поддавшись гипнозу наукообразных выкладок.

Фрейдисты создали не метод, а иллюзию метода, якобы опирающегося на данные, полученные в ходе психологических экспериментов. И с помощью этой иллюзии попытались комментировать литературные тексты. Но комментарии получались однообразными из-за стремления во что бы то ни стало отыскать в личности и творчестве любого писателя сексуальные и психические аномалии.

Между тем в сборнике «Чудовище» и без того много аномалий. Фрейдистская приправа особой остроты сборнику не придает. Каждый отдельно взятый очерк читается с таким же интересом, как детектив или роман ужаса (сказывается, по-видимому, «тяга к сверхъестественному). Но ведь сборник — произведение прежде всего научное и поэтому должен обладать научным весом, подчиняться по возможности единой концепции и методологии. Но нет единой концепции, нет общей методологии. Есть всего лишь композиционно разрозненные литературоведческие эссе. И только. Воистину — «чудовище многолико».

В. МОЛЧАНОВ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА

Одним из примечательных событий литературной жизни Австралии стал выход в свет собрания стихов Леса Мюррея «В самом сердце республики: стихотворения 1961—1981 годов». Книга издана в Эдинбурге, столице Шотландии, откуда в конце XVIII века приплыли на «зеленый материк» предки поэта и поселились на побережье провинции Новый Южный Уэльс. Мюррея, пишет рецензент литературно-критического еженедельника «Таймс литерари сапплмент», можно назвать не только самым лучшим, но и «самым австралийским» поэтом сегодняшней Австралии. Однозначно охарактеризовать творчество Мюррея едва ли возможно. Его поэзия в полном смысле слова многогранна, многоголоса. Здесь реалистически точные зарисовки австралийской повседневности соседствуют с философскими раздумьями о современном человеке, лирические пейзажи — с большими стихотворными циклами, где поэт осмысливает основные этапы почти двухсотлетней истории освоения европейцами австралийского континента.

Немалое место в лирике Мюррея последних лет занимают стихи о трагической судьбе австралийских аборигенов, безжалостно уничтожавшихся переселенцами по мере их продвижения в глубь страны. Еще в 30—40-е годы многие австралийские поэты выступили в защиту «примитивной» культуры аборигенов и попытались соединить в своем творчестве традиции англоязычной и туземной поэзии. Сегодня дело поэтов старшего поколения продолжает Л. Мюррей, плодотворно используя поэтику ритуальных гимнов в своей лирике. Так, по словам рецензента, в основу стихов, составивших лирико-эпический «Песенный цикл: праздник Бьюладела-Тари», легли ритмы ритуальных песнопений племени аранда.

В целом стихотворения сборника, пишет в заключение рецензент, «раскрывают перед читателем огромный мир в живом и богатом многообразии».

АФГАНИСТАН

«ЖВАНДУН» ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ

В Кабуле стал издаваться двухмесячный журнал «Жвандун» — орган Союза писателей Демократической Республики Афганистан. Журнал издается на двух языках — дари и пушту.

Вышли в свет первые четыре номера, что явилось значительным событием в культурной жизни страны. «Союз писателей Афганистана,— говорится в передовой статье первого номера «Свет победит тьму»,— ждет от своего журнала, чтобы он возглавил борьбу за новую революционную литературу против старой феодальной литературы с ее пассивностью, упадочничеством, уходом в себя, духовным рабством... с тем, чтобы на основе гуманистических традиций и достижений литературного наследия воздвигнуть грандиозное здание подлинно народной литературы».

«Жвандун» призван также, как отмечается в редакционной статье, крепить связь с народом, утверждать принципы интернационализма, дружбы и равенства между всеми народностями Афганистана, поддерживать и расширять творческие связи с братскими литературами социалистических стран. Постановка журналом этих серьезных и актуальных проблем вызвала большой общественный резонанс.

Во второй редакционной статье со всей остротой ставится вопрос о необходимости решительного поворота литературы лицом к народу, активного вторжения писателей в жизнь. В связи с этим развивается ленинский тезис о партийности литературы.

Лишь два пути видит «Жвандун» для писателя и поэта. «Освещать людям путь к добру, свету и правде либо скатиться в болото фразерства и болтовни к вящей радости сил мрака, тирании и войны».

Определив цели и задачи издания, редакция журнала стала посвящать передовые статьи общим политическим проблемам: например, «Мир — надежда нашей планеты» (№ 4).

В полном соответствии с выработанными редакцией установками и принципами журнал отводит большую часть своих страниц художественной прозе и поэзии. Раздел прозы представлен главным образом рассказом — наиболее развитым жанром в современной афганской литературе.

Большое место в духовной жизни народов Афганистана и в публикациях журнала занимает поэзия, наиболее популярный жанр афганской литературы. В каждом номере печатаются также стихи на узбекском либо туркменском языке, не имевшие возможности публикации до апрельской революции.

Общественность Афганистана возлагает большие надежды на новый журнал, который призван бороться за упрочение и развитие идей национально-демократической революции.

БОЛГАРИЯ

ГОРДОСТЬ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

«Гордостью болгарской поэзии» называют Елисавету Багряну. Эти слова особенно часто звучали в дни, когда общественность Болгарии отмечала юбилей замечательной поэтессы — девяносто лет со дня ее рождения.

«Литературен фронт» сообщает о состоявшемся в Софии торжественном собрании, на котором присутствовали партийные и государственные деятели, деятели искусства, многочисленные почитатели ее таланта.

«Этот юбилей,— сказал председатель Союза болгарских писателей Л. Левчев в докладе о жизненном и творческом пути поэтессы,— венчает не просто богатую и полноценную творческую жизнь человека, но и странствия самородного таланта, прошедшего сквозь бури быстротечного времени, через чистилище революции к высокой вершине полного слияния с литературой и культурой социализма».

Как подчеркивалось в приветствиях, Багряна впервые в болгарской поэзии выразила гневный протест болгарской женщины против морали и предрассудков буржуазного общества, ее жажду свободы и большой истинной любви, стрем-

ление к полному проявлению своей личности, раскрыла всю глубину и богатство ее душевного мира.

Произведения Багряны, ставшие образцами интимной и гражданской лирики, являются бесспорным вкладом болгарской поэзии в сокровищницу современной мировой литературы.

Завоевавшая исключительную популярность в своей стране, Е. Багряна широко известна за рубежом. Ее стихи переведены на многие иностранные языки. Дважды они выходили отдельным изданием на русском языке.

«Моя личная судьба,— сказала поэтесса, отвечая на приветствия,— связана с Болгарией. Все ее печальные и счастливые мгновения я переживала как мгновения своей жизни, превращала их в поэзию».

И сейчас поэтесса продолжает творить, свидетельством чему было прочитанное ею стихотворение «В день подведения итогов».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АБСУРД КАК НОРМА БЫТИЯ

Известный английский драматург Алан Беннет написал для телевидения две новые пьесы остросоциального содержания «Зеленые формы» и «Визит мисс Протеро». Их объединяет общая тема — судьба рядовых служащих крупных английских торговых фирм. Не случайно, как пишет рецензент журнала «Лиснер», Беннет дал им общее название — «Канцелярская сюита».

Героини первой пьесы — Дорин Видмед и ее коллега Дорис Раттер. Рабочий день их, как правило, состоит из бесконечных телефонных переговоров и болтовни. Время от времени им приходится прерывать беседу, чтобы ответить на поступающую почту и подготовить документы для пересылки по инстанциям. Но во всех их беседах проскальзывает страх и тревога за завтрашний день: вдруг отдел реорганизуют и их переведут еще куда-нибудь или просто уволят по сокращению штатов? Их страхи, их заботы смехотворны, даже абсурдны: они «страдают» из-за пробки, исчезнувшей из умывальника. Дорис напоминает Дорин трагическую историю мисс Бетти из отдела цен: у нее какой-то недоброжелатель постоянно крал сиденье с унитаза. Будучи робкой, мисс Бетти никому не жаловалась, лишь терпеливо выпрашивала в отделе снабжения новое сиденье. В итоге мисс Бетти лишили квалификационного аттестата и в состоянии сильнейшего нервного истощения отправили в трехмесячный отпуск без сохранения... В конечном счете Дорис и Дорин остаются без работы.

По британскому телевидению с успехом прошла пьеса «Сюита в трех тональностях» Ноэла Кауарда, известного английского драматурга, композитора и режиссера, с творчеством которого британские критики связывают целую эпоху в английском театре. «Сюита в трех тональностях», состоящая из трех одноактных пьес, как пишет обозреватель журнала «Лиснер» Нед Ширин, демонстрирует разные грани таланта писателя, он может быть смешным, грустным, патетичным, но всегда в нем живет надежда.

На снимке: Пол Скофилд в спектакле «Сюита в трех тональностях».

(Журнал «Лиснер»)

Выхолащиванию человеческой души в мире бумажной фикции посвящена и вторая пьеса Беннета «Визит мисс Протеро». Своего бывшего шефа, подавшего в отставку, мисс Протеро пытается убедить в том, что фирма — это целый мир: она торгует с Японией, Замбией и Ближним Востоком. Не было случая, чтобы мисс Протеро взяла отгул, даже в день похорон собственной матери она пришла в контору. О своем отце она говорит: «На протяжении сорока двух лет их брака, день за днем, дюйм за дюймом, улыбаясь и улыбаясь, не стыдясь никого, нежно и вежливо мой отец убивал мою мамочку». Она не замечает, что эти слова полностью можно отнести к ее «браку» с фирмой, убивающей в ней все человеческое.

«БЛУДНЫЙ СЫН» ДЭВИДА СТОРИ

В новом, седьмом по счету, романе известного английского прозаика Дэвида Стори «Блудный сын» рассказывается не совсем обычная история жизни юноши, мечтавшего, но так и не сумевшего стать художником. В рецензии на американское издание этого романа еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» пишет, что Д. Стори остается верен своему излюбленному жанру «романа воспитания», хотя на сей раз поднимает новую проблему. Как и «Сэвилл» (1976, русск. изд.: М., «Прогресс», 1977), принесший автору высшую литературную премию «Букер прайз», «Блудный сын» представляет собой хронику жизни молодого человека, шаг за шагом воссоздающую духовное и нравственное формирование его личности.

Брайен Морли — младший сын в рабочей семье, живущей в провинции на севере Англии. С юных лет Брайен фантазирует, а потом и убеждает себя в том, что он подкидыш, ничего общего не имеющий со своими бедными, простыми и, как ему кажется, достойными презрения родителями. Он ненавидит мать, отца, старшего брата. Причина — удручающая бедность семьи и страстное желание Брайена вырваться из постылого круга однообразных унылых будней. Ему чудится, что его судьбой управляет тайное провидение, что ему уготованы в жизни удача, слава, богатство. Свою тягостную жизнь в доме Морли он воспринимает как временное пристанище, как случайную остановку в своем жизненном пути.

Однажды он попадает в дом преуспевающего коммерсанта Корригана. Все здесь поражает Брайена — и благообразный Корриган, так выгодно отличающийся от грубоватого Морли-старшего, и особенно миссис Корриган — интересная, образованная женщина. Корриганы, у которых никогда не было детей, привязываются к Брайену, и он без сожаления покидает отчий кров, переселяясь жить к Корриганам. В новом доме он чувствует себя словно заново рожденным. Тщеславным надеждам Брайена способствует то внимание, которое миссис Корриган проявила к его увлечению искусством. Он решает стать скульптором, уверенный, что в этом и состоит предначертанная ему «цель жизни». Но мечтам Брайена не суждено осуществиться.

История, рассказанная английским писателем, имеет невеселый конец. Брайен оказывается неудачником, обманутым своими собственными иллюзиями. «Он обладает артистическим темпераментом, но у него нет таланта художника,— пишет рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью»,— у него есть предчувствие, что ему предназначена великая судьба, но на поверку выходит, что эта судьба самая заурядная».

И финал скитаний Брайена безрадостен: блудный сын возвращается к своим родителям с сознанием того, что он потерпел жестокий крах. И еще — с горьким чувством стыда за свое жестокое высокомерие, которым была оплачена родительская любовь.

ГДР

РАССКАЗЫ КУРТА ДАВИДА

Издательство «Нойес лебен» выпустило сборник рассказов известного писателя Курта Давида «Розамунда, но не Шуберта». (О Давиде см. «ИЛ», 1974, № 9; 1976, № 4). В книге — 16 рассказов, написанных на основе личных переживаний и воспоминаний писателя. Десять из них посвящены прошлому. Основные темы — война, фашизм и первые послевоенные годы. Но даже когда писатель обращается к современности, он всегда, как и в прежних произведениях, стремится напомнить о страшном прошлом, предостеречь от возможного его повторения.

Давид пишет о совсем юном поколении, которое в 19 лет «видело больше мертвых, чем их предки за всю свою жизнь», о погибших и чудом спасшихся молодых людях, о матерях, потерявших своих сыновей, о тех, кто в фашистских концентрационных лагерях пытался бороться, о тех, кто, пережив тюрьмы, лагеря, вернулся, чтобы строить новую жизнь в освобожденной Германии.

Критики отмечают, что новая книга Курта Давида по жанру близка к литературным репортажам, но это не мешает ей быть очень поэтичной. Большое место, как и во всем творчестве писателя, отведено сюжетам, связанным с музыкой. Давид хорошо знает и любит музыку, им написаны книги о Шуберте и Бетховене.

«В рассказах Курта Давида много неожиданного, они занимательны и в то же время заставляют задуматься»,— пишет рецензент журнала «Нойе дойче литератур».

«Давид написал хорошую, достойную книгу,— отмечает известный критик Ганс Кох в газете «Нойес Дойчланд».— Каждая из этих небольших историй написана мастерски, каждая на свой неповторимый лад трогает душу и дает пищу уму».

Плакат художника Герхардта Фойгта «Антиимпериалистическая солидарность», демонстрировавшийся на IX художественной выставке в Дрездене.

(Журнал «Бильденде кунст»)

ГРЕЦИЯ

КНИГА О РОДИНЕ

Йоргоса Фарсакидиса знают в Греции как талантливого художника-коммуниста, автора многочисленных гравюр, акварелей, рисунков, посвященных по преимуществу «концлагерной» тематике. И это не случайно. Ведь художник 19 лет своей жизни провел на «островах смерти» в Эгейском море. В конце сороковых годов, после поражения демократических сил в гражданской войне, Й. Фарсакидис вместе с тысячами других борцов, участников антифашистского Сопротивления, был сослан монархо-фашистами на получивший печальную известность остров Макронисос, потом переведен в другой лагерь, где он пробыл до 1961 года. Кошмары концлагерного ада повторились в 1967 году, когда в Греции к власти пришли «черные полковники». Лишь в 1972 году художник вышел на свободу.

В своих работах, хорошо известных и любимых в Греции, Й. Фарсакидис вовсе не стремится потрясти зрителя изображением пыток и чудовищных издевательств над человеком в концлагере. Он ставит своей целью по-философски осмыслить факты лагерной жизни, раскрыть извечную тему борьбы человека со смертью, показать высшие пределы человеческой жестокости и человеческого терпения, обнажить истоки героизма и самопожертвования.

В 1982 году афинское издательство «Пориа» выпустило в свет автобиографическую повесть Й. Фарсакидиса «Первая родина». Это увлекательный рассказ о детстве художника, прошедшем в Одессе в бурные революционные годы. «В этой книге,— пишет автор в обращении к читателю,— я не просто стремился рассказать о пережитом мною в детстве. Обыденные события и человеческие отношения я попытался показать в пору глубочайших социальных потрясений».

Это предопределило два взаимосвязанных плана повествования; перед читателем предстает романтический облик старой Одессы, в которой каждый дом — история, каждый камень — легенда, и в то же время перед ним стремительно проносятся бурные события

На снимке: обложка книги Й. Фарсакидиса «Первая родина», на которой он, будучи ребенком, снят на фоне знаменитой одесской лестницы.

Октябрьской революции и гражданской войны. Фарсакидис не просто воспроизводит сложную реальность эпохи, но и показывает, какой отклик находит она в душе маленького Йоргоса, как влияет на формирование мировоззрения будущего борца-коммуниста.

С тонким юмором в книге «Первая родина» описаны нравы и обычаи одесситов, дореволюционный быт одесских греков. Повесть богато иллюстрирована фотографиями из семейного альбома, репродукциями старых открыток, плакатов и воззваний революционного времени.

Газета греческих коммунистов «Ризоспастис» назвала повесть Й. Фарсакидиса среди лучших книг 1982 года.

ЕГИПЕТ

МЕМУАРЫ СЮЗАННЫ ТАХА ХУСЕЙН

«С тобой» — так называется книга воспоминаний Сюзанны Таха Хусейн — вдовы известного египетского писателя, ученого-филолога и критика Таха Хусейна (1889—1973), прозванного «дуайеном арабской литературы». Первоначально написанная по-французски, книга вышла недавно в каирском издательстве «Маариф» в переводе на арабский.

Таха Хусейн, слепой с раннего детства, познакомился со своей будущей женой, француженкой, в 1914 году в Париже, когда был студентом Сорбонны. В этой женщине, как писал он в посвящении к одной из своих книг, «был ему дарован свет после мрака, дружба после

одиночества и счастье после горя».

Обозреватель журнала «Джорнэл оф арабик литерачер» характеризует мемуары Сюзанны Таха Хусейн как «эмоциональные воспоминания верной спутницы великого человека».

Тот же журнал сообщает о выходе в свет еще одной книги, посвященной Таха Хусейну. Она принадлежит литературоведу Самиху Курайиму и называется «Таха Хусейн говорит». В книге излагаются взгляды и приводятся высказывания египетского писателя по самым различным вопросам — литературным, социальным и политическим.

ИТАЛИЯ

«СЕМЬЯ МАНДЗОНИ»

«У Джулии Беккариа были рыжие волосы и зеленые глаза. Родилась она в Милане в 1762 году. Отец ее происходил из знатной семьи, мать была дочерью полковника...» Так начинается новая книга итальянской писательницы Натальи Гинзберг-Леви «Семья Мандзони», вышедшая в издательстве «Эйнауди» в начале этого года. Н. Гинзберг часто брала за основу своих произведений семейные истории, как правило более или менее вымышленные. Достаточно вспомнить ее романы: «Вечерние голоса», «Семейные беседы» (издан в Советском Союзе), «Дорогой Мишель». На этот раз писательница остановила свой выбор на истории семьи писателя Алессандро Мандзони (1785—1873 гг).

Автор исторического романа «Обрученные», знакомого и советскому читателю, А. Мандзони вновь привлек к себе внимание современников.

К «обрученным» обратился Джованни Тестори. В апреле в миланском театре «Порта Романа» состоялась премьера его новой работы под названием «Испытание обрученных». Возрос интерес к писателю и у литературных критиков.

Семья Мандзони была довольно многочисленной: мать Джулия Беккариа, с описания которой начинается роман Гинзберг, сыграла немалую роль в судьбе сына. Но и она была подавлена авторитетом главного члена своей семьи — самого А. Мандзони. Наталья Гинзберг, однако, не сосредоточивает внимание только на нем, а довольно подробно описывает и остальных членов семьи. «Фигура Мандзони как бы смешивается с другими действующими лицами, — пишет критик Лоренцо Мондо в газете «Стампа», — она показана через восприятие его родственников и друзей. И не случайно каждую главу своего романа Н. Гинзберг называет по имени действующего в ней персонажа».

Семья Мандзони в рисунках различных художников.

О семье Мандзони осталось много документальных материалов: переписка, воспоминания, разного рода свидетельства. Н. Гинзберг решила сохранить верность историческим документам. Ее книга построена на монтаже фрагментов из писем, которыми обменивались с Мандзони его родные и близкие. «Мне бы хотелось, — говорит писательница, — чтобы моя книга читалась как роман, хотя в ней нет ничего вымышленного». «Началось все с чтения переписки семьи Мандзони,— рассказывает она в интервью журналу «Эуропео», — мало-помалу это увлечение переросло в желание понять, кто же были те люди, которые окружали писателя. Ведь нет полной биографии Мандзони. Есть книги о его молодости и о его последних годах уже после 1860 года. Большая же часть его жизни осталась неохваченной. Так я начала собирать письма. Многие из них уже были опубликованы. Некоторые я взяла в миланской библиотеке. Включила в книгу несколько новых писем его сына Энрико, а также почти все — любимой дочери Матильды. Я попыталась воссоздать историю жизни известной итальянской семьи, их взаимоотношения».

ЛИВАН

ВЫДАЮЩИЙСЯ АРАБСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Несмотря на крайне неблагоприятные условия, культурная жизнь в Ливане не замирает. Бейрутские издательства, хотя и не в том объеме, что раньше, продолжают выпускать книги ливанских писателей и поэтов, литераторов из других арабских стран. Продолжают работать театральные труппы, выходят, хотя и не с прежней регулярностью, литературные журналы, устраиваются культурные конференции и вечера.

Крупное событие этого года — отмечающееся ливанской общественностью 100-летие со дня смерти выдающегося арабского писателя, ученого, просветителя и филолога Бутруса аль-Бустани (1819—1883).

Бутрус аль-Бустани считается одним из столпов арабского культурного и литературного возрождения в XIX веке. До сих пор арабы, упоминая его имя, неизменно сопровождают его эпитетом «аль-Муаллим» — «Учитель».

В молодости аль-Бустани принял активное участие в создании первого научного перевода Библии на арабский язык. Он был одним

из руководителей «Сирийского научного общества», объединявшего передовую интеллигенцию Сирии и Ливана. С трибуны этого общества аль-Бустани призывал к прогрессу, к реформам в быту, в литературной и культурной жизни, в арабском языке. Он впервые в арабских странах выдвинул идею освобождения женщины. Аль-Бустани открыл первую национальную арабскую светскую школу — «Отечественное училище» в Бейруте.

Большие заслуги принадлежат аль-Бустани в становлении и развитии современного арабского литературного языка. Используя опыт современной ему европейской науки, он создал толковый словарь арабского языка «Мухит аль-Мухит» («Океан океана»), куда включил не только слова, встречающиеся в произведениях арабских классических писателей и поэтов, но и неологизмы, отвергавшиеся учеными-пуристами.

Позднее Бутрус аль-Бустани приступил к изданию первой арабской энциклопедии — «Даират аль-маариф» («Круг знаний»), которое продолжил после смерти просветителя его родственник Сулейман аль-Бустани. (Впоследствии Сулейман аль-Бустани прославился переводом «Илиады» Гомера на арабский язык, над которым работал 17 лет. Сам Б. аль-Бустани также выступал в качестве переводчика).

Бутрус аль-Бустани был одним из создателей арабской литературной прессы. В 1870 году он основал в Бейруте газету «Аль-Джанна» («Сад») и журнал «Аль-Джинан» («Сады»), вокруг которых группировались передовые арабские журналисты и писатели. На страницах «Аль-Джинан» увидели свет первые арабские романы, принадлежавшие перу сына Б. аль-Бустани — писателя и драматурга Селима аль-Бустани.

В связи со 100-летней годовщиной Бутруса аль-Бустани ливанские деятели культуры призывают на страницах прессы к более широкому изданию наследия этого крупного просветителя, к переизданию его трудов.

ЛИВИЯ

«ИСКУССТВО И ТЕАТР В ЛИВИИ»

По сообщению печати ливийско-тунисское издательство «Ад-Дар аль-Арабийя лиль-Китаб» опубликовало исследование Башира Мухаммеда Ариби «Искусство и театр в Ливии».

Как пишет автор, первый театр в Ливии начал функционировать в 1880 году. На его сцене в г. Триполи выступали иностранные — арабские и европейские — труппы.

Первая собственно ливийская театральная труппа была основана в 1936 году группой любителей — бывших выпускников Школы искусств и ремесел (этой труппе посвящена самая большая глава книги). Большое значение для развития ливийского театра имела также деятельность Рабочей труппы, которая дебютировала во время второй мировой войны.

В книге приводятся также интересные сведения о развитии музыкальной культуры в Ливии с древнейших времен.

Книга богато иллюстрирована фотографиями.

МЕКСИКА

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ КАРПЕНТЬЕРА

Мексиканское издательство «Сигло XXI» («Двадцать первый век») объявило об издании полного собрания сочинений знаменитого кубинского писателя Алехо Карпентьера в четырнадцати томах. Читатели уже получили два первых тома этого издания.

Директор «Сигло XXI», этого крупнейшего в Мексике издательства, Арнальдо Орфила Рейналь сообщил, что в предпринимаемое издание включаются романы, повести, новеллы, эссе и статьи писателя.

Выступая на торжественном акте по случаю выхода в свет первых томов собрания сочинений Карпентьера, мексиканский писатель Фернандо Бенитес заявил: «Мексика, единственная латиноамериканская страна, которая никогда не переставала быть сестрой революционной Кубы, ныне первой выпускает полное собрание сочинений великого кубинского писателя».

На торжественном акте выступили также заместитель директора Центра культурного развития имени Алехо Карпентьера при министерстве культуры Кубы Омар Гонсалес, венесуэльский литературовед профессор Маркес Родригес, мексиканский поэт Давид Уэрта, подчеркнувшие огромное влияние творчества Алехо Карпентьера на современную литературу Латинской Америки.

МОНГОЛИЯ

«НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ О РОМАНЕ»

Отличительная черта монгольской литературы последних десятилетий — бурное развитие романа. Недавно в газете «Утга зохиол урлаг» появилась обзорная критическая статья Д. Ульзийбаяра «Некоторые суждения о романе», в которой дан краткий анализ вышедших в последнее время произведений таких известных прозаиков, как Л. Тудэв, Ш. Нацагдорж, С. Лочин, Н. Банзрагч, Л. Чойжилсурэн, О. Цэндсурэн и других. Горячий отклик читателей вызвали романы видных монгольских писателей Л. Тудэва «Первый год республики» и Ш. Нацагдоржа «Мудрая ханша Мандахай».

«Первый год республики» повествует о событиях 1924 года, в частности, III съезде МНРП, принявшем в качестве генеральной линии партии курс на развитие страны по некапиталистическому пути, Первом Великом Народном хурале, провозгласившем Монголию Народной республикой и утвердившем первую Конституцию страны. В центре романа — простой арат Батсаны, но наряду с вымышленными героями показаны и реальные исторические личности — премьер-министр Цэрэндорж, выдающийся политический деятель Чойбалсан.

В романе показана борьба народа за революционные преобразования, а также потерпевшие неудачу попытки контрреволюционеров, лам, колонизаторов вернуть Монголию на путь феодализма и колониализма.

История жизни прославившейся в средневековой истории Монголии, умной, отважной женщины, ханши Мандахай легла в основу эпического произведения Ш. Нацагдоржа «Мудрая ханша Мандахай». Противоречия монгольского общества того времени, раздираемого междоусобной борьбой, показаны на примере двух героев-антиподов — Сатая и Нисмана. Мастерски выписан образ главной героини, пламенной патриотки Мандахай, которая борется за объединение монгольских княжеств, за возрождение силы и могущества родины.

Автор популярных произведений о современности С. Лочин, обратившись к историко-революционной теме, создал роман «Поиски судьбы». В последнее время в романах все чаще говорится о событиях второй мировой войны. В романах Л. Содова «Росный вечер» и М. Чойжила «Судьба встречи» показана жестокость войны, ее растлевающее воздействие на души людей. В этих книгах прослеживается неразрывная связь судеб отдельных личностей и страны, красной нитью проходит мысль об ответственности человека перед обществом.

Автор многих полюбившихся читателю романов Н. Банзрагч создал роман о Халхин-Голе, который так и называется «Халхин-Гол».

Историко-революционная тема, преобладающая в романах последних лет, однако, не заслоняет собой современность. Примером этого могут служить два последних романа Л. Чойжил-

сурэна «Речные перекаты» и «Характер» О. Цэндсурэна. Оба романа — о рабочем классе, в обоих подняты острые нравственные проблемы. Роман Л. Чойжилсурэна продолжает сюжет его предыдущего произведения — «Травы в росе».

«Перед романистами, — заключает свою статью Д. Ульзийбаяр,— стоит задача преодоления схематизма в изображении положительных и отрицательных героев, более полного охвата исторических событий».

В ознаменование 150-летия со дня рождения Бьёрнстьерне Бьёрнсона, классика норвежской литературы, телевидение Норвегии осуществило, с выходом на всю Скандинавию, постановку исторической драмы «Мария Стюарт, королева Шотландии» — одного из ранних произведений писателя. Режиссер телеспектакля — Пер Бронкен, главные роли исполняют Луиза Танк (Мария Стюарт) и Бьёрн Скагестад (герцог Босуэл).
На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Ланд ог фольк»)

НОРВЕГИЯ

«СТРАНСТВИЕ СКВОЗЬ НАШЕ ВРЕМЯ»

«Забытым светочем» с горечью называет корреспондент газеты «Арбейдербладет» Нурдаля Грига в связи с тем, что юбилей выдающегося норвежского поэта и борца-антифашиста в прошлом году — 80 лет со дня рождения — был обойден молчанием. Единственным, пожалуй, событием в связи с этим явился выход в свет книги Мартина Нага и Финна Петерсена «Странствие сквозь наше время», в которой собраны интервью, статьи и письма Грига за период с 1933 по 1940 год. Среди них много совершенно новых, неизвестных ранее материалов. Например, речь Грига на Международном конгрессе писателей в 1937 году.

В письмах, опубликованных впервые, особенно явственно проявилась любовь Грига к русскому народу, русской культуре, русскому театру. В книге есть свидетельства о встречах Грига с видными деятелями нашего театра: Мейерхольдом, Таировым, Охлопковым. Неизгладимые впечатления произвели на Грига встречи с главным режиссером грузинского театра имени Руставели Сандро Ахметели, который стремился возродить в грузинском театре традицию народных праздненств. Мысль Ахметели о необходимости изучать национальные обряды и обычаи находила живой отклик в сердце норвежского поэта.

В своей эстетической программе Нурдаль Григ стоял за «народную культуру», он был глубоко убежден, что «искусство должно принадлежать народу» и при этом опираться на народную, национальную традицию, без которой «оно мертво». Нурдаль Григ не признавал аполитичного искусства. «Аполитичный человек подобен евнуху,— говорил он.— Искусство должно бороться за всесторонне развитую, гармоническую человеческую личность».

Многие высказывания Грига, приводимые в книге, звучат очень актуально и сейчас. В них проявилась политическая прозорливость Грига, который говорил уже в начале 30-х годов о том, что банды коричневорубашечников приведут мир к новой войне. С горькой иронией корреспондент газеты «Арбейдербладет» говорит о необходимости поучиться у Грига многим так называемым сегодняшним социалистам, которые «боятся самого слова «социализм».

Сборник «Странствие сквозь наше время» добавляет новые штрихи к портрету замечательного поэта и пламенного патриота.

РУМЫНИЯ

ЭКРАНИЗАЦИЯ ПОВЕСТИ М. САДОВЯНУ

Фильм режиссера Стере Гули «Медвежий глаз», поставленный по одноименной повести М. Садовяну (см. «ИЛ», 1980, № 10), по мнению рецензентов, — свидетельство зрелого и тонкого прочтения создателями фильма одного из самых глубоких произведений румынской литературы.

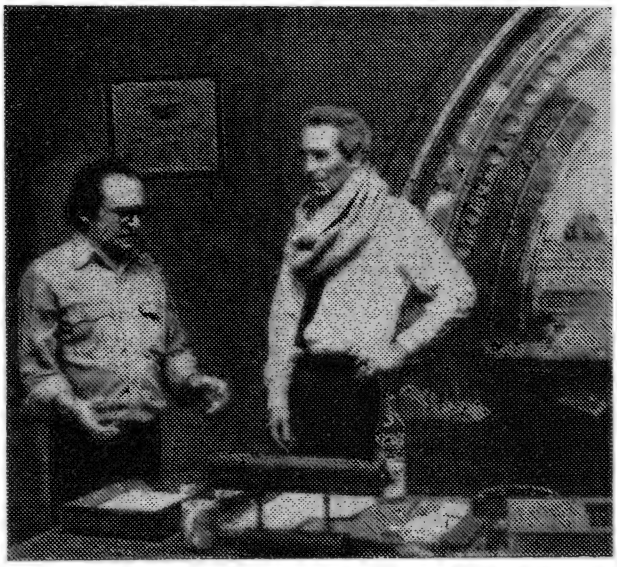
Тщательно следуя за главным героем картины, егерем Кули, «по лабиринту лесных троп и жизненных страданий», авторы фильма не

На снимке: Драгош Пыслару и София Виковянка — исполнители главных ролей в фильме по повести Михаила Садовяну «Медвежий глаз».

(Газета «Ромыния литерарэ»)

стремились, однако, к точной передаче содержания повести. Главную свою задачу они видели в том, чтобы верно отразить дух произведения Садовяну. Именно поэтому «Медвежий глаз» оказался первой удачной экранизацией произведения писателя. Внимание создателей фильма привлекла не событийная канва, а комплекс сложных философско-гуманистических проблем, поставленных в произведении. История нравственного обновления героя (преодоление им душевного надлома, вызванного потерей любимого человека) решена в фильме в свете общечеловеческой проблемы единения с природой, согласия с законами разума. В фильме, отмечает рецензент, верно передана главная идея произведения, утверждающая, что в основе жизни лежат не мистические враждебные силы, а естественные законы природы. Фильм, как и повесть, отвергает идеологию иррационализма.

Фильм «Медвежий глаз», по мнению критики,— важное событие в румынской кинематографии.



Популярный американский актер Пол Ньюмен снялся в фильме Сидни Люмета «Вердикт» по роману Барри Рида. Сидни Люмет, известный советским зрителям по фильму «Двенадцать разгневанных мужчин», в новом фильме опять поднимает вопросы американского судопроизводства. Это фильм о человеке, который пытается обрести самого себя, противостоять коррупции, продажности людей, призванных защищать закон.
На снимке: кадр из фильма «Вердикт».

(Журнал «Американ филм»)

США

ПИСЬМА АРЧИБАЛЬДА МАКЛИША

В бостонском издательстве «Хафтон Миффлин» вышел почти пятисотстраничный том избранной переписки недавно умершего поэта Арчибальда Маклиша (1892—1982). Публикация писем крупного писателя всегда становится приметным событием в литературной жизни. Не только потому, что эти письма помогают читателям и критикам лучше представить себе психологический, духовный облик писателя, его общественную позицию и взгляды, но еще и потому, что эти письма всегда несут на себе отпечаток творческой индивидуальности, органично дополняют литературное наследие их автора.

А. Маклиш, пишет в связи с выходом его переписки литературно - критический еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью», прожил долгую жизнь. Как неоднократно отмечали критики, в его поэзии своеобразно воплотились творческие искания многих поколений американских поэтов. В 10-е годы Маклиш выступил со стихами, выдержанными в возвышенном, неоромантическом духе (один из его ранних сборников демонстративно назывался «Башня из слоновой кости»). В 20-е годы, поддавшись модному тогда среди американской творческой молодежи увлечению Парижем, он приехал во французскую столицу, где сблизился с другими «изгнанниками» — Т. С. Элиотом, Э. Паундом, Э. Э. Каммингсом, Э. Хемингуэем. С последним завязалась дружба, историю которой воссоздают четыре десятка писем, помещенных в только что изданной книге.

30-е годы, когда Маклиш вернулся на родину, стали наиболее плодотворным периодом в его творчестве, периодом обострения социального видения поэта, прихода к глубокому осознанию ответственности поэзии перед обществом и историей. Не случайно поэт в то время активно включился в общественную деятельность. В 1937 году он председательствовал на Втором съезде американских писателей, проводившемся под лозунгом борьбы за спасение мировой культуры от фашистского варварства. В 1939 году, по личной просьбе президента Рузвельта, он стал директором Библиотеки конгресса, впоследствии занимал ряд государственных постов, а после войны стал одним из инициаторов создания ЮНЕСКО.

Общественная деятельность, отнимавшая немало времени, не отрывала Маклиша от творчества. Вплоть до последних лет жизни поэт оставался заметной фигурой на горизонте американской поэзии. Лучшие стихи Маклиша — это открытый, честный, страстный разговор со своим современником. Это и разговор со своим временем, к которому поэт обращался как свидетель и как участник поворотных исторических событий в жизни Америки.

УР

ПАТРИАРХ УРУГВАЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Год назад в августе, в возрасте 95 лет, в Монтевидео скончался старейший уругвайский поэт Карлос Сабат Эркасти, один из основоположников авангардистского направления, формировавшегося в латиноамериканской литературе в последние годы первой мировой войны и сразу после ее окончания. Его стихи переводились и на русский язык. По оценке известного чилийского историка литературы Артуро Торреса-Риосеко, Сабат Эркасти — «поэт космических масштабов». И действительно, для творчества Сабата Эркасти с присущим ему разнообразием тем и многообразием поэтических форм характерны романтическая приподнятость, напряженность образной структуры, крупномасштабность средств поэтической изобразительности.

Однако «вселенские чувства» составляют лишь часть содержания поэтического творчества Сабата Эркасти. В его поэзии нашла отражение и конкретная действительность Уругвая — своеобразие его природы,

его людей, особенности народного мироощущения в ту или иную историческую эпоху.

Основные произведения Сабата Эркасти — «Книга желаний», «Книга сердца», «Книга любви», «Книга времени» «Книга моря», «Книга посланий», «Симфония реки Уругвай», «Поэма о бессмертной Еве» — образуют единый поэтический цикл под названием «Поэмы о человеке». За несколько дней до смерти девяностопятилетний поэт послал свои последние стихи на конкурс латиноамериканской поэзии, проводившийся мексиканским журналом «Плюраль». Стихи Сабата Эркасти были удостоены специального упоминания жюри.

Теоретический орган Коммунистической партии Уругвая, журнал «Эстудиос», отметил в свое время, что кончина писателя — невосполнимая потеря для уругвайской литературы и культуры.

На снимке: сцена из спектакля «Мио, мой Мио!».

(Газета «Хювюдстадсбладет»)

ФИНЛЯНДИЯ

«МИО, МОЙ МИО!» НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ

В репертуаре финского театра «Турун Каупунгин» немало пьес шведских писателей и драматургов, таких, как П. У. Энквист, Я. Сёдерберг, А. Плейель. А совсем недавно на сцене этого театра появилась еще одна шведская пьеса: режиссер Таисто-Бертиль Орсмаа поставил на малой сцене спектакль по повести-сказке Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!», хорошо известной и в нашей стране.

Думается, что в наше тяжелое и напряженное время, когда над миром нависла угроза термоядерной войны, пишет рецензент газеты «Хювюдстадсбладет», режиссер Орсмаа не случайно выбрал эту сказку Астрид Линдгрен, где писательница в увлекательной и доступной детям форме рассказывает об извечной борьбе добра со злом. Добро воплощено в самом обыкновенном мальчике Бу Вильхельме Ульссоне, получившем в спектакле, как и многие другие герои, финское имя Вилле-Пекка Пеннанен. Он воображает себя сказочным принцем Мио, и, несмотря на страх и отчаяние, готов ради спасения несчастных, обездоленных людей и всего живого на земле пожертвовать собственной жизнью и вступить в единоборство с черным рыцарем Като с каменным сердцем и железным когтем, жестоким повелителем Страны Чужедальней, превращенной им в мертвую пустыню, над которой никогда не восходит солнце.

Несмотря на некоторые расхождения с книжным вариантом, режиссер Орсмаа твердо выдерживает основную линию книги: постепенное превращение слабого, одинокого мальчика, бывшего воспитанника приюта, взятого оттуда чужими и недобрыми людьми, в отважного рыцаря без страха и упрека. Спектакль Орсмаа, как и книга Линдгрен, дает детям понять: только в борьбе с трудностями и препятствиями крепнет и мужает человек, только активная борьба со злом, а не пассивное созерцание дает ему право на звание Человека.

Созданию сказочного настроения способствуют всевозможные световые эффекты в сочетании с особым сценическим приемом так называемого «черного театра», когда на темной сцене с помощью одетых в черное актеров, выкрашенного светящимися красками реквизита и особой подсветки происходит волшебство: из бутылки вылетает дух, парит в воздухе меч, а главное — с большой таинственностью обставляется появление самого рыцаря Като.

Спектакль, поставленный Таисто-Бертилем Орсмаа, как отмечает критика, понастоящему сказочный и смотрится с захватывающим интересом.

ФРАНЦИЯ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ СЛОВАРЯ «ЛАРУССА»

«...Воистину, это памятник, который вы воздвигли девятнадцатому веку», — писал Виктор Гюго французскому лексикографу Пьеру Ларусу, создателю Большого универсального словаря в пятнадцати томах. Его первое издание появилось во Франции в 1863—1876 годах, позднее вышло несколько дополнений. Содержащий богатую информацию, удобный в обращении, словарь быстро завоевал популярность и неоднократно переиздавался. В 1898—1904 годах было подготовлено издание «Нового иллюстрированного Ларусса», в 1933 году появился «Ларусс двадцатого века», а на рубеже 60-х годов увидел свет «Большой энциклопедический Ларусс».

Недавно выпущены первые два тома нового издания «Большого энциклопедического словаря Ларусса». Еще восемь томов этого фундаментального издания выйдут в свет до конца 1985 года. В постоянную редакционную коллегию нового «Ларусса» входят более ста человек и восемьсот внештатных сотрудников — квалифицированные специалисты в различных областях науки и культуры. В нынешнее издание включено 100 000 слов вместо 75 000 предыдущего издания. Научные статьи словаря пополнились новыми терминами, которые дала нам наука за последние двадцать лет. Особенно много дополнений в области космонавтики: появилась статья, посвященная слову «спутник», советско-американскому полету «Союз» — «Аполлон» и другие. Широко представлена и культура. В конце каждой статьи имеется подробная библиография.

Своей популярностью «Ларусс» отчасти обязан и тому, что в нем находятся в близком соседстве различные пласты языка: литературный, разговорный, арго, научный, профессиональный. Эта традиция продолжена и в нынешнем издании.

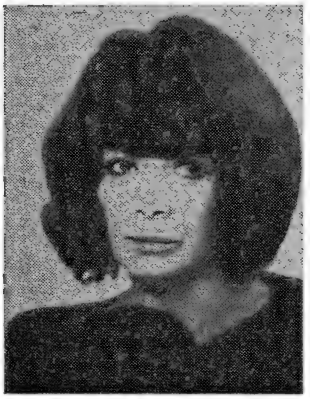
Большое значение авторы словаря придают иллюстративному материалу. Например, только в первом томе помещено 1185 рисунков, 1140 фотографий и 138 карт.

А всего в десяти томах словаря будет 14 000 фотографий, 10 000 схем и рисунков.

Переиздание прославленного энциклопедического словаря с интересом встречено не только во Франции, но и за рубежом, где еще в прошлом веке «Ларусс» приобрел немало почитателей.

ПОЭЗИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

Недавно во Франции начала действовать Служба поэтической информации. Набрав определенный номер телефона, каждый любитель французской поэзии может услышать пятиминутное сообщение о стихотворных сборниках, вышедших за последнее время в крупнейших издательствах, о фестивалях поэзии, поэтических представлениях, репер-



Корреспондент газеты «Юманите» взял интервью у известной певицы Жюльетт Греко в связи с выходом в свет книги певицы, в которой она рассказывает о своем творческом пути, о своих гастролях, в частности о поездке в США, где в одном из нью-йоркских отелей отказались обслужить музыкантов из ее оркестра, потому что они не белые. Певица гневно выступает против расизма, она борется за свободу творчества, мысли, за мир, о чем и поет в своих песнях.
На снимке: Жюльетт Греко.

туаре чтецов. Затем следует чтение нескольких стихотворений классиков французской литературы (Бодлера, Лафонтена, Рембо, Элюара и других) и молодых начинающих поэтов. Эта своеобразная программа обновляется ежедневно. Создатель и вдохновитель необычной телефонной службы — Жан-Пьер Росней, один из самых активных энтузиастов французской поэзии, основатель Клуба поэтов и Международного фестиваля поэзии в Париже.

По мнению Ж.-П. Роснея, нельзя мириться с тем положением, которое занимает поэзия в культурной жизни современной Франции. Имея в виду ее упадок, он назвал свою «телефонную программу» «Чрезвычайное положение». «Мы должны вывести поэзию из того гетто, в котором она сейчас обретается,— говорит Ж.-П. Росней.— Необходимо как можно скорее ликвидировать дефицит поэтического слова, возродить интерес к творчеству таких поэтов, как Рембо и Элюар, искусство которых является «массовым» в самом прекрасном смысле этого слова».

Новая телефонная служба имеет большой успех — ежедневно ею пользуется несколько тысяч человек. Организаторы программы получают до сорока писем в день, и, судя по всему, у них есть абоненты не только во Франции, но и в Бельгии и Швейцарии.

ФРГ

РИСУНКИ ГЮНТЕРА ГРАССА

Издательство «Лухтерханд» выпустило книгу рисунков, которые создал писатель Гюнтер Грасс в 1954—1977 годах. Рисунки сопровождаются текстами, возникшими в то же время.

«Редко в чьем творчестве,— пишет по этому поводу критик Хайнц Людвиг Арнольд в еженедельнике «Вельтвохе», — так тесно и так последовательно связаны литература с изобразительным искусством».

Как известно, Гюнтер Грасс получил художественное образование, начинал работать как скульптор и график и лишь впоследствии стал писать. Но даже в пору наибольших литературных успехов он не оставлял занятий графикой и скульптурой, а в последние годы обращается к ним все более активно. В 1979 году, завершив повесть «Встреча в Тельгте» («ИЛ», 1983, № 5), он сам назначил себе перерыв в литературной работе (который выдерживает до сих пор) и вернулся к скульптуре. За последние два года, замечает Хайнц Людвиг Арнольд, он создал около 100 фигур и барельефов.

«Две профессии Гюнтера Грасса...— пишет критик в связи с выходом книги рисунков,— это два разных способа выразить одни и те же идеи, темы, мотивы. Они тесно связаны между собой. Графика находит пищу в литературном творчестве, но она не является просто его иллюстрацией, изобразительной парафразой словесных образов. Литература и графика взаимно дополняют, проясняют, обогащают друг друга. Они порождены общим миром идей».

В книге собраны рисунки, сделанные разной техникой: пером, мелом, карандашом, углем. Их мотивы и образы перекликаются с мотивами и образами помещенных рядом текстов: тут петухи и улитки, поварихи и монахини, персонажи, знакомые читателю по романам Грасса. Очень редко, и то лишь в наиболее ранних работах, встречаются абстрактные мотивы, но и за ними угадывается предметная основа.

«Мотивы его искусства не конструкции, рождающиеся в мозгу,— пишет по этому поводу критик,— они связаны с реальностью... Здесь все конкретно, иногда гротескно...»

СОКРАЩАЕТСЯ ВЫПУСК КНИГ

Ухудшение экономического положения в стране пагубно сказывается на выпуске книг. Как показывают недавно полученные статистические данные, в 1981 году выпущено на 8000 названий меньше, чем в предыдущем. В ФРГ подобная статистика учитывает не только новинки, но и переиздания. Газета «Франкфуртер альгемайне» отмечает, что книг, выходящих впервые, это сокращение коснулось вдвое сильней, чем переизданий.

Наиболее сильно сократился выпуск книг по философии и религии. Значительно меньше стало выходить книг и по естественным наукам. В то же время увеличилась доля дешевых, так называемых «карманных» изданий. Сейчас каждая седьмая книга в ФРГ выходит «карманным» форматом, отмечает газета.

В области переводной литературы все еще доминируют англоязычные книги: они составляют две трети всех изданий. Это вызывает озабоченность, поскольку ослабляется знакомство с литературами других, особенно малых народов, пишет «Франкфуртер альгемайне».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВЫЙ РОМАН З. ПЛУГАРЖА

Одним из самых заметных явлений в культурной жизни Чехословакии стал выход в свет нового романа З. Плугаржа «В шесть вечера в «Астории». Видный чешский критик Ш. Влашин называет это произведение лучшим романом десятилетия и отмечает, что З. Плугарж принадлежит к тем немногим современным писателям, которые соблюдают все законы жанра при создании большого эпического полотна. Новая книга известного чешского прозаика (многие его произведения были, кстати, переведены в нашей стране — «Если покинешь меня», «Конечная остановка» и др.) охватывает четверть столетия и повествует о судьбах нескольких одноклассников.

Начало романа «В шесть вечера в «Астории» относится к 1945 году, когда семеро выпускников и бывший их преподаватель Крчма отправляются в поход в Татры, чтобы отметить окончание гимназии. Поход едва не завершился трагически: один из семерых заблудился в бурю и чуть не погиб. Пережитые волнения еще больше сближают участников похода, и они, найдя наконец друга, дают обещание навсегда сохранить верность юношеской дружбе.

Различно складывается жизнь друзей. Наиболее богатая событиями судьба у биолога Мариана. После получения государственной премии за изобретение важного лекарства он начинает несколько переоценивать себя, забывая о том, что в открытии принимали участие еще двое ученых. Подчас он хитрит, лжет, идет на

сделку с совестью. Однако то доброе, что было присуще ему и за что любил его старый Крчма, одерживает верх; Мариан даже испытывает радость, когда рушится его карьера, стоившая ему немалых усилий.

Трагично складывается судьба Ивонны, первой красавицы класса, она мечтает стать кинозвездой, уезжает в поисках удачи в Западную Германию, работает там сперва «фотомоделью», затем барменшей, но, чувствуя, что не может более оставаться вдали от дома, возвращается в Чехословакию.

Жизненны, убедительны и другие персонажи этого сложного, многопланового произведения.

Плугарж рассказывает о кризисе конца 60-х годов. Он показывает, как герои книги относились к событиям того времени, как вели себя в тот сложный период истории Чехословакии. Жизнь развела их по разные стороны баррикады, и не все, к сожалению, приходят к осознанию своих ошибок. Например, Руженка (сначала библиотекарь, потом — редактор в издательстве), более всего отошедшая от заветов учителя Крчмы, в период политического кризиса оказывается в стане врагов социализма.

Роман «В шесть вечера в «Астории» состоит из нескольких больших глав, обрамленных прологом и эпилогом. Пролог — это экскурсия в Татры, эпилог — встреча в «Астории» после похорон старого Крчмы, на которой Мариан, как бы вновь заставляя своих одноклассников и читателей вернуться к тому давнему походу, вспоминает слова учителя: «Будьте порядочными, мужественными и великодушными людьми!» Это звучит как призыв быть верными идеалам юности, и у героев романа З. Плугаржа есть чему следовать.

ШВЕЙЦАРИЯ

ИНТЕРЕС К ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

«Неприметные книжки малоизвестных авторов расходятся большими тиражами. Эти книги созданы на основе магнитофонных записей: о себе и о своей жизни рассказывают старые люди, которые никогда не помышляли о писательской деятельности»,— так пишет в еженедельнике «Вельтвохе» критик Клара Обермюллер о новом для швейцарской литературной жизни явлении.

Автор напоминает, как начиналась много лет назад «литература протоколов», когда слово взяли люди, «ничем не знаменитые, не прославившиеся никакими приключениями, не имевшие особых заслуг: они просто жили и были свидетелями своего времени». Среди тех, кто первыми поднимал эту «литературную целину», не случайно много женщин: Эрика Рунге, Лаура Висс, Макси Вандер и другие. «Им есть, что сказать, но порой не хватает уверенности в себе, чтобы начать». И тут на помощь приходит магнитофонный «протокол». В результате появляются «человеческие документы, обладающие высокой степенью достоверности». Их успех обусловлен тем, что у читателя возникла потребность в литературе такого рода.

Прошлой осенью несколько швейцарских издательств одну за другой выпустили ряд таких книг. Среди них и «Бурные времена» (изд-во «Циттглогге»», Берн), «Записки служанки» (изд-во «Зое», Женева), «Почему ты не защищалась?» и «Я, Аделина, акушерка» (изд-во «Лиммат», Цюрих).

Различны судьбы людей, которые рассказывают о себе в этих книгах, различны истории возникновения этих книг. Мадлен Ламуй («Записки служанки»), выросшая в бедной семье, еще девочкой пошла «в услужение», работала у разных хозяев по девяносто часов в неделю, получая ничтожное жалованье, почти без отдыха. Мадлен никогда не пришло бы в голову рассказывать кому-либо о своей жизни, пока ее не разыскал и не принялся расспрашивать внук бывших ее хозяев. «Прошлое,— пишет в своем послесловии выпустивший эту книгу Люк Вайбель,— бросало тень на всю мою жизнь, гораздо большую, чем я сам думал. Мадлен рассказала историю своего рабства и сделала меня свидетелем». Книга, родившаяся в результате двух лет совместной работы, вышла сначала на французском языке, а после громкого успеха в Западной Швейцарии была переведена на немецкий.

Розалия Венгер («Почему ты не защищалась?»), в отличие от других, начала писать о своей жизни сама еще в шестидесятом году, когда ей было пятьдесят четыре года. Ее первая книга «Розалия Г.» появилась в 1978 году, и благожелательные отклики поощрили автора продолжить работу. В книге «Бурные времена» Ханни Г. и Вальтер Х. «два средних швейцарца, ей 80 лет, ему 84», рассказывают о себе молодым людям, которые хотят знать, «как из того времени получилось сегодняшнее». «Возникшие таким путем документы,— пишет критик,— захватывают больше, чем рассчитанные на увлекательность романы. Швейцария здесь видится во многом по-новому, словно издалека... Это наша история, наше столетие, увиденное глазами тех, кто жил в потемках, тех, кого, как выразился Брехт в «Трехгрошовой опере», никто не видит и видеть не хочет. За то, что мы их все-таки видим сейчас, за то, что они заговорили и другие услышали их голоса, мы должны быть признательны людям, которые... стали рупорами бессловесных».

Простые люди, подлинные герои этих книг, не чувствуют себя пассивными жертвами эксплуатации. Они рассказывают, как боролись за социальные улучшения, и по праву гордятся тем, чего добилось их поколение. Однако во всех рассказах явственно слышится горечь. «Особенно трудно осуществить свои способности женщинам,— констатирует Розалия Венгер (само название книги которой «Почему ты не защищалась?» многозначительно),— потому что общество хочет иметь женщин услужливых, отупевших, не способных думать, легко поддающихся чужой воле и притом сохраняющих видимость счастливых людей».

ШВЕЦИЯ

РАССВЕТ МЕРЗЛОТЫ

До недавнего времени Стаффан Сёдерблом был известен в Швеции как автор нескольких поэтических сборников. И вот этой осенью он дебютировал как прозаик — издательство «Нордстедтс» выпустило книгу писателя «Рассвет мерзлоты», посвященную восстанию саами в Норвегии в 1852 году.

Роман рассказывает о борьбе саами с произволом местных властей, принявшей форму религиозного движения. Секта, называвшая себя «святыми» или «ангелами», ратовала за восстановление религии отцов, свободной от давления церкви и земной власти.

Как отмечает рецензент журнала «Метальрбетарен», основная проблема книги — проблема отношения ее главного героя, молодого священника, к трагическим событиям, то есть, по существу, «извечный вопрос» отношения интеллигенции к революции. Молодой священник, прекрасно понимая причины и цели движения саами и сочувствуя им, все же не решается принять их сторону. Стаффан Сёдерблом показывает, как двойственность, классовая принадлежность, нерешительность и ложно понятое чувство долга ведут к оппортунизму.

Рецензент высоко оценивает художественные достоинства «Рассвета мерзлоты»: «За внешним бесстрастным, лаконичным и сжатым повествованием скрывается активная авторская позиция».

Авторы этого номера

МАХМУД ДЕРВИШ (род. в 1941 г.).

Палестинский поэт. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», премии «Лотос» и др. До 1971 г. жил в Израиле, неоднократно был репрессирован за политическую деятельность, в последующие годы — в Бейруте — редактировал журнал «Палестинские дела». Автор многих сборников стихов, в том числе «Листья олив» (1964), «Палестинский возлюбленный» (1966), «Конец ночи» (1967), «Любовь или не любовь» (1972), поэм «Дневник привычной грусти» (1973), «Портрет любимой...» (1975), «Бейрут — наша последняя звезда» (1981), «Песнь Высокой тени» (1982).
В русском переводе стихи М. Дервиша печатались в антологиях, в «Иностранной литературе» (1970, № 10) и других журналах.

МУИН БСИСУ (род. в 1930 г.).

Палестинский поэт. Лауреат премии «Лотос». М. Бсису один из первых был удостоен высшей награды Организации Освобождения Палестины — «Щит палестинской революции». В 50-е и 60-е годы вышло много сборников его стихов, среди них «Письма», «Распятая Иордания», «Палестина в сердце», «Деревья умирают стоя». В 1979 г. в Бейруте издательство «Дар аль-Ауда» выпустило двухтомник его избранных стихов и пьес. М. Бсису принадлежат также сборник репортажей и документальной хроники «Газа. Сопротивление продолжается» (1975), книга «Палестинские тетради» (1980) — о годах, проведенных в тюрьме. В русском переводе его стихи составили сборники «Родина в сердце», «Стихи на оконных стеклах», «Визитная карточка», печатались в «Иностранной литературе» (1970, № 2) и других изданиях.
Поэма «Письмо израильскому солдату», написанная совместно с М. Дервишем, была напечатана в августе 1982 г. в газете палестинского Сопротивления «Аль-Маарака» («Битва»), издававшейся в Бейруте.

КАЗАКОВА РИММА ФЕДОРОВНА

Советский поэт. Печатается с 1955 г. Автор многих сборников стихов, среди них «Встретимся на Востоке» (1958), «Пятницы» (1965), «Елки зеленые» (1969), «Снежная баба» (1972), «Помню» (1974), «Набело» (1977), «Страна Любовь» (1980), «Пробный камень» (1982). Переводит советских национальных и зарубежных поэтов. За переводческую деятельность Союзом писателей УзССР отмечена премией имени С. Бородина.

МАРТИН ВАЛЬЗЕР — MARTIN WALSER (род. в 1927 г.).

Немецкий писатель, драматург, публицист (ФРГ). Окончил Тюбингенский университет. Литературную деятельность начинал как режиссер, автор радиопьес и рассказов. Автор трилогии «Половина игры» («Halbzeit», 1960), «Единорог» («Das Einhorn», 1966), «Крушение» («Der Sturz», 1973), романов «Болезнь Галлистля» («Die Gallistl'sche Krankheit», 1972), «Труд души» («Seelenarbeit», 1979), «Лебединый дом» («Das Schwanenhaus», 1980).
«Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством М. Вальзера, опу-

бликовав его очерк «Наш Освенцим» (1966, № 10), пьесу «Дуб и кролик» (1974, № 2), роман «По ту сторону любви» (1979, № 6). На русский язык переведены также роман «Супружества в Филлиппсбурге» и рассказы (М., «Прогресс», 1979).
Повесть «На полном скаку» вышла во Франкфурте-на-Майне в издательстве «Зуркамп» в 1978 г. («Ein fliehendes Pferd». Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1978).

КАРЕЛЬСКИЙ АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (род. в 1936 г.).

Советский литературовед, критик, переводчик. Кандидат филологических наук. Автор статей о немецких и австрийских писателях XIX — XX вв. (Г. Клейсте, Г. Бюхнере, К. Ф. Геббеле, Р.-М. Рильке, Р. Музиле), о литературе ФРГ. В числе переводов с немецкого — трагедии Геббеля «Агнеса Бернауэр», «Гиг и его кольцо», повести Х. Додерера «Последнее приключение», У. Пленцдорфа «Новые страдания юного Вертера» («ИЛ», 1973, № 12), новеллы Р. Музиля («ИЛ», 1980, № 8).

КРИСТОФЕР ПРИСТ — CHRISTOPHER PRIEST (род. в 1943 г.).

Английский писатель-фантаст. По окончании школы на севере Англии переехал в Лондон, где в течение девяти лет работал бухгалтером. С 1968 г. стал профессиональным писателем.
Автор шести романов: «Под влиянием эксперимента» («Indoctrinaire», 1968), «Фуга темнеющему острову» («Fugue for a Darkening Island», 1972), «Грезы о Вессексе» («A Dream of Wessex», 1980), Подтверждение»(«The Affirmation», 1983). На русском языке издан роман «Машина пространства» («The Space Mashine», 1976).
Роман «Опрокинутый мир», публикуемый в этом номере в журнальном варианте, вышел в Лондоне в издательстве «Фабер энд Фабер» («Inverted World». London, Faber and Faber, 1974, 1979).

БИТОВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ (род. в 1932 г.).

Советский журналист, критик, переводчик с английского.
В его переводе выходили романы А. Кларка «Свидание с Рамой», «Фонтаны рая», повести и рассказы К. Саймака, Р. Брэдбери, А. Азимова, М. Крейтона и др. Автор статей по английской и американской литературам.

СЕСАР ВАЛЬЕХО — CÉSAR VALLEJO (1892—1938).

Перуанский писатель — поэт-прозаик. Филолог по образованию.
Автор сборников стихов «Черные герольды» («Los heraldos negros», 1918), «Трильсе» («Trilce», 1923), «Испания, да минует меня чаша сия...» («España, aparta de mi este cáliz», 1939), романа «Вольфрам» («El tungsteno», 1931). Посмертно стихи периода 1923—1938 гг. опубликованы в книге «Человечьи стихи» («Poemas humanos», 1939). В русском переводе издан роман «Вольфрам» и поэтический сборник «Черные герольды», в который вошли стихи из одноименной книги, а также циклы стихов из других сборников.
Предлагаемая подборка стихов составлена по изданию полного собрания сочинений С. Вальехо («César Vallejo. Obra poética completa». Lima, Perú, Francisco Moncloa Editores, 1968).
Проза взята из полного собрания сочинений С. Вальехо, издания 1973 г., тома I—II (César Vallejo. Obras completas». Lima, Mosca Azul Editores, 1973).

ГЕЛЕСКУЛ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.).

Советский переводчик. В его переводе с испанского публиковались стихотворения Ф. Гарсиа Лорки, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др., с польского — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского, с французского — П. Верлена.

МАЛИНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ РОДИОНОВНА

Советский филолог-испанист, кандидат филологических наук, переводчик с испанского. Автор статей по испанской литературе. Переводила произведения Х. Марти, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки, А. Матуте, Р. Дарио и др.

АНАСТАСЬЕВ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ (род. в 1940 г.).

Советский критик и литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Фолкнер. Очерк творчества» (1976), «Разочарования и надежды» (1979), «Творчество Эрнеста Хемингуэя» (1981) и ряда статей о писателях США XX в.

ЯЦКОВСКАЯ КЛАРА НИКОЛАЕВНА

Советский литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с монгольского. Автор монографий и статей по истории монгольской литературы, переводчик и составитель книг современной монгольской поэзии и прозы.

ДЖОНАТАН ЛИНН — JONATHAN LYNN (род. в 1943 г.).

Английский актер и режиссер, принимавший участие на телевидении в более чем пятидесяти постановках.

ЭНТОНИ ДЖЕЙ — ANTONY JAY (род. в 1930 г.).

Английский журналист и режиссер, автор нескольких документальных и публицистических книг. В «Иностранной литературе» печатались отрывки из книги «Англии — с любовью», написанной совместно с Дэвидом Фростом (1973, № 2).
В этом номере публикуются главы из сатирической книги Дж. Линна и Э. Джея «Да, министр. Отрывки из первого тома дневников достопочтенного Джеймса Хэкера, члена парламента и члена кабинета», вышед-

шей в Лондоне в 1981 г. («Yes, Minister. The Diaries of a Cabinet Minister by the RT HON, James Hacker MP, Volume One». London, British Broadcasting Corporation, 1981).

ИОН БЭИЕШУ — ION BĂIEŞU (род. в 1933 г.) Румынский писатель, драматург. Автор сборников юмористических рассказов «Ночь любви» («Noaptea cu dragoste», 1962), «Страдали вместе» («Sufereau împreună», 1966, 1971), «На голубой траве» («La iarbă albastră», 1973) и др., многих пьес, поставленных румынскими и зарубежными театрами.

Публикуемые рассказы взяты из сборников И. Бэиешу «Пожарник и произведение» («Pompierul şi opera». Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1976) и «Больная любовь» («Dragoste balnavă». Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1980).

◆

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5. Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 01.06.83. Подписано в печать 14.07.83. А 01761. Формат 70×108 1/16. Печать высокая, 1,6 п. л.(22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 29,38.

Тираж 380 000 экз. (1-й завод: 1 — 340 000 экз.) Зак. 1953.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Мадонна с младенцем и святым Иоанном, 1506.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394